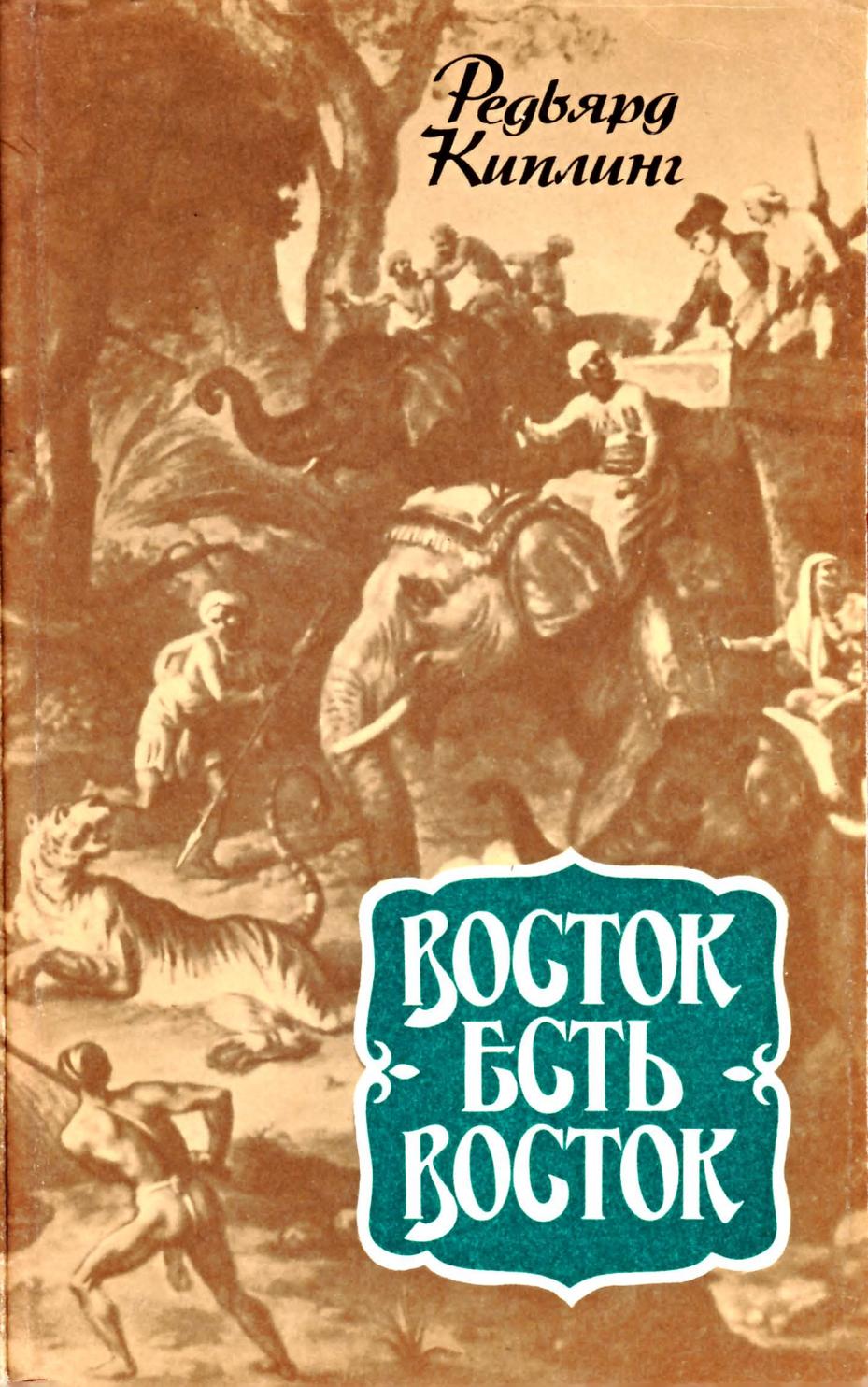


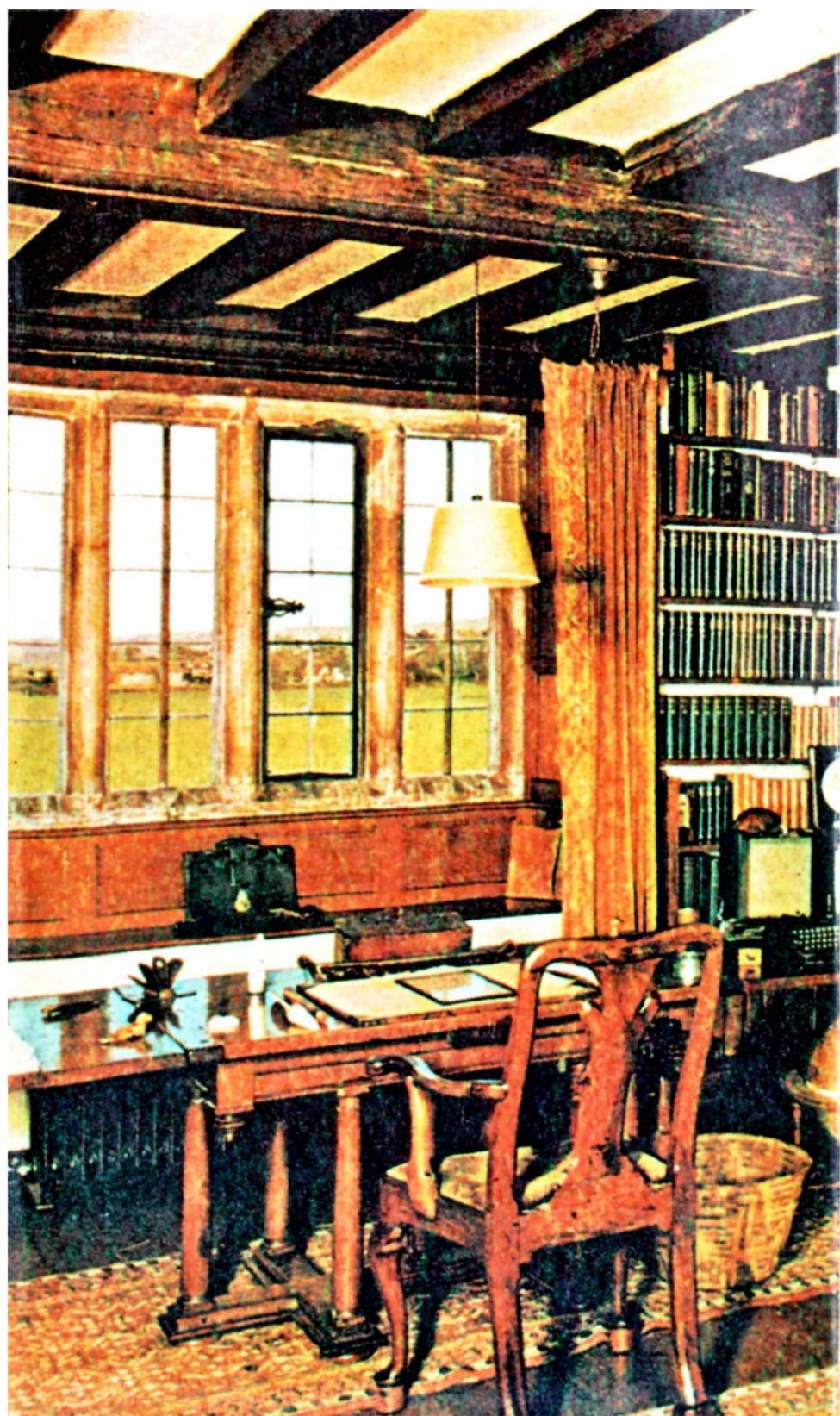
ВОСТОК ЕСТЬ ВОСТОК

Редьярд
Киплинг

Редьярд Киплинг

ВОСТОК
ЕСТЬ
ВОСТОК





Редьярд Киплинг



РАССКАЗЫ
ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
СТИХИ

Перевод с английского



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1991

ББК 84.4ВЛ

К42

Предисловие, составление *Е. Гениевой*

Оформление художника *В. Харламова*

На обороте обложки
интерьер кабинета Р. Киплинга

К $\frac{4703010600-192}{028(01)-91}$ 189-91
ISBN 5-280-01427-3

© Гениева Е. Ю. Предисловие и составление, 1991 г.
© Харламов В. И. Художественное оформление, 1991 г.

ИНДИЯ, МОЯ ИНДИЯ...

В 1936 г. в некрологе на смерть Редьярда Киплинга Джордж Оруэлл, знаменитый автор «Скотного двора» и антиутопии «1984», зловещих предостережений миру против тоталитаризма, писал: «В тринадцать лет я боготворил Киплинга, в семнадцать — ненавидел, в двадцать — восхищался им, в двадцать пять — презирал, а теперь снова нахожусь под его влиянием, не в силах освободиться от его чар».

Эти слова припомнились мне, когда я в полном одиночестве бродила по мемориальной квартире Редьярда Киплинга в Лондоне. Квартира приютилась в самом центре Лондона, неподалеку от Вестминстерского аббатства, где в пантеоне великих, в Уголке поэтов, рядом с прахом Чарльза Диккенса покоится и прах автора «Маугли». Хранитель квартиры поведал мне, что посетителей мало: случайно, раз или два в год забредет какой-нибудь излишне любопытный «киплинговед». Квартира мало похожа на английские музеи — ухоженные, содержащиеся если и не с размахом, то с любовью и полным пониманием важности музейного дела.

Здесь все не так. Задернуты шторы, на предметах — пыль. Да и сами экспонаты: мебель, личные вещи писателя, книги, рукописи — кажется, соединились под этим кровом случайно. На всем лежит видимый след забвения.

Лондонская квартира, как нетрудно узнать из любой биографии Редьярда Киплинга, никогда не была его настоящим домом. Осев после долгих странствий по свету в Англии, он обосновался в графстве Сассекс, на юге страны, где приобрел дом, по виду и по царившему в нем духу напоминающий крепость. Здесь под прикрытием толстенных стен, среди тяжеловесной мебели, мрачной обстановки Киплинг дожил до самой смерти.

С трудом пробираясь по этому «мемориальному складу»,

вспомнила и другое — рассказ биографов о похоронах Редьярда Киплинга в 1936 г. Похоронам был придан самый что ни на есть официальный характер: на панихиде присутствовал премьер-министр, генерал, адмирал, несколько друзей семьи. Только вот странность — ни один крупный английский писатель не пришел почтить память Нобелевского лауреата по литературе за 1907 г. Впечатление было такое, что для культуры смерть «железного Редьярда», — так критика окрестила Киплинга в зените его славы, — наступила много раньше.

Строки из стихотворения «Если...» в замечательном переводе Самуила Яковлевича Маршака вдруг сами начали чеканить свою дробь в памяти. Великие строки, которые не раз помогали выстоять в минуты испытаний:

И если ты способен все, что стало
Тебе привычным, выложить на стол,
Все проиграть и вновь начать сначала,
Не пожалев того, что приобрел,
И если можешь сердце, нервы, жилы
Так завести, чтобы вперед нестись,
Когда с годами изменяют силы
И только воля говорит: «Держись!»

Но вот что знаменательно: эти строки с восторгом и признательностью чаще повторяют в России, нежели на родине Киплинга, в Англии. Там они могут вызвать ироническую усмешку, а то и хуже — взрыв негодования. Объяснился по этому поводу в свое время, не стесняясь в выражениях, Ричард Олдингтон: «На деле эти строки означали, что нужно служить безропотной задницей, когда тебя пинками гонят в пекло».

Хоронили Киплинга в 1936 г., за несколько лет до начала второй мировой войны, за десять лет до обретения Индией независимости. Читать в Англии перестали уже после первой мировой войны, тогда же взялись безжалостно ругать. Но в 90-е годы прошлого столетия этот человек, небольшого роста, близорукий, с усами, тяжелым подбородком, крепко скроенный, энергично жестикулирующий, был кумиром и общенациональным символом. Собрат Олдингтона по перу, литератор, близкий ему по эстетическим и социальным взглядам, Герберт Уэллс решил для себя загадку безудержного взлета и столь же стремительного падения популярности Киплинга таким образом: «Нелегко вернуться к чувствам того периода... когда Киплинг с мальчишеским энтузиазмом что-то выкрикивал, призывал действовать силой, упивался цветами, красками и ароматами Империи... Он подчинил нас себе, вбил в голову звенящие и неотступные строки, заставил многих, и меня в том числе, хотя

и безуспешно, подражать себе, дал особую окраску нашему повседневному языку».

Под обаяние таланта Киплинга попал и автор «Острова сокровищ» Стивенсон, и изысканный эстет, безупречный стилист и мистик Генри Джеймс. При присуждении Нобелевской премии в 1907 г. Киплинга сравнивали с Джейн Остин, тем самым отдавая должное его высочайшему писательскому профессионализму, с Дефо и Диккенсом, тем самым при жизни вводя в ранг классиков.

Трагедия забвения была подготовлена не только им самим, как полагал Уэллс, но и стремительно меняющимся временем. «Лауреат без лавров, забытая знаменитость», — иронизировал Томас Стернз Элиот.

Да, Киплинг верил в Британскую империю, хотя, может быть, как никто другой знал всю глубину болезни этого организма. Он славил верность долгу, подчинение закону, искренне писал о «бремени белого человека», который, стиснув зубы, не разгибая спины, служит Империи. Он обращал свои звенящие высокой патетикой строки к молодому поколению, надеясь, что сумеет воспитать будущие надежные кадры Британской империи. Исходя из принципиальных убеждений, отнюдь не конъюнктурных, он приветствовал англо-бурскую войну, а вслед за ней и первую мировую, упорно не желая замечать, что на дворе уже другое тысячелетие, что время таких славословий уходит в прошлое. Разве могло принять киплинговскую проповедь долга поколение молодых англичан, молодых английских литераторов, побывавших в окопах первой мировой войны, поколение, которое получило драматическое название «потерянное». Под залпы пушек, окрики офицеров, стоны смертельно раненных товарищей это поколение растеряло то, что им, не без помощи Киплинга, вдалбливалось в голову в школе и университете: долг выполнять во что бы то ни стало, в Англии все самое лучшее — нравственность, бифштекс, армия и пиво... Олдингтон был один из этих «потерянных» — так что не стоит удивляться его грубой отповеди.

Парадоксально складывалась литературная судьба Киплинга в XX в. Этот живой классик английской литературы после всех споров, дебатов вокруг его имени превращается, в первую очередь в Англии, в детского писателя, создателя «Маугли», первой и второй «Книги джунглей», «Простых рассказов с гор». Хотя даже поверхностное знакомство с Киплингом не оставляет сомнений, что он больше нежели просто детский писатель. Он — современный мифотворец. Его герои давно уже покинули пределы книжного переплета, стали чем-то вроде архетипов. Таковы его любопытный Слоненок, бесстрашный Рикки-

Тикки-Тави, мудрая Волчица, дипломатичная красавица пантера Багира, философ медведь Балу, вожак стаи Акела. Кто, встретившись в детстве с этими героями, не попал под их влияние, кто не испытал их высокого нравственного воздействия?

Англичане, наверное, читают Киплинга иначе, чем мы. Им трудно отрешиться от своего колониального комплекса. Но мы, его русские читатели, свободны от этого комплекса, а потому без всякой задней мысли отправляемся вслед за автором в индийские джунгли, пустыни Африки, где разыгрывается самая увлекательная битва — битва за достоинство человека (неважно, что герои при этом нередко четвероногие), мы верим в подлинность описанного автором, убеждены, что таковы они, индийские джунгли и пустыни Африки, ни на минуту не допуская даже мысли, что сам Киплинг никогда там не был, не ходил по холмам Сеоне, не странствовал по берегам реки Вайнгуни. В лучшем случае он все это видел в каком-нибудь фильме. Но Киплингу было достаточно увидеть другие холмы и другие реки, чтобы заставить нас, его читателей, поверить в подлинность этих мест. Он от рождения был наделен редким писательским даром — умением постичь описанное изнутри. Именно эта внутренняя сопричастность придает его текстам ощущение абсолютной правдивости.

«Влияние Киплинга было огромно», — писал Константин Паустовский. Это влияние выходило за пределы Англии, давало подчас удивительные — и не только литературные — всходы в других странах. Это влияние формировало людей и в далекой от Великобритании России.

Певца Британской империи, «железного Редьярда» приняли на «ура» молодые советские литераторы. Этим обстоятельством был попросту сражен критик и литературовед князь Дмитрий Святополк-Мирский, вернувшийся в 30-е годы из эмиграции на родину, а до этого долго преподававший в Лондонском университете. В его сознании никак не умещалась сама идея: «бард империализма» пользуется таким высоким авторитетом у «представителей страны, максимально враждебной всей его идеологии». «В Англии, — писал Мирский, — Киплинг — поэт... империалистически лояльного обывателя, не читающего других современных стихов... У нас его высоко ценят многие из лучших наших поэтов, и переводы из Киплинга почти так же характерны для некоторой части советской поэзии, как переводы из Гейне и Беранже для 60-х годов...»

По сути дела, Мирский был прав, когда укорял советских литераторов, зачитывающихся Киплингом. Но как бы то ни было, «железный Редьярд», а главное, его идеи оказались

близкими идеологии молодого советского государства. Ведь Киплинг призывал к добровольному подчинению «высшему закону», забвению личного ради общего, славил героика жертвенности, воспевал смерть ради достижения высшей цели.

Все эти имперско-тоталитарные азы навязли в зубах у западного интеллигента. Но они были актуальны и созвучны советской литературе, рожденной революцией. Типы мышления оказались схожими.

Читая некоторые строки Эдуарда Багрицкого, право же, трудно определить: что это — оригинальное сочинение или перевод из Киплинга. Фактически к прямому подражанию «барду империализма» призывал Алексей Сурков, когда на Первом съезде советских писателей, сыгравшем такую роковую роль в развитии нашей литературы, говорил о «мужественном гуманизме», «суровом и прекрасном понятии «ненависть». «Давайте не будем размагничивать молодое красногвардейское сердце нашей хорошей молодежи интимно-лирической водой. Давайте не будем стесняться, несмотря на возмущенное бормотание снобов, простой и энергичной поступи походной песни, песни веселой и пафосной, мужественной и строгой».

В более спокойных и литературно взвешенных категориях суммировал киплингское влияние на молодую советскую словесность Константин Симонов, автор нескольких превосходных переводов из Редьярда в конце 30-х годов: «Киплинг нравился своим мужественным стилем, своей солдатской строгостью, отточенностью и ясно выраженным мужским началом, мужским и солдатским».

Итак, полузабытого, отвергнутого в буржуазной стране автора, в первую очередь по идеологическим мотивам, в СССР в 30-е годы издавали именно по идейным причинам. В СССР «бард империализма» сумел реализовать свою заветную мечту — воспитать крепкое, как сталь, молодое поколение. Он учил советских читателей коллективистскому сознанию. Действительно, немалое число изданий Киплинга в СССР приходится на 30-е годы, в предисловиях несколько подтасовывали карты, объявляли автора, списанного кое-кем в Англии в литературный архив истории, наиболее читаемым автором в современной западной литературе.

Но не будем излишне строги лишь к нашей стране. Что и говорить, Киплинг удобен, когда истории нужна откровенная идеология. И в Англии вспомнили о его существовании в 1940 г., в трудные дни «Битвы за Англию». И вспомнил не кто-нибудь, а сам Томас Стернз Элиот, которому принадлежит хлесткое определение «лауреат без лавров», — стряхнул пыль

с томиков стихотворений Киплинга и издал небольшую книжку, снабдив ее собственной хвалебной вступительной статьей.

А вот в СССР дела стали принимать, напротив, другой оборот. «В первый же день на фронте в 1941 г. я вдруг, — писал Константин Симонов, — раз и навсегда разлюбил некоторые стихи Киплинга. Киплингеская военная романтика, все то, что, минуя существо стихов, подкупало меня в нем в юности, вдруг перестало иметь отношение к этой войне, которую я видел, и ко всему, что я испытал. Все это в 41-м году вдруг показалось далеким, маленьким и нарочно-напряженным, похожим на ломающийся мальчишеский бас».

Время и у нас постепенно сделало из Киплинга лишь детского писателя. После войны все остальное в его наследии стало решительно отвергаться по идейным причинам. И если в Англии в 50—70-е годы стали выходить солидные, фундаментальные работы, оценивающие, если использовать название одной из них, принадлежащей перу видного прозаика и авторитетного литературоведа Энгуса Уилсона, «странный путь Редьярда Киплинга», у нас за автором романа «Ким», казалось, навсегда закрепили ужасную кличку «барда империализма». «Ким», изданный в СССР в 30-е годы, начали изымать из библиотек, постепенно эта замечательная книга об Индии (ведь именно так ее оценивают индийские писатели) превратилась в библиографическую редкость, которую ныне найдешь далеко не во всех центральных библиотеках страны.

Переоценка Киплинга у нас началась поздно — в конце 70-х — начале 80-х годов, наверное, с первым дыханием перестройки. Со всей серьезностью критики, а вслед за ними и читатели обратились к взрослому Киплингу и начали заново открывать для себя удивительный мир его рассказов, стихотворений.

Давно уже нет Британской империи, и вообще имперский дух не в моде в мире, который все чаще с надеждой говорит о «европейском доме». А вот Киплинг снова возрожден, снова читаем. Близок он и нам, его советским читателям, мучительно, болезненно переоценивающим свое прошлое, возвращающим себе имена и книги. А вот почему — на этот вопрос мы попытаемся ответить этим сборником, у которого дерзкая цель — познакомить читателя с «индийским» Киплингом.

Право же, нет ничего удивительного в том, что многие английские писатели рождались в Индии. Для многих англичан эта бывшая колония стала вторым домом. Родился в 1811 г.

в Калькутте автор «Ярмарки тщеславия» Теккерей. Родился в 1865 г. в Бомбее Редьярд Киплинг. Как и отец Теккерей, отец Киплинга отправился в Индию искать счастья. Ему, не слишком преуспевающему художнику-декоратору, казалось, что в далекой Индии он быстрее найдет применение своим талантам, а семье сумеет обеспечить надежное материальное положение, а следовательно, и более спокойную жизнь. Здесь, и в самом деле, Джон Локвуд Киплинг открыл школу прикладного искусства. Таких школ было немало на территории Индии: англичане понимали важность развития национальных ремесел. Семья благоденствовала, в доме царили покой и уют. А потому первые шесть лет жизни, едва ли не самые важные в жизни любого человека (как полагал уже взрослый Киплинг), он провел в кругу дружных, любящих друг друга людей. Его воспитанием занимались индийские няни и слуги, которые души не чаяли в маленьком господине, отчаянно его баловали, готовы были в любую минуту исполнить любой его каприз. Навсегда эта пора останется для Киплинга в памяти земным раем. Наверное, поэтому частый герой его «индийских рассказов» — смысленный малыш, шалун, домашний тиран и любимец, окруженный добрейшими слугами, фигурами, конечно же, несколько идеализированными. Людские характеры, слабости, пороки с трудом пробиваются через дымку благодарной памяти.

Этот рай рухнул, когда маленького Редьярда вместе с младшей сестрой в соответствии с представлениями об английском воспитании вне дома отправили в Англию к дальним родственникам, державшим что-то наподобие частного пансиона. Пансионом руководила дама, вздорная ханжа, будто сошедшая со страниц какого-нибудь романа Чарльза Диккенса. Она сразу невзлюбила мальчика за независимый нрав и острый язык. Для Редьярда мир утратил свои краски: наступила мучительная пора физических и нравственных мучений. Какие были непереносимее, сказать трудно — побои или унижения. Началась и внутренняя ломка характера: мальчик стал постигать науку ненависти, осознавать, не осознавая своим детским разумом, бессилие жертвы. Он мечтал о возмездии, мести, бунте. Кто знает, может быть, именно из-за этих испытаний его Маугли станет таким сильным и мужественным и будет так жестоко вершить суд над обидевшей его деревней.

В жизни, однако, Редьярд был мало похож на своего легендарного героя. Напротив, был его полной противоположностью: страдал слабым здоровьем, а потому сил на эту неравную и унижительную борьбу ему не хватило. Кончилось все очень печально: мальчик тяжело заболел, почти ослеп, оказал-

ся на грани умопомешательства. И если бы не приезд матери, почувствовавшей что-то неладное, трудно сказать, чем окончилось бы для Редьярда обучение в пансионе. На память об английской школе у Кипплинга осталось очень слабое зрение и уйма комплексов, которые он так никогда и не смог преодолеть в себе, хотя в дневниках и своей автобиографии не раз утверждал, что школьный опыт в нравственном плане был положительным.

Матери нужно было возвращаться в Индию, а потому Кипплинга определили в мужскую школу, которая, как и большинство других школ в Англии, готовила будущих слуг Империи. Редьярд, юноша болезненный и близорукий, был здесь белой вороной. Он был смешон на спортивной площадке, мечтал о книгах и уединении, а от него ждали атлетических побед, выправки, безоговорочного подчинения. Но у мальчика за плечами уже был опыт частного пансиона. А потому он не бунтовал, напротив, стоически сносил испытания. Более того, он сумел изменить свой характер до такой степени, что уверовал в необходимость наказания, которое, как он убедил себя, отнюдь не худший способ воспитания воли.

Из школы Кипплинг вышел сложившимся в нравственном плане человеком, с определенной системой ценностей, сформировавшимся мировоззрением. Он твердо знал, кем он хочет стать в жизни, — писателем. Более того, знал — почему. Этот тщедушного вида юноша был дьявольски тщеславен. Военная карьера была для него закрыта, а он жаждал славы. А ее могло принести только писательство, потому что он уже осознал на примере школьных побед, что на этом поприще сможет стать первым. Тщеславие не сделало его бездумным мечтателем. Кипплинг знал, что требуется для успеха на писательском пути, какие жертвы придется принести. Ему нужен был опыт, нужны были знания о реальной жизни. Поэтому он с радостью принял предложение вернуться под отчий кров, в далекую Индию, где ему к тому же обещали место корреспондента в газете города Лахор.

Новая встреча с Индией, пришедшаяся на пору юности, а фактически зрелости, стала для Кипплинга-писателя едва ли не решающей.

Жизнь газетчика сталкивала его с сотнями людей различных профессий, классов: чиновниками и военнослужащими английской колониальной службы, докторами, юристами, инженерами. Все они говорили о своих проблемах, а Кипплинг внимательно слушал, не перебивая, потому что рано усвоил святое правило профессионального репортера: когда человек говорит, о нем узнаешь в десятки раз больше, чем когда задаешь ему вопросы.

Работа репортера бросала в самые невероятные и неожиданные приключения, заставляла — и не раз — играть со смертью. Ему доводилось писать обо всем — эпидемиях холеры, бунтах, войнах, светских приемах, богатстве и нищете. Он перезнакомился с огромным количеством людей, среди которых были англичане, и индийцы, и та средняя прослойка колониального общества в Индии, которую надо называть англо-индийской. Он познал на собственной шкуре все тяготы работы профессионального газетчика, который не знает, где вечером приклонит голову, но твердо знает, что в номер должен пойти материал. Это была, конечно, поденщина, но одновременно и отличная школа мастерства. Он не только открыл для себя — а затем и для литературы — материал, который ранее никому не был известен. Он открыл настоящую, а не маскарадную Индию, а вместе с нею и тогдашний Восток, настоящий, жестокий, щедрый, коварный, таинственный, полный непонятного европейцу величия и мудрости внутреннего созерцания.

Репортерская работа помогла Киплингу создать и маску, тот облик, который он был готов предъявить миру, — не участника, а только ироничного наблюдателя, чуть ли не циника, все повидавшего на своем веку. А «век»-то был совсем не большой: репортеру было немногим более двадцати лет. В задачи этого беспристрастного наблюдателя входило коллекционирование различных человеческих типов. Свое «я» он старательно прятал от любопытных читательских глаз и, надо сказать, настолько преуспел в этом занятии, что в конце концов сумел обмануть всех — своих коллег по перу, дотошных критиков, внимательных литературоведов, которые упрямо твердили, что этот писатель больше видел, чем чувствовал. Наверное, миру еще предстоит найти ответ на вопрос: «А каким же был на самом деле Редьярд Киплинг?»

Киплинг и Индия... Они были созданы друг для друга. Не только потому, что Индия подарила Киплингу бесценный материал, и не только потому, что она создала его как писателя. Индия стала его музой, источником вдохновения на всю жизнь. Индия научила его не только слушать и запоминать. Индия, открывая свои тайны, учила его любить, мыслить, чувствовать. Индия выработала и его философию. Жаркое палящее солнце, клубящаяся пыль на дорогах, нищета коренных жителей и величие древних храмов, яркие краски — все в этой стране с каждым днем становилось ему более дорогим, понятным и близким. Напитавшись рассказами ее коренных и пришлых жителей, полупьяной болтовней солдат на границах, байками моряков, преданиями о знаменитом мятеже 1857 г., ска-

заниями Тибета, он стал рупором великой эпохи — английского колониального владычества в Индии.

Индия дала повод Кипплингу для глубоких философских раздумий. Здесь, в этой стране, по воле или прихоти истории соприкоснулись две культуры — «Восток и Запад». Восток казался экзотичным: чужая природа, дикие нравы, непонятные обычаи, отнюдь не европейский быт. А на рубеже века, который всегда становится особым временем в истории культуры и всей цивилизации, потребность в экзотике почему-то стала особенно чувствоваться в Европе. Европейская публика зачитывалась Стивенсоном и Хаггардом, также отдавшими в своих романах дань экзотике.

Правда, экзотика Кипплинга была особой. Ему был чужд стилизованный авантюрный роман и Стивенсона, и Хаггарда. Он попытался сделать невозможное: ввести экзотику в рамки физиологического очерка, который, в свою очередь, преобразовал еще и в сюжетную новеллу.

Каждый из названных компонентов понятен, у каждого свое существование в литературе. Но возможен ли синтез? Кипплинг доказал — возможен. В самом деле, обратившись к материалу, который традиционно считался непригодным для литературы (вся эта репортерская однодневка, пена жизни, шелуха), Кипплинг должен был решить, а как же его подавать читателю. Вышел из положения он очень остроумно: с одной стороны, его рассказчик — всего лишь репортер, с которого спрос невелик, с другой стороны, этот репортер по своей литературной неразборчивости и недомыслию радостно передоверяет рассказ какому-нибудь непосредственному участнику события. И вместе с этим вторым голосом в прозу врывается живое слово улицы. Это слово бывает нарочито непонятным. Конечно же, специально мелькают в тексте непонятные географические названия, которые европейцу и выговорить бывает трудно.

В сущности, если перейти на язык литературоведческих категорий, Кипплинг широко использовал сказ, сказовую манеру повествования. Иными словами, он сознательно прибегал к литературной форме, которая во всем — лексике, синтаксисе, интонации — ориентирована на устную речь рассказывающего. В «Воротах Ста Печалей» читатель слышит исповедь курильщиков опиума, в новелле «В наводнение» — звучит рассказ старого индуса, а новеллы из солдатской жизни — это бесхитростные повествования, незатейливые монологи йоркширца Лиройда, ирландца Малвени, лондонца Ортериса.

Репортер Кипплинг, становясь писателем Кипплингом, свято соблюдал два правила: писать, думать, чувствовать, как

если бы ты и в самом деле был в чужой шкуре, а также передавать словами свежесть запахов, шелест листвы, нищету трущоб.

Эффект от этой прозы был ошеломляющим для современников. Впрочем, он остается таким и по сей день. Ведь эта сознательная безыскусность поражает. Так и кажется, что тебя вдруг потянули за рукав на улице, остановили и принялись что-то рассказывать. Причем говорят запросто, пересыпая речь жаргонными словечками, нисколько не смущаясь тем обстоятельством, что ты-то не уроженец этих мест и можешь и не все понять. С литературной точки зрения эта проза весьма сложная и изысканная, потому что подобная простота дается не только прирожденным талантом, но и жесткой тренировкой. Простота стала своего рода эстетическим параметром кипплинговской прозы. Недаром это понятие было вынесено в название сборника «Простые рассказы с гор». Простая манера изложения лишь подчеркивала необычные для английской да и индийской публики темы — изгнание с родины, тоску по дому, одиночество среди людей другой земли.

Киплинг-журналист рос на глазах. Каждый год он получал повышение, у него не было отбоя от предложений. Он много путешествует, а свои путевые наблюдения записывает, с тем чтобы в самом ближайшем времени они попали на газетную полосу. Так, например, складывалась книга его очерков «Письма Марка», вошедшие в сборник «От моря до моря», с отрывками из которой познакомится читатель этого сборника.

Путевые заметки — один из излюбленных жанров английских писателей. Даже трудно припомнить тех, кто не отдал должное этому почти национальному жанру. Стерн, Диккенс, Теккерей вносили в очерк свое, оставляя на очерке след собственной индивидуальности. На страницах «Писем Марка» запечатлелись черты характера Киплинга — его поистине ненасытная жажда нового, непомерное любопытство, искренняя, неподдельная симпатия к людям, с которыми его сталкивала во время странствий жизнь.

Рассказы и путевые заметки Киплинга очень близки — точнее, один жанр плавно перерастает в другой. Для этого есть почва — по сути своей, в основе и рассказа и очерка лежит некий житейский случай, анекдот: индийскую девушку чуть не сжили со света из-за ее связи с белым; жене удалось вернуть домой мужа, сбившегося с пути праведного.

Индия зачитывалась Киплингом. Может быть, впервые она узнала себя в такой полноте и правде в его рассказах и репортажах. Киплинга издавали огромными тиражами, дешевые из-

дания его произведений продавали на вокзалах. И так он оказался в Англии. Англо-индийское население привезло Киплингa на родину в саквояже.

С мнением Киплинга считалась даже верхушка английской администрации в Индии. В самом деле, кто лучше его знал истинное положение дел в провинциях, кто мог дать более здравый и взвешенный совет. Однажды за советом к нему обратился сам главнокомандующий английской армией в Индии.

Молодой человек стал весьма состоятельным. Теперь он мог позволить себе поездку в Англию, что и предпринял в 1889 г. Он думал, что скоро вернется, но больше Индии никогда не видел.

Путь Киплинга в Англию был долгим: он «заехал» по дороге в Китай, Японию, Гонконг, Америку. В Англии он оказался в октябре 1889 г. Было ему только двадцать четыре года — а за плечами уже лежал целый жизненный и творческий период. В Англии он быстро завел новых знакомых, в том числе и литературных. Тут начался его стремительный восход к славе. Но слава не могла заменить ему Индии. В Англии этому англичанину (или англо-индийцу?) было одиноко. Он плохо переносил климат своей родины, часто болел, пребывал в угнетенном состоянии духа. Среди лондонских туманов он мечтал о палящем индийском солнце. Ему, так хорошо знавшему реальную, обыденную, суровую жизнь, было неуютно в декоративной обстановке английских гостиных рубежа веков.

Коллеги-писатели, признав его талант, тем не менее почували в нем чужака. Они кривились от жаргонизмов Киплинга, Киплинг тоже не оставался в долгу, упрекая их в манерности.

Впрочем, все это никак не мешало его феноменальному успеху, который приобрел масштаб разорвавшейся бомбы, взметнувшейся в небо кометы, когда из печати вышли «Казарменные баллады». Надо сказать, что и по отношению к поэтической английской традиции стихотворения Киплинга столь же полемичны, как его рассказы по отношению к традиционной викторианской прозе. В поэзии он не начал с нуля. Напротив, хорошо знал Теннисона, Браунинга, Суинберна, прерафаэлитов, особенно Данте Габриэля Россетти. Испытал их влияние, но очень рано преодолел его. Знаком освобождения от традиции стали его пародии.

В стихах Киплинг тоже ориентировался на самый что ни на есть внелитературный материал, занимаясь делом неблагодарным — приближая поэзию к прозе. Эффект оказался

поразительным. Правда, безжалостная правда колола глаза в поэзии Киплинга. С другой стороны, романтический пафос поднимал этот материал до проповеди.

Ничего подобного Англия никогда не читала. И стиль и содержание — все было дерзким, новым. Диалектные слова, интонации мюзик-холла, к которым поэт прибегал не ради комического эффекта, но содержательно, веря, что они привнесут жизнь в его поэзию. А жизнь — это солдатские будни, любовные истории, выпивки, драки, походы, отпуска, солнце, холера. Киплинг знал, как из этого самого непоэтического материала высекать истинные искры поэзии. Но не о солнце и холере писал он в конечном итоге. Писал он о свободе, нравственном долге, нравственной стойкости, зависимости цивилизации от воли обычных людей, иными словами, о настоящих бытийных, философских проблемах.

Киплинг стал национальным поэтом, сменив на этом высоком поприще изысканного и лирического Теннисона. Правительство было готово одарить его любыми наградами. Он же упрямо отказывался от правительственных поощрений, принимая только академические лавры. Во-первых, он не хотел, приняв правительственную награду, связать себя узами с какой-нибудь партией. Во-вторых, он, не получивший систематического университетского образования, жаждал академического признания. В 1907 г. он согласился и на Нобелевскую премию.

Наверное, нет смысла говорить, за что Киплингу присудили Нобелевскую награду — за все творчество, за новаторство, звонкость стиха. Но если уж заниматься таким неблагодарным делом, как табелью о рангах, то надо сказать, что самой сильной стороной дарования этого писателя были рассказы, новеллы, короткие путевые очерки и, конечно же, стихотворения. Нет сомнения, киплинговский рассказ — это веха в истории мировой литературы, как веха в истории поэзии его стихотворения. Роман же никогда не был «его» жанром. Видимо, Киплингу была противопоказана большая форма. И все же истины ради надо сказать, что в творчестве Киплинга есть великий роман — «Ким» (1901). Как уже говорилось, с авторитетной ссылкой на мнение литературоведов-индийцев, это лучший роман об Индии, написанный европейцем.

В этом романе Киплинг вывел еще один человеческий тип англо-индийского населения, который давно занимал его воображение, — шпиона, разведчика. Этот тип был порождением Британского режима в Индии. В рассказах Киплинга есть эскиз этого типа — некто Стрикленд. Но теперь об этом

слуге Империи, выполняющем свой долг, он написал целый роман.

Как бы ни была занимательна, драматична история героя, настоящий герой книги не он, а сама Индия, «моя Индия», которая от того, что была далеко, становилась особенно желанной. Нелепо говорить о добровольном изгнании Киплинга из Индии. В самом деле, он же не Джойс, добровольно покинувший Ирландию, но не писавший ни о какой другой стране. Он ведь англичанин, и родина его — Англия. И все же изгнание было. Более того, не исключено, что этот не по возрасту развитой юноша ощутил в свои двадцать с небольшим лет, что надо уезжать из Индии: чтобы писать об этой своей родине, необходимо обрести дистанцию...

Индия возникает на страницах «Кима» в обилии звуков, запахов, красках пестрой толпы. Автор не только знает все о своих главных героях, он знает все буквально обо всем — что носят в этой провинции, а что подают на торжественный обед в соседней, почему девушки одеты так и каковы свадебные традиции. Забавно, что, уже написав «Кима», Киплинг мечтал написать что-то сравнимое со «Сверчком за очагом» Чарльза Диккенса!

Многие из рассказов, вошедших в этот сборник, не могли быть напечатанными в нашей стране еще несколько лет назад. Даже не цензура, а охранительная внутренняя позиция не смогла бы «переварить» некоторые суровые, нелицеприятные, не всегда объективные суждения Киплинга об афганцах да и об индийцах. Вряд ли тогда можно было допустить знакомство с Киплингом-натуралистом, который с репортерской точностью описывает кровь, ругань, мордобой.

Но времена изменились, а вместе с ними меняется и наше представление об этом писателе. Теперь уже никто с уничтожительной интонацией не говорит о нем как о «барде империализма». Напротив, пытаются разобраться в общественной, политической позиции Киплинга, даже если она и была ложной.

Такой новый взгляд расширяет наше представление о мире этого писателя. Наверное, в скором будущем будут изданы обе «Книги джунглей», причем в авторском составе, где проза чередуется со стихами и репортерскими зарисовками. Ведь зачем-то именно такую композицию придумал сам автор.

По-иному мы начинаем оценивать и связи Киплинга с Индией. Один из сложных и важных вопросов — каким было влияние Киплинга на индийскую литературу. Ведь он не мог

пройти по касательной к индийской культуре. Да и для английской литературы пример творчества Киплинга — предмет для концептуальных размышлений. Что есть общего между Теккереем, родившимся в Индии, и Киплингом? Можно ли говорить о традиции англо-индийской литературы сегодня? Видимо, нужно, поскольку эту эстафету в XX в. подхватил Пол Скотт, автор трилогии «Раджайский квартал». Вопросов немало. Но вернемся снова к Киплингу и постараемся по-новому прочесть его хрестоматийные строки «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут, // Пока не предстанет Небо с Землей на Страшный Господен суд».

Эти строки вовсе не умаляют значения Востока. Напротив, на протяжении всей своей жизни и творчества Киплинг пытался философски осознать значение Востока, заставить себя смотреть на мир глазами индийца. Эти строки скорее всего о двух системах ценностей — восточной и западной. То, что он пытался разгадать загадку Востока, ясно из рассказа «Чудо Пурун Бхагата». Здесь он описывает мистические искания индийского мудреца, которые были и его исканиями. Внешне создается впечатление, что Киплингу ближе динамичный Запад: ведь его идеал — действие, движение вперед. Но во всем творчестве Киплинга есть некая тайна, второй план. Его очень трудно обнаружить, потому что этот писатель мастерски нас обманывает, заставляя поверить, что его позиция — та, что с барабанным боем звучит в стихотворениях. Увидеть истинного Киплинга мешает маска, которую он так долго формировал, что она почти приросла к его лицу. Нужны немалые читательские усилия, чтобы отделить ее от настоящего лица. И что же мы увидим? Лицо, искаженное болью знания, лицо нервное, испуганное, душу мятушуюся. Зная, какие бездны отчаяния кроются в его сердце, Киплинг запрещал себе любую интроспекцию, но минутами она все же прорывается в словах, как бы случайно оброненных, шемящей душу интонации.

Конечно, Киплинг был мистиком. Он знал, что у всех вещей есть второй, а то и третий план существования. Но об этом трудно догадаться, читая его точные, выверенные фразы. О мистицизме Киплинга говорит его понимание таинства творчества. Он не любил раскрывать свои профессиональные секреты. Говоря о том, как надо писать, предпочитал рассуждать о сортах бумаги и отточенности перьев. Но иногда все же проговаривался: творчество — тайна, художнику нашептывает слова Демон, и нет смысла ему противиться. Напротив, надо, затаив дыхание, слушать его шепот, переводить его знаки в слова.

Лондон описан Диккенсом и увековечен на гравюрах Доре. Париж воспет Бальзаком и Золя, Петербург — Достоевским. Каждый, кому доведется побывать в Лахоре, говорят очевидцы, узнают этот город, если им когда-нибудь довелось читать Киплинга.

Киплинг — классик английской литературы. Но, перефразируя известные слова Дэвида Герберта Лоуренса, его младшего современника, Киплинг мог бы сказать о себе: «Меня создала Индия».

Е. Генцева

РАССКАЗЫ

«ВОРОТА СТА ПЕЧАЛЕЙ»

Что вам завидовать мне, если я могу достичь небес ценою одной пайсы?¹

Поговорка курильщиков опиума

Это не мое сочинение. Мой приятель метис Габрал Мискитта рассказал мне обо всем этом в часы между закатом луны и утром, за шесть недель до своей смерти, а я только записывал его ответы на мои вопросы.

Итак:

Они находятся между улицей медников и кварталом торговцев трубочными чубуками, ярдах в ста по прямой от мечети Вазир-Хана. Я готов кому угодно сообщить эти сведения, но ручаюсь — ни один человек не найдет «Ворот», даже если он уверен, что отлично знает город. Можете хоть сто раз пройти по тому переулку, где они находятся, все равно вы их не найдете. Этот переулок мы прозвали улицей Черного Курева, но настоящее его название, конечно, совершенно иное. Навьюченный осел не смог бы пролезть между его стенами, а в одном месте, как раз перед тем, как поравняешься с «Воротами», один из домов выступает вперед, вынуждая прохожих протискиваться боком.

На самом деле это вовсе не ворота. Это дом. Пять лет назад им владел старик Фун Чин — первый его хозяин. Он раньше был сапожником в Калькутте. Говорят, что там он спьяну убил свою жену. Вот почему он бросил пить базарный ром и взамен его пристрастился к черному куреву. Впоследствии он переселился на север и открыл «Ворота», иначе говоря — заведение, где

¹ Пайса — мелкая индийская монета, $\frac{1}{4}$ аны, составлявшей $\frac{1}{16}$ рупии, основной денежной единицы Индии.

можно покурить в тишине и спокойствии. Имейте в виду, эта курильня опиума была пакка¹ — солидное заведение, не то что какая-нибудь жаркая, душная чандухана², из тех, что попадаются в городе на каждом шагу. Нет, старик отлично знал свое дело и для китайца был очень опрятен.

Это был маленький одноглазый человек, не более пяти футов росту, и на обеих руках у него не хватало средних пальцев. И все же он как никто умел скатывать черные пилюли. Казалось также, что курево ничуть на него не действует, хотя он курил днем и ночью, ночью и днем невероятно много. Я занимался этим пять лет и с кем угодно могу потягаться в курении, но в сравнении с Фун Чином я был просто младенцем. Тем не менее старик очень любил деньги, очень, и вот этого я и не могу понять. Я слышал, что при жизни он успел накопить порядочное состояние; оно теперь досталось его племяннику, а старик вернулся в Китай, чтобы его похоронили там.

Большую комнату наверху, где собирались его лучшие клиенты, он держал чистенькой, как новая булавка. В одном углу стоял Фун-Чинов идол — почти такой же безобразный, как и сам Фун Чин, — и под носом у него всегда тлели курительные свечки, но когда трубочный дым густел, запаха их не было слышно. Против идола стоял гроб Фун Чина. Хозяин потратил на него добрую часть своих сбережений, и когда в «Воротах» впервые появлялся свежий человек, ему всегда показывали гроб. Он был покрыт черным лаком и расписан красными и золотыми письменами, и я слышал, будто Фун Чин вывез его из самого Китая. Не знаю, правда это или нет, но помню, что, когда я под вечер приходил первым, я всегда расстилал свою циновку около него. Здесь, видите ли, был спокойный уголок и в окно иногда веяло легким ветерком с переулка. Если не считать циновки, в комнате не было никакой обстановки — только гроб да старый идол, весь синий, зеленый и пурпурный от времени и полировки.

Фун Чин никогда нам не говорил, почему он назвал свое заведение «Воротами Ста Печалей». (Он был единственный знакомый мне китаец, употреблявший неприятно звучащие названия. Большинство склонно да-

¹ П а к к а — здесь: хорошая, прекрасная.

² Ч а н д у х а н а — курильня опиума.

вать цветистые имена, в чем вы можете убедиться по Калькутте.) Мы старались догадаться об этом сами. Если вы белый, ничто не сможет вас так захватить, как черное курице. Желтый человек устроен иначе. Опиум на него почти не действует, а вот белые и черные, те страдают жестоко. Конечно, есть и такие, на которых курице влияет не больше, чем табак, когда они впервые начали курить. Они только подремлют немножко, как бы заснув естественным сном, а наутро уже почти способны работать. И я был таким, когда начал, но я занимался этим весьма усердно целых пять лет, а теперь я уже не тот. Была у меня старуха тетка, которая жила близ Агры, и после ее смерти мне досталось небольшое наследство. Около шестидесяти рупий дохода в месяц. Шестидесят рупий — это не очень много. Вспоминается мне время — кажется, что с тех пор прошло много-много сотен лет, — время, когда я получал триста рупий в месяц да еще кое-какие доходы, работая по крупной поставке строевого леса в Калькутте.

На этой работе я пробыл недолго. Черное курице не допускает других занятий, и хотя на меня оно влияет очень слабо, я даже ради спасения своей жизни не смог бы проработать целый день, как работают другие люди. Впрочем, шестидесят рупий — это все, что мне требуется. Пока старик Фун Чин был жив, он обычно получал эти деньги вместо меня, давал мне из них половину на жизнь (я ем очень мало), а остальное забирал себе. Я мог свободно приходить в «Ворота» в любое время дня и ночи, курить там и спать, если хотел, и потому не спорил. Я знал, что старик хорошо на мне заработал, но это не имеет значения. Ничто не имеет для меня большого значения; к тому же деньги продолжают поступать из месяца в месяц.

Когда заведение впервые открылось, в «Воротах» нас встречалось всего десять человек. Я, двое бабу¹ — они тогда служили в государственном учреждении где-то в Анаркали, но потом их уволили, и они уже не могли платить за себя (ни один человек, обязанный работать днем, не может регулярно предаваться черному курице в течение долгого времени); китаец — племянник Фун Чина; уличная женщина, каким-то образом добывшая кучу денег; бездельник англичанин, — кажется, фамилия его начиналась на «Мак», впрочем, не

¹ Бабу — конторский служащий; как обращение — господин.

помню, — который курил без передышки и как будто ничего не платил (говорили, что в бытность свою адвокатом в Калькутте он на каком-то судебном разбирательстве спас жизнь Фун Чину); другой евразиец, как и я, родом из Мадраса; женщина-метиска и двое мужчин, говоривших, что они переехали сюда с севера. Должно быть, это были персы, или афганцы, или что-то в этом роде. Теперь из всех нас осталось в живых не более пяти человек, но зато приходим мы постоянно. Не знаю, что случилось с обоими бабу, а уличная женщина умерла после того, как полгода посещала «Ворота», и я подозреваю, что Фун Чин присвоил ее браслеты и носовое кольцо. Но не уверен. Англичанин — тот пил так же много, как и курил, и наконец перестал приходить. Одного из персов давно уже убили в драке ночью у большого колодца близ мечети, и полиция закрыла колодец, — говорили, что оттуда несет гнилью. Его нашли мертвым на дне колодца. Так вот, значит, остались только я, китаец, метиска, которую мы звали мэм-сахиб¹ (она жила с Фун Чином), другой евразиец да один из персов. Теперь мэм-сахиб очень постарела. Когда «Ворота» впервые открылись, она была молодой женщиной, но уж коли на то пошло, все мы давно состарились. Нам много-много сотен лет. В «Воротах» очень трудно вести счет времени, к тому же для меня время не имеет значения. Каждый месяц я все вновь и вновь получаю свои шестьдесят рупий. Давным-давно, когда я зарабатывал триста пятьдесят рупий в месяц да вдобавок еще кое-что на крупной поставке строевого леса в Калькутте, у меня было что-то вроде жены. Теперь ее нет в живых. Люди говорили, что я свел ее в могилу тем, что пристрастился к черному куреву. Может, и правда свел, но это было так давно, что уже потеряло всякое значение. Когда я впервые начал ходить в «Ворота», мне иной раз бывало жаль ее, но все это прошло и кончилось уже давно, а я каждый месяц все вновь и вновь получаю свои шестьдесят рупий и вполне счастлив. Счастлив не так, как бывают счастливы пьяные, а всегда спокоен, умиротворен и доволен.

Как я к этому пристрастился? Это началось в Калькутте. Я пробовал покуривать у себя дома — просто хотелось узнать, что это такое. Я еще не очень этим увлекался, но, должно быть, жена моя умерла именно тогда.

¹ Мэм-сахиб — обращение к англичанке; госпожа.

Так или иначе, но я очутился здесь и познакомился с Фун Чином. Не помню точно, как все это было, но он мне рассказал про «Ворота», и я стал туда ходить, и как-то так вышло, что с тех пор я уже не покидал их. Не забудьте, что в Фун-Чиновы времена «Ворота» были очень солидным заведением, где вам предоставлялись все удобства, — не чета какой-нибудь там чандухане, куда ходят черномазые. Нет, здесь было чисто, спокойно и не людно. Конечно, кроме нас десятерых и хозяйна, бывали и другие посетители, но каждому из нас всегда давалось по циновке и по ватной подушечке в шерстяной наволочке, сплошь покрытой черными и красными драконами и всякими штуками, точь-в-точь как на гробе, стоявшем в углу.

После третьей трубки драконы начинали двигаться и драться. Я смотрел на них много-много ночей напролет. Так я определял меру своему курению, но теперь уже требуется не меньше дюжины трубок, чтобы принудить их зашевелиться. Кроме того, все они истрепались и загрязнились, как и циновки, а старик Фун Чин умер. Он умер года два назад, подарив мне трубку, которую я теперь всегда курю, — серебряную, с причудливыми зверями, ползущими вверх и вниз по головке под чашечкой. До этого у меня, помнится, был длинный бамбуковый чубук с медной чашечкой, очень маленькой, и мундштуком из зеленой яшмы. Он был чуть потолще тросточки для гулянья, и курить из него было приятно, очень приятно. Очевидно, бамбук всасывал дым. Серебро не всасывает, так что мне время от времени приходится чистить трубку, а с этим много возни, но я курю ее в память о старике. Он, должно быть, хорошо на мне нажился, но он всегда давал мне чистые подушки и циновки и товар, лучше которого нигде не достанешь.

Когда он умер, племянник его Цин Лин вступил во владение «Воротами» и назвал их «Храмом Трех Обладаний», но мы, завсегдатаи, по-прежнему называем их «Воротами Ста Печалей». Племянник очень прижимисто ведет дело, и мне кажется, что мэм-сахиб поощряет его в этом. Она с ним живет, как прежде жила со стариком. Оба впускают в заведение всякий сброд — черномазых и тому подобных типов, и черное куриво уже не такого хорошего качества, как бывало. Я не раз и не два находил в своей трубке жженые отруби. Старик — тот умер бы, случись это в его времена. И еще: комна-

ту никогда не убирают, все циновки рваные и обтрепались по краям. Гроба нет, он вернулся в Китай со стариком и двумя унциями курева внутри — на случай, если мертвецу захотелось бы покурить в дороге.

Под носом у идола уже не горит столько курительных свечек, как бывало, а это, бесспорно, недобрый знак. Да и сам идол весь потемнел, и никто за ним больше не ухаживает. Я знаю, всему виной мэм-сахиб: ведь когда Цин Лин захотел было сжечь перед ним золотую бумагу, она сказала, что это пустая трата денег, и еще — что курительные свечи должны только чуть теплиться, так как идол все равно не заметит разницы. И вот теперь в свечи подмешивают много клея, так что они горят на полчаса дольше, но зато скверно пахнут. Я уже не говорю о том, как воняет сама комната. Никакое дело не пойдет, если вести его таким образом. Идолу это не нравится. Я это вижу. Иногда поздно ночью он вдруг начинает отливать какими-то странными оттенками цветов — синим, и зеленым, и красным, совсем как в те времена, когда старик Фун Чин был жив; и он вращает глазами и топает ногами, как демон.

Не знаю, почему я не бросаю этого заведения и не курю спокойно в своей собственной комнатушке на базаре. Скорей всего потому, что, уйди я, Цин Лин убил бы меня, — ведь теперь мои шестьдесят рупий получает он, — да и хлопот не оберешься, а я мало-помалу очень привязался к «Воротам». Ничего в них нет особенного. Они уже не такие, какими были при старике, но покинуть их я бы не смог. Я видел столько людей, приходивших сюда и уходивших. И я видел столько людей, умиравших здесь, на циновках, что теперь мне было бы жутко умереть на свежем воздухе. Я видел такие вещи, которые людям показались бы довольно странными, но если уж ты привержен черному куреву, тебе ничто не кажется странным, за исключением самого черного курева. А если и кажется, так это не имеет значения. Фун Чин — тот был очень разборчив: никогда не впускал клиентов, способных перед смертью надевать неприятностей. Но племянник далеко не так осторожен. Он повсюду болтает, что держит «первоклассное заведение». Никогда не старается тихоночько впускать людей и устраивать их удобно, как это делал Фун Чин. Вот почему «Ворота» получили несколько большую известность, чем прежде. Само собой разумеется — среди черномазых. Племянник не смеет впустить бело-

го или хотя бы человека смешанной крови. Конечно, ему приходится держать нас троих: меня, и мэм-сахиб, и другого евразийца. Мы тут укоренились. Но он не даст нам в долг и одной трубки; ни за что на свете.

Я надеюсь когда-нибудь умереть в «Воротах». Перс и мадрасец теперь здорово сдали. Трубки им зажигает мальчик. Я же всегда это делаю сам. Вероятно, я увижу, как их унесут раньше, чем меня. Вряд ли я переживу мэм-сахиб или Цин Лина. Женщины дольше мужчин выдерживают черное куриво, а Цин Лин — тот хоть и курит дешевый товар, но он стариковой крови. Уличная женщина за два дня до своего смертного часа знала, что умирает, и она умерла на чистой циновке с туго набитой подушкой, а старик повесил ее трубку над самым идолом. Мне кажется, он всегда был привязан к ней. Однако браслеты ее он забрал.

Мне хотелось бы умереть, как эта базарная женщина, — на чистой, прохладной циновке, с трубкой хорошего курива в зубах. Когда я почувствую, что умираю, я попрошу Цин Лина дать мне то и другое, а он пусть себе все вновь и вновь получает мои шестьдесят рупий в месяц. И тогда я буду лежать спокойно и удобно и смотреть, как черные и красные драконы бьются в последней великой битве, а потом...

Впрочем, это не имеет значения. Ничто не имеет для меня большого значения... Хотелось бы только, чтобы Цин Лин не подмешивал отрубей к черному куриву.

ГОРОД СТРАШНОЙ НОЧИ

Тяжелая влажная жара, покрывалом нависшая над ликом земли, устраняла всякую надежду на сон. Жаре помогали цикады, а цикадам — воющие шакалы. Невозможно было тихо сидеть в темном пустом доме, где гулко отдавались все звуки, и слушать, как панкха¹ хлопает по замершему воздуху. Поэтому я в десять часов вечера поставил свою трость на землю в середине сада, чтобы посмотреть, в какую сторону она упадет. Она показала прямо на освещенную луной дорогу в Город Страшной Ночи. Звук ее падения встревожил зайца.

¹ Панкха — опухало.

Он выскочил из своей норы и помчался к заброшенному мусульманскому кладбищу, где черепа с отвалившимися челюстями и берцовые кости с утолщениями на концах, безжалостно обнаженные июльскими ливнями, мерцали, как перламутр, на изрытой дождем почве. Нагретый воздух и тяжелая земля побудили самих мертвецов вылезть наверх в поисках прохлады. Заяц присел, с любопытством понюхал закоптелый осколок лампы и исчез в тени тамарисковой рощицы.

Лачужка ткача циновок, прикорнувшая к индуистскому храму, была набита спящими людьми, похожими на трупы в саванах. Вверху сияло немигающее око луны. Мрак все-таки создает ощущение прохлады, пусть ложное. Трудно было поверить, что льющий сверху поток света не тепел. Не такой горячий, как солнце, но все же томительно теплый, он излишне нагревал тяжелый воздух. Прямая, как брус шлифованной стали, пролегала дорога к Городу Страшной Ночи, и по обеим сторонам ее лежали трупы, скорчившиеся на своих ложах в фантастических позах, — сто семьдесят человеческих тел. Одни — закутанные в белое, с завязанными ртами; другие — обнаженные и при ярком свете черные, как эбеновое дерево. А один, — тот, что лежал лицом кверху с отвисшей челюстью, вдали от других, — серебристо-белый и пепельно-серый.

«Спящий — прокаженный; остальные — усталые кули, слуги, мелкие лавочники и возчики с ближней стоянки повозок. Место действия — главная дорога в город Лахор, а ночь теплая, августовская». Вот и все, на что стоило смотреть, но отнюдь не все, что можно было видеть. Колдовство лунного света разлилось повсюду, и мир пугающе преобразился. Длинная вереница нагих мертвецов с окоченевшей серебряной статуей в конце не радовала глаз. Здесь лежали только мужчины. Так, значит, женщины были обречены спать под сенью душных глинобитных лачуг, — если только они могли спать! Сердитый детский плач, донесшийся с низкой земляной крыши, ответил на этот вопрос. Где дети, там должны быть и матери, чтобы смотреть за детьми. В эти душные ночи им нужен уход. Черная шарообразная головка выглянула из-за карниза, и тонкая, до жалости тонкая коричневая ножка свесилась на водосточный желоб. Резко звякнули стеклянные браслеты; женская рука на мгновение появилась над парашетом, обвилась вокруг худенькой шейки, и упирав-

шегоса ребенка оттащили назад и водворили на кровать. Тонкий, высокий визг его замер в плотном воздухе, едва зазвучав, ибо даже детищам этой земли было слишком жарко, чтобы плакать.

Опять трупы; опять куски освещенной лунным светом белой дороги; вереница сонных верблюдов, отдыхающих в стороне; мелькнувшие призраки убегающих шакалов; извозчичьи лошади, заснувшие в сбруе; деревенские повозки, обитые медными гвоздями, мерцающими в лунном свете, и — снова трупы. Всюду, где только есть тень, — от воза ли с зерном, стоящего с поднятыми оглоблями, от древесного ли ствола, от спиленного ли бревна, пары бамбуков или охапки тростника, — всюду земля усеяна ими. Они лежат в ослепительном лунном свете; некоторые — ничком, скрестив руки, в пыли; иные — закинув за голову сжатые ладони; одни — свернувшись клубочком, как собаки; другие — свесившись с края повозок, как пустые джутовые мешки; третьи — скрюченные, прижав голову к коленям. Было бы как-то спокойнее, если б они храпели, но они не храпят, и сходство их с трупами не нарушается ничем, кроме одной черты: тощие собаки, обнюхав их, отходят прочь. Коегде крошечный ребенок виднеется на ложе отца, и при этом всегда его обнимает охраняющая рука. Но в большинстве случаев дети спят с матерями на крышах. Можно всего ожидать от желтых белозубых бродячих собак, рыщущих вблизи темных тел.

Поток удушливо жаркого воздуха, вырвавшийся из пасти Делийских ворот, едва не разрушает моего намерения войти сейчас в Город Страшной Ночи. В нем смешались все скверные запахи — животные и растительные, — которые успевают накопить город, окруженный стенами, в течение дня и ночи. Температура в недвижных пизанговых и апельсиновых рощах за городскими стенами кажется холодной в сравнении с этим воздухом. Да поможет небо всем больным людям и маленьким детям, лежащим внутри города этой ночью! Высокие стены домов все еще буйно излучают тепло, а из темных переулков несет зловонием, способным отравить буйвола. Но буйволам это нипочем. Стадо их шествует по безлюдной главной улице; изредка они останавливаются, прижимают тяжелые морды к закрытым ставням лавки зерноторговца и фыркают, как дельфины.

Потом наступает безмолвие — безмолвие, пронизанное ночными шумами большого города. Едва, но только

едва, слышатся звуки какого-то струнного инструмента. Высоко над моей головой кто-то распахивает окно, и стук деревянной рамы гулко отдается в пустой улице. На одной из крыш громко пыхтит хукка¹, а люди тихо беседуют под бульканье воды. В другом месте, чуть подалее, разговор слышен отчетливей. Освещенная щель прорезает слегка раздвинутые ставни лавки. Внутри ее купец со щетинистой бородой и усталыми глазами подводит баланс в счетных книгах, окруженный тюками ситца. Три фигуры, закутанные в покрывала, сидят рядом с ним и от времени до времени роняют какое-нибудь замечание. Купец делает запись в книге, потом говорит что-то, потом проводит ладонью по потному лбу. Жара на застроенной улице ужасна. Внутри торговых помещений она, должно быть, почти невыносима. Но работа упорно продолжается: запись, гортанное ворчанье и взмах поднятой руки следуют друг за другом с точностью часового механизма.

Полицейский — без чалмы и крепко уснувший — лежит поперек улицы на пути к мечети Вазир-Хана. Полоса лунного света падает на лоб и глаза спящего, а он и не шевельнется. Близится полночь, но жара как будто все усиливается. Открытая площадь перед мечетью усеяна трупами, и надо тщательно выбирать путь, чтобы не наступить на них. Лунный свет ложится широкими диагональными полосами на облицованный цветными изразцами высокий фасад мечети, и каждый голубь, дремлющий в нишах и углублениях каменной кладки, отбрасывает короткую, маленькую тень. Призраки, закутанные в покрывала, устало поднимаются со своих коек и уплывают в темные глубины здания. Удастся ли мне сейчас взойти на верхушку высокого минарета и оттуда посмотреть вниз, на город? Во всяком случае, стоит попытаться; возможно, что дверь на лестницу не заперта. Она не заперта, но крепко спящий сторож лежит на пороге, обернув лицо к луне. Крыса выскакивает из его тюрбана, слышав шум приближающихся шагов. Человек мычит, на минуту открывает глаза, поворачивается на другой бок и снова засыпает. Весь зной целого десятка свирепых индийских летних периодов скопился в черных, как деготь, полированных стенах винтовой лестницы. На полпути мне попадается что-то живое, теплое и пушистое; и оно сопит. Гонимое со ступеньки на ступеньку звуками моего

¹ Хукка — курительная трубка, кальян.

приближения, оно вспархивает вверх и оказывается желтоглазым рассерженным коршуном. Десятки коршунов спят на этом и других минаретах и на куполах внизу. На этой высоте ощущаешь какой-то наемк на прохладный или, во всяком случае, менее душный воздух, и, освеженный им, я начинаю смотреть на Город Страшной Ночи.

Доре мог бы нарисовать его! Золя мог бы описать его — это зрелище тысячных толп, спящих в лунном свете и тени, рожденной луною. Крыши домов кишат мужчинами, женщинами и детьми, и воздух полон неопределенных шумов. Они не знают покоя, эти жители Города Страшной Ночи, и не удивительно. Чудо, что они могут еще дышать. Внимательно всматриваясь в эти массы, можно заметить, что они почти так же суетливы, как дневная толпа; но шум теперь приглушен. Везде, куда только падает яркий свет, можно видеть, как спящие поворачиваются с боку на бок, переносят свои постели на другое место и снова раскладывают их. Во дворах, похожих на ямы, — такое же движение.

Безжалостная луна обнажает все это. Она обнажает и равнины за городом и кое-где, за стенами его, кусок реки Рави шириной в ладонь. Обнажает брызги мерцающего серебра на крыше дома, почти под самым минаретом мечети. Какой-то несчастный встал, чтобы вылить кувшин воды на свое разгоряченное тело; плеск падающей струи едва достигает слуха. Два или три человека в дальних углах Города Страшной Ночи следуют его примеру, и вода сверкает, как гелиографические сигналы. Облачко ползет по лику луны, и город с его обитателями, до того отчетливо вычерченный черным по белому, расплывается черными, все более черными пятнами. Но длится беспокойный шум — вздох обширного города, истомленного жарой, и народа, тщетно ищущего покоя. Только женщины низших классов спят на крышах домов. Какая пытка, должно быть, теперь в решетчатых зенанах¹, где еще мерцают немногие светильники! Снизу, со двора, доносится шум шагов. Это — муэдзин, верный долгу священнослужитель; но ему следовало быть здесь уже час назад, чтобы возвестить правоверным о том, что молитва лучше сна, — сна, который не сойдет на город.

Муэдзин с минуту нащупывает дверь одного из минаретов, исчезает ненадолго, и вот подобный реву быка великолепный громовой бас возвещает, что он достиг

¹ Зенана — женская половина дома.

верхушки минарета. Наверное, клич этот слышен даже на берегах самой обмелевшей Рави! Вблизи, через двор, он звучит почти подавляюще. Облако уплывает, и муэдзин черным силуэтом встает на фоне неба; руки его приложены к ушам, а широкоую грудь вздымает игра легких.

«Аллаху акбар!»¹ Потом пауза, во время которой другой муэдзин где-то в стороне Золотого храма подхватывает клич «Аллаху акбар». Снова и снова; четыре раза подряд. Человек двенадцать уже встали с кроватей. «Свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха...» Что за великолепный клич — это исповедование веры, десятками поднимающее людей с их постелей в полночь! Еще раз муэдзин громово кричит ту же фразу, трепеща от неистовства своего голоса, и вот вблизи и вдальеке воздух ночи начинает гудеть от кликов: «Мухаммед — его пророк». Кажется, что он бросает вызов дальнему горизонту, где летняя зарница играет и вскидывается, как обнаженный меч. Все муэдзины города кричат полным голосом, и кое-где на крышах домов люди начинают преклонять колена. Долгая пауза предшествует последнему выкрику: «Ля илляхи илляла»², и тишина замыкается над ним, как пресс над тюком хлопка.

Муэдзин, спотыкаясь, сходит вниз по темной лестнице, ворча себе в бороду. Он проходит под входной аркой и исчезает. И тогда душная тишина нависает над Городом Страшной Ночи. Коршуны на минаретах снова засыпают, сопя еще громче, горячий ветер веет то порывами, то вялыми дуновениями, а луна сползает к горизонту. Облокотившись на парапет башни, можно просидеть до самой зари, глядя и дивясь на этот истерзанный жарой улей. «Как они там живут внизу? О чем они думают? Когда они проснутся?» Снова плеск воды, льющейся из кувшинов, слабый скрип деревянных кроватей, передвигаемых в тень или к свету, странная музыка струнных инструментов, смягченная расстоянием и превращенная им в нежный, жалобный плач, и один низкий раскат отдаленного грома. Во дворе мечети сторож, лежавший на пороге минарета, когда я всходил, дико вскакивает во сне, закидывает руки за голову, бормочет что-то и снова валится навзничь. Убаюканный сопением коршунов, — они сопят, как объевшиеся люди, — я погружаюсь в беспо-

¹ Аллаху акбар — Аллах велик!

² Нет бога, кроме Аллаха. — Коран.

койную дремоту, сознавая, что пробило три часа и что в воздухе ощущается легкая — очень легкая — прохлада. Город теперь совершенно безмолвен, если не считать любовной песни какого-то бродячего пса. Нет ничего, кроме мертвого, тяжелого сна.

После этого кажется, что мрак длится несколько недель. Ведь луна зашла. Даже собаки утихли, и я жду первого проблеска зари, чтобы уйти домой. Снова звук шаркающих шагов. Сейчас начнется утренний призыв, и моя ночная стража кончится. «Аллаху акбар! Аллаху акбар!» Восток сереет, потом принимает оттенок шафрана; пред-рассветный ветер прилетает, словно призванный муэдзином; и Город Страшной Ночи как один человек встает со своего ложа и оборачивается лицом к рассветающему дню. С возвратом жизни возвращается звук. Сначала тихий шорох, потом глубокое, низкое гудение, ибо следует помнить, что весь город сейчас на крышах. На веках моих лежит бремя сна, который слишком долго откладывался, и я выхожу из минарета во двор и потом наружу, на площадь, где спящие уже встали, убрали свои постели и собираются курить утреннюю хукку. Минутная свежесть воздуха исчезла, и стало жарко по-прежнему.

— Не будет ли сахиб так добр дать дорогу?

Что это? Нечто несомое на людских плечах появляется из полумрака, и я отступаю назад. Это — труп женщины, который отправляют на гхат сожжения¹, и один из присутствующих объясняет:

— Она умерла в полночь от жары.

Итак, город был не только Городом Ночи, но и Городом Смерти.

В ДОМЕ САДХУ

И падает камень из черной мглы
В ряды, где шагаем мы.
Дик и прекрасен мир вокруг,
Джинны и призраки — вот кто наш друг,
Ибо достигли Древнейшей Земли,
Где скитаются Силы Тьмы.

От сумерек до рассвета»

Дом Садху стоит неподалеку от Таксалийских Ворот, он двухэтажный, на четырех окнах резные ставни старого потемневшего дерева, крыша плоская. Его сразу

¹ Гхат сожжения — кремационная площадка (индусы, как известно, сжигают своих покойников).

узнаешь по пяти красным отпечаткам руки на белой стене между окнами второго этажа — они напоминают пятерку бубен. Первый этаж занимают лавочник Бхагван Дас с женами, слугами, друзьями и нахлебниками и еще один жилец, который утверждает, что зарабатывает на жизнь огранкой камней. В двух верхних комнатах раньше жили Джану, Азизун и маленький черный с рыжими подпалинами терьер, которого какой-то солдат украл у англичанина и подарил Джану. Теперь там осталась одна только Джану. Что касается Садху, то он спит на крыше, хотя гораздо чаще ночует на улице. Раньше, когда наступали холода, он уезжал в Пешавар к сыну, который торгует старинными вещами возле Ворот Эдварда, и тогда он спит под настоящей глиняной крышей. Садху — мой большой друг, потому что благодаря моему содействию сын его двоюродного брата получил место старшего посыльного в крупной фирме в европейском квартале города. Садху твердит, что по милости Аллаха я скоро стану вице-губернатором. Что ж, спасибо на добром слове. Он древний старик, седой как лунь, беззубый, почти выжил из ума и ничего-то ему не надо, осталась только любовь к сыну, к тому самому, что живет в Пешаваре. Джану и Азизун — уроженки Кашмира, известные в городе дамы, представительницы древней и вполне уважаемой профессии; но Азизун вышла замуж за студента-медика с Северо-Запада, переехала в окрестности Барейли и ведет в высшей степени достойную жизнь. Бхагван Дас — вымогатель и жулик. Он очень богат. Тот жилец Садху, который якобы зарабатывает на жизнь огранкой камней, прикидывается чуть ли не нищим. Теперь вам известно все, что следует знать о четырех главных обитателях дома Садху. Конечно, принимал участие в этой истории и я, но как бы в роли хора, который появляется в конце и все разъясняет. Так что я не в счет.

Садху был на редкость бесхитростен. Самым хитрым был жилец, выдающий себя за огранщика, — Бхагван Дас всех надувал, но без особых затей, если не считать Джану. Джану к тому же была красавица, но это к делу не относится.

Сын Садху, который живет в Пешаваре, схватил плеврит, и старый Садху встревожился. Огранщик узнал о беде Садху и решил на ней нажитья. Уж он-то своего не упустит. Один из его приятелей в Пешаваре каждый

день сообщал ему телеграммой о здоровье сына Садху. Вот тут-то и начинается наша история.

Однажды вечером сын двоюродного брата Садху передал мне, что Садху хочет меня видеть, сам он слишком стар и слаб и не может прийти ко мне, но если я посету его, я окажу великую честь дому Садху. Я поехал к нему; думаю, впрочем, что Садху, который в те времена вполне преуспевал, мог бы прислать за будущим вице-губернатором что-нибудь попрстойнее дрянной повозки, которая вытрясла из меня душу, тем более что в этот влажный апрельский вечер было нечем дышать. Повозка едва тащилась. Было совсем темно, когда мы остановились у входа в гробницу Ранджита Сингха¹ возле главных ворот форта. Здесь нас ждал Садху; увидев меня, он заявил, что теперь-то я за мое великодушие непременно получу пост вице-губернатора еще до того, как у меня поседеют волосы. Потом мы побеседовали под звездным небом Хузури Багха о погоде, о моем здоровье, о видах на урожай пшеницы.

Но вот наконец Садху перешел к сути. Оказывается, Джану рассказала ему, что есть приказ Сиркара², запрещающий заниматься колдовством, потому что англичане боятся, как бы колдовство в один прекрасный день не погубило императрицу Индии. Я ничего о таком приказе не знал; наверняка меня ждет что-то интересное, подумал я. Власти не только не запрещают колдовство, возразил я, наоборот, они его всячески поощряют. Им не пренебрегают даже самые высокопоставленные должностные лица. (Что их финансовый отчет, как не откровенное колдовство?) Потом, желая поощрить Садху, я сказал, что если кто-то занимается джаду³, я не вижу никаких причин отказывать ему в признании и поддержке, если, конечно, это джаду с добрыми целями, то есть белая магия, а не злое джаду, которое убивает людей. Ушло довольно много времени, пока Садху наконец признался, что именно за этим он меня и позвал. Прерывающимся шепотом он рассказал мне, что его жилец, выдающий себя за огранщика, на самом деле маг наивейшей магии; к нему каждый день быстрее молнии прилетают вести о больном сыне, живущем в Пешаваре, и

¹ Ранджит Сингх (1780—1839) — сикхский раджа, покорила своей власти Пенджаб и Кашмир,

² Сиркар — правительство.

³ Джаду — колдовство, магия.

эти вести неизменно подтверждаются письмами. Он-то и сказал Садху, что сыну грозит великая опасность, которую можно отвести только с помощью джаду, белой магии, и, само собой, за большое вознаграждение. Тут я начал догадываться, куда ветер дует, и заверил Садху, что я тоже немного разбираюсь в джаду, разумеется, на западный лад, и хочу побывать в его доме и убедиться, что все делается подобающим образом и без обмана. Дальше мы поехали вместе, и по пути Садху рассказал мне, что он уже уплатил огранщику почти двести рупий и что сегодняшнее джаду будет стоить еще двести. Это еще дешево, заметил он, ведь сыну грозит такая страшная опасность; но я не уверен, что Садху говорил искренне.

Когда мы прибыли, окна в доме были занавешены. Из мастерской огранщика неслись жуткие стоны, как будто кто-то испускал дух. Садху весь задрожал и, пока мы ошупью поднимались по лестнице, сообщил, что джаду началось. На верхней площадке нас встретили Джану и Азизун, они предупредили, что джаду совершается в их комнатах, там просторнее. Джану — дама вольнодумствующая. Она прошептала, что это джаду задумано нарочно, чтобы выудить у Садху деньги, и что по этому огранщику давно джеханнам¹ плачет. Старенький Садху трясся от страха. Он метался в полутьме по комнате, без конца повторяя имя сына, и все спрашивал Азизун, как она думает, может быть, огранщик должен сделать ему скидку, ведь как-никак он — хозяин дома. Джану втащила меня в оконную нишу, где была тень. Ставни были закрыты, комнаты освещались только крошечной масляной плашкой. Если я буду стоять тихо, никто меня здесь не увидит.

Стоны внизу стихли, мы услышали шаги на лестнице. Это был огранщик. Он остановился у двери, терьер залаял, Азизун сняла цепочку, и огранщик велел Садху задуть лампу. Все погрузилось в кромешную тьму, только красно светились две хукки, которые курили Джану и Азизун. Огранщик вошел, и я услышал, как Садху бросился на пол и застонал. У Азизун перехватило дыхание, Джану вздрогнула и попятилась к кровати. Звякнуло что-то металлическое, потом над самым полом вспыхнуло бледное голубовато-зеленое пламя. В этом свете можно было разглядеть забившуюся в угол Азизун и терьера, который прижался к ее ногам; Джану, которая

¹ Д ж е х а н н а м — ад у мусульман, геенна.

сидела на кровати, сжав руки и подавшись вперед; лежащего ничком Садху, которого была дрожь, а также самого огранщика камней.

Я в жизни не видел и, надеюсь, никогда больше не увижу подобного зрелища. Огранщик был в оранжевой набедренной повязке, на лбу пышный веночек из белого жасмина, на лодыжках стальные браслеты. Все это не вызывало ни малейшего ужаса. Но когда я взглянул на его лицо, меня прошиб холодный пот. Оно было пепельно-серое, глаза он закатил так, что видны остались одни белки: демон, вурдалак, не знаю, как его назвать, — у него не было ничего общего с угодливым, льстивым старым мошенником, который целыми днями сидел за своим станком под лестницей. Сейчас он лежал на животе, руки вывернуты и заломлены за спину, как будто его связали и бросили на пол. Но голова была поднята. Она торчала под прямым углом к туловищу, как у кобры, приготовившейся к броску. Зрелище было отвратительное. Посреди комнаты на голом земляном полу стоял глубокий медный таз, а в нем плавал бледный голубовато-зеленый огонек, похожий на светлячка. Огранщик камней трижды ополз этот таз. До сих пор не понимаю, как он это проделал. Я видел только, что мускулы у него на спине вздуваются и опадают, больше ничего не двигалось. Одна лишь голова казалась живой, да медленно перекачивались волнами спинные мышцы. Сидящая на кровати Джану дышала хрипло и часто-часто; Азизун закрыла лицо руками; старый Садху беззвучно плакал, вытаскивая крошки из своей седой бороды. Весь ужас был в том, что это извивающееся, ползущее существо не издавало ни единого звука — оно только ползло! И представьте себе, это продолжалось минут десять, и все это время терьер скулил, Азизун дрожала, Джану, казалось, вот-вот задохнется, а Садху плакал.

Я почувствовал, что волосы у меня на голове встанут дыбом, сердце стучало, как вентилятор. К счастью, проделывая свой самый эффектный трюк, огранщик выдал себя, и я успокоился. Закончив это свое не поддающееся описанию трехкратное ползание вокруг таза, он запрокинул голову и выпустил из ноздрей огненную струю. Уж я-то знаю, как пускают огненные струи, я и сам это умею, и потому последние остатки страха исчезли. Огранщик нас нагло надувал. Если бы он просто продолжал ползать, не пытаясь сразить зрителей окончательно, я, может быть, и поверил бы в его могущество. При виде

огненной струи дамы взвизгнули, и тут голова упала, глухо стукнувшись подбородком о пол; теперь тело огранщика лежало неподвижно, как труп со связанными руками. Прошло минут пять, голубовато-зеленое пламя погасло. Джану наклонилась поправить браслет на щиколотке, а Азизун отвернулась к стене и взяла терьера на руки. Садху машинально протянул руку к хукке Джану, и она подвинула ее по полу ногой. Прямо над огранщиком на стене висели два аляповатых портрета в рамках из папьемаше — королева и принц Уэльский. Они взирали сверху на это действо, и их присутствие, как мне казалось, придавало еще большую абсурдность происходящему. В тот миг, когда тишина стала невыносимой, тело перевернулось, откатилось от таза и осталось лежать навзничь. В тазу тихо чмокнуло — очень похоже на рыбу, когда она ловит мошку, — и снова засветился зеленоватый огонь.

Я взглянул на таз и увидел, что в воде покачивается высушенная, сморщенная черная головка индийского младенца, — глаза открыты, рот тоже открыт, волосы сбриты. Это было еще гаже сцены с ползанием — уж очень неожиданно. Не успели мы опомниться, как голова заговорила.

Прочтите у Эдгара По описание, как говорит умирающий, которого к тому же загипнотизировали, — и вы получите лишь слабое представление о том жутком голосе, который мы услышали.

После каждого слова следовала пауза, а в самом голосе слышался звон как бы гудящего колокола. Лишь через несколько минут этого медленного гулкового бормотанья мой холодный пот высох. И тут меня озарило. Я взглянул на лежащее у порога тело и увидел, что в ямке под ключицей все время подергивается мышца, которая у дышащего спокойно человека не должна сокращаться. На наших глазах воспроизводилось одно из древних египетских «чудес», о котором многие из нас читали: голос, от которого леденела кровь, принадлежал талантливейшему чревовещателю. А голова все продолжала булькать в тазу и изрекать слово за словом. Она сообщила Садху, который снова начал подвывать, распростершись на полу, о состоянии его больного сына на сегодняшний вечер. Я всегда буду относиться с уважением к огранщику камней, который с такой трогательной точностью хранил в памяти тексты пешаварских телеграмм. Голова между тем поведала нам, что о боль-

ном день и ночь пекутся искуснейшие врачи и что он окончательно выздоровеет, если вознаграждение могущественному магу, которому она, голова, служит, будет удвоено.

Здесь исполнитель явно нарушил законы жанра. Глупо говорить о деньгах голосом, который мог бы принадлежать разве что Лазарю, восставшему со мертвого одра. Джану, дама с острым мужским умом, тотчас же это поняла, как и я. Она презрительно прошептала: «Асли нахин!»¹ — и в тот же самый миг огонь в тазу погас, голос умолк, мы услышали, как скрипнули петли двери. Джану чиркнула спичкой, зажгла лампу, и мы увидели, что голова, таз и сам огранщик исчезли. Садху ломал руки и пытался объяснить, хоть никто его и не слушал, что даже во имя вечного блаженства он не может достать еще двести рупий. Забывшаяся в угол Азизун была на грани истерики, а Джану спокойно сидела на кровати и доказывала, что все это шарлатанство.

Я рассказал, что мне известно о такого рода джаду; но ее довод оказался гораздо проще. «Колдовство за мзду — это не настоящее колдовство, — заявила она. — Моя мать говорила мне, что по-настоящему приворожить можно только с помощью любви. Этот огранщик просто мошенник, ему помогает шайтан. А я ничего не могу сделать, не смею даже рассказать и попросить помощи, ведь я задолжала Бхагвану Дасу за два золотых кольца и за массивный браслет, который ношу на ноге. Мне приходится покупать еду в его лавке. А огранщик — приятель Бхагвана Даса, и он подсыплет мне отраву. Это дурацкое джаду продолжается уже десять дней, и каждый вечер Садху выкладывает денежки. Раньше огранщик приносил черных кур и лимоны, читал мантры². Такого он еще никогда не выделявал. Азизун — дура, скоро станет парданишин³. Садху от старости из ума выжил. Вот полюбуйте! Я-то надеялась, что он будет содержать меня, пока жив, а когда умрет, мне тоже немало достанется, а он что? Все тратит на этого выродка огранщика, сына шайтана и ослицы!»

Тут я вставил:

— Зачем же Садху меня в это втянул? Конечно,

¹ Асли нахин — совершенно не то.

² Мантры — магические формулы.

³ Парданишин — здесь: замужем.

я могу поговорить с огранщиком, и тот ему вернет деньги. Но все это такая глупость, такая чушь, стыда не обещаться!

— Конечно, Садху — старый дурак, — отвечала Джану. — Он все свои семьдесят лет спит на крыше, и ума у него не больше, чем у козы. А привел он вас сюда, чтобы убедиться, что он не нарушает закон Сиркара, ведь Садху когда-то приходилось сидеть на казенных харчах. Он готов ноги огранщику мыть и воду пить, а этот пожиратель коров не пускает его к сыну. Что Садху знает о ваших законах и о почте, которая летит быстрее молнии? А я должна смотреть, как его денежки плывут в руки к этому шарлатану, этому мошеннику, который живет внизу.

Джану топнула ножкой и от обиды чуть не заплакала; Садху все хныкал в углу под одеялом, а Азизун пыталась всунуть мундштук хукки в рот глупому старику.

И вот как обстоят дела сейчас. Я проявил легкомыслие, и теперь у властей есть все основания обвинить меня в пособничестве огранщику, который получает деньги незаконным путем, что карается в соответствии с параграфом 420 Уголовного кодекса Индии. Я бессилён что-либо изменить, и вот почему. Сообщить в полицию я не могу. Разве найду я свидетелей, которые подтвердят мое заявление? Джану наотрез отказалась, а Азизун — замужняя дама, живет в окрестностях Барейли, попробуй найди ее в нашей огромной Индии. Действовать от имени закона и предъявить обвинение огранщику я не решаюсь, потому что Садху перестанет мне доверять, а Джану просто-напросто отравят, ведь она связана по рукам и ногам своим долгом лавочнику. Садху впал в маразм; когда мы встречаемся, он каждый раз повторяет мою глупую шутку, что Сиркар поощряет белую магию, а вовсе не черную. Сын его поправился, но сам он теперь в полной зависимости от огранщика и что тот скажет, то и делает. Джану каждый день видит, как деньги, которые она надеялась вытянуть у Садху, утекают к огранщику, и пылает неукротимой злобой.

Она никогда не выдаст тайны, потому что не осмелится; но если не вмешается судьба, боюсь, огранщик в мае умрет от холеры — от той ее разновидности, что называется мышьяком. И тогда я стану соучастником убийства в доме Садху.

ЖИЗНЬ МУХАММЕД-ДИНА

Какой человек называется счастливым человеком?

Тот, у кого в доме бегают, падают и плачут перепачканные малые дети.

*«Муничандра» в переводе
профессора Питерсона*

Шар для игры в поло был старый, растресканный и щербатый. Он лежал на каминной полке рядом с трубками, которые прочищал для меня Имам-Дин, мой слуга.

— Этот шар нужен Небеснорожденному? — почтительно спросил меня Имам-Дин.

Небеснорожденному шар для поло был в общем-то ни к чему, непонятно только, зачем он мог понадобиться Имам-Дину.

— С позволения вашей милости, у меня есть малютка сын. Он видел этот шар и хотел бы поиграть им. Я не для себя прошу.

Никому бы и в голову не пришло, что дородный, пожилой Имам-Дин хочет поиграть в поло. Он вынес обшарпанный шар на веранду, и тотчас же послышался бурный, радостный писк, топот маленьких ног и глухой стук дерева об землю.

Значит, малютка сын дожидался вожделенного сокровища за дверью. Но каким образом он его углядел?

Назавтра я вернулся из конторы на полчаса раньше обычного и застал у себя в столовой маленького человечка — крохотного, пухлого человечка в несуразно короткой рубашонке, едва ему до пупа. Человечек сосал палец и разглядывал картины по стенам и при этом тихо то ли напевал, то ли мурлыкал себе под нос. Это, без сомнения, и был малютка сын.

Находиться в моей комнате ему, конечно, не полагалось, но он был так поглощен созерцанием, что даже не услышал, как я открыл дверь. Я вошел и перепугал его до полусмерти. Он охнул и сел прямо на пол. Глаза у него широко раскрылись, рот тоже. Я знал, что за этим последует, и поспешил вон. Вслед мне понесся протяжный, громкий плач, который достиг ушей моих слуг гораздо быстрее, чем любое мое приказание. Через десять секунд Имам-Дин уже был в столовой. Оттуда послышались горькие рыдания, я вернулся и застал Имам-Дина отчитывающим юного грешника, который

вместо носового платка пользовался своей куцей рубашонкой.

— Этот мальчик, — укоризненно произнес Имам-Дин, — настоящий бадмаш¹. Большой бадмаш. Он, несомненно, попадет в тюрьму за свое дурное поведение.

Раздались новые рыдания обвиняемого и церемонные извинения Имам-Дина.

— Скажи малышу, — ответил я, — что сахиб не сердится. И уведи его.

Имам-Дин сообщил преступнику о прощении, и тот, собрав всю рубашонку хомутом вокруг шеи, перестал рыдать, только еще всхлипывал. Отец и сын направились к двери.

— Его зовут Мухаммед-Дин, — объяснил мне Имам-Дин, словно имя тоже входило в состав преступления. — И он большой бадмаш.

Мухаммед-Дин, избавленный от страшной опасности, обернулся ко мне, сидя на руках у отца, и серьезно сказал:

— Это правда, сахиб, что меня зовут Мухаммед-Дин. Но я не бадмаш. Я мужчина.

Так началось мое знакомство с Мухаммед-Дином. В столовой у меня он больше не появлялся, но на нейтральной территории сада мы часто встречались и церемонно приветствовали друг друга, хотя он только и произносил, что «Салам, сахиб», и «Салам, Мухаммед-Дин» — только и отвечал ему я. Каждый день, возвращаясь со службы, я видел пухлого человечка в белой рубашонке, подымающегося мне навстречу из тени увитой виноградом беседки; и каждый день я на этом месте придерживал лошадь, чтобы не смазать, не испортить нашей торжественной встречи.

Малыш всегда играл один. Он часами копошился в кустах клещевины и сновал по саду, занятый какими-то своими таинственными заботами. Однажды в глубине сада я напал на его произведение. У моих подошв, врытый до половины в песок, лежал шар для игры в поло, а вокруг были кольцом натканы шесть завядших бархатцев. Снаружи этого кольца был квадрат, выложенный битым кирпичом вперемешку с черепками фарфора. А квадрат, в свою очередь, окружал низенький песчаный вал. Водонос у колодца решил замолвить слово за маленького строителя: это всего лишь детская забава и моему саду не будет от нее ущерба.

¹ Бадмаш — дурной человек, о детях — проказник.

Видит Бог, у меня и в мыслях не было портить его работу — ни тогда, ни потом; но в тот же вечер, прогуливаясь по саду, я сам не заметил, как наступил на нее и нечаянно растоптал и бархатцы, и песчаный вал, и черепки от разбитой мыльницы и все безнадежно испортил. Утром мне попался на глаза Мухаммед-Дин, тихо проливающий слезы над причиненными мною разрушениями. Кто-то безжалостно сказал ему, что сахиб рассердился на беспорядок в саду, страшно ругался и самолично разбросал все его хозяйство. И Мухаммед-Дин целый час трудился, чтобы уничтожить все следы песчаного вала и ограды из черепков. Он поднял мне навстречу голову, произнося свое обычное: «Салам, сахиб», — и личико у него было заплаканное и виноватое. Устроили расследование, и Имам-Дин объявил Мухаммед-Дину, что по моей величайшей милости ему разрешается делать в саду все, что он пожелает. Малыш воспрянул духом и занялся разбивкой сооружения, которое должно было затмить конструкцию из бархатцев и деревянного шара.

Несколько месяцев это толстенькое диво тихо вращалось по своей орбите в песке и кустах клещевины, неустанно возводя роскошные дворцы из завялых цветов, выкинутых уборщиком на свалку, гладких речных голышей, каких-то стеклышек и перьев, добытых, наверное, у меня на птичьем дворе, — всегда в одиночестве и всегда то ли напевая, то ли мурлыча себе под нос.

Однажды рядом с его очередной постройкой очутилась как бы ненароком пестрая морская раковина; и я стал ждать, чтобы Мухаммед-Дин возвел на таком основании что-нибудь особенно великолепное. Ожидания мои не были обмануты. Добрый час Мухаммед-Дин провел в размышлениях, и вот мурлыканье его зазвучало как победная песнь. Он стал чертить на песке. Да, то должен был получиться сказочный дворец, ведь он имел в плане целых два ярда в длину и ярд в ширину. Но величественному замыслу не суждено было осуществиться.

На следующий день, возвращаясь со службы, я не увидел Мухаммед-Дина на дорожке и не услышал его приветствия: «Салам, сахиб». Я успел к нему привыкнуть, и перемена встревожила меня. А еще через день Имам-Дин сказал мне, что малыша слегка лихорадит и неплохо бы дать ему хинин. Хинин он получил, а заодно с хинином и доктора-англичанина.

— Никакой сопротивляемости у этой публики, — сказал доктор, выходя от Имам-Дина.

Спустя неделю я встретил Имам-Дина (хотя дорого бы дал, чтобы избежать этой встречи) на дороге к мусульманскому кладбищу. В сопровождении еще одного человека он шел и нес на руках белый полотняный сверток — все, что осталось от маленького Мухаммед-Дина.

ЛИСПЕТ

Любовь изгнали вы! Не вам меня учить.
Каких богов мне чтить!
Един во Трех? Три в Нем? Не верю им!
Вернусь к богам своим.
Мне утешение дадут они верней.
Чем ваша Троица

с Христом бесстрастным в ней¹.

Новообращенный

Она была дочерью горца Соно и жены его Джаде. Как-то раз у них не уродился маис, и два медведя забрались ночью на их единственное маисовое поле над долиной Сатледжа, неподалеку от Котгарха, и поэтому зимой они перешли в христианство и принесли в миссию свою дочь, чтобы ее окрестили. Котгархский пастор назвал ее Элизабет — «Лиспет», как произносят в горах на языке пахари².

Позже в Котгархской долине вспыхнула холера. Она поразила Соно и Джаде, и Лиспет стала не то служанкой, не то компаньонкой жены тогдашнего котгархского пастора. Это случилось уже после того, как в миссиях властвовали моравские братья, но Котгарх тогда еще не совсем утратил свою славу господина северных гор.

Не знаю, христианство ли пошло на пользу Лиспет или боги ее племени пеклись о ней не меньше, но она росла красавицей. А когда девушка с гор — красавица, стоит проехать пятьдесят миль по плохой дороге для того только, чтобы взглянуть на нее. У Лиспет было античное лицо — одно из тех лиц, которые так часто видишь на картинах и так редко в жизни, — кожа цве-

¹ Перевод Д. Закса.

² Па х а р и — народность, живущая в западной части Гималаев.

та слоновой кости и удивительные глаза. Для уроженки тех мест она была очень высокой, и если бы не платье из безобразного, излюбленного в миссиях набивного ситца, вы бы подумали, неожиданно встретив ее в горах, что это сама Диана вышла на охоту.

Лиспет легко приноровилась к христианству и, когда выросла, не отвернулась от него, не в пример многим другим девушкам с гор. Соплеменники не любили ее, потому что, говорили они, она сделалась мэм-сахиб и каждый день умывается; а жена пастора не знала, как с ней обращаться. Казалось, неловко заставлять величественную богиню пяти футов десяти дюймов роста мыть тарелки и чистить кастрюли. Поэтому Лиспет играла с пасторскими детьми, ходила в воскресную школу, читала все книги, какие попадались ей в руки, и становилась все краше и краше, как принцесса в волшебной сказке. Жена пастора говорила, что девушке следовало бы поехать в Симлу и найти там себе какое-нибудь «приличное» место: стать няней или чем-нибудь в этом роде. Но Лиспет не хотела искать себе места. Она была счастлива в Котгархе.

Когда путешественники — в те годы это бывало не часто — вдруг приезжали в Котгарх, Лиспет обычно запиралась у себя в комнате, боясь, как бы они не увезли ее в Симлу или еще куда-нибудь в неведомый мир.

Однажды, вскоре после того как ей исполнилось семнадцать, Лиспет отправилась в горы. Гуляла она не так, как английские дамы — мили полторы пешком, а обратно в коляске. Во время своих прогулок, делая миль по двадцать — тридцать, она исходила вдоль и поперек все окрестности Котгарха до самой Нарканды. На этот раз она вернулась, когда уже совсем стемнело, спустившись в Котгарх по обрывистому склону с чем-то тяжелым на руках. Жена пастора дремала в гостиной, когда, с трудом переводя дух, чуть не падая под тяжестью ноши, туда вошла Лиспет. Положив свою ношу на диван, она сказала просто:

— Это мой муж. Я нашла его на дороге в Баги. Он расшибся. Мы выходим его, и, когда он поправится, пастор нас обвенчает.

До сих пор Лиспет ни разу не упоминала о своих матримониальных намерениях, и жена пастора пришла в ужас. Однако прежде всего надо было заняться человеком, лежащим на диване. Это был молодой англичанин, на голове у него зияла рваная рана... Лиспет сказа-

ла, что нашла его у подножия горы, вот она и принесла его в миссию. Он прерывисто дышал и был без сознания.

Его уложили в постель, и пастор, имевший некоторые познания в медицине, перевязал ему рану, а Лиспет поджидала за дверью на случай, если понадобится ее помощь. Она объявила пастору, что за этого мужчину она намерена выйти замуж, и пастор и его жена строго отчитали ее за неприличие ее поведения. Лиспет спокойно их выслушала и повторила то же самое. Христианству немало еще надо потрудиться, дабы уничтожить в жителях Востока такие варварские инстинкты, как, например, любовь с первого взгляда. Лиспет не понимала, почему, найдя человека, достойного преклонения, она должна молчать об этом. И она вовсе не желала, чтобы ее отсылали прочь. Она собиралась ухаживать за англичанином, пока он не поправится настолько, что сможет на ней жениться. Такова была ее нехитрая программа.

Пролежав две недели в жару из-за воспаления раны, англичанин стал поправляться и поблагодарил пастора, и его жену, и Лиспет — особенно Лиспет — за их доброту. Он путешествует по Востоку, сказал он (в те дни, когда «Восточное пароходство» только-только возникло и не располагало многими судами, «туристов» не было еще и в помине), и прибыл сюда, в горы Симлы, из Дехра-Дуна собирать растения и бабочек. Поэтому никто в Симле его не знает. Он думает, что, должно быть, упал с обрыва, когда пытался добраться до папоротника, росшего на тухлявом стволе, и что его кули бежали, захватив с собой всю поклажу. Он предполагает вернуться в Симлу, когда немного окрепнет. Лазать по горам у него отпала охота.

Он не очень спешил покинуть миссию, да и силы его восстанавливались медленно. Лиспет не желала слушать ничьих советов, поэтому жена пастора рассказала англичанину, что забрала себе в голову Лиспет. Он очень смеялся и заметил, что все это весьма романтично, настоящая гималайская идиллия, но поскольку на родине у него уже есть невеста, он полагает, что здесь и говорить не о чем. Конечно, вести себя он постарается благоразумно. И англичанин сдержал свое слово. Однако он находил весьма приятным беседовать с Лиспет, гулять с ней, шептать ей нежные слова, называть ласкательными именами, пока он набирался сил для того, чтобы навсегда их покинуть. Все это ничего не значило

для него и очень много — для Лиспет. Она была счастлива, потому что нашла человека, которого могла любить.

Дикарка по природе, Лиспет и не старалась скрывать свои чувства, и это забавляло англичанина. Когда он покидал миссию, Лиспет, встревоженная и удрученная, проводила его до самой Нарканды. Жена пастора, будучи доброй христианкой и ненавидя всякие сцены и скандалы, — а Лиспет совершенно отбилась от рук, — попросила англичанина пообещать девушке, что он вернется и женится на ней.

— Видите ли, она еще сущий ребенок и, боюсь, в душе язычница, — сказала жена пастора.

Поэтому все двенадцать миль вверх по горе англичанин, обняв Лиспет за талию, уверял ее, что он скоро вернется и они обвенчаются, и Лиспет заставляла его вновь и вновь повторять свое обещание. Расстались они на хребте Нарканды, и Лиспет плакала, пока он не скрылся из виду на повороте дороги, ведущей в Маттиани.

Тогда она вытерла слезы и снова спустилась в Котгарх и сказала жене пастора:

— Он вернется и станет моим мужем. Он поехал к своим, чтобы сообщить об этом.

И жена пастора утешала Лиспет и говорила:

— Да, конечно, он вернется.

К концу второго месяца Лиспет стала проявлять беспокойство, и ей сказали, что англичанин уехал за море, в Англию. Она знала, где находится Англия, потому что читала простенькие учебники географии, но, естественно, не представляла себе, что такое море, — ведь она выросла среди гор. В доме была старая игра-головоломка — разборная карта мира; Лиспет часто играла ею в детстве. Она снова разыскала карту и по вечерам складывала ее и тихо плакала, стараясь вообразить, где находится ее англичанин. Поскольку она не имела ни малейшего понятия о расстояниях и пароходах, ее догадки были довольно далеки от истины. Но даже если бы они были абсолютно верны, это ничего не изменило бы, потому что англичанин вовсе не имел намерения возвращаться в Котгарх, чтобы жениться на девушке с гор. Он совершенно забыл ее, пока охотился за бабочками в Ассаме. Впоследствии он написал книгу о Востоке. Имя Лиспет там не упоминалось.

Когда третий месяц подошел к концу, Лиспет стала

ежедневно совершать паломничество в Нарканду, чтобы посмотреть, не идет ли по дороге ее англичанин. От этого ей становилось легче, и жена пастора, видя ее счастливой, чем прежде, решила, что она понемногу избавляется от своей «варварской и крайне нескромной причуды». Через некоторое время прогулки эти перестали помогать Лиспет, и она снова стала очень раздражительной. Жена пастора сочла, что наступило время сообщить Лиспет, каково истинное положение вещей: что англичанин обещал жениться на ней, только чтобы ее успокоить, у него этого и в мыслях не было, и что «грешно и неприлично» со стороны Лиспет думать о браке с человеком, который принадлежит к «высшей расе», не говоря уж о том, что он обручен с девушкой-англичанкой. Лиспет сказала, что это невозможно: ведь англичанин уверял ее в своей любви и она, жена пастора, сама подтвердила, что он вернется.

— Как может быть неправдой то, что он и вы говорили мне? — спросила она.

— Мы говорили так, чтобы успокоить тебя, дитя, — сказала жена пастора.

— Значит, вы лгали мне оба, — воскликнула Лиспет, — и вы и он!

Жена пастора в ответ только склонила голову. Лиспет некоторое время тоже молчала. Затем она ушла из миссии и вернулась в невероятно грязной одежде гималайских женщин, однако без колец в носу и ушах. Волосы, по обычаю женщин с гор, она заплела в длинную косу, перевитую черными нитками.

— Я возвращаюсь к своему народу, — сказала она. — Вы убили Лиспет. Осталась только дочь старой Джаде... дочь пахари и рабыня Тарка-Дэви¹. Все вы, англичане, лгуны.

Пока жена пастора оправлялась от удара, нанесенного ей сообщением, что Лиспет возвращается к богам своих предков, девушка исчезла и никогда больше в миссии не появлялась.

Она горячо полюбила свой народ, словно желая возместить с лихвой все те годы, что чуждалась его, и вскоре вышла замуж за дровосека, который бил ее, как это водится у пахари, и красота ее быстро поблекла.

— Причуды этих дикарей непостижимы, — говорила

¹ Тарка-Дэви — вероятно, Дурга-Дэви, жена бога Шивы в ее грозной ипостаси.

жена пастора, — и я полагаю, что в душе Лиспет всегда оставалась язычницей.

Если учесть, что Лиспет была принята в лоно англиканской церкви в зрелом возрасте пяти недель от роду, это утверждение не делает чести жене пастора.

Лиспет дожила до глубокой старости. Она прекрасно владела английским языком и порой, когда бывала в достаточной мере пьяна, соглашалась рассказать историю своей первой любви.

И трудно было поверить, глядя на нее, что это морщинистое существо с тусклым взором, похожее на кучку истлевшей ветоши, та самая Лиспет из котгархской миссии.

САИС¹ МИСС ЙОЛ

Если между мужчиной и женщиной есть согласие, что может поделаться кази?

Мусульманская поговорка

Некоторые считают, что в Индии нет романтики. Они не правы. В жизни нашей столько романтики, сколько это для нас полезно. Иногда даже больше.

Стрикленд служил в полиции, и люди его не понимали, а потому говорили, что он сомнительная личность, и сторонились его. Этим Стрикленд был обязан самому себе. Он придерживался той необычной теории, что в Индии полицейский должен стараться узнать о туземцах столько, сколько они сами о себе знают. Надо сказать, что во всей Северной Индии есть только один человек, способный по своему выбору сойти за индуса или мусульманина, чамара² или факира. Туземцы от Гхор-Катхри до Джама-Масджид боятся и уважают его, а кроме того, верят, что он обладает даром превращаться в невидимку и управлять многими демонами. Но какую награду получил он за это от правительства? Абсолютно никакой. Ему не доверили управлять Симлой, и англичанам имя его почти неизвестно.

Стрикленд был так неразумен, что подражал этому человеку и, следуя своей нелепой теории, слонялся по

¹ Саис — конюх.

² Чамар — член касты кожевников, одной из самых низких в Индии.

всяким отвратительным местам, сунуться в которые не решился бы ни один порядочный человек, а также якшался с подонками туземного общества. Таким своеобразным способом учился он в течение семи лет, и люди были не в силах это оценить. Он вечно толкался среди туземцев в личине последователя какого-нибудь верования, в пользу чего ни один разумный человек, конечно, не верит. Однажды, получив отпуск, он в Аллахабаде был посвящен в Сат-бхай¹; он знал «Песню ящерицы» людей санси² и видел пляску халь-е-хак³ — религиозный канкан самого необычайного жанра. А уж если человек знает, какие люди пляшут халь-е-хак, как пляшут, когда и где, — он знает кое-что, чем можно гордиться. Это значит, что он проник не только «под кожу», а глубже. Но Стрикленд не гордился, хотя однажды в Джагадхри он помогал красить Быка Смерти⁴, которого ни один англичанин не должен даже видеть; он овладел воровским жаргоном чангаров⁵, самолично поймал невдалеке от Аттока юсуфзайского⁶ конокрада, стоял под мимбаром⁷ в одной пограничной мечети и совершал богослужение как мулла-суннит.

Венцом его подвигов были одиннадцать дней, проведенных под видом факира в амритсарских садах Баба-Атала, где он распутывал нити крупного уголовного дела об убийстве Насибана. Но люди говорили — и довольно резонно:

— Почему, черт возьми, Стрикленд не может сидеть у себя в канцелярии, писать служебные отчеты, полнеть и помалкивать, вместо того чтобы выставлять напоказ неспособность своих начальников?

Итак, дело об убийстве Насибана не принесло ему повышения по службе; но после первой вспышки гнева он опять принялся, по своему странному обыкновению, совать нос в туземную жизнь. Между прочим, если человек однажды войдет во вкус этого своеобразного развле-

¹ Сат-бхай — «Семь братьев», название религиозной секты.

² Санси — кочевое племя, промышляющее воровством, считается низким по касте.

³ Халь-е-хак — экстатическая пляска дервишей.

⁴ Бык Смерти. — Речь идет, видимо, о быке Нанди, ездовом животном бога Шивы.

⁵ Чангары — кочевое население, нанимающееся на сельские работы.

⁶ Юсуфзай — пуштунское племя, жившее около Хайберского прохода.

⁷ Мимбар — кафедра для произнесения проповедей в мечети.

чения, он уже не отвыкнет от него до конца своих дней. Это самое увлекательное в мире занятие, не исключая любви. Когда другие уезжали на десять дней в Гималаи, Стрикленд, взяв отпуск, отправлялся на шикар¹, как он это называл, и, приняв тот вид, который ему хотелось принять тогда, смешивался с коричневой толпой, а та на время поглощала его. Это был спокойный смуглый молодой человек, худошавый, черноглазый и — если только он не думал о чем-нибудь постороннем — очень интересный собеседник. Стрикленда стоило послушать, когда он описывал местный быт таким, каким видел его. Туземцы ненавидели, но боялись Стрикленда. Он знал слишком много.

Когда в город приехали Йолы, Стрикленд очень серьезно — как и все, что он делал, — влюбился в мисс Йол, а она немного погодя влюбилась в него, потому что не могла понять, что он за человек.

Тогда Стрикленд попросил ее руки у ее родителей; но миссис Йол заявила, что она не намерена бросить свою дочь в самое скудно оплачиваемое ведомство империи, а старик Йол сказал напрямик, что не одобряет деятельности и поведения Стрикленда и просит его отныне не говорить с их дочерью и не писать ей.

— Хорошо, не буду, — ответил Стрикленд, ибо не хотел портить жизнь своей возлюбленной. После одного длинного разговора с мисс Йол он окончательно отказался от своих притязаний.

В апреле Йолы уехали в Симлу.

В июле Стрикленд взял трехмесячный отпуск под предлогом «срочных личных дел». Он запер свой дом — хотя ни один человек во всей провинции ни за что на свете не рискнул бы умышленно тронуть имущество «Истрикин-сахиба» — и отправился в Тари-Таран навестить своего приятеля — старика красильщика.

Тут следы его затерялись; но вот однажды на бульваре в Симле ко мне подошел какой-то саис и протянул нижеследующую странную записку:

«Дорогой друг, передай, пожалуйста, подателю сего коробку чирут², желательного высшего сорта № 1. Самые свежие можно найти в клубе. Заплачу, когда снова появлюсь на горизонте, а пока что я — вне общества.

Твой Э. Стрикленд».

¹ Шикар — охота.

² Чируты — сигары.

Я купил две коробки и отдал их саису, приказав передать привет. Этот саис был сам Стрикленд, он служил у старика Йола и был приставлен к арабскому скакуну мисс Йол. Бедный малый соскучился по английскому табаку и не сомневался, что, пока все не закончится, я буду держать язык за зубами, что бы ни случилось.

Вскоре миссис Йол, вечно занятая возней с прислугой, стала рассказывать во всех домах, где она бывала с визитами, о своем образцовом саисе — парне, которому всегда хватает времени встать спозаранку и нарвать цветов для украшения стола к первому завтраку и который начищает — можно сказать, до черноты начищает — копыта коней не хуже, чем какой-нибудь лондонский кучер! Арабский скакун мисс Йол был выхолоен так, что просто чудо, смотреть приятно. Стрикленд — то бишь Далу — вознаграждался теми ласковыми словами, которые говорила ему мисс Йол, катаясь верхом. Родители ее радовались, видя, что она позабыла о своем глупом увлечении молодым Стриклендом, и называли ее хорошей девочкой.

Стрикленд уверяет, что те два месяца, которые он провел в услужении, оказались для него самой суровой школой душевной выдержки. Не говоря уж о том мало-важном обстоятельстве, что жена одного из его товарищей-саисов увлеклась им и чуть было не отравила его мышьяком за то, что он отверг ее домогательства, ему пришлось выучиться сохранять спокойствие, когда мисс Йол ездила кататься с каким-нибудь мужчиной, который пытался флиртовать с ней, в то время как сам он, Стрикленд, должен был трусить позади с пледом на руке и слышать каждое слово! Ему приходилось сдерживаться и в тех случаях, когда какой-нибудь полисмен орал на него у подъезда Бенмора¹ — особенно в тот раз, когда его изругал наик, которого он сам же и завербовал на службу в деревне Айсар-Джанг, или, еще хуже, когда какой-нибудь юный офицер обзывал его свиньей за то, что он не успевал достаточно быстро посторониться.

Но эта жизнь все-таки давала ему кое-какие компенсации. Он досконально изучил все обычаи, все воровские методы саисов — так хорошо изучил, что, по его словам, смог бы огулом привлечь к суду половину панджабских чамаров, будь он сейчас на службе. Он стал одним

¹ Бенмор — здание Общественного собрания в Симле.

из лучших игроков в бабки, а это игра, в которую любят играть все джампани¹ и многие саисы, ожидая ночью своих хозяев у Дома правительства или оперного театра; он выучился курить табак, состоящий на три четверти из коровьего навоза, и выслушал мудрые изречения седовласого джамадара² всех саисов Дома правительства. А эти изречения весьма ценны. Он видел множество интересных для него вещей и чеством заверяет, что никто не может как следует оценить Симлы, пока не посмотрит на нее с точки зрения саиса. Он говорит также, что, вздумай он записывать все, что видел, ему проломили бы голову.

Забавно описывает Стрикленд, какие муки он испытывал дождливыми ночами, слушая музыку и глядя на освещенные окна Бенмора, когда ноги его так и просились танцевать вальс, а голова была покрыта лошадиной попоной. Стрикленд собирается когда-нибудь написать книжку о своих приключениях. Эта книжка будет заслуживать того, чтобы ее покупали, и еще в большей степени — чтобы ее изъяли.

Итак, он служил верно, как служил Иаков, чтобы получить Рахиль, и отпуск его уже кончался, как вдруг произошел взрыв. Стрикленд изо всех сил старался сдерживаться, когда при нем начинали флиртовать, о чем я уже упоминал, но в конце концов не выдержал. Как-то один старый и весьма почтенный генерал отправился кататься верхом с мисс Йол и начал за ней ухаживать в том особенно неприятном стиле, когда женщине дают понять, что она «совсем еще маленькая девочка», — стиле, неприятном потому, что ловко пресечь эти любезности чрезвычайно трудно, а слушая их, можно взбеситься. Мисс Йол дрожала от страха, зная, что ее саис тоже слышит слова генерала.

Далу — Стрикленд терпел, пока хватало сил. И вдруг схватил генеральскую лошадь под уздцы и на чистейшем английском языке попросил седока спешиться, грозя сбросить его под откос. Тут мисс Йол расплакалась, а Стрикленд понял, что бесповоротно выдал себя и все пропало.

Генерал едва не лишился чувств, а мисс Йол, всхлипывая, изложила ему всю историю переодевания и отвергнутого родителями сватовства. Стрикленд был в яро-

¹ Джампани — слуги, несущие паланкин — джампан.

² Джамадар — здесь: староста.

сти — он злился на самого себя к особенно на генерала, вынудившего его открыться, — а потому молча держал лошадь под уздцы, готовясь отхлестать генерала, чтобы получить хоть какое-нибудь удовлетворение. Но когда генерал как следует уразумел всю историю и узнал, кто такой Стрикленд, он принялся пыхтеть и фыркать и от хохота чуть не свалился с седла. Он сказал, что Стрикленд заслуживает ордена «Крест Виктории» за одно лишь то, что решился надеть попону саиса. Затем стал ругать самого себя и признал, что заслуживает взбучки, но слишком стар, чтобы получить ее от Стрикленда. Потом обратился к мисс Йол и поздравил ее с таким возлюбленным. Скандальный характер всей этой истории ничуть его не шокировал, ибо он был очень милый старикан, хоть и склонный к флирту. Наконец он снова расхохотался и заявил, что старик Йол дурак. Стрикленд отпустил лошадь и намекнул, что хорошо бы генералу помочь им, раз уж таково его мнение. Стрикленд знал, что Йол питает слабость к высокопоставленным титулованным лицам, у которых после имен стоят разные буквы.

— Все это смахивает на какой-то фарс, — молвил генерал, — но, клянусь, я вам обязательно помогу, хотя бы только затем, чтобы избежать жестокой взбучки, которую заслужил. Ну, саис-полисмен, поезжайте домой и переоденьтесь в приличное платье, а я поведу атаку на мистера Йола. Прошу вас, мисс Йол, скачите домой и ждите нас там.

• • • • •
Минут через семь в клубе поднялась дикая суматоха. Какой-то саис с попоной и поводьями в руках просил всех знакомых ему мужчин:

— Ради бога, одолжите мне приличный костюм! Его не узнавали, и произошло несколько комических сцен, пока наконец Стрикленду не удалось в одной из комнат получить горячую ванну с содой, в другом месте достать рубашку, в третьем — воротничок, в четвертом — брюки и так далее. Он поскакал к Йолам на чужом пони, увозя на себе одежду половины всех членов клуба. Генерал, облаченный в красный мундир и тонкое белье, приехал раньше него. Что говорил генерал, осталось Стрикленду неизвестным, но Йол принял

Стрикленда довольно любезно, а миссис Йол, тронутая преданностью преображенного Далу, была почти ласкова с ним. Генерал сиял и похотывал; вошла мисс Йол, и старик Йол не успел оглянуться, как родительское согласие было вырвано, и Стрикленд вместе с мисс Йол отправился на телеграф, чтобы выписать свои костюмы. Последней его неприятностью оказалась встреча на бульваре с каким-то незнакомцем, который потребовал вернуть ему украденного пони.

Итак, а конце концов Стрикленд и мисс Йол были обвенчаны с тем непременно условием, чтобы Стрикленд изменил свое поведение и впредь соблюдал порядок, заведенный в его ведомстве, что наиболее выгодно и «ведет в Симлу». В то время Стрикленд слишком сильно любил свою жену, чтобы не сдерживать слова, но это было для него тяжелым испытанием, ибо улицы и базары и их звуки и шумы говорили ему о многом и звали его вернуться, чтобы снова пускаться в странствия и делать открытия. Когда-нибудь я расскажу вам, как он однажды нарушил обещание, чтобы помочь другу. Это случилось много времени спустя, и тогда он уже почти не годился для того, что некогда называл шикаром. Он забывает народный язык и жаргон нищих, забывает условные знаки и метки и скрытый смысл подтекста, ибо тот, кто хочет все это знать, должен изучать это непрерывно.

Но зато он отлично составляет отчеты для своего ведомства.

НОЧНЫЕ ЧАСЫ

Что у брахмана в книгах,
то у брахмана в сердце.
Ни вы, ни я не знали,
как много в мире зла.

Индусское речение

Сначала все это было похоже на шутку; но потом зашло довольно далеко, и теперь дело начинает становиться серьезным.

Младший офицер Плат, небогатый человек, имел часы фирмы Уотербери, которые он носил на простом кожаном ремешке.

У полковника тоже были часы фирмы Уотербери, но он носил их на подбородном ремешке от конского

мундштука. Эти ремешки лучше всего подходят для часов. Они крепки и коротки. Ремешок от конского мундштука и простой кожаный ремешок мало чем отличаются друг от друга; все экземпляры часов Уотербери совершенно одинаковы. На станции все поголовно знали ремешок от конского мундштука, на котором полковник носил свои часы. Полковник не был хорошим ездоком, но ему хотелось, чтобы общество думало, что некогда он отлично ездил верхом, и он плел фантастические истории о той уздечке, к которой когда-то был прикреплен этот самый ремешок. Помимо этого он был религиозен до тошноты.

Плат и полковник переодевались в клубе; оба они опаздывали в те дома, куда были приглашены, и оба торопились. Это была кисмат! ¹ Часы их лежали на подзеркальнике, и ремешки свешивались с него. В этом сказалась небрежность их владельцев. Плат переоделся первый, схватил часы, посмотрелся в зеркало, поправил галстук и убежал. Сорок секунд спустя полковник проделал те же самые движения; каждый из них взял часы соседа.

Вы, может быть, заметили, что многие религиозные люди чрезвычайно подозрительны. Они, — конечно, из чисто религиозных побуждений, — видимо, гораздо больше знают о всяких беззакониях, чем «погрязшие во грехе». Быть может, это происходит от того, что сами они были особенно грешны, прежде чем обратились на путь истины! Во всяком случае, в способности обнаруживать всякие дурные поступки и выставлять невинные вещи в нехорошем свете известного рода добродетельные люди превосходят всех прочих. Полковник с женой принадлежали именно к этому роду людей. Но полковница была хуже своего супруга. Она изобретала сплетни, ходившие по станции, и *болтала со своей айей* ². Комментарии излишни. Полковница разбила семейное счастье Лапласов. Полковница расстроила помолвку Фериза и мисс Хотри. Полковница уговорила молодого Бакстона продержатъ свою жену на Равнинах в течение всего первого года после брака. От этого миссис Бакстон умерла, а с нею ее новорожденный ребенок. Все это будет ставить на вид полковнице, пока в стране останется хотя бы один полк.

¹ Кисмат — судьба.

² Айя — няня.

Но вернемся к полковнику и Плату. Выйдя из туалетной комнаты, они пошли каждый своей дорогой: полковник — на обед с двумя капелланами, а Плат — на холостую пирушку, закончившуюся партией в вист.

Заметьте, как все произошло! Если бы саис Плата положил на его кобылу новый потник, края седелки не протерли бы истрепавшейся кожи и старого потника и не набили бы холки кобыле, когда она в два часа ночи везла домой хозяина. Кобыла не встала бы на дыбы, не брыкнула бы, не упала бы в канаву, не перевернула бы двуколку, и Плат не перелетел бы через живую изгородь из алоэ и не упал бы на аккуратно подстриженный газон в саду миссис Ларкин, и этот рассказ не был бы написан. Но кобыла все это проделала, и когда Плат катился по дерну, словно застреленный кролик, часы с ремешком вылетели из его жилетного кармана, — подобно тому как сабля пехотного майора выскакивает из ножен, когда в торжественный день дается артиллерийский салют, — и при лунном свете покатились в сторону, пока не остановились около дома, под окном.

Плат сунул носовой платок под потник, поднял двуколку и поехал домой.

Еще раз заметьте, как действует кисмат! И в сто лет раз не случается такого происшествия.

Когда обед в обществе двух капелланов подошел к концу, полковник расстегнул свой жилет и оперся на стол, чтобы просмотреть отчеты каких-то миссий. Запонка часового ремешка выскочила из петли, и часы — часы Плата — бесшумно соскользнули на ковер. Наутро лакей нашел их здесь и оставил себе.

Пообедав, полковник отправился домой к своей дражайшей супруге, но кучер его был пьян и сбился с дороги. Поэтому полковник вернулся домой с большим опозданием, и объяснения его не были приняты. Если бы полковница была простым «сосудом скудельным, сулящим гибель», она знала бы, что, когда мужчина умышленно возвращается поздно, он всегда оправдывается веско и основательно. Уж одним тем, что объяснения полковника были так неприкрашены, доказывалась их правдивость.

Еще раз заметьте, как действует кисмат!

Часы полковника, неожиданно попавшие вместе с

Платом на лужайку миссис Ларкин, решили остановиться как раз под окном миссис Ларкин, где она рано утром обнаружила их, узнала и подняла. В два часа ночи она слышала шум от падения двуколки и голос Плата, ругавшего кобылу. Она была знакома с Платом и расположена к нему. В тот же день она показала ему часы и выслушала его рассказ. Он склонил голову набок, подмигнул и сказал:

— Какая гадость! Противный старик! А еще религиозный человек! Надо бы отослать часы полковнице и потребовать объяснений.

Миссис Ларкин подумала минутку о Лапласах, с которыми была знакома еще в ту пору, когда Лаплас с женой верили друг другу, и ответила:

— Отошлю. Я думаю, это послужит ей на пользу. Но запомните, мы *никогда* не откроем ей правды.

Плат догадывался, что его собственные часы находятся у полковника, и думал, что возвращение часов на ремешке от конского мундштука с любезной сопроводительной запиской от миссис Ларкин вызовет лишь маленькое недоразумение, которое выяснится через несколько минут. Но миссис Ларкин знала больше. Она знала, что любой яд, попавший в сердце полковницы, проникнет до самой глубины.

Пакет с запиской, содержащей несколько замечаний насчет времени, когда полковник делает визиты, был отослан полковнице, которая расплакалась в своей комнате и начала обдумывать случившееся.

Из всех женщин, живущих под небесами, полковница пуще всего ненавидела миссис Ларкин. Миссис Ларкин отличалась легкомыслием и называла полковницу «старой кошкой». Полковница говорила, что миссис Ларкин очень напоминает одну особу из Апокалипсиса. Она упоминала и о других лицах из Священного писания, в частности из Ветхого завета. (Но полковница была единственным существом на свете, которое считало нужным и решалось говорить что-нибудь против миссис Ларкин. Все остальные считали ее забавной и честной молодой женщиной.) Поэтому сознание того, что ее муж в неуточное время потерял часы под окном «этой твари», сочетаясь с фактом его вчерашнего позднего возвращения, казалось...

Тут полковница встала и отправилась к мужу. Он отрицал все, за исключением того, что часы эти действительно его собственные. Полковница молила его сказать

правду ради спасения его души. Он снова начал отрицать, добавив два скверных слова. Тогда полковница умолкла, и мертвая тишина длилась ровно столько времени, сколько нужно на то, чтобы пять раз вздохнуть и выдохнуть.

Речь, последовавшая за этим, не касается ни меня, ни вас. Она была внушена супружеской и женской ревностью; сознанием старости и дряблости щек; глубокой подозрительностью, порожденной изречением, которое гласит, что даже сердца младенцев бывают порочны; затаенной ненавистью к миссис Ларкин и догматами вероучения, в котором воспитывалась полковница.

Надо всем возвышались проклятые часы Уотербери с ремешком от конского мундштука, тикавшие на дрожащей, сморщенной ладони полковницы. Вероятно, в тот час полковница отчасти представила себе тревожную подозрительность, которую она возбудила в душе старого Лапласа, горе бедной мисс Хотри и язву, разедававшую сердце Бакстона, когда он смотрел, как жена умирала у него на глазах.

Полковник, запинаясь, сделал попытку выяснить положение. Но тут он вспомнил, что его часы каким-то образом исчезли, и загадочность всей истории стала еще необъяснимей. Полковница упрекала и просила поочередно, пока не утомилась и не ушла, чтобы придумать, как бы получше «покарать закоренелую в упорстве душу своего супруга». В переводе на наш жаргон это то же самое, что «накрутить ему хвост».

Она, видите ли, жила под влиянием идеи о первоначальном грехе и потому не могла верить фактам. Она слишком много знала и пришла к самым диким выводам.

Но это было ей поделом. Это испортило ей жизнь, как она испортила жизнь Лапласам. Она потеряла веру в полковника и — тут проявилась подозрительность, внушенная ей религией, — рассудила, что муж ее, возможно, оступался много раз, пока милосердное провидение при помощи такого недостойного орудия, как миссис Ларкин, не доказало его виновности. Муж ее скверный, мерзкий, седой развратник. Быть может, это покажется слишком внезапным поворотом для жены, много лет прожившей в браке, но древний закон гласит, что когда мужчина или женщина привыкает с наслаждением клеветать на людей, безразличных ему или ей, он или

она кончит тем, что будет дурно думать об очень близких и дорогих людях. Может, пожалуй, показаться, что случай с часами был слишком маленьким и пустячным, чтобы породить такое недоразумение. Но другой старинный закон гласит, что в жизни, так же как на скачках, самые тяжкие несчастные случаи происходят у маленьких канав и низких барьеров. Точно так же можно встретить женщину, которая в другую эпоху и в другой стране могла бы стать Жанной д'Арк, но которая разрывается на части, терзаясь мелочными заботами в домашнем хозяйстве. Но об этом в другой раз.

Религия полковницы только углубляла ее горе, ибо эта религия делает очень сильный упор на людскую порочность. Вспоминая о том, что наделала полковница в свое время, было приятно видеть ее несчастной и наблюдать ее шитые белыми нитками старания скрыть свои горести от всей станции. Но станция знала все и бессердечно хохотала, ибо слышала про историю с часами из уст миссис Ларкин, которая рассказывала ее с очень драматической жестикуляцией.

Раз или два Плат, видя, что полковнику не удалось оправдаться, говорил миссис Ларкин:

— Дело зашло слишком далеко. Предлагаю рассказать полковнице о том, как все случилось.

Миссис Ларкин сжимала губы, качала головой и настаивала на том, что полковница должна терпеть свое наказание по мере сил. А ведь миссис Ларкин была легкомысленной женщиной, в которой никто не заподозрил бы способности глубоко ненавидеть. Итак, Плат ничего не предпринял и постепенно, основываясь на молчании полковника, пришел к убеждению, что полковник, наверное, как-нибудь «проштрафился» в ту ночь и потому предпочитает нести кару за менее тяжкий проступок — хождение по чужим усадьбам в неподобающее для визитов время. Вскоре Плат совершенно позабыл о часах и переселился на юг вместе со своим полком. Миссис Ларкин вернулась на родину, когда истек срок службы ее мужа в Индии. Она ничего не забыла.

Но Плат был прав, когда говорил, что шутка зашла слишком далеко. Недоверие и вытекающая из него трагедия, — которую посторонние лица не могут видеть и в которую не верят, — убивают полковницу и портят жизнь полковнику. Если супруги прочтут этот рассказ,

пусть не сомневаются, что он — правдивый отчет обо всем этом деле, «поцелуются и помирятся».

Шекспир говорит, что приятно видеть, когда военного инженера взрывает его собственная батарея; это доказывает, что поэтам не следует писать о том, чего они не понимают. Всякий мог бы сказать ему, что саперные части и артиллерия — войска совершенно различного типа. Но если вы исправите эту фразу, подставив слово «артиллерист» вместо слова «сапер», мораль останется той же самой.

ПОСЛЕДНИЙ ГАНДИКАП

Если повод натянут, и кобыла бежит,
И большой барьер под копытом дрожит,
Если поле как поле и хлыст в руке
Да судейский колокол бьет вдалеке, —
И вино и подруги теряют власть,
Лишь бы круг, да барьер, да гнедая масть!

По мне, по мне —
Вся душа в огне —
Нет дела лучше,
Чем мчать на коне!

*Песнь В. В.*¹

Намного легче заключить пари на лошадь, чем в самом деле привести ее к последнему столбу. Иные склонны забывать об этом. Но знайте, скачки — скверное занятие, не менее скверное, чем всякое швырянье денег по ветру. Мало того что как азартная игра они порочны по самой своей природе, в такой стране, как Индия, они еще по большей части надувательство и выглядят прилично только на бумаге, когда вы регистрируете заключенное пари. Все слишком хорошо друг друга знают, чтобы отношения были чисто деловыми. Скажите мне на милость, как будете вы выколачивать долги из чело- века, как будете вы посылать ему напоминания в письмах, если вам нравится его жена и вы живете в одном с ним поселке. Он говорит: «В ближайший понедельник», — или: «Сейчас мне это было б очень затруднительно», — вы отвечаете ему: «Конечно, старина», — и можете считать себя счастливым, если сумеете вернуть хотя бы девятьсот из тех двух тысяч рупий, которые он задолжал. Нет, как ни посмотреть, играть на

¹ Песнь Великого Всадника.

скачках в Индии безнравственно, причем эта безнравственность обходится недешево, что сильно ухудшает дело. Если кому-то очень хочется залезть к вам в кошелек, пусть лучше напрямик попросит у вас денег, а то и соберет их по подписке, вместо того чтоб жульничать, мотаясь по стране с мальчишкой-австралийцем, «отбойным жеребцом»¹ — таким же беспородным, как мальчишка, парой чумаров² в шапках с позументом, тройкой-четверкой экка-пони³ с коротко подстриженными гривками и с не внушающей доверия кобылой, которая слывет арабский, ибо в ее «генеалогии» есть некая приятная неясность и позади болтается хлыстоподобный хвост. Игра на скачках быстро приведет вас к штроффу⁴ — быстрее всего на свете. Но ежели у вас нет ни души, ни совести, а вместо них есть ловкость рук, и вы неплохо разбираетесь в езде, и десять лет играете на скачках, и каждый месяц получаете не меньше двух-трех тысяч рупий, возможно, вам удастся исхитриться и уплатить порой по счету кузнецу.

Случалось ли вам видеть Шеклза, нескладного и грубого, с ушами, как у мула, и с корпусом величиной с воротный столб, к тому же крепкого, как телеграфный провод, — страннейшую животину, когда-либо глядевшую поверх уздечки? Тавра у него не было; подобно множеству других таких же беспородных лошадей с засечками на ухе, его отправили на «Буцефале» по морю всего лишь за четыре фунта десять шиллингов, — одной его громадной головы хватило бы, чтоб дать необходимую осадку судну; потом в Калькутте его продали за двести семьдесят пять рупий, — он был ободран и в плохом порядке после переезда. Те, что на нем теряли ставки, прозвали его меж собой отбойным, но если и была на свете лошадь с не меньшей шириной плеча, чем у Гарпуна, и с темпераментом таким же, как у Джинна, то Шеклз и был той самой лошадью. Его коронная дистанция была две мили. Он сам себя тренировал, сам делал выездку,⁵ сам правил, но если всадник оскорблял его посылом⁵, он тотчас замирал как вкопанный и сбра-

¹ Отбойный — сварливый, непокорный, плохо поддающийся обездке, отбивающийся от остальных лошадей (*жарг.*).

² Чумар — жокей, конюх, грум.

³ Экка — двухколесная коляска, повозка.

⁴ Штрофф — меняла, ростовщик.

⁵ Посыл — понуждение коня на беге, побуждение хлыстом или вожжой.

сывал жокея наземь. Шеклз не терпел ничьей указки, чего не в силах были уяснить себе два или три его хозяина и потому проигрывали деньги. Когда он наконец достался человеку, который понял это его свойство, то, если нужно было выиграть дистанцию, Шеклз, только Шеклз, выигрывал ее на свой особый лад, но при одном условии — жокей не вправе был и шелохнуться. Надо сказать, что у владельца Шеклза был жокей по имени Брант — парнишка, прибывший из Перта, того, что в Северной Австралии, и он учил этого малого, учил своим хлыстом самому трудному, чем только может овладеть жокей, — сидеть спокойно, совсем спокойно, сидеть спокойно и не шевелиться. Зато когда урок был наконец усвоен Брантом, Шеклз, как гроза, пронесся по всей Индии, и от Аджира до Чедпуттера, от юга и до севера гремела его слава. Никто не мог сравниться с Шеклзом, пока он делал дело без помех, по-своему. Но и его час пробил, и повесть о его падении даже из камня выжала бы слезы.

У нижнего конца Чедпуттерского ипподрома, почти у поворота, лежат вблизи от беговой дорожки несколько кучек старых кирпичей, чье назначение служить оградой для большой воронки. От ее края до забора ипподрома никак не больше шести футов. Но если стать в определенном месте бегового поля, примерно в полумиле от воронки, и что-нибудь сказать своим обычным голосом, то происходит странное явление: попав в воронку, голос отражается от стенок и кирпичной насыпи и превращается в диковинное, завывающее эхо. Однажды утром некий человек случайно это обнаружил, делая выездку с приятелем, и положил на примечательное место кирпичи, но не обмолвился и словом о своем открытии. В стране, где мыши портят балдахины для слонов, а управляющие ипподромов умеют так установить барьеры, что побеждают лошади их собственных конюшен, нелишне намотать на ус любую странность бегового поля. Сам этот человек владел отменной длиннотелой чалой деревенской лошадейю громаднейшего роста и дьявольского темперамента, чей ход напоминал плывущего в воздушных сферах серафима, — такой то был скользкий, плавный, легкий шаг. Кобылу эту он назвал Леди Регула Бэдден, или для краткости Регула Бэдден — в знак деликатного признания достоинств миссис Рейвер.

Брант, ездивший на Шеклзе, вообще-то говоря был

пареньком примерным. Вот только нервы были у него расшатаны. Свою карьеру начал он на скачках в Мельбурне как раз в ту пору, когда там нужно было б линчевать почти всех управляющих; к тому же сам он побывал в страшной мясорубке, — наверное, вы слышали об этих жутких скачках. Барьеры больше походили на валы колониальных фортов — то были бревна джарры, укрепленные в кирпичной кладке, и завершались они крыльями, которые могли б служить церковными опорами. Летевшей вихрем лошади не оставалось ничего иного, как взять барьер или убится. Объехать его не было возможности. На этом состязании двенадцать лошадей свалились друг на друга перед вторым препятствием. Красная Шапка, которая вела забег, рухнула первой и задела Коршуна, тут подошли и остальные, и все пространство от крыла и до крыла стало одним сцепившимся, брыкающимся, ржущим месивом. Из этой кучи четверых жокеев вытащили мертвыми, и трое — среди них был Брант — довольно сильно покалечились. Он иногда рассказывал об этой бойне, и тех, кто слышал от него, как бедный Уэйли, ехавший на Красной Шапке, сказал, когда она упала: «Помилуй Боже, мне конец», — и тут же был затоптан насмерть, и как вся эта дьявольская свалка людских и лошадиных тел покрылась вскоре слоем пыли, — ничуть не удивляло, что Брант и думать не хотел ни о барьерных скачках, ни заодно и об Австралии. Хозяин Регулы знал на зубок эту историю — Брант никогда в ней не менял ни слова. Он был необразованный парнишка.

Однажды осенью, когда Шеклз начал выступать в Чедпуттере, его хозяин стал расхаживать между спортсменами и задевать их всех по очереди, пока они не собрались толпой и не пришли к почетному секретарю и не сказали так: «Назначьте гандикаперов и выберите день для состязания, пришла пора избавиться от Шеклза и сбить немного спесь с его хозяина». Местные власти все как один восстали против Шеклза и выставили самых лучших лошадей: Дрозда, который, как считалось, способен был пройти дистанцию в милю меньше чем за две минуты; Петарду — она была кобыла племенная, ее тренировал кавалерийский полк, а уж они-то понижают в тренировке; Малышку — весь семьдесят пятый в ней души не чаял; и Боболинка — гордость Пешавара, и еще очень, очень многих.

Скачки устроили нарочно, чтобы избавиться от Шеклза, поэтому прозвали их Последним гандикапом. Горю громоздились гири на весах, в совете выложили на расходы восемь сотен рупий, дистанция была назначена — «один круг для лошадей всех возрастов и классов». Хозяин Шеклза заявил: «Вы бы могли не допускать всех остальных, а впрочем, лишь бы Шеклз не оказался перегружен, прочее неважно». Владелец Регулы сказал: «Я записал свою кобылу, чтобы позлить Дрозда. Для Регулы предельная дистанция как раз и составляет шесть фарлонгов¹, потом она ложится и сдыхает, и точно так же Дрозд — его жокей не понимает выжидательную тактику». Положим, то была неправда. У Регулы, которую два месяца тренировали в Дехре, были отличнейшие шансы, но при условии, что с Шеклзом приключился бы разрыв сосуда или на нем бы ненароком шевельнулся Брант.

Игра велась в тот день азартная. Ставки дошли до восьми тысяч рупий, и в «Пионере» написали, что «шансы фаворитов разделились поровну», а попросту сказать, у разных групп болельщиков были свои любимцы, в которых они верили до умопомрачения, — все потому, что гандикаперы отлично поработали. Стараясь перекрыть стоявший на трибунах шум, почетный секретарь почти лишился голоса, дым от сигар валил, как на пожаре, а треск коробочек с костями напоминал ружейную пальбу.

Старт лошадей прошел на редкость ровно. Тем временем хозяин Регулы подъехал кентером² к помеченному месту — к тому, куда он положил два кирпича, и, став лицом к воронке с насыпью, столь близко подшедшей к беговой дорожке, начал ждать.

История Последнего гандикапа была напечатана в «Пионере». Заканчивая мило, Шеклз тихо отошел от остальных и основательно взял в сторону к наружной бровке, чтоб, сжав мундштук, пойти на поворот и пролететь последнюю прямую прежде, чем лошади заметят, что он их обогнал. Брант на его спине сидел как изваяние и слушал совершенно безмятежно, как за его спиной — «та-та-та-та» — стучат копыта, уверенный, что Шеклз сейчас вздохнет поглубже и, наподобие летучего голландца, перемахнет оставшуюся половину

¹ Фарлонг — мера длины, 220 ярдов.

² Кентер — легкий галоп, рысь (*жарг.*).

мили, раз двадцать оттолкнувшись от земли. Но когда Шеклз почти дошел до поворота и поравнялся с насыпью, откуда-то извне до слуха Бранта донесся ноющий, хватающий за душу голос: «Помилуй Боже, мне конец», — и в тот же миг перед его глазами возникло прежнее кровавое побоище. Он сильно вздрогнул и издал вопль ужаса, невольно сжав ногами Шеклза, а его крик ударил жеребца по нервам. Не в силах замереть на всем скаку, тот сильно вытянул копыта и пролетел еще с полсотни ярдов, после чего серьезно и бесстрастно скатил с себя комочек человеческой плоти, дрожащей и объятый страхом. Тем временем по финишной прямой Регула Бэдден шла ухом в ухо с Боболинком и выиграла, обойдя его всего на голову, а третий приз взяла Петарда, пришедшая с заметным промежутком. Хозяин Шеклза, который наблюдал за финишем с трибуны, решил, что у него испортился бинокль. Владелец Регулы, стоявший все еще у тех двух кирпичей, издал вздох облегчения и потрусил к трибунам. В тот день он выиграл пятнадцать тысяч рупий — в тотализатор и по ставкам на пари.

То был и впрямь Последний гандикап. Он разорил почти всех поголовно — он выпотрошил много кошельков и окончательно сгубил владельца Шеклза, который пересек пешком все поле, чтоб расспросить о происшедшем Бранта. Едва живой от страха, посиневший, мальчик лежал на том же месте, куда его бросил Шеклз, с трудом переводя дыхание. Его не мучила вина за проигрыш — он его даже не заметил. Он понял лишь, что Уэйли «звал его оттуда», «звал», чтобы «предупредить», и что он, Брант, не сядет больше никогда на лошадь, «хоть режь его напополам». Да, нервы у мальчишки сдали окончательно, он лишь просил хозяина задать ему порядочную взбучку и отпустить на все четыре стороны — все, больше от него «не будет проку», заявил он. И, получив расчет, он с мертвенным лицом и белыми до синевы губами побрел в сторону паддока¹ на гнущихся ногах. Стоявшие там люди осыпали его ругательствами, но он их даже не услышал. Он лишь переоделся в свой костюм, взял в руки палку и пошел, по-прежнему дрожа от страха и бормоча себе под нос как заведенный: «Помилуй Боже, мне конец». И я не сомневаюсь — так оно и было.

¹ Паддок — место, где седлают лошадей и где на них садятся.

ПОПРАВКА ТОДСА

Увы, обычай наш таков:
Совета ждать от стариков,
Кающихся власти,
Хотя Всевышний лишь детей
Сподобил мудрости своей —
На наше счастье¹.

Притча о Чхаджу Бхагате

Так вот: мама Тодса была на редкость очаровательная женщина, а Тодса знала вся Симла, от мала до велика. Большинству мужчин в Симле доводилось спасать Тодса от смерти. Он постоянно ускользал от своей айи и ежедневно рисковал жизнью, пытаясь выяснить, что будет, если потянуть за хвост мула на горной артиллерийской батарее. В возрасте шести лет этот страшный маленький язычник стал первым в истории мальчишкой, который нарушил олимпийское спокойствие Законодательного Совета.

Случилось это следующим образом.

Любимый козленок Тодса вырвался на волю и поскакал в гору по Буалоганджской дороге; Тодс погнался за ним, и скоро оба очутились на лужайке перед летней резиденцией вице-короля, прилегавшей к «Петергофу». Там как раз шло заседание Совета. Окна были раскрыты — погода стояла жаркая. Красный улан, дежуривший на веранде, хотел прогнать Тодса, но Тодс был лично знаком и с этим уланом, и с большинством членов Совета. К этому времени Тодс уже крепко ухватил за ошейник своего козленка — и козленок тащил его через цветник.

— Скажи салам длинному советнику-сахибу и попроси его помочь мне отвести домой моего Моти! — задыхаясь, крикнул Тодс.

Советники услышали шум за окнами, и через некоторое время перед резиденцией вице-короля можно было наблюдать ужасную картину: советник по правовым вопросам и вице-губернатор, под наблюдением и руководством главнокомандующего и вице-короля, помогали маленькому, взъерошенному, перепачканному мальчику в матроске усмирять упрямого, драчливого козленка. Они вывели козленка на аллею, и Тодс с победой отправился домой и сообщил маме, что *все* советники-сахибы помогали ему ловить Моти. В ответ мама отшлепала сыночка за то, что он мешает людям управлять Импе-

¹ Перевод Д. Шнеерсона.

рией, но на следующий день, встретив советника по правовым вопросам, Тодс переговорил с ним с глазу на глаз и обещал оказать ему всяческую помощь и поддержку, если когда-нибудь советнику тоже понадобится поймать козленка.

— Спасибо, Тодс, — сказал советник.

Примерно восемьдесят джампани в Симле и еще примерно сорок саисов души не чаяли в маленьком Тодсе. Встречаясь с ними, Тодс говорил приветственно: «О брат!» Тодсу не приходило в голову, что кто-то может не подчиниться его приказу, и, когда мама Тодса бывала не в духе, он выступал посредником между нею и слугами. Мир и порядок в доме зависели от Тодса: его обожали все домочадцы, от дхоби¹ до мальчишки, присматривающего за собаками. Даже Фатех Хан, гнусный бездельник из Масури, старался не огорчать Тодса — боялся презрения своих товарищей.

Итак, от Буалоганджа до Малой Симлы повсюду почитали Тодса, и сам он тоже считал себя справедливым правителем. Он, разумеется, умел говорить на урду, но вдобавок владел многими менее важными языками — например, чхоти боли², на котором изъясняются женщины, и с одинаковым успехом беседовал и с лавочниками, и с горцами-кули. Тодс был сообразителен не по годам; общение с туземным населением открыло ему глаза на горькую правду жизни — на ее жестокость и убожество. Сидя за столом перед стаканом молока и переводя свои мысли с местного наречия на английский язык, Тодс изрекал порой такие афоризмы, что его мама вздрагивала и клялась будущим летом отправить сына домой.

Как раз когда Тодс был в зените славы, Законодательный Совет разрабатывал текст нового билля для Предгорья, который должен был отчасти изменить действовавшее раньше земельное законодательство; хотя этот билль уступал по значительности Панджабскому земельному биллю, ему все же суждено было повлиять на жизнь нескольких сотен тысяч человек. Советник по правовым вопросам долго сооружал, укреплял, украшал и дополнял проект нового билля и наконец добился превосходных результатов — на бумаге. Затем

¹ Дхоби — мужчина-прачка.

² Чхоти боли (*хинд*; букв. малая речь) — жаргонная разновидность урду.

Совет стал дорабатывать, как говорится, второстепенные детали. Как будто англичане, сочиняющие законы для местного населения, умеют разбираться в том, какие детали второстепенны, а какие первостепенны для местных жителей! Новый билль был величайшим шагом вперед в смысле «охраны интересов арендатора». Один из его пунктов определял максимальный срок земельной аренды в пять лет; высказывалось соображение, что если, мол, позволить землевладельцу привязать арендатора к земле на больший срок, то он из арендатора все соки выжмет. Цель билля заключалась в том, чтобы привлечь в Предгорье независимых земледельцев, и с этнической и с политической точек зрения эта цель была правильна. Только одним был новый билль нехорош: он решительно никуда не годился. Говоря о жизни земледельца в Индии, нельзя забывать о его сыне: законы должны учитывать не только нынешнее поколение, но и следующее — учитывать, конечно, с точки зрения местного жителя. И, как ни странно, индийские крестьяне, и уж тем более на севере страны, вовсе не любят, чтобы их интересы охраняли при помощи законов: в одной деревне нагов, например, крестьяне предпочитали питаться павшими интендантскими мулами, выкапывая их из земли... Но это к нашей истории не относится.

По многим причинам, и мы их объясним позднее, новый билль не понравился земледельцам, которых он касался. Туземный член Совета знал о Панджабе и панджабцах не больше, чем о Чэринг-Кросс. В Калькутте он заявил, что билль «полностью соответствует чаяниям многочисленного и важного для страны класса крестьян», — и еще многое в этом же духе. Что же касается советника по правовым вопросам, то его связи с местными жителями ограничивались знакомством с говорящими по-английски дарбари¹ и с его собственными чапраси² в красных мундирах. Личного интереса к делам Предгорья никто не проявил. Чиновникам на местах было не до того, чтобы протестовать. К тому же новый билль затрагивал лишь мелких землевладельцев. Тем не менее советник по правовым вопросам страстно желал, чтобы его проект не содержал ошибок, ибо он был человек добросовестный и притом нервный. Он не знал, что, если хочешь выяснить мнение крестьян, есть

¹ Дарбари — придворный.

² Чапраси — служитель при канцелярии, сторож, курьер.

только один путь: сойтись с ними накоротке; и даже этот путь может не привести к желанным результатам. Советник сделал все, что мог, — он постарался в меру своих способностей. И проект его поступил в Законодательный Совет на окончательную отделку; у Тодса как раз в это время появилась привычка каждое утро объезжать базар в Большой Симле: он играл с обезьяной бани¹ Дитты Мала и слушал, как слушают все дети, разговоры взрослых, — на этот раз о новой причуде лорда-сахиба.

Но вот однажды в доме у мамы Тодса устроили прием, и на прием пришел советник по правовым вопросам. Тодс лежал в постели, но не спал, и, услышав, что мужчины с веселым смехом принялись за кофе, он встал, надел поверх пижамы красный фланелевый халат и босиком отправился к гостям. Понимая, что в такой момент его не прогонят, он пристроился возле отца.

— Вот что приходится терпеть несчастным, которые обзаводятся семьей! — воскликнул отец Тодса.

Он дал сыну три сливы, налил ему воды в стакан из-под кларета и приказал сидеть тихонько и не мешать. Тодс знал, что его отправят спать, как только он доест сливы, и неторопливо посасывал их, со светским видом прихлебывая подкрашенную вином воду и слушал, как гости беседуют между собой. Советник по правовым вопросам, обсуждавший служебные дела с главой департамента, упомянул о своем билле, назвав его полностью: «Указ о реорганизации райятвари² в районах Предгорья». Тодс услышал знакомое слово и громко сказал своим детским голоском:

— А, об этом я все знаю! Он уже мараммат³, советник-сахиб?

— Мара... что? — спросил советник.

— Мараммат, починенный. Сделали его тхик⁴, как Дитта Мал хотел?

Советник подошел и сел возле Тодса.

— А что тебе известно о райятвари, человек? — спросил он.

— Я не человек, а Тодс, и мне известно все! И Дит-

¹ Б а н и я — торговец, купец.

² Р а й я т в а р и — система арендных отношений, имевшая распространение в Северной Индии.

³ М а р а м м а т — починенный, исправленный.

⁴ Т х и к — правильный, хороший.

та Мал, и Чога Лал, и Амир Натх, и все мои... сто тысяч моих друзей рассказывали мне про райтвари.

— В самом деле? Что же они тебе рассказывали?

Тодс подобрал ноги под свой красный фланелевый халат и сказал:

— Надо подумать.

Советник терпеливо ждал. Наконец Тодс участливо спросил:

— Наверное, вы не умеете говорить, как я, советник-сахиб?

— Нет, к сожалению, не умею, — сказал советник.

— Что ж, — сказал Тодс, — надо подумать по-английски.

С минуту он молчал, приводя в порядок свои соображения о райтвари, а потом неторопливо заговорил, мысленно переводя с местного наречия на английский язык, как делают многие дети из английских семей, живущих в Индии. Учтите, что длинная, складная речь, приведенная ниже, не является точной записью: Тодс спотыкался иногда, и советник помогал ему наводящими вопросами.

— Дитта Мал говорит, что это вздор, который выдумали дураки, — начал Тодс. — Но только, по моему, вы не дурак, советник-сахиб, — поспешно добавил он. — Вы ведь поймали моего козленка. И еще Дитта Мал говорит: «Я не дурак. Так почему сиркар думает, будто я несмышленное дитя? Я сам могу решить — плохая ли земля или хорошая, плохой хозяин или хороший. Отдам я за землю скопленные деньги, проживу на ней пять лет со своей женой, и жена родит мне сына». У Дитты Мала уже есть дочка, но он говорит, что у него будет еще сын. Он говорит: «А через пять лет новый бандобаст¹ велит мне уходить с земли. А если я не захочу? Тогда надо новые печати на все бумаги ставить и новые теккас² платить — и когда это? Может быть, в разгар жатвы. Если человек идет к судье один раз в жизни — это мудрый закон; а если два раза — это джеханнам». И Дитта Мал правильно говорит, — серьезно объяснял Тодс. — Все мои друзья так говорят. И еще Дитта Мал говорит: «Каждые пять лет новые теккас платить, и каждые пять лет всем чапраси платить и всем вакилам³, и каждые пять лет в суд ходить или с земли

¹ Бандобаст — порядок, уложение.

² Теккас (англ. tax) — налог.

³ Вакил — ходатай, адвокат.

уходить?! Зачем мне уходить? Что я — дурак? Если я дурак и за сорок лет не научился отличать плохую землю от хорошей, мне лучше умереть. Вот если новый бандобаст скажет: «Иди к судье через пятнадцать лет!» — это будет хорошо и мудро. Через пятнадцать лет мой сын станет мужчиной, а я уже буду в пепел превращен; мой сын возьмет себе землю — может быть, другую землю — и заплатит за нее теккас, один раз заплатит, а потом и у него сын родится и через пятнадцать лет тоже станет мужчиной. Зачем каждые пять лет писать бумаги? Только дукх¹ — и больше ничего. Кто теперь землю берет? Не молодые люди, а старики. И не богачи, а торговцы, скопившие немного денег. Оставьте нас в покое на пятнадцать лет — вот чего мы хотим. А Сиркар думает, будто мы дети несмышленные».

Тут Тодс заметил, что гости слушают его, и замолчал.

— Ты все сказал? — спросил советник.

— Все, что помню, — сказал Тодс. — Но вы пойдите и посмотрите, какая большая у Дитты Мала обезьяна! Она совсем как советник-сахиб.

— Тодс! Отправляйся спать! — сказал ему отец.

Тодс подобрал полы халата и ушел.

А советник хлопнул ладонью по столу.

— Черт побери! — сказал он. — Мальчонка прав. Короткий срок аренды — слабое место всего проекта.

Он скоро ушел, обдумывая слова Тодса. Разумеется, он не отправился на базар играть с обезьяной бании, чтобы как следует разобраться в положении; он поступил еще умнее: стал наводить справки и все время принимал в расчет, что настоящий местный житель — настоящий, а не полукровка, которого учили в университете, — пуглив, как жеребенок. И в конце концов советник убедил нескольких человек — из числа тех, кого касался новый билль, — высказать свое истинное мнение; их мнение совпало с данными Тодса.

В соответствующий пункт билля внесли поправку. А у советника по правовым вопросам зародилось подозрение, что от туземных членов Совета не больше толку, чем от орденов, которые они носят на груди. Но он отринул свое подозрение как недостойное либерала. Он был убежденный либерал.

¹ Дукх — беда, мучение.

По базарам же скоро разнеслась весть, что это Тодс поднял вопрос о пересмотре сроков аренды по новому биллю. Если бы мама Тодса не вмешалась, он ужасно объелся бы фруктами, фисташковыми орехами, кабульским виноградом и миндалем, потому что веранда его дома вдруг оказалась заставлена корзинами, полными всех этих лакомств. И пока Тодс не уехал домой, он оставался в Симле фигурой гораздо более популярной, чем сам вице-король. Но как это произошло, маленький Тодс не имел ни малейшего понятия.

В ящике, где тот советник по правовым вопросам хранит свои бумаги, до сих пор лежит черновик «Указа о реорганизации райятвари в Предгорье», и против двадцать второго пункта, вписанного синим карандашом и скрепленного подписью советника, значится: «поправка Тодса».

ДОЧЬ ПОЛКА

Джейн Хардинг, обвенчалась ты
С сержантом в Олдершоте
И с ним моря переплыла
На славном нашем флоте.
(Хор)

Знакома ль вам Джейн Хардинг,
Джейн Хардинг,
Джейн Хардинг,
Джейн Хардинг, та, которой мы
Гордимся в нашей роте?
Старая казарменная баллада

— Если джентльмен не умеет танцевать черкесский танец, так нечего ему и соваться, другим мешать.

Так сказала мисс Маккенна, и сержант, мой визави, всем своим видом выразил согласие с ней. Мисс Маккенна внушала мне страх: в ней было шесть футов роста, сплошные рыжие веснушки и огненные волосы. Одета она была без всяких штук: белые атласные туфли, розовое муслиновое платье, ядовито-зеленый пояс из какой-то набивной ткани, черные шелковые перчатки и в волосах желтые розы. Посему я сбежал от мисс Маккенна и в полковой лавке разыскал моего приятеля, рядового Малвени, — он прилип к стойке с напитками.

— Значит, сэръ, вы плясали с малышкой Джханси Маккенна? Она вот-вот за капрала Слейна выйдет. Будете разговаривать с вашими дамами и господами, так

не забудьте помянуть, что танцевали с малышкой Джханси. Тут есть от чего загордиться.

Но я не загордился. Я был полон смирения. По глазам рядового Малвени я видел, что у него есть в запасе история; кроме того, я знал: задержись он у стойки подольше — и не миновать ему еще парочки нарядов. А набрести на уважаемого друга, когда он отстаивает наряд у караулки, очень неприятно, особенно если в это время вы прогуливаетесь с его командиром.

— Пошли на плац, Малвени, там прохладнее. И расскажите мне об этой мисс Маккенна — кто она, и что она, и почему ее зовут Джханси.

— Вы что ж, никогда не слышали про дочку мамыши Пампуши? А думаете, будто знаете все на свете! Вот раскурю трубку и пойдем.

Мы вышли. Над нами было звездное небо. Малвени уселся на оружейный передок и, по своему обыкновению зажав трубку в зубах, свесив тяжелые кулаки между колен и лихо сдвинув на затылок головной убор, начал:

— Когда миссис Малвени, я хочу сказать — мисс Шедд, еще не стала миссис Малвени, вы, сэр, куда моложе были, да и армия здорово с тех пор переменялась. Нынче ребята ни в какую не хотят жениться, потому и настоящих жен — этаких, знаете, самостоятельных, преданных, горластых, здоровенных, душевных, жилистых баб — у нас намного меньше, чем когда я был капралом. Потом меня разжаловали, но все равно я был капралом. Мужчина в ту пору и жил, и умирал в своем полку, ну, и, понятно, женой обзаводился, если он был мужчина. Когда я был капралом — господи боже мой, весь полк с того времени и перемереть успел, и опять народился! — сержантом моим был папаша Маккенна, человек, понятно, женатый. А жена его — я о первой говорю, наш Маккенна еще два раза потом женился — мисс Бриджит Маккенна, была родом из Портарлингтона, моя землячка. Как там ее девичье имя, я забыл, но в роте «Б» все звали ее мамаша Пампуша, — такая у нее была округлая личность. Барабан, да и только! И эта самая Пампуша — упокой господи ее душеньку! — только и знала, что рожать. И когда этих пискунов стало не то пятеро, не то шестеро на переключке, Маккенна побожился, что начнет их нумеровать при крещении. Но Пампуша требовала, чтобы их называли по фортам, где они рождались на свет. И появились у нас в роте и Колаба Маккенна, и Муттра Маккенна — весь, можно

сказать, округ Маккенна, — и эта самая малышка Джханси, которая сейчас отплясывает там. Рожала Пампуша младенцев одного за другим и одного за другим хоронила. Нынче они у нас помирают как ягнята, а тогда мерли как мухи. Моя малышка Шедд тоже померла, но я это не к тому. Что прошло, то прошло; у миссис Малвени больше детей не было.

О чем это я? Да, так вот, жара в то лето была адская, и вдруг приходит приказ из какого-то чертова издательства, забыл его название, полку переквартироваться в глубь округа. Может, они хотели узнать, как по новой железной дороге войска будут передвигаться. И провалиться мне на месте, они узнали! Глазом еще не успели моргнуть, как узнали! Мамаша Пампуша только-только похоронила Муттру Маккенна. Погода стояла зловредная, у Пампуши одна Джханси и осталась, четырех лет от роду. За четырнадцать месяцев пятерых детей схоронить — это не шутка, понимаете вы это?

Отправились мы по такой жарнице на новое место — да разразит святой Лаврентий того типа, который сочинил этот приказ! Вовек не забуду этой поездки. Дали они нам два состава, а нас восемьсот семьдесят душ. Во второй состав запихали роты «А», «Б», «В» и «Г» да еще двадцать женщин — понятно, не офицерских жен — и тринадцать детей. Ехать ни мало ни много шестьсот миль, а железные дороги были тогда еще в новинку. Провели мы ночь в утробе нашего поезда, ну, и ребята в своих мундирах прямо на стенки стали лезть, пили что попало, жрали гнилые фрукты, и ничего мы с ними поделывать не могли — я тогда был капралом, — а на рассвете открылась у нас холера.

Молитесь всем святым, чтобы никогда вам не довелось увидеть холеру в воинском поезде. Это вроде как божий гнев с ясного неба. Добрались мы до промежуточного лагеря — знаете, вроде Лудхианы, только сортом поуже. Командир полка тут же телеграмму дал в форт, — а до форта триста миль по железной дороге, — помощь, мол, шлите. И уж верьте слову, в помощи мы нуждались. Поезд еще остановиться не успел, а уже со станции всех как корова языком слизнула. Пока командир составлял телеграмму, там ни единой души не осталось, кроме телеграфиста, да и тот оттого только не удрал, что зад от сиденья оторвать не мог, — как его, труса черномазого, ухватили за загривок да сдавили ему глотку, так до конца и не отпускали. Наступило утро, в вагонах

все орут, на платформе грохот — людей перед отправкой в лагерь выстраивают на перекличку, а они во всей амуниции на землю брякаются. Не мое дело объяснять, что такое холера. Наш доктор — тот, может, и объяснил бы, да он, бедняга, вывалился из вагонных дверей на платформу, когда мы трупы выволакивать стали. Помер ночью — и не он один. Мы семерых уже холодных вытащили, и еще добрых два десятка еле дышали, когда мы их вынесли. А женщины сбились в кучу и выли от страха.

Тут командир полка — забыл его имя — говорит: «А ну, отведите женщин в манговую рощу. Заберите их из лагеря. Им тут не место».

Мамаша Пампуша сидит рядом на своих узлах и малышку Джханси успокаивает. «Идите в манговую рощу, — говорит командир. — Не мешайте мужчинам».

«Черта с два я уйду», — отвечает Пампуша, а малышка Джханси уцепилась за ее подол и пищит: «Черта с два уйду!» И вот поворачивается Пампуша к другим женщинам и говорит: «Вы, сучьи дочери, прохладжаться уйдете, а наши парни помирать будут, так выходит? — говорит она. — Им воды надо принести. А ну, беритесь за дело!»

И тут она засучивает рукава и идет к колодцу за лагерем, а малышка Джханси рядом семенит с лотой¹ и веревкой в руках, и все женщины идут за Пампушей как овцы, кто с ведром, кто с кастрюлей. Набрали они воды в эти посудины, и мамаша Пампуша во главе своего бабьего полка марш-маршем в лагерь, а там вроде как на поле боя после отступления.

«Маккенна, муженек, — говорит она, а голос у нее что твоя полковая труба, — успокой мальчиков, скажи, что Пампуша сейчас займется ими, всем даст выпить, и притом задаром».

Тут мы во всю глотку гаркнули «ура!» — почти, можно сказать, заглушили вопли наших бедных парней, которых скрутила холера. Почти, да не совсем.

Были мы все тогда еще желторотые, в холере ни черта не смыслили. Так что толку от нас не было никакого. Парни бродили по лагерю, как одуревшие бараны, ждали, кто следующий на очереди, и только твердили шепотом: «За что же это наказание, Господи? За что?» Вспомнить страшно. И все время среди нас, как заведенная,

¹ Лота — круглый металлический сосуд.

взад-вперед, взад-вперед, ходила мамаша Пампуша и с ней малышка Джханси — так она и стоит перед глазами: на головенке шлем с какого-то покойника, ремешки на пузе болтаются, — ходила наша Пампуша, воды давала попить и даже по глотку бренди.

Иной раз Пампуша не выдержит, запричитает, — лицо у нее щекастое, багровое, и по нему слезы текут: «Ох вы, мальчики мои, бедняги мертвенькие, сердечные мои!» Но чаще она подбадривала ребят, чтобы они держались, а малышка Джханси повторяла, что к утру все будут здоровы. Это она от матери переняла, когда Муттра в лихорадке горела и Пампуша ее выхаживала. К утру будут здоровы! Для двадцати семи наших ребят то утро так во веки веков и осталось утром на кладбище святого Петра. И под этим окаянным солнцем еще двадцать человек заболело. Но женщины трудились как ангелы, а мужчины как черти, покуда не приехали два доктора и не вызволили нас.

Но перед самым их приездом мамаша Пампуша, — она стояла тогда на коленях возле парня из моего отделения, в казарме его койка была как раз справа от моей, — так вот, Пампуша начала ему говорить те слова из Писания, которые любого за сердце берут, и вдруг как охнет: «Держите меня, ребята, мне худо!» Но ее солнечный удар хватил, а не холера. Она позабыла, что у нее на голове только старая черная шляпа. Померла Пампуша на руках у Маккенна, муженька, и когда ребята ее хоронили, все как один ревмя ревели.

В ту же ночь задул здоровенный ветрище, и дул, и дул, и дул, пока все палатки не полегли, но и холеру он тоже сдул, и ни один человек больше не заболел, когда мы десять дней в карантине отсиживались. Но, поверьте мне на слово, до ночи эта самая холера раза четыре с палатки на палатку перекидывалась и такие кренделя выписывала, будто как следует набралась. Говорят, ее с собой Вечный Жид уносит. Пожалуй, так оно и есть.

— Вот оттого, — неожиданно закончил Малвени, — малышка Джханси и стала, какая она есть. Когда Маккенна помер, ее взяла к себе жена сержанта квартирмейстерской части, но все равно она из роты «Б». И вот эту историю, которую я вам сейчас рассказал, я ее в каждого новобранца вколачиваю, учу строю, а заодно и обхождению с Джханси Маккенна. Я и капрала Слейна ремнем заставил сделать ей предложение.

— Да ну?

— Вот вам и ну. Из себя она не так чтоб очень, но она дочь мамы Пампуши, и мой долг пристроить ее. За день до того, как Слейна произвели в капралы, я говорю ему: «Слушай, Слейн, если я завтра подниму на тебя руку, это будет нарушение субординации, но вот клянусь райской душенькой мамы Пампуши, или ты побожишься мне, что сию минуту сделаешь предложение Джханси Маккенна, или я нынче же ночью спущу с тебя шкуру вот этой бронзовой пряжкой. И без того позор роте «Б», что девка так засиделась», — говорю я ему. Вы что думаете, я позволю щенку, который всего-навсего три года отслужил, перечить мне и наперекор моему приказу поступать? Не выйдет дело! Слейн пошел как миленький и сделал ей предложение. Он хороший парень, этот Слейн. Вскоро отправится он в комиссариат и наймет на свои сбережения свадебную карету. Вот так я и пристроил дочку мамы Пампуши. А теперь идите и пригласите ее еще раз потанцевать.

И я пошел и пригласил.

Я преисполнился уважения к мисс Джханси Маккенна. Был я у нее и на свадьбе.

Об этой свадьбе я, может быть, расскажу вам на днях.

СВИНЬЯ

Затравишь оленя за целый день,
Убьешь, если ты не калека!
Но разве сравнить эту дребедень
С охотой на человека?
Как славно загнать человека в капкан,
Как славно травить человека!

*Старая охотничья песня*¹

Пожалуй, весь сыр-бор разгорелся из-за норовистой лошади. Пайнкоффин продал ее Нэффертону, и она едва не пришибла покупателя. Впрочем, для обиды могли быть и какие-то другие причины, потому что лошадь вроде бы была ученая. Нэффертон ужасно разозлился. Пайнкоффин же умирал со смеху и твердил, что никаких гарантий относительно манер животного не давал. Нэффертон тоже, правда, смеялся, но в душе поклялся расквитаться, пускай через пять лет. Да, горец из-за Скип-

¹ Перевод Э. Шустера.

тона так же способен простить оскорбление, как Стрид — пощадить человека, а уроженец Южного Девона раскидает, как дартмурское болото. Фамилия «Нэффертон» звучит поблагороднее, чем «Пайнкоффин»; кстати, и кровь у Нэффертона явно поголубее. Человек он был не такой, как все, и шутки у него были злые. Он научил меня новому и, надо сказать, очаровательному виду шикара. Он охотился за Пайнкоффином от Митанкота до Джагадри и от Гургаона до Абботабада — вдоль и поперек Панджаба, провинции немалой, и в местах невероятно засушливых. Он заявил, что не позволит этим помощникам комиссаров, всяким там деревенским пройдохам, водить его за нос; он уж им-де покажет.

У большинства помощников комиссаров, стоит им пожариться под здешним солнцем, возникает склонность к необычным занятиям. Парни себе на уме, имеют дальний прицел и дерутся за такие богом забытые места, как Банну и Кохат. Желчные личности пролезают в Секретариат, который, кстати, дурно влияет на печень. Другие помешаны на работе в Округе, газневидских¹ монетах или персидской поэзии. А те, у которых в жилах течет крестьянская кровь, чувствуют, как после дождей запах земли пронизывает их до мозга костей и зовет «возделывать нивы Провинции». Эти люди — энтузиасты. К их породе принадлежит Пайнкоффин. Он знает уйму всякой всячины — сколько стоят волы, и временные колдцы, и скребки для опия, и что случается, если перестараться с пожогом травы и сушняка на полях, удобряя истощенную почву. Все Пайнкоффины — исконные землевладельцы, а земля просто-напросто получает обратно то, что принадлежит ей. Но несчастьем, самым большим несчастьем для Пайнкоффина было то, что он был не только фермером, но и Гражданином. Нэффертон наблюдал за ним и все время думал о лошади. Он мне сказал: «Погоняю-ка я, пожалуй, этого парня, пока он себе шею не сломает». Я возразил: «Вы не имеете права измываться над помощником комиссара». Нэффертон на это заявил, что я ничего не смыслю в провинциальном управлении.

Правительство наше не без причуд. Оно заваливает всех уймой сельскохозяйственной и другой информации, а уж человека, достаточно уважаемого, снабдит любы-

¹ Газневиды — династия, правившая в Газневидском государстве (X—XII вв.).

ми видами «экономической статистики», если тот к нему подобающе обратится. Вот вы, к примеру, интересуетесь промывкой золотоносных песков Сатледжа. Только дерните за веревочку, и вы сами убедитесь, что откликнется полдюжины департаментов и в конце концов вас свяжут, скажем, с вашим же коллегой по «Телеграфу», который когда-то где-то черкнул пару строк об обычаях золотопромывщиков, побывав на строительных работах в этой части Империи. Еще неизвестно, понравится ему или нет по указке выложить вам все, что он знает. Тут все зависит от темперамента. Чем значительней ваша персона, тем обширнее будут полученные вами сведения и тем больше поднятая суматоха.

Нэффертон не был большим человеком, но репутация у него была личности крайне «серьезной». Человек серьезный может себе кое-что позволить с правительством. Был однажды один такой серьезный человек, который чуть не погорел... да вся Индия наслышана про эту историю. Я лично не знаю, что такое истинная «серьезность». Под серьезного человека, кстати, вполне сносно можно подделаться — одевайтесь с нужной долей небрежности, слоняйтесь с отрешенным и мечтательным видом, забирайте деловые бумаги домой, после того как уже просидели на службе до семи, и принимайте толпы местных джентльменов по воскресеньям — вот вам один из видов «серьезности».

Нэффертон долго думал, как сыграть на своей серьезности и как похлестче разыграть Пайнкоффина. Он убил двух зайцев одним ударом — этим ударом была Свинья. Нэффертон стал самым серьезным образом наводить справки о свиньях. Он сообщил правительству, что разработал план, который даст возможность с невероятной экономичностью прокормить свининой значительную часть британской армии в Индии. Затем он намекнул, что Пайнкоффин может предоставить ему разнообразную информацию, «столь необходимую для правильного подхода к делу». Правительство, в свою очередь, наложило резолюцию на обратной стороне письма: «Уведомляем мистера Пайнкоффина в необходимости сообщить мистеру Нэффертону все сведения, которыми он располагает». Правительство вообще чрезвычайно склонно делать всякие пометки на обороте писем, что приводит в конечном итоге лишь к беспорядку и путанице.

У Нэффертона не было ни малейшего интереса к

свиньям, но он прекрасно знал, что Пайнкоффин попадет в ловушку. Пайнкоффин был чрезвычайно рад возможности дать консультации по свиньям. В Индии свинья, собственно, не столь уж важный фактор в сельском хозяйстве. Но Нэффертон растолковал Пайнкоффину, что в этой области имеются резервы для развития, и попал прямо в точку.

Вы, видимо, думаете, что от свиньи нет особого проку. Все зависит от того, как поставить дело. Пайнкоффин был Гражданином и, стремясь делать все тщательно, начал с трактата о примитивной свинье, мифологии свиньи и о дравидской ¹ свинье. Нэффертон подшил эту информацию — двадцать семь листов отнюдь не малого формата — и пожелал узнать, как свинья распространена в Панджабе и как она переносит жару в долинах. При дальнейшем чтении прошу вас помнить, что освещаю вам дело в самых общих чертах — это как бы отдельные ячеи в паутине, которой Нэффертон оплел Пайнкоффина.

Пайнкоффин составил цветную карту распространения свинных популяций и собрал данные по сравнительной продолжительности жизни свиньи: (а) у подножия Гималаев и (б) в Рехна Доаб. Нэффертон подшил к делу и это, а затем спросил, какие люди смотрят за свиньями. Этот вопрос дал толчок рассуждениям об этнологии свинопасов, и из Пайнкоффина посыпались бесконечные таблицы, показывающие число представителей данной касты на тысячу жителей в Дерад-жате. Нэффертон подшил и эту кипу и объяснил, что хотел бы располагать цифрами по провинциям, расположенным за Сатледжем, где, по его разумению, были превосходные крупные свиньи и где было бы целесообразней всего развивать свиноводство. К этому времени люди в правительстве совсем забыли о своих распоряжениях мистеру Пайнкоффину. Они были как те джентльмены из поэмы Китса, которые ловко вращали жернова, чтобы ободрать кожу с других. Но Пайнкоффин уже с головой ушел в свиноискательство, на что Нэффертон и рассчитывал. У него была уйма своей работы, но он просиживал ночи напролет, переводя свиней в стотысячные дробы, дабы не ударить в грязь лицом. Он не собирался прослыть неосведомленным по такому ерундовому вопросу, как свинья.

¹ Дравиды — народы, населяющие Южную Индию (тамилы, телугу, малайялы, каннара и др.).

В это время правительство направило его со специальным заданием в Кохат, для того чтобы «ознакомиться» с большими, в семь футов, железными заступами. Этими мирными орудиями люди приканчивали друг друга, и правительство желало знать, «не мог ли какой-нибудь модифицированный тип орудия в обычном порядке и как временная мера быть введен в употребление среди земледельческого населения без ненужного и чрезмерного обострения существующих религиозных чувств крестьянства».

Пайнкоффин буквально разрывался между этими заступами и Нэффертоновыми свиньями.

Нэффертон опять принялся за свое: «(а) как обеспечить местных свиней кормами с расчетом на улучшение их мясообразовательных способностей; (б) как акклиматизировать привозных свиней, сохранив их отличительные особенности». Пайнкоффин исчерпывающе ответил, что чужеземная свинья сольется с местной породой; для доказательства он приводил статистику по выведению пород лошадей. Этот несущественный вопрос подробно и нудно обсасывался самим Пайнкоффином до тех пор, пока Нэффертон не признал, что был не прав, и не поставил предыдущий вопрос. Когда Пайнкоффин совсем исписался на тему и о мясообразовании, и о фибрине, и о глюкозе, и об азотистых компонентах кукурузы и люцерны, Нэффертон поднял вопрос о затратах. Ко времени возвращения из Кохата у Пайнкоффина была разработана своя собственная теория о свиньях, которую он развивал на тридцати трех страницах *in folio* — все до одной были заботливо подшиты Нэффертоном, но ему и этого было мало.

Прошло десять месяцев, и интерес Пайнкоффина к потенциальному свиноводству стал вроде бы затихать, особенно с тех пор, как он стал развивать собственные воззрения. А от Нэффертона все продолжали сыпаться письма с вопросами «об общегосударственном аспекте этой проблемы, исходя из намерения легализовать продажу свинины, что может вызвать недовольство мусульманского населения Верхней Индии». Он догадывался, что после всех этих пустяков, занудств и мелочных ковыряний Пайнкоффину явно не хватает размаха, работы с развязанными руками. И действительно, Пайнкоффин расправился с последним вопросом мастерски и доказал, «что нет оснований опасаться взрыва

народного гнева». Нэффертон ответил, что только Гражданин может так глубоко проникнуть в суть дела, и походя искусил его «возможными выгодами, которые может получить правительство от продажи свиной щетины». По свиной щетине имеется огромная литература, а обувщики и торговцы щетками и красками различают гораздо больше разновидностей щетины, чем вы можете себе представить. Слегка поразившись Нэффертоновой страсти к информации, Пайнкоффин выслал монографию на пятидесяти одной странице: «Продукты, получаемые из свиньи». Тут уж его понесло, под чутким руководством Нэффертона, напрямик к фабрикам Канпура, где свиные кожи идут на седла, а оттуда к дубильщикам. Пайнкоффин написал, что лучшее средство для обработки свиных кож — семя граната, и заметил (минувшие четырнадцать месяцев изрядно измотали его), что Нэффертону «поначалу надо бы развести свиней, а уж потом дубить их кожу».

Нэффертон вернулся ко второму разделу пятого вопроса. Каким образом можно добиться, чтобы чужеземная свинья давала столько же свинины, сколько она дает на Западе, и при этом «приобрела бы ту же волосатость, что и ее восточный сородич»? У Пайнкоффина мороз пошел по коже, потому что он уже забыл все, о чем писал шестнадцать месяцев назад, и был близок к тому, чтобы начать все сначала. Он слишком далеко зашел в дебри, чтобы отступить, и в порыве минутной слабости написал: «Обратитесь к моему первому письму»; оно касалось дравидской свиньи. На самом деле Пайнкоффин должен был добраться до акклиматизации, а скатился на второстепенный вопрос о скрещивании видов.

Вот уж когда Нэффертон полностью раскрыл свои карты! Он величавым слогом выразил правительству недовольство «недостаточностью предоставленной помощи в моих серьезных намерениях положить начало предприятию, которые воздадутся сторицей, и легкомысленным отношением к моим запросам об информации со стороны джентльмена, чья псевдоученость едва позволяет ему понять основные различия хотя бы между дравидской и беркширской разновидностью рода *Sus*¹. Если следует понимать, что письмо, к которому он меня отсылает, содержит его серьезные воззрения

¹ Свинья (*лат.*).

на акклиматизацию этого ценного, хотя, возможно, и не слишком чистоплотного животного, то я с трудом вынужден поверить» и т. д. и т. п.

Во главе отдела жалоб был новый человек. Несчастному Пайнкоффину было заявлено, что Служба создана для Страны, а не Страна для Службы и что для него было бы лучше добросовестно предоставлять информацию о свиньях.

Пайнкоффин ответил, как безумный, что он написал все, что может быть вообще написано о свиньях, и что ему полагается отпуск.

Нэффертон получил копию этого письма и послал его вместе с опусом о дравидской свинье в центральную газету, которая напечатала и то и другое полностью. Опус был написан в довольно возвышенных тонах, но если бы редактор видел на столе Нэффертона груды бумаги, исписанные рукой Пайнкоффина, он бы не был так саркастичен насчет «расплывчатых разглагольствований и вопиющей самоуверенности современного карьериста, а также его крайней неспособности постичь практическую суть практического вопроса». Многие из знакомых вырезали эти заметки и послали их Пайнкоффину.

Я уже констатировал, что Пайнкоффин был человеком мягкотелым. Этот последний удар испугал и потряс его. Он ничего не мог понять, но чувствовал, что Нэффертон так или иначе одурачил его самым бессовестным образом. Он понимал, что сам без надобности влез в свиную шкуру и уже не сможет вывести правительство из заблуждения. Все знакомые осведомлялись о его «расплывчатых разглагольствованиях» и «вопиющей самоуверенности», и это убивало его.

Он сел в поезд и отправился к Нэффертону, которого не видел с тех пор, как началось все это свинское предприятие. Он размахивал вырезкой из газеты, кричал что-то невразумительное и оскорблял Нэффертона, а потом сник и еле слышно промямлил: «Я-говорю-это-слишком-гадко-вы-знаете».

Нэффертон проявил необычайное участие.

— Боюсь, что задал вам порядочно хлопот, не правда ли? — сказал он.

— Хлопот! — прохныкал Пайнкоффин. — Хлопоты — это еще ничего, хоть радости мало... но меня возмущает, что это обнародовано. Эта история, как репей, пристанет ко мне на всю жизнь. А я-то делал все, что

мог, для вашего хряка. Гадко вы поступили, ей-богу!

— Не знаю, — сказал Нэффертон. — Вас когда-нибудь лягала лошадь? Выброшенные деньги — это еще ничего, хоть радости мало, но меня возмущает, что надо мной смеются, причем смеется тот, кто меня же надул. Ну, я думаю, мы можем пойти на мировую.

Пайнкоффину только и оставалось, что крепко выразиться; а Нэффертон чрезвычайно приветливо улыбнулся и пригласил его к ужину.

КРОШКА УИЛЛИ УИНКИ

«И офицер и джентльмен»

Настоящее его имя было Персиваль Уильям Уильямс, но он выбрал себе прозвище из детской книжки, и с тех пор с полным именем было покончено. Старая аяя, которая служила у его матери, называла его «Уилли-баба»¹, но он никогда не обращал внимания на ее слова, и тут уж она ничего не могла поделать.

Его отец был командиром 195-го полка, и когда Уилли Уинки подрос и начал понимать, что такое военная дисциплина, отец стал требовать ее от сына неукоснительно. Справиться с ним по-другому было невозможно. Если мальчик целую неделю вел себя хорошо, то получал нашивку «За примерное поведение», а если ему случалось проштрафиться, отец лишал его этой награды. В основном вел он себя неважно — ведь Индия предоставляет бесчисленные возможности для шестилетних мальчишек вести себя плохо.

Обычно дети обижаются, когда незнакомые относятся к ним фамильярно, а Уилли Уинки был совсем особенный ребенок. Если он принимал человека в круг своих знакомых, то тянулся к нему всей душой. Так, с первого взгляда он привязался к Брандису, субалтерну 195-го полка. В тот день Брандиспил чай у полковника. Уилли Уинки уже довольно долго носил нашивку «За примерное поведение», присвоенную в награду за то, что он не гонял кур по двору. Минут десять мальчик пристально рассматривал Брандиса, а затем высказал свое мнение.

— Ты мне нравишься, — медленно сказал он, сле-

¹ Баба — здесь: господин.

зая со стула и подходя к молодому офицеру. — Можно я буду звать тебя Медячок: у тебя такие блестящие волосы! Ты не против?

Это была одна из наиболее досадных особенностей Уилли Уинки. Обычно он некоторое время смотрел на незнакомца, а потом безо всякого предупреждения или объяснения давал ему прозвище. И прозвище это прилипало навсегда. Никакие дисциплинарные взыскания не могли научить Уилли Уинки от этой привычки. Он лишился нашивки «За примерное поведение», окрестив жену комиссара «Окорочок», и как ни старался полковник, ему так и не удалось искоренить это прозвище. Миссис Коллен суждено было остаться «миссис Окорочок» на все время пребывания в Индии. Итак, Брандис был наречен «Медячком» и заметно вырос в глазах всего полка.

Если Уилли Уинки случалось проявить интерес к кому-нибудь, то счастливицу завидовали все — и офицеры и рядовые. В этой зависти не было и доли корысти: «сына полковника» любили за его собственные заслуги. Мальчика нельзя было назвать хорошеньким. Его лицо было все в веснушках, на ногах — вечные ссадины. Несмотря на слезы и мольбы матери, он настоял на своем: его длинные золотистые локоны были острижены «по-военному». «Хочу прическу, как у сержанта Таммила», — заявил Уилли Уинки, и с молчаливого согласия отца золотые кудри были принесены в жертву.

Спустя три недели после знакомства с понравившимся мальчику лейтенантом Брандисом — далее и мы будем для краткости называть его просто «Медячок» — Уилли Уинки столкнулся со странными вещами, которые он никак не мог понять.

Медячок с лихвой платил за привязанность. Он позволил мальчику целых пять восхитительных минут поносить свою огромную саблю — а она была едва ли не больше самого Уинки. Он пообещал подарить ему щенка терьера. И — самое главное — он разрешил своему другу присутствовать при таинстве бритья. Более того, Медячок сказал, что когда Уилли Уинки вырастет, то непременно станет обладателем коробочки с блестящими лезвиями, серебряной мыльницы и «помазунчика» с серебряной ручкой — так мальчик называл помазок. Решительно не было никого в целом мире — кроме отца, который мог по своему усмотрению награждать нашивкой «За примерное поведение» или лишать этой награ-

ды, — никого, кто мог бы сравниться с умным, сильным и доблестным Медячком. Непонятно только, почему Медячок, несмотря на свои египетские и афганские медали, вел себя так немужественно — целовался с этой девицей, мисс Аллардайс. Уилли Уинки видел это собственными глазами. Когда он утром катался на своем пони, то увидел целующуюся парочку. Как настоящий джентльмен, Крошка Уилли Уинки сразу повернул назад и поскакал к конюху, пока тот ничего не заметил.

При обычных обстоятельствах мальчик поговорил бы об этом с отцом, но сейчас он сердцем чувствовал, что в этом деле нужно сначала посоветоваться с Медячком.

— Медячок! — закричал рано утром Уилли Уинки, осадив своего пони возле бунгало субалтерна. — У меня к тебе дело!

— Ну что ж, входите, молодой человек, — ответил Медячок, который как раз завтракал. Вокруг стола сидели его собаки. — Что с вами приключилось на сей раз?

Крошка Уилли Уинки уже в течение трех дней не совершал никаких особо тяжких проступков и был на вершине добродетели.

— Я ничего плохого не сделал, — сказал он, разваливаясь в большом кресле точно так же, как делал отец, когда возвращался с долгих занятий на плацу. Он уткнул свой веснушчатый носик в чашку с чаем, и его круглые глаза внимательно смотрели на молодого офицера. Он спросил:

— Послушай, Медячок, а прилично ли это — целовать девиц?

— Бог мой, рановато же ты начинаешь! — воскликнул Медячок. — И кого же ты хочешь поцеловать?

— Да никогошеньки! Это мама всегда норовит меня чмокнуть, если я вовремя не увернусь. Но послушай, если это неприлично, то почему ты вчера утром целовался там, у канала, с дочерью майора Аллардайса?

Медячок наморщил лоб. Вот уже две недели они с мисс Аллардайс с большим тщанием скрывали свою помолвку. Были весьма веские причины, по которым майору Аллардаису не следовало знать об этом еще по крайней мере месяц, а этот маленький сыщик успел разведать их тайну.

— Я тебя видел, — повторил тихо Уилли Уинки. —

Но конюх ничего не заметил. Я закричал: «Хут джао!»¹

— Ну что ж, ты поступил очень разумно, мой юный выдумщик, — пробурчал бедный Медячок, не зная, что делать, — смеяться или сердиться. — И многим ты сообщил об этом?

— Только самому себе. Ты ведь не выдал, что я катался на буйволе, когда захромал мой пони. Я и подумал, что, если я разболтаю, тебе не понравится.

— Уинки! — сказал с воодушевлением Медячок, крепко пожимая ладошку мальчика, — ты лучший парень, которого я знаю. Послушай, ты сейчас еще многого не понимаешь. Когда-нибудь, — черт возьми, как бы тебе объяснить? — я женюсь на мисс Аллардайс, и тогда, как ты говоришь, она станет миссис Медячок. Конечно, если тебе не по нраву, что я целуюсь с девушкой, можешь идти и сказать своему отцу.

— И чего тогда тебе будет? — спросил Уинки, который был убежден во всемогуществе отца.

— Тогда у меня будут изрядные неприятности, — ответил Медячок, выложив свой главный козырь и бросая умоляющий взгляд на юного обладателя козырного туза.

— Ну, тогда не скажу, — кратко ответил Уинки. — Но отец говорит, что лизаться — это не по-мужски, а я и не ожидал, что ты, Медячок, будешь так делать.

— Понимаешь, старина, я ведь не всегда лижусь. Так, иногда, время от времени. Когда вырастешь, тоже будешь. Отец просто считает, что тебе пока рано.

— А-а! — сказал Крошка Уилли Уинки, теперь полностью просвещенный. — Это как помазунчик?

— Точно так, — очень серьезно ответил Медячок.

— Вообще-то не думаю, что мне захочется целоваться, ну, разве что с мамой. Вот как; значит, придется.

Последовала долгая пауза, потом Уинки прервал молчание.

— Медячок, а тебе нравится эта девушка?

— Чертовски! — воскликнул Медячок.

— Даже больше, чем я?

— Ну, дружище, это совсем по-другому, — сказал Медячок. — Вся штука в том, что когда-нибудь мисс Аллардайс станет моей женой, а ты вырастешь и будешь командовать полком, и все такое прочее. Видишь, это совсем по-другому.

¹ Уходи!

— Ладно, — сказал Уилли Уинки, слезая со стула. — Если тебе нравится эта девица, я никому не скажу. А теперь мне пора.

Медячок поднялся и проводил своего гостя до двери. У порога он произнес: «Ты действительно отличный парень, Уинки. Вот что я тебе скажу. Через тридцать дней — считая с сегодняшнего утра — ты можешь рассказывать об этом кому захочешь».

Таким образом, тайна о помолвке Брандиса и мисс Аллардайс зависела теперь целиком от маленького мальчика. Медячок, который знал, как правдив Уинки, мог быть спокоен: он был уверен, что мальчик сдержит слово.

Крошка Уилли Уинки выказал особый интерес к мисс Аллардайс и, описав несколько кругов вокруг смущенной девушки, долго не мигая смотрел на нее. Мальчик пытался понять, почему Медячок целовал именно ее. Его мать, например, была гораздо красивее. С другой стороны, девушка дружит с Медячком и со временем будет его женой. Это заставляло Уинки относиться к ней с таким же уважением, как к сабле или сверкающему пистолету своего друга.

Мысль о том, что у него с Медячком есть общий большой секрет, сделала Уилли Уинки удивительно добродетельным на целых три недели. Но затем «бедный Адам поддался искушению» и развел, по выражению самого Уинки, «походный костерчик» в глубине сада. Не мог же он предвидеть, что летящие искры подожгут стог и уничтожат недельный запас сена для лошадей? Наказание последовало незамедлительно: Уилли Уинки лишился нашивки «За примерное поведение» и — что было хуже всего — его посадили на два дня под домашний арест, и теперь он мог ходить только по комнатам и веранде. Вдобавок лишился возможности видеть отца.

Уинки воспринял наказание как мужчина (ему так хотелось стать настоящим мужчиной!). Он вытянулся в струнку, — причем нижняя губа предательски дрожала, — отдал честь, а выйдя из комнаты, помчался в детскую, которую называл «моя казарма», и горько разрыдался. Днем пришел Медячок и попытался утешить заключенного.

— Я под арестом, — грустно сказал Уилли Уинки, — и мне ни за что нельзя с тобой разговаривать.

На следующий день рано утром он вскарабкался на крышу дома — это не было запрещено — и увидел, что мисс Аллардайс собирается покататься верхом.

— Куда ты едешь? — закричал Уинки.

— Туда, за речку, — ответила она, хлестнула лошадь и поскакала рысью.

Место, где располагался 195-й полк, было на севере ограничено речкой; зимой она высыхала. Уинки запрещали ходить на ту сторону, и он заметил, что даже Медячок — сильный и смелый Медячок — никогда не переступал эту границу. Однажды мать читала мальчику сказки из большой синей книги. И там была история о принцессе и гоблинах ¹ — замечательная сказка о стране, где гоблины сражались с человеческими детьми, пока их всех не поборол человек по имени Кёрди. С этого дня мальчику казалось, что голые черные и лиловые холмы, раскинувшиеся за рекой, населены гоблинами. И правда, все говорили, что там живут Плохие Люди. В доме полковника нижняя половина окна даже была заклеена зеленой бумагой — на случай, если Плохие Люди начнут палить в гостиную или в уютные спальни. Без всяких сомнений, именно там, за рекой, где кончалась Земля, и жили Плохие Люди. И вот дочка майора Аллардайса, собственность Медячка, собирается пересечь эту границу! А что скажет Медячок, если с ней что-нибудь случится? Вдруг гоблины утащат ее, как это случилось со сказочной принцессой? Надо вернуть ее во что бы то ни стало.

В доме стояла тишина. Отец, конечно, будет вне себя от гнева, размышлял Уинки. Нарушить арест — это было неслыханное преступление! С минуту мальчик напряженно думал, а потом со всех ног бросился из дома. Низкое солнце отбрасывало его прыгающую тень — очень большую и черную — на ухоженные садовые дорожки. Мальчик добежал до конюшни и приказал быстрее седлать пони. В рассветной тишине ему казалось, что весь взрослый мир замер и смотрит не отрываясь на его возмутительное поведение. Сонный конюх вывел лошадь, и — семь бед — один ответ! — Уинки соврал, что хочет заехать к сахибу Медячку. Он вскочил на пони и быстро поскакал по дорожке, то и дело задевая за цветочный бордюр.

Разрушения, которые наделал пони, лишили его последней надежды на симпатии человечества. Свернув

¹ Гоблин — сказочное существо, привидение. Имеется в виду «Принцесса и гоблин» — сказка шотландского писателя Джорджа Макдоналда (1824—1905).

на дорогу, он приник к гриве и погнал пони во всю прыть к речке. Но даже самый быстроногий пони не может догнать чистокровного уэльского скакуна. Мисс Аллардайс была далеко впереди, она миновала поле и полицейский пост, где мирно спала охрана. Ее лошадь уже трусилась по гальке на дне речки, когда Уилли Уинки выехал из округа, оставив Британскую Индию за своей спиной. Нагнувшись вперед и продолжая нахлестывать лошадь, он несся теперь по афганской территории. Мальчик мог различить впереди черное пятнышко, мелькавшее там и сям по каменистой равнине: это была мисс Аллардайс. Причина ее необычной прогулки была довольно проста. Накануне вечером Медячок весьма повелительным тоном, который, по ее мнению, он усвоил слишком рано, заявил, что она не должна кататься за речкой. И на следующее утро мисс Аллардайс отправилась к речке, дабы доказать свою независимость и прочить Медячка.

Почти достигнув подножия негостеприимных холмов, Уинки увидел, что лошадь девушки споткнулась и тяжело рухнула на землю. Мисс Аллардайс пыталась высвободиться, но она сильно вывихнула колено и никак не могла подняться. Отстояв таким образом свою независимость, она громко зарыдала и была весьма удивлена, когда перед ней, как призрак, возник белокожий мальчик, одетый в хаки. Он тяжело дышал, глаза его были широко раскрыты. Его пони был весь покрыт пеной.

— Ты очень сильно ушиблась? — закричал Крошка Уилли Уинки, приблизившись к ней. — Не надо было тебе сюда ехать.

— Не знаю, — ответила мисс Аллардайс, не обращая внимания на упрек. — Боже мой, мальчик, а ты-то что здесь делаешь?

— Ты ведь сказала, что поедешь за речку, — тяжело дыша, объяснил Уинки, соскакивая с пони. — Никто, даже Медячок, не должен ездить за речку, вот я и поскакал за тобой, и так быстро ехал, а ты ни разу не остановилась, а потом упала и ушиблась, и Медячок будет на меня сердиться, а я еще нарушил арест! Я нарушил арест!

И будущий командир 195-го полка сел на землю и горько заплакал.

Девушка даже забыла про боль в коленке — так она была растрогана.

— Малыш, неужели ты один проскакал всю дорогу от лагеря? Да зачем?

— Ты ведь выйдешь за Медячка. Мне сам Медячок сказал! — сквозь слезы выговорил мальчик. — Я видел, как вы целовались, и он сказал, что любит тебя больше всех на свете. Вот я и поехал. Вставай, пойдем назад. Тебе нельзя тут оставаться. Это плохое место, а я нарушил арест.

— Я не могу двигаться, Уинки, — со стоном сказала мисс Аллардайс. — У меня что-то с ногой. Что же нам делать?

Она была готова вновь разрыдаться, и это заставило Уинки взять себя в руки: с раннего детства ему внушали, что настоящий мужчина никогда не плачет. Однако, если бы настоящий мужчина наделал столько грехов, сколько Уинки, и ему было бы позволительно пасть духом.

— Уинки, — сказала мисс Аллардайс, — когда отдохнешь, скачи назад и скажи, чтобы прислали для меня какую-нибудь повозку. Так нога болит...

Несколько минут мальчик сидел тихо, и девушка закрыла глаза; она почти теряла сознание от боли. Очнувшись она от шума: Уилли Уинки завязал поводья на шее пони и ударами хлыстика погнал его прочь. Пони заржал и поскакал к лагерю.

— Уинки! Что ты делаешь?

— Тише! — прошептал мальчик. — Сюда идет человек — наверное, он плохой. Я должен остаться с тобой. Отец всегда говорит, что мужчина должен защищать девушку. Джек придет домой без меня, и они начнут нас искать. Вот я и отправил его домой.

Из-за камней с холмов спускался не один, а целых два или три человека. Сердце у Уинки ушло в пятки: именно так имели обыкновение подкрадываться гоблины. Так, наверное, они и пытались украсть душу сказочного Кёрди... Уинки видел на картинке, как они играли в саду Кёрди и испугали няньку принцессы. Вдруг мальчик услышал, как приближавшиеся заговорили друг с другом, и с радостью узнал голос метиса, их бывшего конюха, которого недавно рассчитали. Плохие Люди не могли так говорить. Это были просто туземцы. Они подошли к валуну, о который споткнулась лошадь мисс Аллардайс.

И тут из-за камня поднялся Уилли Уинки, сын Доминанта Рейса, которому было шесть лет и девять ме-

сяцев, и закричал отрывисто и выразительно: «Джао!»¹
В это время пони уже пересек реку.

Люди засмеялись. Что-что, а смех туземцев над собой Крошка Уилли Уинки терпеть не мог. Он спросил, чего им надо и почему они не идут восвояси. Из тени холмов неслышно появлялись все новые и новые люди с суровыми лицами. В руках у них были винтовки. Вскоре Уилли Уинки оказался лицом к лицу с двадцатью туземцами. Мисс Аллардайс закричала.

— Кто вы такие? — спросил один из пришедших.

— Я сын полковника-сахиба, и я приказываю вам немедленно убираться. Вы, темнокожие, испугали мисс сахиб. Пусть один из вас бежит в лагерь и скажет, что мисс сахиб поранилась и сын полковника здесь, с ней.

— Не хватало нам самим лезть в ловушку, — засмеялся незнакомец. — Послушайте-ка, что болтает этот мальчишка!

— Скажите, что это я вас отправил, сын полковника. Они дадут вам денег.

— Что толку болтать? Заберем мальчишку и девушку, по крайней мере, получим выкуп. Пошли наверх, в деревню, к нашим, — послышался голос из задних рядов.

Да, это действительно были Плохие Люди — похуже гоблинов. Понадобились вся воля и мужество, которые воспитывали в Уинки, чтобы он не расплакался. Но он знал, что это полный позор — плакать перед туземцами, кроме старой айи. К тому же он, будущий командир 195-го полка, чувствовал за спиной свой доблестный полк.

— Вы что, собираетесь нас увести с собой? — закричал Уилли Уинки, побледнев от напряжения.

— Ну, конечно, мой маленький сахиб-бахадур², — ответил самый высокий из мужчин. — Уведем, а потом слопаем.

— Детские сказки, — небрежно бросил Уинки. — Люди людей не кушают.

Последовал взрыв хохота, но мальчик твердо продолжал:

— А если вы нас заберете к себе, то весь мой полк

¹ Уходи!

² Бахадур — великий (важный) господин; почтительное обращение.

на другой день придет и всех вас убьет. Ну, кто передаст мои слова полковнику?

Крошка Уилли Уинки мог легко говорить на любом из местных наречий — он знал их целых три, хотя еще не совсем правильно выговаривал «г» и «th» на своем родном английском.

В разговор вступил еще один человек.

— Глупцы! Малыш говорит правду. Эти белые в нем души не чают. Отпустите их обоих с Богом. Если мы возьмем их в заложники, полк не оставит от наших сел камня на камне. Это не солдаты, а дьяволы. Они переломали все кости одному нашему парню, когда он пытался украсть ружье, а если мы тронем мальчишку, они целый месяц будут жечь и грабить все вокруг. Лучше отправить туда гонца и получить награду. Говорю вам, они просто молятся на этого мальчишку, и солдаты не пощадят ни нас, ни наших женщин, если мы его тронем.

Это говорил Мухаммед Дин, конюх, уволенный полковником. Туземцы стали с жаром обсуждать, что делать. Уинки стоял рядом с лежащей девушкой, ожидая развязки. Конечно, его «полк», его собственный полк не выдал бы его — эх, знали бы, в какую переделку попал их командир!

* * *

Прискакавший без всадника пони принес в полк тревожную весть, хотя уже час в доме полковника все было вверх дном. Лошадка проскакала по плацу напротив главных казарм, где солдаты днем резались в карты. Девлин, сержант роты «Е», увидел пустое седло, бросился в казарму и стал поднимать всех капралов.

— Вставайте, вы, лежебоки! С сыном полковника стряслась беда! — кричал он.

— Этот парень не мог упасть с лошади! Ей-богу, упасть он никак не мог! — кричал со слезами в голосе мальчик-барабанщик. — Скачите, ради всех святых, через речку. Он там — как пить дать. Может, его сцапали патаны¹. Бога ради, не ищите его в ущелье, дуйте сразу через речку.

— Мотг дело говорит, — воскликнул Девлин. — Рота «Е», по двое стройсь, к реке марш!

Солдаты роты «Е», не успевая натянуть мундиры,

¹ Патаны — афганцы.

выбегали на плац и строились по двое, чтобы, не медля ни минуты, ринуться спасать своего любимца.

Позади суетился сержант, весь в испарине, заклиная всех поспешить. Лагерь пришел в движение: весь 195-й полк искал Крошку Уилли Уинки, и, наконец, полковник, вконец сорвав голос, поскакал по гальке через реку во главе роты «Е».

На вершине холма, у подножия которого Плохие Люди обсуждали, брать с собой пленников или нет, дозорный дважды выстрелил в воздух.

— Ну, что я говорил? — кричал Мухаммед Дин. — Это предупредительный выстрел. Вот видите, полк уже снялся с места и несется по долине! Бежим! Нас не должны видеть с этим мальчишкой!

Секунду туземцы выжидали, а когда прогремел второй выстрел, поспешно двинулись прочь и исчезли так же бесшумно, как и появились.

— Это мой полк идет, — зашептал на ухо девушке Уинки, — и все будет замечательно, вот увидишь, только не реви!

Он и сам нуждался в таком совете, ибо, когда спустя десять минут к ним подскочил отец, мальчик отчаянно рыдал, уткнувшись в колени мисс Аллардайс.

Солдаты 195-го полка с радостными криками повезли его домой, и Медячок встретил его на взмыленной лошади и, несмотря на протесты Уинки, в присутствии всех расцеловал его в обе щеки.

Но бальзам все же пролился на его гордую душу. Отец заверил его, что арест снят и ему возвращается нашивка «За примерное поведение» и мать немедленно пришлет ее на рукав рубашки. Мисс Аллардайс рассказала полковнику все, что случилось, и он искренне гордился сыном.

— Слушай, она ведь принадлежит тебе, Медячок, — сказал Уинки, указывая чумазым пальцем на мисс Аллардайс. — Я знал, что ей нельзя за речку, и я знал — если пошлю Джека домой, мой полк меня выручит.

— Ты просто герой, Уинки, — воскликнул Медячок, — настоящий герой!

— Я толком не знаю, что это такое, — серьезно ответил мальчик. — Только не зови меня больше Уинки. Я — Персиваль Уильям Уильямс.

Так расстался со своим детством Крошка Уилли Уинки.

ДАНА-ДА НАСЫЛАЕТ НАВАЖДЕНИЕ

Когда дьявол пляшет на твоей груди,
помяни *чамара*.

Местное поверье

Однажды кое-какие люди в Индии сотворили новые Небеса и новую Землю из черепков от чайных чашек, пары потерянных брошек и щетки для волос. Все это было спрятано в кустах и щелях горных склонов, и чиновники целого департамента гражданского розыска при божествах мелкого ранга искали их; что находили, чинили, и все приговаривали:

— На Небесах и на Земле куда больше предметов, чем те, о которых размышляют приверженцы нашей философии¹.

Случилось и еще кое-что, но это вероучение, казалось, не стремилось далее своих первичных проявлений, хотя оно изобрело свою воздушную почту и шумовые эффекты, чтобы стать вровень с веком и победить конкурентов.

Религия эта была слишком гибкой для повседневного к ней обращения. Она охватила буквально все, изобретенное шарлатанами всех времен и народов. Ее приверженцы заимствовали идеи у франкмасонов, одолжили половину интимных словечек у нынешних розенкрейцеров², приобщили попавшиеся им в энциклопедии «Британика» обрывки египетской философии, присовокупили переведенные на французский и английский Веды, а об остальных лишь вели дискуссии, подключили немецкие версии дошедших до нас частей Зенд-Авесты³, поощряли белую, серую и черную магию, включая спиритуализм, хиромантию, гадание на картах, горячих каштанах, орешках с двойным ядром и топленом жире; они приняли бы вудуизм⁴, ежели что-нибудь было бы известно о нем, — словом, религия эта показала себя одним из

¹ Парафраз знаменитых слов Гамлета: «Есть многое на свете, друг Горацио, // Что и не снилось нашим мудрецам...». — «Гамлет», д. 1, сц. 5, перевод М. Лозинского.

² Розенкрейцеры — члены тайных, преимущественно религиозно-мистических обществ в XVII—XVIII вв. Их эмблема — Роза и Крест. Близки к масонству.

³ Зенд-Авеста — часть Авесты, священных книг древних народов Ирана и других стран. Приписывается пророку Заратустре (Заратуштре).

⁴ Вудуизм — колдовство, шаманство, распространенное в Вест-Индии. Западно-африканского происхождения.

самых пластичных вероучений, какие возникали с момента сотворения воды.

Как только вся обрядовая техника этой религии была отработана, включая сбор денежных взносов, из ниоткуда явился Дана-Да (у него ничего с собой не было) и вписал в ее историю новую главу, которая до сих пор оставалась необнаруженной. Он заявил, что его первое имя — Дана, а второе — Да. Ежели не связывать это имя с Даной из нью-йоркской газеты «Сан», Дана — бхильское¹ имя, а вот Да нет ни у одного индийского племени, правда, это может быть искаженное бенгальское Дэ. Да — лапландское или финское имя, но Дана-Да — не финское, не китайское, не бхильское, не бенгальское, не лапландское, не наирское, не гондское², не румынское, не курдское, не армянское, не левантское, не еврейское, не персидское, не панджабское, не мадрасское, не парское, не еще какое-нибудь известного этнологам происхождения. Он был просто Дана-Да и уклонялся от дальнейших объяснений. Краткости ради и чтобы как-то обозначить его происхождение, его звали «туземцем». Может, он и был тем первым Старцем Гор, которого считают единственно признанным главою чайной секты. Некоторые утверждают, что это он и есть, но Дана-Да усмехался и отрицал какое бы то ни было отношение к этому вероучению, поясняя, что он «независимый искатель истины».

Как я уже говорил, он пришел ниоткуда, заложив руки за спину, и в течение трех недель изучал это вероучение, сидя у ног служителей, наиболее приобщенных к его таинствам. Затем с громким смехом — то ли его распирало от восторга и благоволения, то ли он издевался — Дана-Да удалился.

Вернулся он без гроша в кармане, но по-прежнему преисполненный гордости. Он объявил, что знает больше о всем сущем на Земле и на Небесах, чем его учителя; за подобную ересь он тотчас же был изгнан из секты.

Затем он появлялся в военном лагере в Верхней Индии, где предсказывал будущее с помощью трех свинцовых игральные костей, старого грязного покрывала и крошечной жестяной коробочки с таблетками опиума. После полбутылки виски гадание шло успешнее, а уж

¹ Бхилы — племя, живущее в горах штата Мадхья-Прадеш.

² Гонды — племя дравидийского происхождения, проживающее в Центральной Индии и на Декане.

то, что он изрекал, наглотавшись опиума, стоило любых денег. С деньгами у него было очень туго. Однажды ему довелось предсказывать судьбу англичанину, который когда-то был увлечен симлским учением, а потом женился и в семейных заботах позабыл о своем прошлом увлечении. Англичанин пожалел Дана-Да и разрешил погадать ему, заплатил пять рупий, накормил и дал кое-что из своих обносков. Насытившись, Дана-Да поблагодарил его и поинтересовался, не может ли он что-нибудь сделать для своего благодетеля в области оккультных наук.

— Любите ли вы кого-нибудь? — спросил Дана-Да.

Англичанин любил свою жену, но не имел ни малейшего желания впутывать ее имя в этот разговор. Посему он отрицательно помотал головой.

— Ненавидите ли вы кого-нибудь? — спросил Дана-Да.

Англичанин ответил, что ненавидит несколько человек.

— Отлично, — сказал Дана-Да, на которого уже начали действовать виски и опиум. — Скажите мне их имена, я найшу на них наваждение, и оно убьет их.

Наваждение — это страшное оружие, говорят, впервые изобретенное в Исландии. Это — нечто, насылаемое колдуном, принимающее любые обличия, но чаще всего оно плывет над землей в форме маленького пурпурного облачка, пока не достигнет своей жертвы, оно превращается в лошадь, кошку или безликого человека и убивает ее. Это оружие не имеет, строго говоря, туземного патента, хотя некоторые представители низших каст, чамары, ежели их рассердить, могут наслать наваждение, которое наваливается на грудь их врага ночью и душит его до полусмерти. Поэтому мало кто из туземцев рискует сердить чамаров.

— Давайте я найшу наваждение, — сказал Дана-Да, — я нищий, чуть живой от голода, виски и опиума; но я не прочь перед смертью убить кого-нибудь. Могу наслать наваждение на кого захотите, в любом обличье, кроме человеческого.

У англичанина не было друзей, которых он хотел бы убить, но, отчасти чтобы успокоить Дана-Да, вращавшего глазами, как безумный, а отчасти из любопытства, он спросил, нельзя ли несколько изменить воздействие этого наваждения — пусть оно причинит намеренной жертве жестокие душевные муки, но физиче-

ского вреда ему не причинит. Если у Дана получится, он даст десять рупий.

— До чего же я низко пал, — сказал Дана-Да, — деньги беру, обнищал. На кого наслать наваждение?

— На Лоун-сахиба, — сказал англичанин, имея в виду того типа, который больше всех злобствовал, упрекая его в отступничестве от чайной веры.

Дана-Да кивнул и рассмеялся.

— Я и сам не смог бы выбрать более подходящий объект, — сказал он. — Я устрою так, что наваждение будет стеречь его на тропинке и у кровати.

Он лег на коврик у камина, закатил глаза, задрожал и захрапел, — то ли в нем заговорили магические силы, то ли подействовал опиум, то ли он был весь во власти колдовства, то ли по всем трем причинам. Открыв наконец глаза, он поклялся, что наваждение уже в пути, и в это самое мгновение подлетает к городу, где живет Лоун-сахиб.

— Отдайте мне мои десять рупий, — проговорил измученный Дана-Да, — и напишите письмо Лоун-сахибу, в котором оповестите его и его единоверцев, что вы с вашим другом обладаете большей магической силой, чем они. Они скоро убедятся, что вы говорите правду.

Заручившись обещанием, что получит еще несколько рупий, если что-нибудь выйдет из его затеи, он, покачиваясь, ушел.

Англичанин написал письмо Лоун-сахибу, стараясь вспомнить терминологию их вероучения. Письмо началось со слов: «В минуты моего, как вы утверждаете, отступничества я сподобился просветления, а с просветлением на меня снизошло и могущество».

Затем он пустился в столь туманные мистические рассуждения, что получатель сего послания не смог понять в нем ровным счетом ничего, что, соответственно, произвело на него глубочайшее впечатление, и он вообразил, что его друг сподобился посвящения в «пятый круг». А уж когда человека посвящают в «пятый круг», он способен на большее, чем все иллюзионисты, вместе взятые.

Лоун-сахиб пять раз перечитал письмо, всякий раз толкуя его по-новому, и уже приступил к шестому толкованию, когда в комнату влетел его слуга и сообщил, что на кровати Лоун-сахиба он нашел кошку. Больше всего на свете Лоун-сахиб ненавидел кошек. Он отругал

слугу, что тот не выкинул кошку из дома. А слуга ответил, что он испугался. Двери в спальню были на запоре все утро, и никакая *настоящая* кошка не могла пробраться в дом. А с оборотнями он не хотел бы иметь дело.

Лоун-сахиб осторожно вошел в спальню, на подушке барахтался и пищал крохотный белый котенок, не проворный зверек, а тщедушное создание, ползунок с только что открывшимися глазами и беспомощными, непослушными лапками — котенок, которому место в корзине подле своей мамаш. Лоун схватил его за шкурку и отдал дворнику, чтобы тот утопил его, а слугу наказал на четыре рупии.

Вечером того же дня он читал у себя в комнате, и ему показалось, что на коврике у камина, там, куда не попадает свет от лампы, что-то шебуршится. А когда послышалось мяуканье, он понял, что это котенок — пушистый белый котенок, почти слепой и жалкий-прежалкий. Тут он рассвирепел не на шутку, снова выговорил слуге, но тот оправдывался, убеждал, что котенка не было в комнате, когда он вносил лампу, и что *настоящие* котята в таком нежном возрасте обыкновенно находятся на попечении у своих мамаш.

— Если бы ваша милость соизволили выйти на веранду и прислушаться, — сказал слуга, — вы не услышали бы кошачьего писка. Могут ли котята на кровати и на ковре быть *настоящими*?

Лоун-сахиб вышел и прислушался, слуга — за ним, но ни одна кошка не мяукала, плача по своим деткам. Он вернулся в комнату, сбросил котенка с холма и записал все происшествя дня в назидание своим единоверцам. Они были начисто лишены предрассудков, и потому все, что хоть немного отклонялось от привычного, приписывали высшим силам. А поскольку их главной целью было знать решительно все о высших силах, они позволяли себе панибратски относиться к проявлениям этих высших сил. С потолка так и сыпались письма без почтовых марок, по ночам духи носились по лестницам вверх и вниз; но в контакт с котятами им до сего времени входить не доводилось. Лоун-сахиб записал все подробности, точно отметив день и час, как это обязан делать всякий наблюдатель сверхъестественных явлений, а также присовокупил к своей записи письмо англичанина, поскольку то был самый мистический документ, способный повлиять на происходящее в здешнем и загробном мире. Человек непосвященный прокомменти-

ровал бы эту чепуху так: «Берегись! Ты меня поднял на смех, теперь ты у меня попляшешь».

Единоверцы Лоун-сахиба поняли смысл письма, но истолковали его куда более утонченным образом, прибегая к многосложным словам. Они провели заседание, преисполненные трепетной радости, так как, несмотря на свое панибратство с иными мирами и природными циклами, они испытывали самый обыкновенный страх перед оборотнями и призраками. Они собрались в комнате Лоун-сахиба, пребывая прямо-таки в похоронном настроении, внезапно их заседание было прервано звоном стекла на фотографиях, стоящих на камине. Крохотный, полуслепой белый котенок пробирался между подсвечников и часов. Увидев его, собравшиеся перестали изучать подробности и сомневаться. Перед ними представило воплощенное знамение. Насколько можно было понять, никакой конкретной цели у него не было, но тем не менее это было материальное проявление высшей силы — реальное и достоверное.

Они отправили послание к вероотступнику-англичанину, призывая в интересах их вероучения объяснить, имеется ли связь между каким-либо египетским или другим (забыл каким) божеством и его письмом. Они назвали котенка не то Ра¹, не то Тот², не то Тум, не то еще как-то, а когда Лоун-сахиб признался, что согрешил — приказал метельщику утопить первого котенка, они в утешение ему пообещали, что в будущей жизни он будет за чертой «круга первого», а не в самом кругу. Может быть, я не дословно передаю приговор высокого собрания, но за смысл ручаюсь.

Получив присланное по почте послание, англичанин пришел в изумление. Он тотчас же послал слугу на базар за Дана-Да, тот прочитал письмо и засмеялся.

— Это мое наваждение, — сказал он. — Я же сказал вам, что отлично работаю. Выкладывайте еще десять рупий.

— А что это за чепуха насчет египетских богов? — спросил англичанин.

— Кошки, — ответил Дана-Да и рыгнул, потому как успел подобраться к бутылке с виски. — Кошки, кошки

¹ Ра — в древнеегипетской мифологии бог солнца, царь и отец богов.

² Тот — в древнеегипетской мифологии бог луны, мудрости, письма и счета, покровитель наук, писцов, священных книг и колдовства.

и еще раз кошки! Никогда еще никому не доводилось устраивать такое наваждение. Сотня кошек. Выкладывают десять рупий и пишите, что я велю.

Письмо Дана-Да было прелюбопытным. На нем стояла подпись англичанина, в нем содержался намек на кошек — на кошачье наваждение. Сами слова точно ползли по бумаге и внушали ужас.

— Так все-таки что ты сделал? — спросил англичанин. — Я по-прежнему ни черта не понимаю. Неужели ты и правда можешь наслать это идиотское наваждение, о котором ты все время говоришь?

— Судите сами, — сказал Дана-Да. — Вы хотите знать, что означает это письмо? Погодите маленько, и они все будут у ваших и моих ног, а я — слава тебе, Господи! — целыми днями буду пить и глотать таблетки опиума.

Дана-Да разобрался в психологии клиентов.

Если человек, который терпеть не может котят, просыпаясь утром, обнаруживает у себя на груди маленького дрожащего котенка, или сует руку в карман пальто и натывается на полудохлого котенка, а не на перчатки, или раскрывает чемодан и находит гадкого котенка среди крахмальных рубашек, или выезжает верхом в дальнюю дорогу с макинтошем за седлом, а развернув его, вытряхивает из его складок пронзительно мяукающего котенка, или садится обедать и находит под своим стулом котенка, или дома натывается на котенка под одеялом, или копошащегося в ботинках, или висящего вниз головой в коробке с табаком, или в пасти терьера на веранде, — если такой человек находит одного котенка, ни больше ни меньше, в месте, где он не может быть и ему не положено быть, человек этот, конечно же, огорчается. И если он не решается убить свою находку, потому что верит — перед ним воплощение высших сил, знание, еще полдюжина сверхъестественных явлений, он вконец расстраивается. Он просто приходит в отчаяние. Некоторые единоверцы Лоун-сахива считали, что его осенила святая благодать, но было немало и таких, кто говорил, что если бы он обошелся с первым котенком с должной почтительностью, какая подобает по отношению к посланцу Тот-Ра-Тум-Сеннахериба¹, — не было бы с ним никаких неприятностей. Они сравнивали его со Старым Мореходом², но все равно гордились

¹ Сеннахериб (ум. в 681 г. до н. э.) — ассирийский царь.

² Старый Мореход — герой поэмы английского поэта С. Колриджа (1771—1834) «Сказание о Старом Мореходе».

им и англичанином, который являл знамение. Они не называли его наваждением, потому что их вероучение не включало в себя исландскую магию.

После нашествия шестнадцати котят, то есть через две недели (для вящей убедительности в первый день появилось три котенка), вся община единоверцев пришла в неистовый восторг; в окно залетело письмо от Старца Гор, главы их секты; письмо это толковало смысл знамения в самых изысканных выражениях и приписывало автору письма все заслуги. Англичанин, говорилось в письме, не имеет ко всему этому ни малейшего отношения. Он — отступник, не ведет праведной жизни и не обладает никакой силой, ему даже не дано поднять стол силой волевого импульса, а тем более на расстоянии облекать в конкретную материальную форму целую армию котят. Все происходящее, говорилось далее в письме, основано на строго ортодоксальных началах и стало возможным с благословения патриархов секты. Это известие вызвало бурю восторга; в секте оказались слабые духом братья; обнаружив, что человек, не исповедующий их вероучение, придерживающийся независимой линии поведения, сумел сотворить котят, тогда как их вожди не идут дальше фаянсовой посуды, да и то битой, эти братья выразили желание пойти своим путем. Это было уже предвестником раскола и ереси. Англичанину было направлено второе послание, начинающееся словами: «О ты, презренный» — и кончавшееся проклятиями из ритуала мизраимов и мемфисцев и из заклятий Джуганы, который был из «круга пятого», чьим именем однажды дерзко воспользовался представитель «круга третьего». Папская анафема — детский лепет по сравнению с заклятиями Джуганы. В письме за подписью Старца Гор, скрепленном печатью, англичанин обвинялся в том, что он незаконно присвоил Добродетель и притворился, что обладает могуществом, кое дано только верховному главе секты. Что и говорить — в этом послании не пощадили его.

Англичанин попросил Дана-Да перевести это письмо на доступный пониманию язык. На Дана-Да послание это возымело неожиданное действие. Сперва он страшно озлился, а потом минут пять кряду хохотал.

— Я думал, — сказал он, — что в конце концов они придут ко мне. Через неделю я доказал бы им, что это я наслал на них наваждение, и они свергли бы своего Старца, того самого, что считает, что это он насыляет

наваждение. Ничего не делайте. Настал мой час. Пишите под мою диктовку, я их посажу в лужу. Только дайте еще десять рупий.

Под диктовку Дана-Да англичанин написал письмо, содержащее прямую угрозу Старцу Гор. Оно заканчивалось следующими словами:

«Ежели это ты насылаешь наваждение, пусть так продолжается и далее, а если это я, я сделаю так, что через два дня оно прекратится. В течение следующего дня будет двенадцать котят, а потом — ни одного. Люди рассудят, кто из нас обладает высшей силой».

Оно было подписано Дана-Да, который добавил к подписи пятиконечники и пентаграммы, *сгух ensata*¹, полдюжины свастик, а к своему имени присовокупил тройное Тау² в доказательство того, что он именно тот, за кого он себя выдает.

Вызов Дана-Да был зачитан вслух дамам и господам, и они вспомнили, что несколько дней тому назад Дана-Да посмеялся над ними. Последовало официальное заявление, что Старец Гор отнесется к его притязаниям с полным презрением, поскольку Дана-Да — независимый искатель истины, не вступивший даже в «круг первый». Но его единоверцы не успокоились. Они жаждали состязания.

При всей своей одухотворенности они были обыкновенными людьми, со всеми человеческими слабостями. Лоун-сахиб, которого уже вконец извели котята, безропотно подчинился своей участи. Он чувствовал, что ему, говоря словами поэта, предстоит стать жертвой Дана-Да.

Как только забрезжил назначенный день, котята так и посыпались со всех сторон. Одни были белые, другие пестрые, но все почти одного и того же мерзкого возраста. Трое из них возникли на ковре перед камином, трое в ванной комнате, остальные шесть в перерывах между появлением гостей, пришедших взглянуть на исполнение пророчества. Никогда так не везло Дана-Да с наваждением. На следующий день котята уже не появлялись, а следующий за ним и все последующие прошли спокойно. Паства зароптала и стала ожидать объяснений от Старца Гор. С потолка свалилось письмо,

¹ Разновидность геральдического креста (*лат.*).

² Тау — девятнадцатая буква греческого алфавита, также двадцать третья буква алфавита иврита.

написанное на пальмовом листе, но все, кроме, может быть, одного Лоун-сахиба, чуяли, что письмами тут не обойтись. Нужны были котята, коты — взрослые коты. Письмо обстоятельно разъясняло, что произошел перерыв в духовном потоке, который в коллизии с двойственностью воспрепятствовал активному действию реагирующей силы. Котята-де продолжают появляться, но из-за каких-то осложнений не материализуются. В течение нескольких дней в воздухе парили письма, невидимые руки наигрывали Глюка и Бетховена на рюмках и часовых колпаках, но люди чувствовали, что духовный поток сил ничего не стоит без материализации котят. Даже Лоун-сахиб присоединился к мнению большинства. Письма Дана-Да были чрезвычайно оскорбительны, и ежели бы он предложил основать новую секту, неизвестно, что бы еще могло приключиться.

Но Дана-Да умирал от виски и опиума, лежа во флигеле у англичанина, у него было слишком мало жизненных сил для основания нового вероучения.

— Они посрамлены, — сказал он. — Никогда еще не было такого удачного наваждения. Но оно доконало меня.

— Это все пустяки, — сказал англичанин. — Ты умираешь, Дана-Да, забудь о своих проделках. Признаю, ты сотворил чудеса. Как это тебе удалось?

— Дайте мне еще десять рупий, — сказал Дана-Да еле слышно, — а ежели помру, не потратив, похороните их со мною.

Серебро было отсчитано, пока Дана-Да боролся со смертью. Его рука судорожно сжала деньги, и он злобно улыбнулся.

— Нагнитесь, — прошептал он.

Англичанин нагнулся.

— Бания, миссионерская школа, выгнали — был разносчиком — в Цейлоне торговал жемчугом — вот и все мое воспитание... когда изгнали из касты, я принял — имя Дана-Да — приехал в Англию, с американцем, чтецом мыслей — и вы давали мне несколько раз по десять рупий, а я давал слуге сахиба по две рупии в месяц на котят, маленьких, крохотных котят. Я писал, а он их подкидывал — ловкий парень. Теперь котят на базаре не осталось. Спросите жену метельщика Лоун-сахиба.

С этими словами Дана-Да испустил дух и перешел в те миры, где, как следует полагать, не происходит ни-

каких материализации и основание новых вероучений не поощряется.

Но только подумайте — до чего же блистательно простая выдумка!

ЕГО КОРОЛЕВСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО

Где слово царя, там власть; и кто скажет ему: что ты делаешь?¹

«Так! Чимо ляжет спать возле моей кровати, еще я положу тут розовую книжечку с картинками и хлебужек — я же буду голодный ночью. Вот и все, мисс Биддэмс. Поцелуйте меня, я буду баиньки. И не шумите. Ой, розовая книжка съехала под самую подушку, и еще тут крошки. Мисс Биддэмс! Мисс Биддэмс! Тут дует. Подоткните спинку!»

Его величество король готовился ко сну, и бедной, терпеливой «молодой особе, родившейся в Европе и сведущей в уходе за детьми», как скромно написала о себе в газетном объявлении мисс Биддэмс, не оставалось ничего иного, как кротко исполнять монаршие капризы. Отход ко сну был долгим ритуалом, ибо Его величеству было угодно забывать, кого из своих многочисленных друзей, начиная от сына мехтара² и кончая комиссарской дочкой, он не упомянул в своей молитве, и чтоб не оскорбить Всевышнего, благочестиво и усердно молился вновь и вновь, раз пять за вечер. Его величество был набожен и верил в силу вознесенных горе слов не меньше, чем в постоянство своего тихого спаниеля Чимо и во всеилие мисс Биддэмс, которая могла достать его ружье с пистонами — «сапсем взавправдашними» с самого верха шкафа в детской.

Его владения кончались у порога его комнаты. А дальше простирались земли его отца и матери, двух царственных особ, которым было недосуг расходовать свое внимание на королевское величество. Лишь только он переступал свои законные границы, как голос его становился тише, веселость уступала место осмотрительности, а в сердце поселялся страх перед суровым человеком, который жил среди бесчисленных ящиков с корреспонденцией и обольстительных моточков красной ленточки,

¹ Библия, Екклезиаст, 8, 4.

² Мехтар — член касты метельщиков.

и перед сказочной красавицей, всегда либо спешившей сесть в карету, либо высаживавшейся из нее.

Ему принадлежали тайны дафтар-кабинета¹, ей — необъятное зеркальное пространство гардеробной, где развешались в воздухе надушенные, переливчатые платья, висевшие на бесконечных вереницах вешалок, а на мелькавшем в щелку плоскогорье туалетного стола виднелись акры пестрых, крапчатых гребенок, и «раздвацветных» вышитых мешочков для платков, и «белогривых» щеток.

Однако ни под сенью деловой холодности, ни под эгидой светской пышности не оставалось места для Его величества. Он это понял целый век назад, задолго до того, как в доме завелась собака и перестала появляться пачка грязноватых писем в руках у поседевшей за их чтением мисс Биддэмс, — в них заключалось ее главное земное достояние. Его величество благоразумно положил себе за правило не покидать пределы собственных угодий, где лишь мисс Биддэмс, да и то несмело, порою посягала на его владычество.

Его бесхитростная теология, почерпнутая у мисс Биддэмс, слилась с рассказами о божествах и демонах, услышанными им в людской.

Свои изорванные вдрызг штанишки, как и свое израненное сердце, он поручал ее заботам с одинаковым доверием, благодаря чему то и другое обретало целостность. Ей было точно ведомо происхождение Земли, и в ту чудовищную пору, когда в июне семь ночей и дней лило как из ведра и рядом не было ковчега, а вороны все улетели, она ободрила его трепещущую душу. Она была сильнее всех, с кем он был связан в этом мире, — конечно, не считая тех двоих, далеких и безмолвных, существовавших за порогом детской.

Откуда было знать Его величеству, что вскоре после его появления на свет, одним июльским днем шесть лет тому назад, его мать миссис Остелл наткнулась среди мужниных бумаг на пылкое письмо одной неумной женщины, плененной красотой и силой молчаливого мужчины? Откуда было ему знать, как страшно повлиял этот забытый на столе клочок бумаги на душу ревнивой до безумия жены? Мог ли он угадать при всем своем уме, что его мать сочла это достойным поводом, чтоб возвести между собой и мужем стену, и с каждым годом

¹ Да ф т а р - к а б и н е т — контора.

делала ее все выше и неодоливей; что, раскопав этот семейный призрак, она взрастила из него домашнее чудовище — Дух Очага, стоявший в изголовьях их кровати и омрачавший каждый шаг и каждый вздох?

Все это было недоступно для Его величества. Он знал лишь, что его отец был поглощен таинственной работой для кого-то, называвшегося Сиркар, а мать поочередно делалась добычей то буррак-ханы¹, то науча². В эти места увеселений ее сопровождал мужчина в капитанской форме, которого Его величество не жаловал расположением.

«Он и смеяться даже не умеет», — упорно возражал Его величество мисс Биддэмс, желавшей научить монарха снисходительности. «Он просто строит рожи и растягивает рот, как клоун. Когда он хочет посмеяться, сапсем не хочется смеяться», — сказал Его величество, покачивая головой, как старец, познавший на себе все вероломство мира.

Он должен был являться по утрам и вечерам к родителям: отцу он подавал, не улыбаясь, руку, мать целовал с не менее серьезным видом. Однажды, правда, он обвинил руками ее шею, как делал, обнимая иногда мисс Биддэмс, но зацепился кружевной манжетой за сережку, раздался сдавленный крик боли, и неудачная попытка примирения закончилась приказом тотчас отправляться в детскую.

«Нельзя обнимать мэм-сахиб, — решил Его величество, — когда в ушах у нее болтаются висюльки. Я буду это помнить». Но больше он не повторял попытку.

Надо признаться, что мисс Биддэмс, желая возместить Его величеству «суровость мамочки и папочки», как она говорила про себя, избаловала мальчика, насколько позволял его характер. О том, что приключилось между мужем и женой, ей было ведомо не больше, чем ее воспитаннику. Она не знала ни о яростном мужском презрении к непроходимой женской глупости, ни о глухом, неутихавшем гневе, который жил в груди супруги. По прирожденной своей скромности она почти не замечала то, что делалось вокруг, и еще меньше говорила вслух. Когда ее ученикам пора было плыть за море в Великое Неведомое — Домой, как говорила она с трогательной верой в них, — она укладывала скудные

¹ Буррак-хана — ресторанчик.

² Науч — выступление танцоров.

свои пожитки и находила новую работу, чтобы обрушить всю свою любовь на нового неблагодарного питомца. Из всех них лишь Его величество вознаградил ее ответным чувством. В его ребячьи уши она вливала повесть всех своих надежд и упований — зачехнувших надежд и упований, как и рассказы о блестящей роскоши ее фамильного особняка в Калькутте, который находился где-то «там, где площадь Веллингтона».

«Это хорошая Калькутта», — отзывался Его величество обо всем, что хоть немного возвышалось над обычным уровнем. Но стоило мисс Биддэмс воспротивиться его монаршей воле, и он, чтоб посердить эту достойнейшую даму, немедля заменял эпитет на другой и все, что приходилось ему не по нраву, упорно называл «Калькутта гадкая», пока злость не смывало покаянными слезами.

Порой — это бывало очень редко — она просила, чтобы родители позволили ему немного поразвлечься и поиграть днем с дочкой комиссара, капризной четырехлетней Пэтси, боготворимой, к великому недоумению Его величества, ее отцом и матерью. Он долго бился над загадкой их любви и наконец, по многодневном размышлении, пути которого неведомы покинувшим край детства, решил, что тайна объясняется соломенными волосами Пэтси и светло-синим кушаком с огромным бантом. Но драгоценным выводом своим ни с кем не поделился.

Обзавестись соломенными волосами вместо взлохмаченных и непокорных вихров, напоминавших своим цветом кожу картофеля, было ему, конечно, не под силу, но с бантом можно было что-нибудь придумать. Чтоб не забыть поговорить об этом завтра с Пэтси, он завязал на память крупный узел на противомосkitном пологе своей кровати. Он никогда не говорил с каким-либо другим ребенком, кроме Пэтси, и мало кого видел из детей. Большой неаккуратный узел возымел желаемое действие.

— Пэтси, дай мне твой голубой бант, — попросил Его величество.

— Ты его тоже хочешь закопать? — сказала она подозрительно. То был намек на зверскую жестокость, которой некогда подверглась ее кукла.

— Не закопаю. Честное-пречестное. Я буду сам его носить.

— Фу. Мальчики не носят ленты, только девочки.

— Да-а? А я не знал. — И у монарха вытянулась рожца.

— Кому тут нужны ленты? — вмешалась, подымаясь на веранду, супруга комиссара. — Вы что, играете в лошадок, мои лапочки?

— Тоби хочет мой бант.

— Нет, не хочу, — поторопился отступить Его величество, боясь, что эти жуткие «большие» бесстыдно вырвут у него его несчастный крошечный секрет, страшно и думать о таком кощунстве — а может быть, и высмеют его.

— Хочешь померить бумажную корону от хлопушки? — спросила короля супруга комиссара. — Пойдем и выберем, какая тебе нравится.

Корона оказалась твердым, трехконечным алым чудом, усеянным серебряными блестками. Лицо супруги комиссара внушало детям безотчетное доверие, да и в движении руки, которым она отогнула средний, завернувшийся зубец, было так много нежности.

— А она не хуже? — выдавил король с запинкой.

— Не хуже чего, дружок?

— Не хуже банта?

— Ну, разумеется. Иди взгляни на себя в зеркало.

Она сказала это совершенно искренне, желая поддержать нелепое желание «рядиться», овладевающее иногда детьми. Но юный варвар был весьма чувствителен к смешному. Он потянул к себе большое зеркало-псише и увидел, что его голову венчает шутовской колпак, чудовищная, размалеванная штука, которую его отец порвал бы на кусочки, случись ей оказаться у него в рабочем кабинете. Король швырнул ее и разразился плачем.

— Не надо так сердиться, Тоби. Мне это очень неприятно, да и вообще это нехорошо, — увещевала короля с большой серьезностью супруга комиссара.

Его величество не унимался и рыдал неудержимо. И сердце матери четырехлетней Пэтси не выдержало этих слез. Супруга комиссара привлекла его к себе и усадила на колени, — дело тут явно было не в одной лишь вспыльчивости.

— Скажи мне, Тоби, что стряслось? Тебе, наверное, нездоровится?

Стремнина слов и слез наткнулась на затор из всхлипов, вздохов, стиснутых зубов, но одолела их и вынесла наружу два-три невнятных звука, в конце концов принявших форму слов:

— А ну-ка вон отсюда, грязный поросенок!

— Тоби! Что ты такое говоришь?

— Он мне так скажет! Я же знаю! Он так сказал, когда я капнул чуточку, малюсенькую чуточку желтка на перелинку. А если он увидит меня в этом колпаке, он снова это скажет и будет надо мной смеяться.

— Кто скажет?

— Па-а-па. Я думал, если я надену голубую ленту, он мне позволит поиграть с корзинкой, которая стоит там, в кабинете, под столом.

— Какую голубую ленту, детка?

— Ну ту, что носит Пэтси. Большую, голубую, ее еще завязывают на животике.

— И что тогда? А ну-ка расскажи, что ты придумал. Наверное, я смогу тебе помочь.

— Да ничего. — Он вспомнил о своем мужском достоинстве и, шмыгнув носом, отстранился от приютившего его чужого материнского плеча. — Я просто думал, что у Пэтси лента и вы поэтому ее целуете и обнимаете. И если у меня будет такая лента, мой папа тоже бу-у-дет обнима-а-ть меня.

Тайное стало явным, и, несмотря на нежные объятия и тихие слова, которые несли успокоение его разгоряченной голове, он горько плакал.

Но тут влетела вихрем Пэтси, которую невероятно удивила менявшая свою длину любимая складная удочка отца.

— Скорее, Тоби! Там ящерка на чике¹. Если потыкать этой штукой хвостик, он дрыг-дрыг и отвалится. Я приказала Чимо сторожить ее, пока мы не придем. Бежим скорей! Я не могу достать!

— Иду! — сказал Его величество и слез с колен супруги комиссара, вознаградив ее поспешным поцелуем.

А через две минуты они уже стояли на веранде, и перед ними извивался на циновке хвост «ящерки», в который они тыкали бамбуковыми щепочками от чика, чтоб, пробудив ее иссякнувшую жизненную силу, заставить «дрыгнуться еще разочек, — ведь ящерке от этого не больно». За ними наблюдала стоявшая в дверях супруга комиссара: «Подумать только, голубая лента! Бедный малыш!.. И моя маленькая Пэтси, золотко мое, наверное, тоже... Нет, даже лучшие из взрослых, и даже мы, которые их любим больше жизни, не можем ни-

¹ Чик — соломенная или бамбуковая штора.

когда понять, что происходит в этих несурзных головенках».

На обручальное кольцо супруги комиссара упала крупная слеза, и женщина ушла распорядиться, чтоб в честь Его величества был сервирован чай.

«В их нежном возрасте и в этом климате путь к их сердцам, конечно, не лежит через желудок, но все же он лежит не так уж далеко, — подумала супруга комиссара. — Не знаю, поймет ли меня миссис Остелл. Бедный мальчуган!»

С невинным умыслом супруга комиссара провела миссис Остелл и, долго нежно говоря о детях, осведомилась с интересом, где пребывает сейчас Его величество.

— Он со своей гувернанткой, — ответила ей та особым тоном, который означал, что ее мало занимает названная тема.

Не искушенная в ведении войны, супруга комиссара продолжала задавать вопросы.

— Не знаю, право, — отозвалась миссис Остелл, — всем этим ведает мисс Биддэмс. Я думаю, она не обижает мальчика.

Супруга комиссара тотчас попрощалась. Ее по сердцу резанула брошенная напоследок фраза: «Она не обижает мальчика!» Как будто больше ничего не требуется! Могу себе представить, что сказал бы Том, если бы я всего только «не обижала» Пэтси!»

С тех пор Его величество по-царски принимали в доме комиссара, и он считался лучшим другом Пэтси, которую подбил на столько каверз и проказ, сколько сумел изобрести, не выбираясь за ограду сада. И мама Пэтси всегда была готова пожалеть, прийти на выручку, помочь советом, а если в доме было мало посетителей и детям очень этого хотелось, то и принять участие в игре, да так «самозабвенно», что напомаженные и лощеные субалтерны, пришедшие с визитом к той, кого они столь дерзко величали «Мамой-Клушей», терялись и смущенно ерзали на стульях.

И все же, несмотря на всю любовь, которую и мама Пэтси, и она сама так щедро изливали на Его величество, король весьма прискорбным образом отпал от благодати и совершил столь тяжкий грех, как кража, — правда, неведомый другим, но сильно угнетавший его душу.

В один прекрасный день, когда Его величество играл в прихожей, — слуга как раз ушел обедать, — в дверях вдруг появился человек, доставивший пакет для мамы

Его королевского величества. Он положил пакет на подзеркальник, сказал, что ответа не требуется, и тотчас исчез.

В ту же минуту король утратил интерес к узору волоконца на панели, тогда как сверток — белый аккуратный кубик дивной формы — притягивал его к себе неудержимо. Мама дома не было, мисс Биддэмс тоже отлучилась по делам, а кубик был обвязан розовенькой ленточкой. Его величеству безумно захотелось розовую ленточку. Она бы ему очень пригодилась — взять на буксир плетеный детский стульчик или же чуточку помучить Чимо, обычно не терпевшего уздечки, да мало что еще! И если потихоньку развязать пакетик, тесемочка достанется ему — никто об этом не узнает. Ведь он не так бесстрашен, чтоб попросить ее у мамы. Он влез на стул и осторожно распустил тесемку, но белая торчащая обертка — раз! — отогнулась с четырех сторон, и оказался чудный кожаный миниатюрный ларчик, на крышечке которого блестели золотые буквы. Его величество попробовал приладить ленточку на место, но ничего из этого не вышло. Тогда, чтобы извлечь из своего падения хотя бы больше радости, он заглянул в шкатулку. Там испускала свет и расходилась лучиками дивная звезда — прекрасная, желанная, манящая.

«Это хрустальная корона, — сказал себе задумчиво Его величество, — чтобы носить на небесах. Ее там на меня наденет Бог — так говорит мисс Биддэмс, но я хотел бы походить в ней еще тут. Сейчас возьму ее и поиграю с ней тихонечко, пока меня не спросят. Ее, наверное, купили для меня — ну, как мою тележку».

Его величество кривил душой, в чем отдавал себе отчет, ибо пустился тотчас в следующее рассуждение: «Что тут плохого? Она побудет у меня, а если мама спросит, я отдам. И я скажу: «Прости, пожалуйста». Я остороженько, я ничего не сделаю — ведь это же хрустальная корона. Только мисс Биддэмс не позволит, лучше не буду ей показывать».

Вернись домой в эту минуту мама, все бы окончилось прекрасно. Но мама не вернулась. И, запихнув за пазуху бумагу, и сокровище, и ларчик, Его величество ретировался в детскую.

Он говорил себе: «Как только мама спросит, я признаюсь». То был целительный бальзам, которым он пытался успокоить мучившую его совесть. Но мама ни о чем не спрашивала, и он три дня все любовался на свое

сокровище. Не то чтобы он взял его с определенной целью, но камни были так прекрасны и, сколько мог судить Его величество, упали прямо с неба. А мама все не спрашивала и не спрашивала, и королю, глядевшему на них украдкой, стало казаться, что их чудесное сияние затуманилось. Что проку от «короны», если из-за нее так скверно на душе у маленького мальчика? Конечно, теперь у короля была тесемочка и прочее, но лучше б он не трогал ничего, кроме тесемочки. То было его первое падение, и совесть жалила его, едва померкло счастье собственника и сникла недозволенная радость созерцания.

Дни шли, и с каждым днем признаться тем двоим, что жили за стенами детской, делалось все труднее и труднее. Он всякий раз решал, что подойдет к нарядной даме, когда она спешит к карете, и объяснит, что лишь ему принадлежит хрустальная корона, прекрасная и, видно, никому не нужная. Но дама так стремительно неслась мимо Его величества, что он не успевал глотнуть побольше воздуха, чтобы заговорить, чем и кончались все его похвальные намерения. Мучительная тайна отрезала его от всех: от Пэтси, от мисс Биддэмс и от супруги комиссара, и — самое ужасное! — когда однажды он задумался, Пэтси сказала: «Тоби стал сердитый», — и повторила это матери.

Как потянулись дни, как бесконечны стали ночи для Его величества! Мисс Биддэмс много раз ему рассказывала, где воры завершают свои дни, и, проходя мимо необозримо длинных глинобитных стен Центральной тюрьмы, он всякий раз дрожал от страха.

Освобождение пришло в тот день, когда он несколько часов подряд пускал кораблики у кромки водоема в углу сада. Потом его позвали к чаю, и за столом впервые за свою коротенькую жизнь он ощутил, что вид еды внушает ему отвращение. Нос у него совсем замерз, а щеки словно жгло огнем, к ногам как будто привязали камни, а голову он то и дело шупал, чтобы проверить, не распухла ли она.

«Мне неприятно. — Его величество потер холодный нос. — В головке жу-жу, точно летает пчелка».

В постель он лег без возражений. Мисс Биддэмс не было, его укладывал слуга. Когда он несколько часов спустя очнулся от тяжелого, дурманящего сна, он позабыл хрустальную корону — физические муки вытеснили муки совести. Хотелось пить, слуга забыл налить воды перед уходом.

— Мисс Биддэмс! Мисс Биддэмс! Дайте водички! — В ответ ни звука, ибо мисс Биддэмс уехала в Калькутту — на свадьбу к подруге детства, о чем король совсем забывал.

— Принесите попить! — кричит он что есть мочи, но голос замирает в пересохшем горле. — Дайте попить! Где мой стакан?

Сев в постели, он обводит глазами комнату. Из-за дверей доносится шум голосов. Нет, лучше ринуться навстречу страшной неизвестности, чем умереть от жажды в темноте. И он выскальзывается из кровати, но почему-то ноги очень плохо слушаются, и раза два он чуть не падает. В конце концов дверь поддается; пыхтящий, краснолицый человечек, шатаясь, входит в освещенную столовую, где много-много элегантных дам.

— Мне очень жарко! Мне нехорошо! — со стоном вырывается из уст Его величества, и он хватается обеими руками за портьеру. — В стакане пусто, дайте мне водички!

Какая-то фигура в черно-белом — король не может толком разглядеть ее, все расплывается перед глазами — схватила мальчика и, поднеся к столу, пощупала запястья и коснулась лба. Подали воду. Он припал и пил, стуча зубами о края стакана. Потом все гости, кажется, исчезли, все, кроме того большого человека в черно-белом, который нес его в кровать, и шедших вслед родителей. Тут ему вспомнилась хрустальная корона, и ощущение вины, нахлынув с новой силой, наполнило его измученную душу.

— Я вор, — кричал он, задыхаясь. — Позовите мисс Биддэмс! Я должен ей сказать: я вор.

Вернувшаяся между тем мисс Биддэмс склонилась над Его величеством. «Я вор, как те, что там, в тюрьме. Но я скажу, я сейчас скажу. Я ее спрятал. Возьмил хрустальную корону, когда ее оставили на столике. Порвал бумажку и открыл шкатулочку, а там она блестела. И я взял ее немного поиграть, но я боялся. Она сейчас внизу в моей коробке. Никто меня не спрашивал, но я боялся все равно. Скорее дайте мне коробку!»

Мисс Биддэмс послушно извлекла из глубины альмиры¹ громоздкий короб из папье-маше, куда Его величество припрятывал свои сокровища, и там, под оловянными солдатиками и глиняными катышками для рога-

¹ Альмира — шкаф, комод.

ки, мигала, излучая свет, алмазная звезда, завернутая наспех в мятую записку.

У изголовья кто-то плакал, лба Его королевского величества коснулась сильная рука, но он нетерпеливо схватил пакетик из коробки и развернул бумажку.

— Это хрустальная корона, — промолвил он и залился слезами, ибо теперь, восстановив поруганную справедливость, безумно захотел оставить у себя это сияющее чудо.

— Прочти, ты тоже должен это знать, — раздался голос в головах кровати. — Сейчас не время что-либо утаивать.

Послание было кратким, касалось только главного и вместо имени было подписано начальной буквой: «Если вы наденете это сегодня вечером, я буду знать, на что надеяться». Вверху стояла дата трехнедельной давности.

У изголовья что-то зашептали, в ответ послышался глубокий голос: «И ты могла так далеко зайти? Теперь мы, кажется, в расчете? Давай оставим эти глупости! Ведь все это пустое, дорогая!»

— Поцелуйте меня тоже, — пробормотал Его величество сквозь дрему. — Вы очень сердитесь или не очень?

Жар отпылал. Его величество уснул, чтобы проснуться в новом мире, не ограниченном одной мисс Биддэмс, туда входили и его родители, и то был мир любви без капли страха, где было много больше ласки и потворства, чем иногда полезно некоторым шестилетним мальчикам. Его величество был слишком мал, чтоб думать о превратностях судьбы, иначе он бы очень подивился непостижимой пользе прегрешения, причем не просто прегрешения, а смертного греха! Подумать только, что, украв «хрустальную корону», он получил в награду и любовь, и право рыться «сколько хочешь» в корзине для бумаг, стоящей под столом отца.

* * *

Когда он появился в доме Пэтси, супруга комиссара нагнулась, чтоб его поцеловать.

— Сюда нельзя, — с божественной бесцеремонностью сказал Его величество, прикрыв ладошкой угол рта. — Сюда меня целует мама.

— Вот оно что! — промолвила супруга комиссара,

а про себя подумала: «Что ж, можно за него порадоваться. Все эти малыши такие эгоисты, а у меня... а у меня есть собственная дочка».

СУД ДАНГАРЫ

Вот бледный мученик в пылающей рубашке.

Опечатка

Обитатели платановых рощ в Бербалдских горах до сих пор рассказывают об этом и в подтверждение своих слов показывают на миссионерский дом, стоящий без окон и крыши. Все это совершил великий бог Дангара, бог Истинно Сущего, Страшный, Одноглазый, владеющий Красным Слоновым Бивнем, а тот, кто отказывается верить в Дангару, безусловно будет поражен безумием — Ята, безумием, охватившим сынов и дочерей барья-колей¹, когда они отступились от Дангары и стали носить одежду. Так говорит Атхон Дазе, верховный жрец храма и хранитель Красного Слонового Бивня. Если же вы спросите помощника коллектора², в ведении которого находятся барья-коли, он рассмеется, и не потому, что питает вражду к миссиям, но потому, что своими глазами видел, как отомстил Дангара духовным детям достопочтенного Юстуса Кренка, пастора Тюбингенской миссии, и Лотте, его добродетельной супруге.

А ведь не было человека более достойного благоволения богов, чем достопочтенный Юстус, некогда учившийся в Гейдельберге, ибо он по призванию отправился в дикие места, взяв с собой белокурую, голубоглазую Лотту.

— Мы хотим этих язычников, ныне столь идолопоклонством омраченных, лучшими сделать, — говорил Юстус в первые дни своей деятельности. — Да, — добавлял он уверенно, — они должны хорошими сделаться и своими руками работать научиться. Ибо все добрые христиане работать должны.

На жалованье, еще более скромное, чем жалованье английского пономаря, Юстус Кренк поселился за Камалой и Малайрским ущельем, по ту сторону реки Бер-

¹ Барья-коли — племя, обитающее в Чхота-Нагпуре, занимается примитивным земледелием и охотой.

² Коллектор — глава местной администрации с широкими полномочиями.

балды, у самого подножия голубой горы Пантх, на вершине которой стоит храм Дангары, а это находится в самом сердце области барья-колей — голых, добродушных, робких, не знающих стыда, ленивых барья-колей.

Вы знаете, что такое жизнь на миссионерском аванпосте? Попробуйте представить себе одиночество еще более полное, чем на самой маленькой из станций, на которые вас когда-либо посылало правительство, — одиночество, бременем лежащее на веки при пробуждении и насильно толкающее вас окунуться с головой в дневные заботы. Нет почты, нет ни одного человека вашей расы, с которым можно было бы перемолвиться словом, нет дорог; правда, есть пища, чтобы поддерживать вашу жизнь, но она невкусна, и все то хорошее, интересное и красивое, что есть в вашей жизни, должно исходить от вас самих и благодати, если вы осенены ею.

По утрам обращенные, сомневающиеся и откровенные насмешники, мягко топоча ногами, толпятся у веранды. Вы должны быть бесконечно добры и терпеливы, но, самое главное, — проникательны, ибо вы имеете дело с наивностью ребенка, опытностью взрослого человека и хитростью дикаря. Вам нужно заботиться о многих материальных нуждах вашего прихода, и вам приходится, поскольку вы верите в свою личную ответственность перед творцом, выуживать из галдящей толпы то зерно духовности, которое, быть может, в ней есть. Если же с врачеванием душ вы соедините врачевание тел, задача ваша будет еще труднее, потому что больные и увечные ради выздоровления согласятся исповедовать любую веру и будут смеяться над вами, если вы достаточно глупы, чтобы верить им.

По мере того как угасает день, а утренняя энергия ослабевает, вами овладевает подавляющее сознание бесполезности вашего труда. С этим нужно бороться, и единственной шпорой для вас послужит вера в то, что вы боретесь с дьяволом за живую душу. Это — великая, радостная вера, но тот, кто может сохранить ее непоколебимой в течение двадцати четырех часов кряду, должен быть одарен сильным телом и крепкими нервами.

Спросите поседевших участников Бенокбернского Медицинского Крестового Похода, какую жизнь ведут их проповедники; поговорите с членами Ресинского Евангельского Агентства. — тощими американцами, которые хвастаются, что они идут туда, куда ни один англичанин

не решается за ними следовать; заставьте пастора Тюбингенской миссии рассказать о своих приключениях... если сможете. Вас попросят обратиться к печатным отчетам, но эти отчеты не упоминают о людях, в диких местах потерявших молодость и здоровье и все, что может потерять человек, кроме веры; не упоминают об английских девушках, которые отправились вдаль и умерли в зараженных лихорадкой джунглях Пантхских гор, зная с самого начала, что смерть почти неминуема. Немногие пасторы расскажут вам об этом или о молодом Дэвиде из Сент-Биса: поселившись в уединении, чтобы принять труды во имя Господа, он впал в крайнее отчаяние и вернулся полубезумный в Главную миссию, крича:

— Бога нет, но я встретил дьявола!

О таких случаях отчеты молчат, ибо героизм, неудачи, сомнения, отчаяние и самоотвержение обыкновенных культурных белых людей не имеют веса по сравнению со спасением одной получеловеческой души от фантастической веры в духов леса, горных гномов и демонов реки.

Гелио, помощник коллектора этой области, «не придавал значения такого рода вещам». Он уже давно служил в округе, и барья-коли любили его и подносили ему разные дары: рыбу, заколотую острогой, орхидеи из дремучего влажного сердца лесов и столько дичи, сколько он был в состоянии съесть. В обмен на это он давал им хинин и вместе с верховным жрецом Атхоном Дазе руководил их несложной политической жизнью.

— Когда вы проведете несколько лет в этой местности, — говорил Гелио за столом у Кренка, — вы придете к убеждению, что любая вера не хуже всех прочих. Я, конечно, буду поддерживать вас по мере сил, но не обижайте моих барья-колей. Это — хороший народ, и он доверяет мне.

— Я буду их слову господню учить, — сказал Юстус, и лицо его засияло энтузиазмом, — и я, безусловно, не буду поспешно и не подумав их предрассудков оскорблять. Но, о мой друг, это в рассуждении точки зрения на веротерпимость очень дурно.

— Ну, вот еще! — сказал Гелио. — Мне нужно заботиться об их телах и об округе, а вы попробуйте сделать все, что в ваших силах, для их душ. Но только не поступайте так, как ваш предшественник, иначе боюсь, что не смогу гарантировать вам безопасность.

— А что? — стойко спросила Лотта, передавая ему чашку чая.

— Он отправился в храм Дангары, — надо сказать, что в этой местности он был новичком, — и принялся зонтиком колотить старика Дангару по голове. Тогда барья-коли вытолкали его и довольно свирепо поколотили. Я был в округе, и он послал ко мне скорохода с запиской такого содержания: «Потерпел гонения во имя господа. Пришлите военный отряд». Ближайшие войска стояли милях в двухстах отсюда, но я догадался о том, что он наделал. Я поехал верхом к Пантху и отечески потолковал со стариком Атхоном Дазе. Сказал ему, что такой мудрец, как он, обязан был сообразить, что сахиба хватил солнечный удар и он обезумел. В жизни вы не видели таких огорченных людей! Атхон Дазе принес извинения, послал пастору дров, молока, дичи и прочего иного, а я дал пять рупий на храм и сказал Мак-Намаре, что он вел себя неосмотрительно. Он ответил, что я поступился своими религиозными убеждениями, но если бы он перевалил за гребень хребта и оскорбил Палин-Део, идола сарья-колей, его посадили бы на обугленный бамбуковый кол задолго до того, как я смог бы вмешаться, и тогда мне пришлось бы повесить кое-кого из этих бедных дикарей. Будьте с ними помягче, падри... Но не думаю, чтобы вам многого удалось добиться.

— Не я, — сказал Юстус, — но мой господь. Мы будем с маленьких детей начинать. Многие из них больны будут, это так. После детей — матери, а потом мужчины. Но я весьма, чтобы вы внутренне нам симпатизировали, предпочитал бы.

Гелио отправился рисковать жизнью при исправлении сгнивших бамбуковых мостов своего народа, охоте на слишком назойливого тигра, ночевках в туманных джунглях или преследовании сарья-кольских разбойников, отрубивших головы нескольким братьям своим из племени барья. Гелио был кривоногий неуклюжий молодой человек, от природы лишенный всякой веры или благоговения и стремящийся к абсолютной власти; это стремление неприятный округ его удовлетворял вполне.

— Никто не желает занять мой пост, — говаривал он мрачно, — а мой коллектор сует сюда нос, только когда он уверен, что здесь нет лихорадки. Я — монарх всей подведомственной мне области, а Атхон Дазе — мой вице-король.

Гелио гордился своим полнейшим равнодушием к человеческой жизни, хотя теорию эту он применял только по отношению к себе, поэтому не удивительно, что он

верхом проехал сорок миль до миссии, с крошечным смуглым ребенком.

— Вот тут кое-что для вас, падри, — проговорил он. — Коли бросают своих лишних младенцев, предоставляя им умирать. Не вижу причин, почему бы им так и не делать. Но этого вы можете воспитать, если хотите. Я подобрал его за Бербалдским разветвлением. Сдается мне, что мать его с самого этого места шла за мной по лесу.

— Это первый из паствы, — сказал Юстус, а Лотта прижала пищавший кусочек мяса к своей груди и тискала его с силой, в то время как, подобно волчице, бродящей по полю, Матуи, которая родила его и, согласно закону своего племени, покинула его на смерть, запыхавшаяся, усталая, со стертymi ногами, стояла в бамбуковых зарослях и глядела на дом голодными материнскими глазами. Как поступит всемогущий помощник коллектора? А маленький человек в черном одеянии, — быть может, он съест ее дочь живьем? Ведь Атхон Дазе говорил, что таков обычай всех людей, носящих черные одеяния.

Матуи ждала в бамбуковых зарослях всю долгую ночь напролет, а утром к ней подошла красивая белая женщина, каких Матуи никогда не видывала, и в руках у нее была дочь Матуи, облаченная в одежду незапятнанной белизны. Лотта плохо знала язык барья-колей, но, когда мать обращается к матери, речь ее понять легко. По рукам, робко протянутым к подолу ее платья, по страстным гортанным звукам и тоскующим глазам Лотта поняла, с кем она имеет дело. Итак, Матуи взяла назад своего ребенка и решила стать служанкой, даже рабыней этой чудесной белой женщины, ибо родное племя теперь отречется от нее. Обе женщины заливались слезами; Лотта — на немецкий манер, то есть часто сморкаясь.

— Сначала ребенок, потом мать и, наконец, мужчина, и все во славу Господа, — сказал Юстус-оптимист.

Мужчина действительно пришел, пришел с луком и стрелами и очень сердился, ибо некому было варить ему пищу.

Но история миссии длинна, а у меня не хватает места, чтобы рассказать, как Юстус, забыв о своем неосмотрительном предшественнике, ударил Мото, мужа Матуи, за грубость, как Мото был потрясен этим, но, избавившись от страха близкой смерти, воспрянул духом и стал верным союзником и первым из обращенных Юстуса; как небольшое стадо обращенных росло, к великому неудоволь-

ствию Атхона Дазе; как жрец бога Истинно Сущего вел хитроумные дискуссии со жрецом бога Долженствующего Быть и был побежден; как приношения в виде дичи, рыбы и медовых сотов перестали притекать в храм Дангары; как Лотта облегчала женщинам бремя проклятия Евы и как Юстус по мере сил навлекал на них проклятие Адама; как барья-коли этому противились, говоря, что их бог — бог праздности; как Юстус частично преодолел их предубеждение против труда и объяснил им, что черная земля богата всякими плодами, а не одними только земляными орехами.

Все это — события многих месяцев, и все эти месяцы седовласый Атхон Дазе обдумывал мщение за отступничество родного племени от Дангары. С лукавством дикаря он притворно завел дружбу с Юстусом и даже намекал на возможное свое обращение, но общине Дангары он туманно изрек:

— Люди из паствы падри надели одежды и поклоняются трудолюбивому богу. Поэтому Дангара поразит их жестоко, и они с воплями бросятся в воды Бербалды.

По ночам Красный Слоновый Бивень ревел и гудел в горах, а верные просыпались и говорили:

— Бог Истинно Сущего готовит мщение отступникам. Будь милостив, Дангара, к нам, детям твоим, и отдай нам весь их урожай!

В конце периода прохлады коллектор с женой приехали в область барья-колей.

— Съездите посмотреть на миссию Кренка, — сказал Гелио. — Он по-своему хорошо работает, и я думаю, ему будет приятно, если вы почтите своим присутствием освящение бамбуковой часовни, которую ему удалось выстроить. Во всяком случае, вы увидите цивилизованных барья-колей.

Велико было волнение в миссии!

— Теперь он и уважаемая его супруга будут собственными глазами видеть, что мы хорошую работу сделали, и... да... мы будем им наших обращенных в их новых платьях, их собственными руками сделанных, показывать. Это великий день будет во славу Господа вовеки, — сказал Юстус, а Лотта добавила:

— Аминь.

Юстус втайне завидовал Базельской Ткацкой миссии, ибо собственные его обращенные были неискусны в ремеслах, но Атхон Дазе в последнее время побудил некоторых из них чесать блестящие шелковистые волок-

на одного растения, обильно произраставшего на Пантхских горах. Из них выходила ткань почти такая же белая и мягкая, как таппа южных морей, и в тот день обращенным предстояло впервые одеться в платье, сделанное из этой ткани. Юстус гордился своими трудами.

— Они будут в белые платья одетые коллектора и его высокородную супругу встречать приходиться, распевая: «Теперь благодарим мы все нашего Господа». Тогда он будет часовню открывать и... да... даже Гелио веровать будет начинать. Станьте так, мои дети, по два и... Лотта, что это они себя так чешут? Нехорошо извиваться, Нала, мое дитя. Коллектор будет здесь находиться, и он огорчен будет.

Коллектор, его жена и Гелио поднимались на гору к миссионерскому дому. Обращенные стояли двумя шеренгами — сияющая толпа человек в сорок.

— Ха! — произнес коллектор, чей склад ума, склонный к присвоению себе чужих заслуг, внушал ему веру, что он с самого начала благоприятствовал созданию этого религиозного учреждения.

— Я вижу, они приближаются скачками и вприпрыжку.

Никогда не было сказано ничего более справедливого! Паства приближалась именно так, как он выразился, — сначала небольшими прыжками и скачками, причем лица у всех были покрыты краской стыда, вызванного какой-то неловкостью, но вскоре обращенные стали брыкаться, как ужаленные мухами лошади, и подпрыгивать, как обезумевшие кенгуру.

С горы Пантх Красный Слоновый Бивень издал резкий, раздирающий рев. Ряды дрогнули, распались, и обращенные рассеялись с воплями и криками боли.

Юстус и Лотта стояли, пораженные ужасом.

— Это суд Дангары! — крикнул чей-то голос. — Горю! Горю! На реку, не то погибнем!

Толпа повернулась и помчалась к скалам, нависшим над Бербалдой, корчась, топоча ногами, скручивая одежду и на бегу срывая ее с себя. Их преследовал трубный рев Дангары. Юстус и Лотта, чуть не плача, подбежали к коллектору.

— Я не могу понять! Вчера, — задыхался Юстус, — они знали десять заповедей... Что такое? Хвалите Господа, все добрые духи на суше и на море! Нала! О, стыд!

На скале, у них над головою, прыгая и визжа, стояла Нала, некогда гордость миссии, девица четырнадцати лет,

хорошая, послушная и добродетельная, а в данный момент голая, как заря, и плюющаяся, как дикая кошка.

— Неужели для этого, — бесновалась она, швыряя своей юбкой в Юстуса, — неужели для этого я покинула свое племя и Дангару — для огней вашего проклятого ада? Слепая обезьяна, мелкий земляной червь, вы говорили, что никогда я не буду гореть в огне. О Дангара, я горю теперь! Я горю! Будь милостив, бог Истинно Сущего!

Она повернулась и бросилась в Бербалду, а труба Дангары ликующе редела. Последняя из обращенных Тюбингенской миссии поставила преграду в виде четверти мили быстротекущей реки между собой и своими учителями.

— Вчера, — задыхался Юстус, — она преподавала азбуку в школе! Это — деяние сатаны!

Но Гелио с любопытством рассматривал юбку девушки, упавшую у его ног. Он пощупал ткань, завернул рукав своей рубашки выше того места, где кончался густой загар на руке, и прижал кусок ткани к телу. На белой коже вскочил ярко-красный волдырь.

— А! — спокойно произнес Гелио. — Так я и думал.

— Что такое? — сказал Юстус.

— Я мог бы назвать это рубашкой Несса¹, но... Где вы достали волокна для этой ткани?

— Атхон Дазе, — ответил Юстус. — Он показал ребятам, как обрабатывать ткань нужно.

— Старая лисица! А вы знаете, что он дал вам на обработку нильгирийскую крапиву-скорпион *Girardenia heterophylla*. Не удивительно, что они корчились! Даже свитые из нее канаты для мостов кусаются, если их предварительно не вымочить шесть недель в воде. Хитрый мерзавец! Понадобилось около получаса, чтобы прожечь их толстые шкуры, и тогда!..

Гелио расхохотался, но Лотта рыдала в объятиях жены коллектора, а Юстус закрыл лицо руками.

— *Girardenia heterophylla*, — повторил Гелио. — Кренк, почему вы не спросили у меня? Я мог бы избавить вас от таких последствий. Тканый огонь! Всякий, кроме голого коля, догадался бы об этом, и, если я способен судить об их характере, вы никогда больше их не вернете.

¹ Несс — кентавр, который подарил жене Геркулеса отравленную тунику для ее мужа.

Он взглянул на реку, где обращенные все еще барахтались и вопили на отмелях, и смех потух в его глазах, ибо он понял, что Тюбингенская миссия среди барья-колей умерла.

Ни Лотта, ни Юстус, хотя они еще целых три месяца грустно бродили вокруг опустевшей школы, не могли уже больше никакими заискиваниями вернуть даже самых многообещавших членов своей паствы. Нет! Обращение закончилось адским огнем — огнем, который растекался по телу и въедался в кости. Кто посмеет вторично испытывать гнев Дангары? Пусть маленький человек уйдет с женой в другое место. Барья-коли не желают больше иметь с ним дела. Неофициальное предупреждение, исходившее от Гелио, полученное Атхоном Дазе и гласившее, что, если хоть один волос упадет с головы Кренков, Атхон Дазе и жрецы Дангары будут повешены у храмового жертвенника, спасло Юстуса и Лотту от толстых отравленных стрел барья-колей, но ни рыба, ни дичь, ни медовые соты, ни соль, ни поросята уже не появлялись на их пороге. А ведь человек, увы, не может жить одной благодатью, если он нуждается в мясе.

— Давай отсюда уходить, моя жена, — сказал Юстус. — Здесь нет ничего хорошего, и Господь захотел, чтобы какой-нибудь другой человек этот труд принял... в predetermined им самим время. Мы будем уходить, и я... да... буду немножко ботанику изучать.

Если кто-нибудь намеревается снова начать обращение барья-колей в христианство, пусть он имеет в виду, что под Пантхской горой все еще стоит остов, но только остов миссионерского дома. А часовню и школу давно уже поглотили джунгли.

В НАВОДНЕНИЕ

Молвит Твид, звеня струей:
«Тилл, не схожи мы с тобой.
Ты так медленно течешь...»
Отвечает Тилл: «И что ж?
Но зато, где одного
Топишь ты в волнах своих,
Я топлю двоих».

Нет, не переправиться нам этой ночью через реку, сахиб. Слыхал я, что сегодня уже снесло одну воловьую упряжку, а экка, которую отправили за полчаса до того,

как ты пришел, еще не приплыла к тому берегу. А что, разве сахиб спешит? Я велю сейчас привести нашего слона и загнать его в реку, тогда сахиб сам убедится. Эй, ты там, махаут, ну-ка выходи из-под навеса, выводи Рама Першада, и если он не побоится потока, тогда добро. Слон никогда не обманет, сахиб, а Рама Першада разлучили с его другом Кала-Нагом, так что ему самому хочется на тот берег. Хорошо! Хорошо! Очень хорошо! Ты мой царь! Иди, махаут-джи¹, дойди до середины реки и послушай, что она говорит. Очень хорошо, Рам Першад! Ты, жемчужина среди слонов, заходи же в реку! Да ударь его по голове, дурак! Для чего у тебя бодило в руках, а, чтобы ты им свою жирную спину чесал, ублюдок? Бей! Бей его! Ну что для тебя валуны, Рам Першад, мой Рустам, о ты, моя гора мощи! Иди! Иди же! Ступай в воду!

Нет, сахиб. Бесплезно. Ты же слышишь, как он трубит. Он говорит Кала-Нагу, что не может перейти. Погляди! Он повернул обратно и трясет головой. Он ведь не дурак. Он-то знает, что такое Бархви, когда она злится. Ага! Ну конечно, ты у нас не дурак, сын мой! Салам, Рам Першад, бахадур. Отведи его под деревья, махаут, и смотри покорми его пряностями. Молодец, ты самый великий из слонов. Салам господину и иди спать.

Что делать? Сахибу придется ждать, пока река спадет. А спадет она, если Богу будет угодно, завтра утром, а не то, так — уж самое позднее — послезавтра. Что же сахиб так рассердился? Я его слуга. Видит Бог, не я устроил такой паводок. Что я могу сделать? Моя хижина и все, что в ней есть, — к услугам сахиба. Вот и дождь пошел. Пойдем, мой господин. Ведь река не спадет от того, что ты поносишь ее. В старые времена англичане были не такие. Огненная повозка изнежила их. В старые времена, когда они ездили в колясках и гнали лошадей днем и ночью, они, бывало, и слова не скажут, если река преградит им путь или коляска застрянет в грязи. Они знали — на то воля Божья. Теперь все иначе. Теперь огненная повозка идет и идет себе, хотя бы духи всей страны гнались за ней. Да, огненная повозка испортила англичан. Ну, посуди сам, что такое один потерянный день, а то даже и два? Разве сахиб торопится на свою собственную свадьбу, что он в такой безумной спешке? Ох! Ох! Ох! Я старый человек и редко вижу сахибов.

¹ Махаут — погонщик слонов. Джи — уважительная приставка.

Прости меня, если забыл, что с ними нужно быть почтительным. Сахиб не сердится?

Его собственная свадьба! Ох! Ох! Ох! Разум старого человека — словно дерево нума¹. На одном дереве вперемежку и плоды, и почки, и цветы, и увядшие листья прошлых лет. Так и у старика в голове — все перемешано: прошлое, новое и то, что давно позабыто. Сядь на кровать, сахиб, и выпей молока. А может, скажи правду, сахиб хочет отведать моего табачку? Хороший табак. Из Нуклао. Мой сын там служит в армии, так вот он прислал мне оттуда этот табак. Угощайся, сахиб, если только ты знаешь, как обращаться с такой трубкой. Сахиб держит ее, как мусульманин. Вах! Вах! Где он научился этому? Его собственная свадьба! Ох! Ох! Ох! Сахиб говорит, что дело тут ни в какой не в свадьбе. Да разве сахиб скажет мне правду, я ведь всего лишь чернокожий старик. Чего же тогда удивляться, что он так спешит. Тридцать лет ударяю я в гонг на этой переправе, но никогда еще не видел, чтобы хоть один сахиб так спешил. Тридцать лет, сахиб! Это ведь очень много. Тридцать лет тому назад эта переправа была на пути караванов; однажды ночью здесь перешли на ту сторону две тысячи вьючных волов. Ну а теперь пришла железная дорога, гудят огненные повозки, и по этому мосту пролетают сотни тысяч пудов. Да, удивительное дело... А переправа теперь опустела, и нет больше караванов под этими деревьями.

Ну, что тебе зря себя утруждать и смотреть на небо. Все равно ведь дождь будет идти до рассвета. Прислушайся! Сегодня ночью валуны на дне реки разговаривают между собой. Послушай их! Они все начисто сдерут с твоих костей, сахиб, попробуй ты перебраться на тот берег. Знаешь, я лучше закрою дверь, чтобы здесь дождем не намочило. Вах!.. Ах! Ух! Тридцать лет на берегу этой переправы. Теперь уж я старик... Да где же это у меня масло для лампы?

Ты уж прости меня, но я по старости сплю не крепче собаки, а ты подошел к двери. Послушай, сахиб. Смотри и слушай. От берега до берега добрых полкоса², — даже при свете звезд это видно, да глубина сейчас десять футов. И сколько бы ты ни сердился, вода от этого не спадет, и река не успокоится, как бы ты ни проклинал ее. Ну, скажи сам, сахиб, у кого голос громче, у тебя или у реки?

¹ Нума — порода дерева.

² Кос — мера длины, 3,3 км.

Ну прикрикни на нее, может, ты ее и пристыдишь. Лучше ложись-ка ты спать, сахиб. Я знаю ярость Бархви, когда в предгорье идет дождь. Однажды я переплыл поток в паводок; ночь тогда была в десять раз хуже этой, но Божьей милостью я спасся от смерти, хоть и был у ее ворот.

Хочешь, я расскажу тебе об этом? Вот это хорошие слова. Сейчас, только набью трубку.

С тех пор прошло тридцать лет; я был совсем молодой и только что приехал сюда работать на переправе. Погонщики всегда верили мне, когда я говорил: «Можно переправляться, река спокойна». Как-то я всю ночь напролет напрягал свою спину в речных волнах среди сотни обезумевших от страха волов и переправил их на ту сторону и ни одного не потерял. Покончил с ними и переправил трясущихся людей, и они дали мне в награду самого лучшего вола — вожака стада с колокольчиком на шее. Вот в каком я был почете! А теперь, когда идет дождь и поднимается вода, я заползаю в свою хижину и скулю, как пес. Сила моя ушла от меня. Я теперь старик, а переправа опустела с тех пор, как появилась огненная повозка. А прежде меня называли «Сильнейший с реки Бархви».

Взгляни на мое лицо, сахиб, это лицо обезьяны. А моя рука — это рука старухи. Но клянусь тебе, сахиб, женщина любила это лицо, и голова ее покоилась на сгибе этой руки. Двадцать лет тому назад, сахиб. Верь мне, говорю сущую правду — двадцать лет тому назад.

Подойди к двери и погляди туда через реку. Ты видишь маленький огонек далеко, далеко, вон там, внизу по течению. Это огонь храма. Там святилище Ханумана¹ в деревне Патира. Сама деревня вон там, на севере, где большая звезда, только ее не видно за излучиной. Далекo туда плыть, сахиб? Хочешь снять одежду и попробовать? А вот я плавал в Патиру — и не один, а много раз; а ведь в этой реке водятся крокодилы.

Любовь не знает каст; а иначе никогда бы мне, мусульманину, сыну мусульманина, не добиться любви индусской женщины — вдовы индуса, сестры старосты Патиры. Но так оно и было. Когда Она только что вышла замуж, вся семья вождя отправилась на паломничество в Матхуру. Серебряные ободья были на колесах повозки, запряженной волами, а шелковые занавески скрывали женщину. Сахиб, я не торопился переправить их, потому что ветер раздвинул занавески и я увидел Ее. Когда они

¹ Хануман — обожествленный царь обезьян («Рамаяна»).

вернулись после паломничества, ее мужа не было. Он умер. И я снова увидел Ее в повозке, запряженной волами. Бог мой, до чего же они глупые, эти индусы! Какое мне было дело, индуска ли она, или джайна, или из касты метельщиков, или прокаженная, или все это, вместе взятое? Я бы женился на ней и устроил бы для нее дом на переправе. Разве не говорит седьмая из девяти заповедей, что мусульманину нельзя жениться на идолопоклоннице? И шииты и сунниты разве не запрещают мусульманам брать в жены идолопоклонниц? Может, сахиб священник, что он так много знает? А я вот скажу ему то, чего он не знает. В любви нет ни шиитов, ни суннитов, нет запретов и нет идолопоклонников; а девять заповедей — это просто девять хворостин, которые в конце концов сгорают в огне любви. Сказать тебе правду, я бы забрал ее, но как я мог это сделать? Староста послал бы своих людей, и они палками разбили бы мне голову. Я не боюсь — я не боялся каких-нибудь пяти человек, но кто одолеет половину деревни?

Так вот, по ночам я, бывало, — так уж мы с Ней условились, — отправлялся в Патиру, и мы с Ней встречались посреди поля, так что ни одна живая душа ни о чем не догадывалась. Ну, слушай дальше! Обычно я переплывал здесь на ту сторону и шел джунглями вдоль берега до излучины реки, где железнодорожный мост и откуда дорога поворачивала в Патиру. А когда ночи были темные, огни храма указывали мне путь. В этих джунглях у реки полно змей — маленьких карайтов, которые спят в песке. Ее братья, попадись я им в поле, убили бы меня. Но никто ничего не знал — никто, только Она и я; а следы моих ног заносило речным песком. В жаркие месяцы было легко добраться от переправы до Патиры, да и в первые дожди, когда вода поднималась медленно, было тоже нетрудно. Силой своего тела я боролся с силой потока, и по ночам я ел в своей хижине, а пил там, в Патире. Она рассказывала мне, что Ее добывается один мерзавец, Хирнам Сингх из деревни на той стороне реки, вверх по течению. Все сикхи — собаки, они в своем безумии отказались от табака, этого дара божьего. Я убил бы Хирнама Сингха, приблизься он к Ней. К тому же он узнал, что у Нее есть любовник, и поклялся выследить его. Этот подлец грозил, что, если Она не пойдет с ним, он обо всем расскажет старосте. Что за мерзкие псы эти сикхи!

Как услышал я про это, больше уж без ножа к Ней не

плавал. Маленький, острый, он всегда был у меня за поясом. Плохо бы пришлось этому человеку, если бы он встал у меня на пути. Я не знал Хирнама Сингха в лицо, но убил бы всякого, кто встал бы между мной и Ею.

Однажды ночью, в самом начале дождей, я решил плыть в Патиру, хотя река уже была сердитая. Уж такая у Бархви натура, сахиб. За двадцать дыханий с холмов накатила стена высотой в три фута; пока я развел огонь и стал готовить лепешки, Бархви из речушки выросла в родную сестру Джамуны.

Когда я отплыл от этого берега, в полумиле вниз по течению была отмель, и я решил плыть туда, чтобы передохнуть там, а потом плыть дальше, я уже чувствовал, как река своими тяжелыми руками тянет меня на дно. Но что не сделаешь в молодости ради Любви! Звезды едва светили, и на полпути к отмели ветка какого-то паршивого кедра прошла по моему лицу, когда я плыл. Это было признаком сильного ливня у подножия холмов и за ними. Потому что кедр — это крепкое дерево, и его не так-то легко вырвать из склона. Я плыл, плыл быстро, река помогала мне. Но раньше, чем я доплыл до отмели, там уже бушевала вода. Вода была внутри меня и вокруг меня, а отмель исчезла; меня вынесло на гребне волны, которая перекачивалась от одного берега к другому. Доводилось ли когда-нибудь сахибу очутиться в бушующей воде, которая бьет и бьет и не дает человеку двинуть ни рукой, ни ногой? Я плыл, голова едва над водой, и мне казалось, что всюду, до самого края земли, одна вода, только вода, и ничего больше. И меня несло вниз по течению вместе с плавуном. Человек так ничтожно мал во вздутом брюхе потока. А это было — хотя тогда я этого еще не знал — Великое Наводнение, о котором люди еще до сих пор говорят. Во мне все оборвалось, я лежал на спине, словно бревно, и с ужасом ждал смерти. Вода была полна всякой живности, и все отчаянно кричали и выли — мелкие звери и домашний скот, — и один раз я услышал голос человека, который звал на помощь, но пошел дождь, он хлестал и вспенивал воду, и я не слышал больше ничего, кроме рева валунов внизу и рева дождя наверху. Меня все крутило и вертело потоком, и я изо всех сил старался глотнуть воздуха. Очень страшно умирать, когда молод. Видно сахибу отсюда железнодорожный мост? Посмотри, вон огни, это почтовый поезд. Он идет в Пешавар. Мост сейчас на двадцать футов выше воды, а в ту ночь вода редела у самой решетки

моста, и к решетке принесло меня вперед ногами. Но там и у быков сгрудилось много плавуна, поэтому меня не сильно ударило. Река только прижала меня, как может прижать сильный человек слабого. С трудом ухватился я за решетку и переполз на верхнюю ферму. Сахиб, рельсы были на глубине фута под водой, и через них перекачивались бурлящие потоки пены! По этому ты сам можешь судить, какой это был паводок. Я ничего не слышал и не видел. Я только лежал на ферме и судорожно хватал воздух.

Через некоторое время ливень кончился, в небе снова появились омытые дождем звезды, и при их свете я увидел, что не было края у черной воды и вода поднялась выше рельсов. Вместе с плавуном к быкам прибило трупы животных; некоторые животные застряли головой в решетке моста; были еще и живые, совсем изнемогающие, они бились и пытались забраться на решетку, — тут были буйволы, коровы, дикие свиньи, один или два оленя, и змеи, и шакалы — всех не перечесать. Их тела казались черными с левой стороны моста, самых маленьких из них вода протолкнула через решетку, и их унесло потоком.

А потом звезды исчезли, и с новой силой полил дождь, и река поднялась еще больше; я почувствовал, что мост стал ворочаться, как ворочается во сне человек, перед тем как проснуться. Мне не было страшно, сахиб. Клянусь тебе, мне не было страшно, хотя ни в руках моих, ни в ногах больше не было силы. Я знал, что не умру, пока не увижу Ее еще раз. Но мне было очень холодно, и я знал, что мост снесет.

В воде появилась дрожь, как бывает, когда идет большая волна, и мост поднял свой бок под натиском этой набегающей волны так, что правая решетка погрузилась в воду, а левая поднялась над водой. Клянусь бородой, сахиб, бог видит, я говорю сущую правду! Как в Мирзапуре накренилась от ветра баржа с камнями, так перевернулся и мост Бархви. Было так, а не иначе.

Я соскользнул с фермы и очутился в воде; позади меня поднялась волна разъяренной реки. Я слышал ее голос и визг средней части моста в тот момент, когда он стронулся с быков и затонул, а дальше я не помнил ничего и очнулся уже в самой середине потока. Я вытянул руку, чтобы плыть, и что же! Она коснулась курчавой головы человека. Он был мертв, потому что только я, Сильнейший с Бархви, мог выжить в этой борьбе с рекой.

Умер он дня два тому назад, его уже раздуло, и он всплыл. И он оказался спасением для меня. И тогда я засмеялся. Я был уверен, что увижу Ее, что со мной ничего не случится. Я вцепился пальцами в волосы этого человека, потому что очень устал, и мы вместе двинулись по бурлящей реке — он мертвый, я живой. Без этой помощи я бы утонул: холод пронизывал меня до мозга костей, а все мое тело было изодрано и пропиталось водой. Но *он* не знал страха, он, познавший всю силу ярости реки; и я дал ему плыть туда, куда он захочет. Наконец мы попали в течение бокового потока, который мчался к правому берегу, и я стал яростно бить ногами, чтобы приплыть туда. Но мертвеца тяжело раскачивало в бурлящем потоке, и я боялся, как бы он не зацепился за какую-нибудь ветку и не пошел ко дну. Мои колени задевали верхушки тамариска, и я понял, что поток несет нас над посевами, и через некоторое время я опустил ноги и почувствовал дно — край поля, а потом мертвец застрял на холмике под фиговым деревом, и я, полный радости, вытащил свое тело из воды.

Знает ли сахиб, куда принесло меня потоком? К холмику, который был вехой на восточной границе деревни Патира. Не куда-нибудь еще! Я вытащил мертвеца на траву за ту услугу, которую он мне оказал, и еще потому, что не знал, не понадобится ли он мне опять. А потом я пошел, трижды прокричав, как шакал, к условленному месту встречи, недалеко от коровника старосты. Но моя Любовь была уже там и рыдала. Она боялась, что паводком снесло мою хижину у переправы на Бархви. Когда я тихо вышел из воды, которая была мне по щиколотку, Она подумала, что это привидение, и чуть не убежала, но я обхватил Ее руками и — я был отнюдь не привидение в те дни, хотя теперь я старик. Ха! Ха! Высохший кукурузный початок, по правде сказать. Маис без сока. Ха! Ха! ¹

Я поведал Ей, как сломался мост через Бархви, и Она сказала, что я больше чем простой смертный, потому что никому не дано переплыть Бархви во время паводка и потому что я видел то, что никогда еще раньше не видел ни один человек. Держась за руки, мы подошли к холмику, где лежал мертвец, и я показал Ей, с чьей помощью я переплыл реку. Она посмотрела на труп

¹ Я с грустью должен заметить, что смотритель переправы на Бархви несет ответственность за два очень скверных каламбура. — Р. Киплинг.

при свете звезд, — была вторая половина ночи, но еще не светало, — закрыла лицо руками и стала кричать: «Это же Хирнам Сингх!» Я сказал: «Мертвая свинья полезнее, чем живая, моя Любимая». И Она ответила: «Конечно, ведь он спас самую дорогую жизнь для моей любви. Но все равно, ему нельзя оставаться здесь, потому что это навлечет позор на меня». Тело лежало ближе, чем на расстоянии выстрела от Ее двери.

Тогда я сказал, перекатывая тело руками: «Бог раскусил нас, Хирнам Сингх, он не хотел, чтобы твоя кровь была на моей совести. А теперь, — пусть я и совершаю грех, и лишаю тебя гхата сожжения, — ты и вороны делайте, что хотите». И тогда я столкнул его в воду, и его понесло течением, а его черная густая борода раскачивалась, как проповедник на кафедре. И больше я не видел Хирнама Сингха.

Мы с Ней расстались перед рассветом, и я пошел той частью джунглей, которая не была затоплена. При свете дня я увидел, что я совершил в темноте, и все мое тело обмякло. Я увидел, что между Патирой и деревьями на том берегу было два коса разъяренной вспененной воды, а посередине торчали быки моста Бархви, похожие на челюсти старика со сломанными зубами. На воде не было никакой жизни — ни птиц, ни лодок, одни только трупы, несметное множество — волы, и лошади, и люди, а река была краснее, чем кровь, от глины с подножия холмов. Никогда еще раньше не видел я такого паводка и никогда больше с того года не видел ничего подобного; и, о сахиб, никогда еще ни один человек в жизни не совершил того, что совершил я. В этот день я не мог и думать о возвращении. Ни за какие земли старосты сейчас, при свете, не отважился бы я снова на это страшное дело. Я прошел один кос вверх по течению, до дома кузнеца, и сказал ему, что паводком меня смыло из моей хижины, и мне дали поесть. Семь дней жил я у кузнеца, пока не приплыла лодка и я не смог возвратиться домой. Но дома не было — ни стен, ни крыши, ничего, только немного вязкой грязи. По этому ты, сахиб, суди сам, как высоко поднялась река.

Так было предначертано, что мне не суждено было умереть ни у себя дома, ни посередине Бархви, ни под обломками моста через Бархви, потому что бог послал мне Хирнама Сингха, уже два дня как мертвого, хотя я и не знал, как и от чего умер этот человек, чтобы служить мне поплаватком и поддержкой. Все эти двадцать лет

Хирнам Сингх в аду, и для него мысль об этой ночи — самая ужасная из всех пыток.

Послушай, сахиб, голос реки изменился. Она собирается уснуть до зари, а до зари остается только час. С рассветом она спадет. Откуда я знаю? Да разве, если я пробыл здесь тридцать лет, я не знаю голос реки, как отец знает голос сына? С каждой минутой голос у нее все менее и менее сердитый. Я поклянусь, что через час, от силы через два, уже не будет никакой опасности. А за утро я не могу отвечать. Поторопись, сахиб! Я позову Рама Першада, и на этот раз он не повернет назад. Багаж хорошо обвязан брезентом? Эй, махаут, ты, ту-пица, слона для сахиба. И скажи им там, на том берегу, что днем переправы не будет. Деньги? Нет, сахиб. Я не из таких. Нет, нет, не возьму, даже на леденцы ребятишкам. Посмотри сам, дом мой пуст, а я уж старик.

Иди, Рам Першад! Ну, удачи тебе, сахиб.

ВСЕГО ЛИШЬ СУБАЛТЕРН

...Не только понуждать приказом, но и воодушевлять примером ревностного выполнения долга и стойким несением тягот и лишений, неизбежных в военной службе.

Устав Бенгальской армии

В Сэндхёрсте¹ Бобби Вика заставили сдавать экзамен. Джентльменом он был и до того, как его произвели в чин, а когда королева объявила, что «джентльмен-юнкер Роберт Ханна Вик назначается вторым лейтенантом в полк Тайнсайдских Хвостокрутов, расквартированный в Краб-Бокхаре», он разом стал и офицером и джентльменом, — а что может быть завиднее? То-то ликовали в доме Виков, и мама Вик, и все Вики — мал мала меньше — пали на колени и воскурили фимиам Бобби за его доблестные свершения.

Папа Вик в свое время был комиссаром, повелевал тремя миллионами человек в округе Чхота-Балдана, ворочал большими делами на благо страны и прилагал все силы, чтобы вырастить две травинки там, где дотоле росла лишь одна. Разумеется, в тихой английской деревушке,

¹ Сэндхёрст — королевский военный колледж, основанный в 1802 г.

где он был известен просто как «старый мистер Вик», никто не знал о его прошлом; забылось и то, что он имел Звезду Индии третьей степени.

Он потрепал Бобби по плечу и сказал: «Отлично, мой мальчик!»

За сим — пока шился мундир — последовала восхитительная передышка, во время которой Бобби получил внеочередной чин «кавалера» на местных теннисных кортах и чайных посиделках, где всегда была пропасть дам, и рискну утверждать, буде ему разрешили приступить к несению службы чуть позже, непременно бы влюбился — и не в одну, а в нескольких девушек. В таких тихих деревушках всегда переизбыток прелестных девушек, ибо все молодые люди покидают родину в поисках счастья.

— Индия, — сказал папа Вик, — самое подходящее для тебя место. Я отрубил там тридцать лет, а вот, ей-ей, хоть сейчас готов туда вернуться. Если там еще не забыли Вика из Чхота-Балданы, Хвостокруты примут тебя как родного, и многие будут к тебе добры в память о нас. Мать тебе лучше может рассказать о тамошних; но твердо помни одно: держись своего полка, Бобби, держись своего полка. Ты встретишь там людей, которые будут рваться в штаб корпуса и заниматься какими угодно делами, кроме непосредственно полковых, их пример может тебя соблазнить. Так вот, постарайся укладываться в свое содержание — а тут я не поскупился; в остальном же держись строевых частей, прежде всего строевых частей и только строевых частей. За чужие векселя ручайся с оглядкой, а если тебя угораздит влюбиться в женщину двадцатью годами старше, не вздумай делиться со мной, вот и все.

Таковыми, а также многими другими столь же ценными советами папа Вик подбодрял Бобби вплоть до последней жуткой ночи в Портсмуте, когда офицерские казармы оказались переполнены противу устава, уволенные на берег матросы схватились с новобранцами, направляющимися в Индию, и бой бушевал, долго не затихая, на всем расстоянии от ворот Верфи вплоть до трущоб Лонгпорта, а тем временем фэаттонские шлюхи ворвались в порт и испортили физиономии офицерам королевы.

У Бобби Вика, на чьем веснушчатом носу красовался устрашающий синяк, — в его обязанности входило загнать на судно отряд, который шатало и мutilо с пере-

пою, а также заботиться об удобствах не менее полусотни весьма презрительно настроенных дам — не оставалось ни минуты, чтобы предаться тоске по родине до тех пор, пока «Малабар» не пересек канал наполовину, но и тогда ему пришлось урывать время от этих возвышенных чувств для нечастой проверки караулов и частых рвот.

Хвостокруты были полком весьма взыскательным. Те, кто знал их хуже всего, говорили, что они снедаемы «спесью». Но их сдержанность и оградительные меры являлись по преимуществу защитной дипломатией. Лет этак четырнадцать назад полковой командир, взглянув в четырнадцать бестрепетных глаз семи пухлых, наливных субалтернов, которые обратились к нему с просьбой перевести их в штаб корпуса, возопил: с какой стати, о звезды, ему, строевому командиру, руководить треклятой детской для трижды треклятых сосунков, нацепляющих запрещенные уставом шпоры и тиранищих круглых олухов, командующих безмозглыми, забытыми богом туземными полками. Он был грубиян и страшилище. После чего оставшиеся позаботились (а орудием выработки общественного мнения послужил кий), чтобы на родину полетели слухи, что молодым людям, которые склонны рассматривать Хвостокрутов как ступеньку для перехода в штаб корпуса, предстоят многочисленные и разнообразные испытания. Но так или иначе, у полка, как и у женщины, есть право на тайны.

Когда Бобби прибыл из Деолали и занял свое место в рядах Хвостокрутов, ему деликатно, но твердо дали понять, что отныне полк для него отец, мать и на веки вечные венчанная жена и что под шатром небес нет преступления более ужасного, чем покрыть позором полк — полк, равного которому нет ни в стрельбе, ни в строевой подготовке, самый славный и во всех отношениях самый замечательный полк в пределах Семи Морей. Его заставили вызубрить наизубок все легенды офицерского собрания от истории улыбающихся золотых божков из Летнего Пекинского дворца до истории оправленной в серебро табакерки из рога дикой козы — дара последнего П. К. (того самого, который вещал перед семью субалтернами). И каждая из этих легенд рассказывала о битвах с превосходящими силами противника, а полк вел их, не ведая страха и не рассчитывая на подкрепление; о гостеприимстве, беспредельном, как

гостеприимство араба, о дружбе, бездонной, как море, и стойкой, как линия фронта, о славе, добытой нелегким путем и одной лишь славы ради, и о безоговорочной и беспрекословной преданности полку — ибо полку принадлежит жизнь всех и каждого, отныне и во веки веков.

Неоднократно ему по долгу службы случалось иметь дело с полковым знаменем, больше всего оно напоминало подкладку шляпы каменщика, вздетую на обглоданную палку. Бобби не преклонял пред ним колен и не боготворил его, ибо это не свойственно британским субалтернам. Напротив, в то самое время, когда оно преисполняло благоговением и прочими благородными сантиментами, Бобби роптал на то, что его так тяжело тащить.

Однако полное блаженство он испытал на рассвете того ноябрьского дня, когда, облаченный в парадную форму, шагал в рядах Хвостокрутов. За вычетом дневальных и больных, полк насчитывал одну тысячу восемьдесят человек, и Бобби чувствовал себя частью полка: разве не был он субалтерном строевой службы, прежде всего строевой службы и только строевой службы, о чем свидетельствовал грохот двух тысяч ста шестидесяти тяжелых походных сапог? Он не поменялся бы местами ни с Дейтоном из конной артиллерии, во верь опор промчавшимся мимо него в облаке пыли под выкрики «право, лево», ни с Хоган-Йейлем из полка белых гусар, гнавшим свой эскадрон вперед, не щадя ни людей, ни подков, ни с «Клещом» Буало, который пыжился изо всех сил, дабы не посрамить своего блистательного голубого с золотом тюрбана, в то время как бенгальская кавалерия, растянувшись рысью, преследовала, словно рой ос, могучных, переваливающихся с боку на бок коней белых гусар.

Они сражались весь ясный, нежаркий день, и Бобби почувствовал, как холодок пробежал у него по спине, когда вслед за громыханьем очередного залпа послышалось позвякиванье пустых гильз, выскакивающих из затворов; он знал, что настанет день — и ему доведется участвовать в настоящем деле. Учения закончились грандиозными скачками по равнине: батареи с грохотом неслись за кавалерией, к великому неудовольствию белых гусар, а Тайнсайдские Хвостокруты гоняли Сикхский полк до тех пор, пока не загнали сухопарых, долговязых сикхов вконец.

Бобби еще задолго до полудня был с ног до головы запорошен пылью, пот тек с него ручьями, но энтузиазм его не угас, а лишь нашел себе применение.

И по возвращении он сел у ног Ривира, своего «ротного», правильнее сказать, капитана роты, постигать темное и таинственное искусство управления людьми, а оно составляет немалую часть воинского ремесла.

— Если у тебя нет данных, — говорил Ривир, попыхая манилой, — тебе ни за что не освоить этой премудрости, но запомни, Бобби, самая хорошая строевая подготовка не выведет полк из пекла. Вывести его может только человек, который умеет управлять людскими тварями всяческих пород — кобелями, свиньями, баранами и так далее.

— Такими, к примеру, как Дормер, — сказал Бобби. — Его, по-моему, можно причислить к породе дураков. Он куксится, как хворая сова.

— Вот тут-то ты и ошибаешься, сынок. Дормер пока еще не дурак, просто он зверски грязный солдат, и старший по комнате вывешивает его носки всем на посмешище перед смотром ранцев. Дормер же — а он недалеко ушел от животного — забивается в угол и огрызается.

— Откуда вы все это знаете? — восхищенно спросил Бобби.

— Ротному командиру положено все знать; если он не будет знать таких вещей, он может прозевать преступление, которое назревает у него под самым носом, да что там преступление, убийство. Дормера сейчас так травят, что он вот-вот рехнется: хоть он парень и здоровый, у него не хватает ума дать отпор. Вот он и повадился надираться втихомолку. Учти, Бобби, когда объект издевок всей казармы запил или хандрит в одиночку, необходимо принять меры, чтобы его отвлечь.

— Какие еще такие меры? Нельзя же вечно нянчиться с солдатами.

— Нельзя. Солдаты живо дадут тебе понять, чтобы ты оставил их в покое. А вот поехал бы ты...

Их прервал приход старшего сержанта с бумагами; пока Ривир просматривал бланки, Бобби предался размышлениям.

— Дормер чем-нибудь занимается? — спросил Бобби небрежно, будто продолжая прерванный разговор.

— Нет, сэр. Делает машинически, что велено, — сказал сержант, питавший слабость к ученым словам. — А уж грязный он, хуже некуда, сейчас у него чуть не все

жалованье идет в начет за новое обмундирование. Он с ног до головы перемазан в чешуе, сэр.

— Чешуе? Какой такой чешуе?

— Рыбной, сэр. Он целый день торчит у реки, копается в грязи, чистит эту самую рыбу, прямо пальцами ее чистит.

Ривир углубился в ротные бумаги, и сержант, который на свой грубоватый манер был привязан к Бобби, продолжал:

— Он, как надерется, прямиком идет на реку, и, говорят, чем больше он под мухой, точнее сказать, нетверезый, тем лучше ему рыба идет в руки. В роте, сэр, его кличут Малахольный Рыбник.

Ривир поставил подпись на последнем бланке, и сержант удалился.

«Гнусная забава», — огорчился Бобби про себя. А вслух сказал:

— А вас и правда беспокоит Дормер?

— Несколько. Понимаешь, он не настолько спятил, чтобы отправить его в госпиталь, и не так надирается, чтобы посадить на гауптвахту, но раз он хандрит и кукуется, он, того и гляди, закусит удила. Он не выносит, когда в нем принимают участие, как-то я взял его на охоту, так он ненароком чуть не подстрелил меня.

— Я отправляюсь на рыбную ловлю, — сказал Бобби с кислой миной. — Найму в деревне лодку и с четверга до субботы спущусь вниз по реке, а этого молодчагу Дормера прихвачу с собой — если вы сумеете обойтись без нас обоих.

— Дубина ты стоеросовая! — сказал Ривир, но про себя поименовал Бобби куда более лестно.

И Бобби — капитаном, а рядовой Дормер — подручным капитана спустили лодку на воду в четверг утром; рядовой сел на нос, субалтерн — за руль. Рядовой смущенно поглядывал на субалтерна; тот, понимая чувства рядового, не трогал его.

По прошествии шести часов Дормер перешел на корму, отдал честь и сказал:

— Извиняюсь за беспокойство, сэр, но вам приходилось бывать на Дэрхемском канале?

— Нет, — сказал Бобби Вик. — Садитесь, перекусим.

Завтрак прошел в молчании. Когда спустились сумерки, рядового Дормера вдруг прорвало, и он сказал, ни к кому не обращаясь:

— Точь-в-точь такой же выдался вечерок, когда я был на Дэрхемском канале, тому аккурат год стукнет через неделю, я еще ногами болтал в воде. — Он закурил и не проронил больше ни слова, пока не пришло время ложиться спать.

Колдовские краски зари отливали на серой глади реки пурпуром, золотом, перламутром; казалось, неуклюжая лодка медленно прокладывает путь по великолепно новым, невиданно прекрасным небесам.

Рядовой Дормер высунул голову из-под одеяла и загляделся на окружающую его красоту,

— Ах ты, лопни мои глаза! — сказал он испуганным шепотом. — Ну, право слово, волшебный фонарь, да и только! — Весь остаток дня он не проронил ни звука, зато ухитрился, чистя рыбу, перемазаться чешуей.

В субботу вечером они вернулись. Начиная с полудня Дормер пытался побороть собственное косноязычие. Дар речи он обрел, лишь когда принялись выгружать удочки и багаж.

— Не сердитесь, сэръ, — сказал он. — Но вы не побрезгуете пожать мне руку, сэръ?

— Конечно, нет, — сказал Бобби и в подтверждение своих слов пожал протянутую ему руку. После чего Дормер отправился в казармы, а Бобби — в офицерское собрание.

— Видно, ему всего-то и нужно было, чтобы его оставили в покое, ну и еще немного поудить, — сказал Бобби. — Но, бог ты мой, до чего он грязный! Вам доводилось видеть, как он чистит эту самую рыбу пальцами?..

— Как бы там ни было, — сказал Ривир через три недели, — он теперь изо всех сил старается содержать себя в чистоте.

Когда весна пришла к концу, Бобби не включился во всеобщую потасовку за право провести лето в горах и получил три месяца отпуска — восторгу его не было предела.

— Такой славный малый, что лучше и желать нельзя, — похвалил Бобби Ривир, его ротный.

— Лучший из всех новичков, — сказал начальник штаба полковнику. — Оставьте здесь этого желторотого сачка Поркисса, и пусть Ривир покажет ему, где раки зимуют.

И Бобби, ликуя, отбыл в Симлу-Пахар, прихватив с собой жестяной сундук, набитый великолепными нарядами.

— Это сын Вика, старины Вика из Чхота-Балданы? Пригласи его на обед, дорогая, — говорили почтенные мужи.

— Какой милый мальчик! — говорили дамы и девицы.

— Отличное местечко Симла. Потрясающе! — сказал Бобби Вика и по этому случаю заказал себе новые плисовые бриджи.

...«Дела наши плохи, — писал Ривир Бобби Вика, когда второй месяц отпуска подходил к концу. — С тех пор как ты уехал, полк треплет лихорадка, и нешуточная: двести человек в госпитале и чуть не сотня на гауптвахте — запили в надежде отогнать лихорадку. На плацу набирается от силы пятнадцать шеренг. В окрестных деревнях так свирепствует эпидемия, что даже думать об этом страшно, впрочем, меня замучила потница, и я готов хоть сейчас в петлю. Ходят слухи, что ты покоришь сердце некоей мисс Хэверли, правда? Надеюсь, это не серьезно? Ты еще слишком молод, чтобы повесить такой жернов себе на шею, к тому же, если ты предпримешь нечто подобное, полковник в два счета вытребует тебя из Симлы».

Однако из Симлы Бобби вызвал не полковник, а куда более высокое начальство. Эпидемия разрасталась, базар отнесли подальше от военного городка, а затем разнесся слух, что Хвостокруты получили приказ выступить из городка и стать лагерем. Телеграф домчал эту весть до горных курортов: «Холера — Отпуска приостановлены — Офицеры отзываются в полки». Прощайте, белые перчатки в жестяных коробках, намечавшиеся верховые прогулки, балы и пикники, любовь, не дозревшая до объяснения, долги, оставшиеся неоплаченными! Не ропща и не прекословя, нещадно погоня коней, мчались субалтерны — кто на двуколке, кто на пони — к своим полкам и батареям, так, будто спешили на собственные свадьбы.

Бобби получил приказ, когда возвращался с бала в охотничьем доме вице-короля, где... впрочем, одной лишь мисс Хэверли ведомо, что говорил Бобби и на сколько вальсов он претендовал на следующем балу. Рассвет застал Бобби в конторе, где он под проливным дождем нанимал двуколку; вихревая мелодия последнего вальса все еще звучала в его ушах, а голова кружилась, но причиной тому было не вино и не вальс.

— Молодчик! — прорвался сквозь пелену дождя го-

лос Дейтона из конной артиллерии. — Как тебе удалось достать двуколку? Я еду с тобой. Охо-хо! Ну и перебрал я вчера. Правда, я-то до конца не досидел. Говорят, на батарее дела плохи. — И он уныло пропел:

Брось, все брось — чего уж тут!
Брось отару в гиблом месте,
Брось непогребенным труп,
Брось у алтаря невесту.

— Но, ей-ей, тут дело пахнет не невестой, а трупом. Прыгай, Бобби.

На платформе в Умбалле группа офицеров в ожидании поезда обсуждала последние новости из пораженного эпидемией военного городка: только тут до Бобби дошло, как плохи дела у Хвостокрутов.

— Они получили приказ выступить из городка и стать лагерем, — сказал пожилой майор, отозванный от ломберных столов в Массури в пораженный эпидемией туземный полк, — им пришлось везти двести десять человек в повозках. Двести десять солдат бьет лихорадка, да и у остальных вид — краше в гроб кладут. Даже Мадрацкий полк шутя разбил бы их наголову.

— Но когда я уезжал, все были здоровехоньки, — сказал Бобби.

— Надо надеяться, что, когда вы вернетесь, они от радости снова станут здоровехоньки, — жестко сказал майор.

Пока поезд мчался по раскисшим полям Доаба, Бобби стоял, прижав лоб к залитому дождем оконному стеклу, и молился за здоровье Тайнсайдских Хвостокрутов. Наини Таль, не медля ни минуты, выслала всех до одного офицеров, взмыленные пони, чуть не падая, вошли в Патханкот, а тем временем калькуттская почта подобрала в затянутах облаками Дарджилинге последнего отставшего воина маленькой армии, которой предстояло дать бой, где победителя не ждали ни награды, ни почести, против такого врага, как «зараза, опустошающая в полдень».

Когда очередной офицер являлся доложить о прибытии, он говорил: «Да, плохи наши дела», — и не мешкая возвращался к своим занятиям, так как все без исключения полки и батареи городка лежали по палаткам, и зараза стояла у их изголовья.

Бобби под проливным дождем еле добрался до временки, где разместили офицерское собрание, и Ривир,

увидев его неказистую, пышущую здоровьем физиономию, от радости чуть не кинулся ему на шею.

— Постарайся развлечь и занять их, — сказал Ривир. — Не успели заболеть первые два, как остальные, бедолаги, запили с перепугу, а с тех пор никаких изменений к лучшему не наблюдается. Ох, и рад же я, Бобби, что ты вернулся! Что до Поркисса... даже говорить не хочется.

Из артиллерийского лагеря к ним прибыл Дейтон, разделил с ними скучный обед в офицерском собрании и усугубил общее уныние, описав со слезой судьбу своей любимой батарее. Поркисс настолько забылся, что посмел утверждать, будто от офицеров все равно нет никакого толку и что разумнее всего было бы отправить полк целиком в госпиталь: «На то и доктора, чтобы ходить за больными». Поркисс от страха совсем потерял голову, не привела его в чувство и отповедь Ривира:

— Если вы придерживаетесь такого мнения, тогда чем скорее вы отсюда уберетесь, тем лучше. Любая частная школа может прислать нам полсотню отличных малых взамен вас, но полк, Поркисс, делают время, деньги и упорный труд. Вот представьте-ка на минуту, что это *вы* заболели и в палатки нам пришлось переселиться из-за вас?

Вследствие чего у Поркисса пошел по коже мороз, прогулка под дождем отнюдь не улучшила его состояния, и двумя днями позже он отошел из нашего мира в мир иной, где, как мы наивно полагаем, плотские недуги нас больше не беспокоят. Полковой старшина, когда ему сообщили эту новость, устало оглядел сержантскую столовую.

— Господь прибрал худшего из них, — сказал он. — Когда он приберет лучшего, тогда, даст бог, этой напасти придет конец.

Сержанты помолчали, потом один из них сказал:

— Только б не *его!* — И все поняли, о ком думал Трэвис.

Бобби Вик носился по палаткам своей роты, подбодрял, отчитывал, мягко, как того требует устав, подтрунивал над слабыми духом, а чуть прояснялось, выгонял здоровых греться под едва пробивающиеся сквозь водяные испарения лучи солнца, уговаривал их не вешать носа, ибо близится конец невзгодам, скакал на своем мышастом пони по окрестностям и загонял обратно в лагерь солдат, которые по извращенности, присущей британским

солдатам, вечно забредали в зараженные деревни или утоляли жажду из затопленных дождями болот, подбодрял руганью впавших в панику и не раз ходил за теми умирающими, у которых не завелось друзей, солдатами без земляков; устраивал любительские концерты, на которых полковые таланты при помощи банджо и жженой пробки могли блеснуть во всей красе, словом, как он сам говорил, был «всякой бочке затычкой».

— Ты стоишь едва ли не десятка таких, как мы, Бобби, — сказал однажды ротный в приступе восторга, — Как только тебя на все хватает?

Бобби не ответил, но, загляни Ривир в нагрудный карман его мундира, он увидел бы пачку писем, в которых, по всей вероятности, Бобби черпал силы. Письма эти приходили через день. Что касается орфографии, письма могли вызвать нарекание, зато выраженные в них чувства явно были на высоте, ибо по получении очередного письма глаза Бобби начинали сиять и он на какое-то время впадал в сладостное забытие, вслед за чем, мотнув коротко остриженной головой, вновь окунался в работу.

Но чем он завоевал сердца самых отчаянных сорвиголов (а в рядах Хвостокрутов насчитывалось немало молодцов с золотым сердцем, но буйным нравом), не мог понять ни ротный, ни полковой командир, а он знал от священника, что в госпитальных палатах на Бобби куда больший спрос, чем на его преподобие Джона Эмери.

— Похоже, солдаты к тебе привязаны. Ты часто бываешь в госпиталях? — спросил полковник, он в этот день, как обычно, обходил госпиталь, приказывая солдатам выздоравливать поскорее — с суровостью, не скрывавшей глубокой скорби.

— Случается, сэр, — сказал Бобби.

— Я бы на твоём месте ходил туда пореже. Хоть и говорят, что эта зараза не прилипчива, не стоит рисковать зря. Знаешь ли, мы не можем себе позволить тебя потерять.

А через шесть дней почтальон, обвешанный тяжелыми сумками, едва дотащился до лагеря по непролазной грязи: дождь лил как из ведра. Бобби получил письмо, унес его к себе в палатку, и едва программа очередного любительского концерта была успешно завершена, уселся за ответ. Целый час его рука неуклюже, но прилежно водила пером по бумаге, а там, где чувства переполняли

его, Бобби высовывал язык и сопел. У него не было привычки писать письма.

— Извиняюсь за беспокойство, сэр, — сказали в дверях. — Только Дормера прихватило, его свезли в госпиталь.

— Пропади он пропадом, твой Дормер, и ты вместе с ним, — сказал Бобби, промокая неоконченное письмо. — Передай ему, я приду утром.

— Его страсть как прихватило, сэр, — запинаясь голос. Грубые сапоги нерешительно чавкали по грязи.

— Ну? — нетерпеливо спросил Бобби.

— Извините великодушно, сэр, если я много себе позволяю, только он говорит, посиди вы с ним, ему, мол, полегчает, а то...

— Вот тебе на! Заходи, не стой под дождем, подожди, пока я кончу свои дела. Ох, и надоели же вы мне! Вот бренди. Выпей. Тебе это сейчас нужно. А теперь держись за стремя и, если не будешь поспевать за мной, скажи.

Санитар, не моргнув глазом, хлопнул стаканчик горячительного и, подкрепившись таким образом, прошлепал по грязи всю дорогу до госпитальной палатки вровень с оскользающимся, заляпанным грязью и крайне раздосадованным пони.

Рядового Дормера и впрямь «здорово прихватило». Он был на грани кризиса и являл собой жалкое зрелище.

— Что это ты забрал себе в голову, Дормер? — сказал Бобби, нагибаясь к рядовому. — Нет, нет, не вздумай умирать. Мы еще с тобой съездим разок-другой на рыбную ловлю.

Синие губы раздвинулись, издав еле слышный шепот:

— Извиняюсь за беспокойство, сэр, но вы не побрезгуете поддержать меня за руку?

Бобби присел на край кровати. Ледяная рука вцепилась в него клещами, вдавив надетое на мизинец маленькое женское колечко. Бобби, стиснув зубы, приготовился ждать. С брюк его капала вода.

Прошел час, Дормер не ослабил хватки, не изменилось и выражение его искаженного болью лица. Бобби с незаурядной ловкостью исхитрился закурить манилу левой рукой (его правая рука онемела до самого локтя) и приготовился к мучительной ночи.

Когда рассвело, изрядно побледневший Бобби все еще сидел на койке Дормера, а доктор стоял в дверях и осыпал его словами, не предназначенными для печати.

— Ты что, всю ночь здесь проторчал, остолоп? — сказал доктор.

— Более или менее, — сказал Бобби покаянно. — Он ко мне примерз.

Тут Дормер, лязгнув зубами, закрыл рот, повернул голову и вздохнул. Пальцы его разжались, и рука Бобби, выпущенная из тисков, бессильно упала.

— Он выкарабкается, — сказал доктор тихо. — Похоже, он всю ночь был между жизнью и смертью. — А тебя, видно, надо поздравить с удачным исцелением.

— Ерунда! — сказал Бобби. — Я думал, он давно испустил дух... просто как-то не хотелось отнимать рук. Разотрите-ка меня, вот так, спасибо! Ох, и хватка же у этого парня! Я промерз до костей. — И он, весь дрожа, вышел из палатки.

Рядовому Дормеру разрешили отпраздновать победу над смертью сильными возлияниями. А через четыре дня он сидел на койке и просветленно объяснял другим больным:

— Уж очень мне невтерпеж с ним поговорить — оно и понятно...

Бобби тем временем читал очередное письмо (никто в лагере не получал писем так часто, как он) и собирался было написать в ответ, что эпидемия затухает и, самое большее, через неделю-другую отступит окончательно. Он не хотел писать, что холод от руки больного просочился до сердца, того сердца, которое так умело любить. Зато он хотел вложить в письмо разукрашенную программу предстоящего любительского концерта, которым немало гордился. Хотел он написать и о многом другом, непредназначенном для нас, и непременно написал бы, если б не легкий жар и головная боль, из-за которых он просидел весь вечер в офицерском собрании, вялый и ко всему безучастный.

— Ты слишком надрываешься, Бобби, — сказал ему ротный. — Мог бы передоверить часть работы нам. Ты так надсаживаешься, будто должен работать за нас всех. Передохни немного.

— Ладно, — сказал Бобби. — Я и впрямь несколько устал.

Ривир озабоченно посмотрел на него, но ничего не сказал.

В эту ночь по лагерю мелькали фонари; ходили слухи, которые подняли людей с постелей и заставили сгрудиться у дверей палаток. Чавкали по грязи босые ноги

носильщиков, раздавался стремительный топот копыт.

— Что случилось? — спросили двадцать палаток, и по двадцати палаткам разнесся ответ:

— Вик захворал.

Когда эту новость сообщили Ривиру, он застонал:

— Заболей кто угодно, кроме Бобби, я бы смирился. Прав оказался полковой старшина.

— Нет, я не поддамся, — задыхаясь, шептал Бобби, когда его поднимали с носилок. — Нет, я не поддамся. — И добавил с глубочайшей уверенностью: — Помните, мне никак нельзя свалиться.

— Я тебя вытащу, если это только в моих силах, — сказал старший врач, который тотчас примчался из офицерского собрания, бросив на середине обед.

Он бок о бок с полковым врачом отвоевывал у смерти Бобби Вика. В разгар хлопот их прервало появление обросшего призрака на небесно-сером халате; призрак глядел на постель и причитал: «Ах ты, господи! Неужто это *он!*» — до тех пор, пока разгневанный санитар не прогнал его прочь.

Если б уход врачей и жажда жизни могли помочь, Бобби был бы спасен. Он и так целых три дня сопротивлялся смерти, и морщины на лбу старшего врача разгладились.

— Мы его спасем, — сказал он, и полковой врач, который хоть и приравнивался по рангу к капитану, был юн душой, выскочил из палатки на свет божий и, не помня себя от радости, заплясал, увязая в грязи.

— Нет, я не поддамся, — стойко шептал Бобби Вик на исходе третьего дня.

— Молодцом! — сказал старший врач. — Так держать, Бобби!

А вечером серые тени сгустились вокруг губ Бобби, и он в изнеможении отвернулся к стене. Старший врач насупился.

— Я жутко устал, — сказал Бобби чуть слышно. — Какой смысл пичкать меня лекарствами? Я... больше не... хочу их... Оставьте меня.

Жажда жизни покинула Бобби, — смертная волна подхватила его и несла — он не сопротивлялся.

— Мы напрасно стараемся, — сказал старший врач. — Он не хочет жить. Бедный мальчик, он ищет смерти. — И врач высморкался.

А за полмили от госпиталя полковой оркестр исполнял увертюру, начинался концерт: солдат уверили, что

Бобби вне опасности. До Бобби донеслось гроыханье медных тарелок и вой рожков.

Я радость знал, я знал печаль
И в горе не сробею.
Не любишь. Что ж... Скажи: прощай
И уходи скорее.

По лицу Бобби промелькнуло выражение крайней досады, он попытался тряхнуть головой.

— В чем дело, Бобби? — нагнулся к нему старший врач.

— Только не этот вальс, — забормотал Бобби. — Только не наш... тот наш с ней... Мама, милая...

Произнеся эту загадочную фразу, он погрузился в забытие, а на следующее утро, так и не приходя в себя, умер.

Ривир, у которого веки стали совсем красными, а нос побелел, зашел в палатку Бобби — написать папе Вику письмо — письмо, которое неминуемо пригнет к земле седую голову бывшего комиссара Чхота-Балданы, ибо горя горше ему не пришлось испытать за всю его жизнь. Немногочисленные бумаги Бобби в беспорядке валялись по столу, среди них нашлось недописанное письмо. Оно обрывалось на предложении: «Так что, как видишь, любимая, опасаться нечего: пока я знаю, что ты любишь меня, а я тебя, со мной ничего не случится».

Ривир провел в палатке час. Когда он вышел, глаза его покраснели еще пуще.

* * *

Рядовой Конклин, примостившись на опрокинутом ведре, слушал музыку — музыку эту ему приходилось слишком часто слышать в последнее время. Рядовой Конклин только что пошел на поправку и требовал особо бережного к себе отношения.

— Ишь ты! — сказал рядовой Конклин. — Еще один офицеришка очоурился.

И тот же миг он слетел с ведра, а из глаз его посыпались искры.

Высоченный детина в небесно-сером халате разглядывал его с нескрываемым омерзением.

— Бесстыжий ты, Конки! Офицеришка? Офицеришка очоурился, говоришь? Я тебя научу, как его обзывать. Ангел! *Всамделишный* ангел очоурился! Вот как!

Санитар счел кару настолько справедливой, что не отправил рядового Дормера в постель.

НЕОБЫЧАЙНАЯ ПРОГУЛКА МОРРОУБИ ДЖУКСА

Жив или мертв — нет третьего пути.

Туземная поговорка

Никакого обмана, как выражаются фокусники, в этой истории нет. Джукс случайно наткнулся на селение, которое существует на самом деле, хотя ни один англичанин, кроме него, там не бывал. Подобного рода поселок еще недавно процветал в окрестностях Калькутты, и ходил даже слух, что, если забраться в самую глубь Биканера, расположенного в самом сердце Великой индийской пустыни, там можно обнаружить не то что селение, а целый город — штаб-квартиру мертвецов, которые хоть и не умерли, но утратили право на жизнь. Да и то сказать, раз уж совершенно точно известно, что в той же пустыне существует другой удивительный город, куда удаляются на покой все богатые ростовщики, после того как они сколотят себе состояния (состояния столь огромные, что владельцы их не рискуют довериться даже могучей деснице закона, а ищут убежища в безводных песках), где они заводят себе роскошные выезды на мягких рессорах, покупают красивых девушек и украшают дворцы золотом, и слоновой костью, и минтоновскими изразцами, и перламутром, я не вижу, почему должен вызывать сомнения рассказ Джукса. Сам он инженер-строитель, и голова его набита всевозможными планами, перспективами и разными прочими материями такого же рода, и, уж конечно, не стал бы он затруднять себя, выдумывая всякие несуществующие ловушки. Он бы больше заработал, занимаясь своим прямым делом. Излагая эту историю, он никогда не разнобразит ее новыми версиями и очень раздражается и негодует, вспоминая о том, как непочтительно с ним там обходились. Записал он ее вначале совершенно бесхитростно и лишь впоследствии выправил кое-где стиль и добавил моральные рассуждения. Так вот.

* * *

Началось все это с легкого приступа лихорадки. По роду моей деятельности мне пришлось однажды на несколько месяцев расположиться лагерем между Пак-

паттаном и Мубаракпуром, а то, что это безлюдная, жалкая дыра, известно каждому, кто имел несчастье там побывать. Мои кули вызывали у меня раздражение не больше и не меньше, чем прочие артели подобного рода, а работа требовала напряженного внимания, спасая от хандры, даже если бы я и был подвержен этой недостойной истинного мужчины слабости.

Двадцать третьего декабря тысяча восемьсот восемьдесят четвертого года меня слегка лихорадило. Было тогда полнолуние, и естественно, что все псы неподалеку от моей палатки выли на луну. Эти бестии импровизировали дуэты и трио, доводя меня до бешенства. За несколько дней перед тем я подстрелил одного такого громкоголосого певца и повесил его останки *in terrorem*¹ в полусотне ярдов от входа в палатку. Но собратья его тут же навалились на мертвое тело, передрались и сожрали его целиком: мне даже показалось, что после этого они запели свои благодарственные гимны с удвоенной силой.

Сопутствующее лихорадке возбужденное состояние действует по-разному на разных людей. Мое раздражение спустя короткое время нашло исход в твердом решении убить одну гадину, черную с рыжими подпалинами, которая целый вечер громче всех выла и первая же бросалась наутек. Из-за того, что рука у меня дрожала, а голова кружилась, я уже дважды промахнулся по ней из обоих стволов моего дробовика, и тут меня внезапно осенила мысль, что лучше всего будет погнаться за нею верхом, догнать на открытом месте и прикончить ее копьём. Конечно, только лихорадка могла породить этот бредовый план, но в тот момент он казался мне совершенно разумным и легко осуществимым.

Поэтому я приказал конюху оседлать Порника и незаметно подвести его к заднему выходу из палатки. Когда пони привели, я стал рядом с ним, чтобы улучшить момент, когда собака снова поднимет вой, и сразу вскочить в седло. Надо сказать, что Порника перед этим несколько дней не выводили из загона; ночной воздух был холодным и бодрящим, а на мне были специальные шпоры, длинные и острые, которыми я в тот день понукал медлительного коба. Поэтому нетрудно поверить, что, когда я погнал Порника, он сразу же пустился

¹ Для острастки (*лат.*).

вскачь. В одно мгновение, ибо собака неслась как стрела, палатка осталась где-то далеко позади, и мы мчались по песчаной равнине, как в гонках на скаковой приз. В следующее мгновение мы обогнали мерзкого пса, и я уже успел позабыть, с чего это я вдруг оказался тут на лошади и с копьём в руках.

Лихорадочное иступление и возбуждение от бешеной скачки навстречу ветру, видимо, лишили меня последних остатков разума. Мне лишь смутно помнится, как я, привстав на стременах, размахивал копьём при свете огромной белой луны, которая с таким равнодушным спокойствием смотрела с высоты на мой безумный галоп, и громогласно бросал вызов кустам верблюжатника, со свистом проносившимся мимо меня. Раз или два меня, видимо, швырнуло на шею Порнику, и мне пришлось буквально повиснуть на шпорах, как это показывали следы, обнаруженные у него на следующее утро.

Проклятое животное как одержимое неслоь вперед по залитому лунным светом песчаному пути, которому, казалось, не будет предела. Затем, помнится, почва впереди нас внезапно стала повышаться, и когда мы преодолели эту кручу, я увидел внизу воды Сатледжа, сверкающие, как серебряная полоса. Тут Порник споткнулся, тяжело зарылся головой в песок, и мы оба покатились вниз по невидимому склону.

Вероятно, я потерял сознание, ибо когда я снова пришел в себя, оказалось, что я лежу ничком на куче мягкого белого песка и рассвет уже слегка окрасил вершину откоса, с которого я скатился. Когда совсем рассвело, я увидел, что нахожусь у подножия подковообразного песчаного кратера, открывающегося с одной стороны прямо на отмели Сатледжа. Лихорадка полностью оставила меня, и, если не считать легкого головокружения, я не ощущал никаких повреждений после своего ночного падения.

Порник, который стоял в нескольких ярдах от меня, был, конечно, порядком измучен, но и он был совершенно невредим. Его седло, особенно удобное для поло, было основательно разбито и съехало ему под брюхо. Мне пришлось немало повозиться, чтобы вернуть его в правильное положение, и за это время я успел осмотреть то место, куда я так нелепо свалился.

Рискуя показаться утомительным, я вынужден все же описать это место во всех подробностях, ибо деталь-

ное представление о нем существенно поможет читателю уяснить последующий ход событий.

Так вот, вообразите, как уже упоминалось выше, подковообразный кратер с крутыми песчаными склонами, примерно тридцати пяти футов высотой (угол откоса был, вероятно, градусов шестьдесят пять). Внутри этого кратера простирался плоский участок длиной около пятидесяти ярдов, а шириной (в самом широком месте) ярдов в тридцать. Посередине его находился рубленый из неотесанных бревен колодец. По всей окружности у основания кратера, примерно в трех футах над землей, виднелась целая серия нор, восемьдесят три полукруглых, овальных, квадратных и многоугольных отверстия, каждое около трех футов высоты. Все эти норы при ближайшем рассмотрении были внутри заботливо укреплены выловленными из реки бревнами и бамбуком, а над их входом, как козырек жокейского картуза, выступал на два фута деревянный водозащитный навес. В этих пещерах не видно было никаких признаков жизни, но весь амфитеатр источал мерзкий, тошнотворный запах, более зловонный, чем все, к чему приучили меня мои странствия по индийским селениям.

Взобравшись снова на Порника, который и сам не меньше моего рвался обратно в лагерь, я объехал все основание подковы в поисках прохода, ведущего наружу. Обитатели пещер, кем бы они ни были, так и не сочли нужным показаться, и я вынужден был положиться только на собственные усилия. Первая же попытка взять песчаную гору «в лоб» показала мне, что я нахожусь в такой же ловушке, какую расставляет своим жертвам муравьиный лев. При каждом движении вверх осыпающийся песок обрушивался целыми тоннами и мелкой дробью грохотал по козырькам пещер. После нескольких неудачных попыток мы оба с Порником, наполовину задохнувшиеся в потоках песка, скатились к подошве откоса, и я решил перенести свои усилия на берег реки.

Здесь все казалось достаточно простым. Правда, песчаные горы упирались в самый берег, но на реке было множество мелей и островков, по которым можно было проехать на Порнике, а затем, круто свернув вправо или влево, отыскать путь обратно на terra firma¹. Когда я направил Порника через пески, я вздрогнул от негромкого ружейного выстрела, донесшегося с реки;

¹ Твердую землю (лат.).

в тот же момент свист пули раздался у самой головы Порника.

Характер стрелкового оружия не вызывал сомнений — это была строевая винтовка «мартини-генри». За пятьсот ярдов от нас на середине реки стояла на якоре туземная лодка, и легкий дымок на носу, хорошо заметный в прозрачном утреннем воздухе, указывал, откуда исходило это учтивое предупреждение. Случалось ли когда-нибудь уважающему себя джентльмену попадать в подобный *impass*!¹ Предательский песчаный откос не позволял выбраться сухим путем из этого места, куда я забрался отнюдь не по своей воле, а попытка приблизиться к речному берегу подавала повод к стрельбе каким-то сумасшедшим туземцам на лодке. Боюсь, что я просто из себя выходил от ярости.

Вторая пуля, однако, дала мне понять, что лучше бы мне поубавить пыл, и я поспешно отступил назад, к центру подковы, где к этому времени из барсучьих нор, которые я склонен был считать необитаемыми, выползло на шум выстрела шестьдесят пять человеческих существ. Меня окружила целая толпа зрителей — свыше сорока мужчин, двадцать женщин и один ребенок, видимо, не старше пяти лет. Все они были скудно одеты в куски материи того оранжевого цвета, который привычно связывается с фигурами индийских нищих, и с первого взгляда произвели на меня впечатление банды отвратительных факиров. Трудно описать грязный и омерзительный облик всего этого сборища, и я содрогнулся при мысли о том, как живут эти люди в своих барсучьих норах.

Даже в наши дни, когда местное самоуправление в значительной мере подорвало туземную почтительность к сахибам, я все еще был приучен к каким-то знакам учтивости со стороны моих подчиненных, и поэтому, приблизившись к толпе, естественно, полагал, что мое появление не пройдет незамеченным. Так, собственно, и случилось; но это было совсем не то, чего я ожидал.

Эта толпа оборванцев попросту смеялась надо мной — да так, что никогда в жизни мне бы не хотелось больше услышать подобный смех. Стоило мне оказаться среди них, как они стали гоготать, вопить, свистеть

¹ Тупик, безвыходное положение (*фр.*).

и выть; некоторые из них буквально падали на землю в корчах дьявольского веселья. В одно мгновение я бросил поводья Порника и в невыразимом раздражении от всех приключений этого утра изо всех сил стал колотить тех, кто оказался поближе. Негодяи валились под моими ударами, как кегли, и смех уступил место воплям о пощаде, а те, кого я еще не тронул, обнимали мои колени и на разных варварских диалектах молили меня о прощении.

В этой суতোлке, когда я сам уже устыдился того, что дал волю своему вспльчивому нраву, чей-то тонкий, высокий голос за моей спиной забормотал по-английски:

— Сахиб! Сахиб! Вы не узнаете меня? Сахиб, это Ганга Дас — телеграфист.

Я быстро обернулся и увидел говорившего.

Ганга Дас (я, разумеется, без малейших колебаний привожу подлинное имя этого человека), когда я познакомился с ним четыре года тому назад, был брахманом из Декана, которого правительство Панджаба направило в одно из государств Хальсы¹. Ему было поручено местное телеграфное отделение, и в то время это был веселый, сытый, дородный правительственный чиновник, обладавший примечательной способностью сочинять плохие английские каламбуры — именно это его качество напоминало мне о нем даже тогда, когда я уже давно забыл об услугах, которые он оказал мне по служебной линии. Не так уж часто встречается индеец, умеющий острить по-английски.

Сейчас, однако, этот человек переменялся до неузнаваемости. Его кастовый знак, упитанное брюшко, стального цвета брюки и елейная речь — все это исчезло. Передо мной стоял иссохший скелет без тюрбана на голове и почти без одежды, с длинными, сбившимися в колтун волосами и глубоко запавшими, какими-то рыбьими глазами. Если бы не серповидный шрам на левой щеке — результат несчастного случая, к которому я сам имел некоторое отношение, — я бы ни за что не узнал его. Но это был, несомненно, Ганга Дас, и к тому же — что для меня было особенно важно — туземец, владевший английской речью, который, по крайней мере, способен был объяснить смысл того, что произошло со мной в этот день.

¹ Хальса — одно из туземных сикхских княжеств.

Толпа отступила, и я обратился к этой жалкой фигуре с просьбой указать мне, каким путем можно выбраться из кратера. У него в руках была свежоощипанная ворона, и в ответ на мой вопрос он неторопливо взобрался на песчаную площадку перед выходом из пещеры и молча принялся разводять огонь. Высохшая полевница, песчаный мак и плавник разгорелись быстро; и мне доставило немалое утешение уже то, что он зажигал их обыкновенной серной спичкой. Когда они запылали ярким пламенем и ворона была аккуратно насажена на вертел, Ганга Дас начал, не тратя слов на вступление:

— Существует всего два рода людей, сэр. Живые и мертвые. Если вы умерли — вы мертвы, но если вы живете — вы живы. — Тут его внимание на мгновение отвлекла ворона, которая повернулась столь неудачно, что ей угрожала опасность превратиться в золу. — Если вы умираете у себя дома и не умерли на пути к гхату, куда вас несут, чтобы сжечь, вы попадете сюда.

Теперь мне раскрылась загадка этого селения, и все самое нелепое и ужасное, что я когда-либо слышал или читал, померкло перед этим сообщением бывшего брахмана. Шестнадцать лет тому назад, когда я впервые высадился в Бомбее, путешественник-армянин рассказал мне, что где-то в Индии существует такое место, куда отвозят тех индусов, которые имели несчастье оправиться от состояния транса или каталепсии, и я вспоминаю, как я искренне смеялся над тем, что склонен был тогда считать охотничьей басней. И вот теперь, у подножия этой песчаной ловушки, в моем сознании отчетливо, как на фотографии, возникли вдруг отель Уотсона с его колышущимися опахалами и вышколенной прислугой в белых одеждах и желтоватое лицо армянина. Я не мог удержаться от громкого смеха. Слишком уж нелепым показался мне этот контраст.

Ганга Дас, склонившись над своей мерзкой птицей, с любопытством наблюдал за мной. Индусы редко смеются, и не таково было окружение Ганга Даса, чтобы вызвать в нем неуместный взрыв веселья. Он важно снял ворону с деревянного вертела и, сохраняя ту же неторопливую важность, сожрал ее. После этого он продолжал свой рассказ, который я передаю его собственными словами.

— Во времена холерной эпидемии вас уносят на сож-

жение еще до того, как вы умерли. Когда вы попадаете на берег реки, бывает так, что холодный воздух оживляет вас, и тогда, если вы лишь едва-едва живы, вам наложат ила в ноздри и в рот, после чего вы умрете окончательно. Если вы окажетесь несколько крепче, вам наложат больше ила; но если вы по-настоящему живы, вам дадут выздороветь, а затем заберут снова. Я был по-настоящему жив и громко протестовал против унижений, которыми меня хотели подвергнуть. В те дни я был брахманом и гордым человеком. А теперь я мертвый человек и ем, — тут он взглянул на дочиста обглоданный птичий костяк и впервые с тех пор, как мы встретились, обнаружил признаки волнения, — теперь я ем ворон и прочую дрянь. Они подняли меня с простынь, когда увидели, что я по-настоящему жив, и дали мне на неделю лекарств, и я успешно излечился. Тогда меня отвезли по железной дороге из моего города на станцию Окара в сопровождении человека, который заботился обо мне; а на станции Окара появились еще двое, и нас всех троих отправили на верблюдах ночью в это место, где меня столкнули с вершины откоса вниз, и тех двоих — следом за мной, и с тех пор вот уже два с половиной года, как я здесь. Некогда я был брахманом и гордым человеком, а теперь я ем ворон.

— Но неужели нет никакого средства вырваться отсюда?

— Ни единого. Вначале, когда я только попал сюда, я часто делал разные попытки, и все другие тоже делали, но песок, который обрушивался нам на головы, постоянно одерживал верх.

— Но послушайте, — перебил я его, — ведь берег-то открыт, и стоит рискнуть, несмотря на пули; скажем, ночью...

У меня уже складывался в общих чертах план бегства, хотя естественный инстинкт самосохранения и не позволил мне поделиться им с Гангой Дасом. Однако он тут же разгадал этот тайный замысел и, к моему искреннему удивлению, разразился хриплым злым хихиканьем, которое должно было изображать смех превосходства или, уж во всяком случае, насмешку равного.

— Это вам не удастся, — заявил он, начисто отказавшись от слова «сэр» после этого предварительного вердикта. — Этим путем вам не убежать. Впрочем, попытайтесь. Я и сам пытался. Один только раз.

Ощущение неясного ужаса и омерзительного страха, которое я тщетно пытался подавить, внезапно бурно захлестнуло меня. Мой продолжительный пост — сейчас уже было почти десять часов, а я ничего не ел со вчерашнего утра — в сочетании с яростным и протivoестественным возбуждением от скачки изнурили меня, и в эти минуты я вел себя как настоящий безумец. Я ринулся на безжалостный песчаный холм. Я носился, кружа вдоль подошвы кратера, попеременно то умоляя небеса, то кощунствуя. Я пытался прокрасться сквозь прибрежные камыши, но всякий раз меня останавливал приступ отчаянного страха перед ружейными пулями, которые взметали песок вокруг меня, ибо мне страшно было умереть здесь, среди этой мерзкой толпы, застреленным, как бешеный пес. Наконец, обессиленный и воющий, я упал у сруба колодца. Никто не проявил ни малейшего интереса к этому зрелищу, которое еще и сейчас, когда я вспоминаю о нем, вызывает у меня острое чувство стыда.

Два или три человека наступили на мое трепещущее тело, когда набирали воду, но они, очевидно, уже привыкли к таким вещам и не считали нужным тратить на меня время. Положение мое было унижительным. Только Ганга Дас, присыпая песком горячие уголья своего очага, снизошел до того, чтобы вылить мне на голову полкружки зловонной воды, — поступок, за который я бы на коленях благодарил его, если бы он и в это время не продолжал так же насмешливо и злобно хихикать надо мной, как тогда, когда он разгадал мое намерение форсировать речные отмели. В таком полубесчувственном состоянии я пролежал до полудня. А затем, будучи, в конце концов, всего лишь человеком, я почувствовал голод и тут же сообщил об этом Ганге Дасу, на которого я уже начал смотреть как на своего естественного покровителя. Следуя своим привычкам общения с туземцами в обычном мире, я сунул руку в карман и вытащил оттуда четыре аны. Бессмысленность этого, однако, тут же бросилась мне в глаза, и я уже собирался сунуть монеты обратно.

Ганга Дас, однако, придерживался иного мнения. — Отдайте мне деньги, — сказал он, — все, какие есть. Не то я позову кого-нибудь на подмогу, и мы убьем вас! — И это говорилось с таким выражением, как будто речь шла о самых обычных вещах.

Первым побуждением британца бывает обычно забо-

та о содержимом его карманов; но тут, поразмыслив немного, я понял, что не в моих интересах ссориться с единственным человеком, который мог сделать мою здешнюю жизнь относительно сносной и кто один только и мог оказать мне помощь в моих планах бегства из кратера. Я отдал ему все свои деньги — девять рупий, восемь ан и пять пайс, — в лагере я обычно ношу при себе мелочь на чаевые. Ганга Дас схватил монеты и сразу же спрятал их куда-то за рваную набедренную повязку; при этом в лице его появилось какое-то дьявольское выражение, когда он оглянулся, чтобы убедиться, что никто не наблюдает за нами.

— Вот теперь я вам дам поесть, — сказал он.

Не берусь сказать, какое удовольствие получил он, завладев моими деньгами, но, поскольку они явно привели его в восторг, я не жалел, что так легко расстался с ними; к тому же у меня не оставалось ни малейшего сомнения, что в случае моего отказа он тут же убил бы меня. Бесплезно протестовать против жестоких обычаев звериной берлоги, а мои здешние компаньоны были хуже всякого зверя. Пока я поглощал то, что достал Ганга Дас — мерзкую чапати¹ и полную кружку затхлой колодезной воды, люди вокруг не выказывали ко мне ни малейшего интереса — того любознательного участия, которое столь настойчиво проявляется в любой индийской деревушке.

У меня даже сложилось впечатление, что они презирали меня. Во всяком случае, они относились ко мне с самым холодным безразличием, и Ганга Дас в этом случае не составлял исключения. Я засыпал его вопросами об этом ужасном селении, но его ответы были в высшей степени скудными. Судя по его словам, оно существовало с незапамятных времен — из чего я заключил, что ему никак не меньше сотни лет, — и за все это время не было засвидетельствовано ни одного случая успешного бегства. (При этих словах я должен был призвать на помощь все свое самообладание, чтобы слепой ужас снова не захлестнул меня и не заставил с воплями носиться вокруг кратера.) А Ганга Дас, подчеркивая этот факт, со злорадным удовлетворением следил за моими внутренними терзаниями. При этом никакая сила не могла за-

¹ Чапати — тонкие пресные лепешки.

ставить его раскрыть, кто были эти таинственные «они».

— Так было приказано, — повторял он, — и я не знаю никого, кто ослушался бы этого приказа.

— Подождите, пока мои слуги хватятся меня, — возразил я, — и обещаю вам, что это место будет стерто с лица земли, а вы еще получите урок учтивости, друг мой!

— Ваши слуги будут растерзаны в клочья, прежде чем они успеют добраться сюда; а кроме того, вы мертвы, мой дорогой друг. Это не ваша вина, разумеется, но тем не менее вы мертвы и даже похоронены.

Через неравные промежутки времени, рассказывал он мне, сюда доставляют продовольствие, которое сбрасывают с вершины кратера прямо вниз, и обитатели пещер дерутся из-за него, как дикие звери. Когда человек чувствует приближение смерти, он уползает в свою берлогу и там умирает. Тело его обычно выволакивают из пещеры и выбрасывают в песок, а иногда дают сгнить там, где оно лежит.

Фраза «выбрасывают в песок» привлекла мое внимание, и я спросил у Ганги Даса, не способствует ли такой способ захоронения вспышкам эпидемии.

— Это вы сможете вскоре установить сами, — ответил он, снова разразившись своим хриплым смешком. — У вас будет немало времени для наблюдений.

При этих словах, к его очевидному удовольствию, я поежился от ужаса и поспешил переменить разговор.

— Ну, а как вы проводите здесь время? Что вы делаете изо дня в день?

На это он ответил теми же словами, что и на предыдущий вопрос, добавив только, что «это место напоминает ваш европейский рай: здесь никто не женится и не выходит замуж».

Ганга Дас воспитывался в миссионерской школе, и если бы он переменял веру («Как это сделал бы всякий разумный человек на моем месте», — добавлял он обычно), ему удалось бы избежать той жизни в могиле, которая ныне досталась ему в удел. Но, пока с ним был я, он, как мне кажется, был счастлив.

Здесь находился сахиб, представитель господствующей нации, беспомощный, как дитя, и попавший в полную зависимость от своих туземных соседей. Обдуман-

но и не спеша принялся он мучить меня, подобно тому как школьник, ликуя, в течение получаса следит за агонией жука, насаженного на булавку, либо как хорек, удобно расположившись в темной норе, жадно впивается зубами в затылок кролика. Основной смысл всех его разговоров сводился к тому, что отсюда нельзя уйти, «что бы вы ни делали», и что мне придется оставаться здесь, пока я не умру и меня не «выбросят в песок». Если бы можно было представить себе, как грешные души встречают в преисподней душу вновь пришедшую, то, вероятно, их разговор с нею был бы очень похож на тот, который вел со мной в это утро Ганга Дас. У меня не хватало сил протестовать или защищаться; вся энергия уходила у меня на борьбу против невыразимого ужаса, который грозил в любую минуту снова захлестнуть мою душу. Это чувство можно сравнить лишь с борьбой против морской болезни, которая грозит человеку при переезде через Ла-Манш, только мои муки были духовными и бесконечно более страшными.

День медленно угасал, все обитатели берлог высыпали наружу, чтобы захватить хоть немного послеполуденного солнца, лучи которого теперь отлого падали в горловину кратера. Эти люди собирались небольшими группами и толковали между собой, не устаивая меня даже взглядом. Около четырех часов, насколько можно было судить о времени, Ганга Дас встал и, нырнув на мгновение в свою берлогу, вернулся с живой вороной в руках. Несчастливая птица была выпачкана в грязи и вид имела весьма плачевный, но, казалось, совсем не испытывала страха перед своим хозяином. Осторожно приблизившись к берегу, Ганга Дас зашагал с кочки на кочку, пока не добрался до ровной песчаной полосы как раз перед самой запретной линией. Стрелки на лодке не обращали на него внимания. Здесь он остановился и несколькими ловкими движениями рук привязал птицу, опрокинув ее на спину с распростертыми крыльями. Ворона, естественно, сразу же подняла крик и стала бить лапками в воздухе. Этот шум привлек внимание стайки диких ворон на соседнем острове, в нескольких сотнях ярдов, где они вступили в жаркую дискуссию о чем-то, по виду напоминающем падаль. Около полудюжины ворон сразу же перелетело к нам, чтобы узнать, что происходит, а также, как выяснилось, чтобы напасть на привязанную птицу. Ганга

Дас, который залег на кочке, подал мне знак не шевелиться, что, по-моему, было излишней предосторожностью. В одно мгновение, прежде чем я успел заметить, что произошло, дикая ворона, ринувшись на кричащую и беспомощную птицу, забила у нее в когтях, была ловко освобождена Гангой Дасом и привязана рядом со своей подружкой по несчастью. Однако любопытство одолевало и прочих птиц, и, прежде чем Ганга Дас и я успели укрыться за кочкой, еще две пленницы боролись в когтях у перевернутых подманных птиц. Так продолжалась эта охота — если можно было употребить здесь столь возвышенный термин — до тех пор, пока Ганга Дас не поймал целых семь ворон. Пятерых он тут же придушил, а двух оставил для охоты на следующий день. Я был немало удивлен этим новым для меня методом добывания пищи и похвалил Гангу Даса за ловкость.

— Тут нет ничего сложного, — возразил он. — Завтра вы и сами станете ловить их для меня. У вас ведь силы-то побольше.

Это уверенное чувство превосходства вывело меня из себя, и я крикнул в сердцах:

— Слушай, ты, старый негодяй! Как ты думаешь, за что я отдал тебе свои деньги?

— Прекрасно, — последовал невозмутимый ответ. — Пусть не завтра, и не послезавтра, и даже не в ближайшие дни; но рано или поздно придет этот день, и на протяжении долгих лет вы будете ловить ворон и есть ворон, и еще будете благодарить вашего европейского бога за то, что существуют вороны, которых можно ловить и есть.

С огромным наслаждением я бы свернул ему шею за эти слова; но при существующих обстоятельствах я счел за благо подавить свое негодование. Часом позже я ел одну из этих ворон и, как предсказывал Ганга Дас, был благодарен своему богу за то, что он послал мне ворону, которую я могу съесть. Никогда, до последних дней своей жизни, не забуду я этого ужина. Все обитатели кратера сидели на корточках на утопанной песчаной площадке против своих логовищ и разжигали крошечные костерчики из мусора и высушенного камыша. Смерть однажды наложила свою длань на этих людей, но, воздержавшись от решительного удара, теперь, казалось, избегала их, ибо большую часть в нашем окружении составляли старики, ветхие и согбенные, изну-

ренные годами, а также женщины, по виду древние, как Парки. Они сидели небольшими кучками и величинную беседу — бог их знает о чем — ровными, негромкими голосами, столь разительно несхожими с отрывистой болтовней, которой туземцы способны донимать вас целыми днями. Время от времени кем-нибудь из них, мужчиной или женщиной, овладевал приступ внезапного бешенства, того самого, которое этим утром овладело и мной, и тогда этот несчастный с пронзительным воем и проклятиями бросался штурмовать откос, пока наконец, разбитый и ободранный в кровь, не падал на площадку, не в силах пошевелить ни ногой, ни рукой. Когда это происходило, остальные никогда даже глаз не поднимали, настолько твердо были они убеждены в тщетности подобных попыток и устали от их бесконечного повторения. Я наблюдал четыре подобные вспышки за один этот вечер.

Ганга Дас отнесся к моему нынешнему положению чисто по-деловому, и, пока мы ужинали — вспоминая об этом теперь, я могу позволить себе посмеяться, но в то время это было весьма мучительно, — он изложил условия, на которых соглашался «ухаживать» за мной. Мои девять рупий восемь ан, рассуждал он, из расчета три аны в день, могут обеспечить меня провизией на пятьдесят один день, или немногим более семи недель, — иными словами, все это время он был согласен снабжать меня едой. Но по истечении этого срока мне предстояло уже самому заботиться о себе. За дальнейшее вознаграждение — *vide licet*¹ за мои башмаки — он готов был разрешить мне занять берлогу по соседству с его собственной и наделить таким количеством сена на подстилку, какое ему удастся урвать от себя.

— Ну что ж, прекрасно, Ганга Дас, — ответил я, — первое условие я принимаю охотно. Но поскольку никакая сила не может помешать мне убить вас тут же на месте и присвоить все ваше имущество (я имел в виду двух неоценимых ворон), я решительно отказываюсь отдать вам свои башмаки и займу любую берлогу, какая мне понравится.

Это был дерзкий удар, и я с радостью заметил, что он принес мне полную победу. Ганга Дас мгновенно переменял тон и отказался от всяких покушений на мои башмаки. В тот момент меня даже не удивило, что я,

¹ А именно (лат.).

инженер-строитель, человек, прослуживший на государственной службе тринадцать лет, и, как мне казалось, средний англичанин, с таким спокойствием угрожал насилием и смертью человеку, который, правда на известных условиях, оказывал мне покровительство. Казалось, столетия истекли с тех пор, как я покинул свой привычный мир. Я уверовал тогда столь же твердо, как сейчас верю в собственное бытие, что в этом проклятом поселении не может быть иных законов, кроме права сильного, что живые мертвецы пренебрегают всеми заповедями того мира, который их отверг, и что сохранить жизнь я могу, только положившись на собственную силу и бдительность. Один лишь экипаж злосчастной «Миньонетты» мог бы понять мое душевное состояние.

«Сейчас, — уговаривал я себя, — я силен и могу справиться один с полудюжиной этих жалких оборванцев. Поэтому ради собственного блага мне следует любой ценой сохранять здоровье и силу до часа моего освобождения, если только он когда-нибудь наступит».

Укрепившись в этом решении, я ел и пил, сколько мог, и дал почувствовать Ганге Дасу, что отныне я становлюсь его повелителем и что при первых же признаках неповиновения его ожидает единственно доступный здесь вид наказания — немедленная и неотвратимая смерть! Вскоре после этого я отправился спать. Для этой цели Ганга Дас выделил мне двойную охапку сена из травы-полевицы, которую я затолкал в отверстие берлоги, справа от его собственной, а за сеном втиснулся и я сам, ногами вперед; нора уходила в песок больше чем на девять футов, с небольшим уклоном вниз, и была искусно укреплена бревнами. Из моего логова, выходящего на реку, я мог наблюдать воды Сатледжа, поблескивавшие в лучах молодого месяца, и я приложил все старания, чтобы заснуть.

Ужасов этой ночи мне не забыть никогда. Моя нора была узка, как гроб, и стены ее стали гладкими и скользкими от соприкосновения с бесчисленными голыми телами, да еще, в довершение к этому, все пронизывал отвратительный запах. А мне и без того мешало заснуть мое возбужденное состояние. Ночь тянулась медленно, и мне стало казаться, что весь амфитеатр заполнили легионы мерзостных бесов, подступивших с отmelей внизу и издевавшихся над несчастными в их логовах.

Не могу сказать, чтобы я по своему характеру был одарен слишком уж богатым воображением — инженерам это несвойственно, — но в эту ночь я был подавлен нервным страхом, как женщина. И все-таки не прошло и получаса, как я уже снова был способен трезво рассуждать и мог взвесить свои шансы на спасение. Всякая попытка выбраться через крутой песчаный вал была, разумеется, обречена на неудачу. В этом я уже успел убедиться с полной основательностью. Оставалась возможность — почти нереальная — в неверном лунном свете пройти невредимым сквозь ружейный огонь. Нынешнее мое местопребывание было настолько ужасным, что я готов был пойти на любой риск, только бы избавиться от него. Вообразите же мою внезапную радость, когда, прокравшись с большими предосторожностями к берегу, я обнаружил, что проклятой лодки там больше нет. Свобода была всего в нескольких шагах!

Пробравшись к первой же мели у подножия левого крыла подковы, я смогу обойти этот выступ вброд и обратиться затем на сушу. Не тратя времени на размышления, я стремительно миновал кочки, где Ганга Дас охотился на ворон, и двинулся дальше, по направлению к белеющей за ними ровной полоске песка. Но первый же мой шаг показал, насколько несбыточными были все надежды на бегство. Едва ступил я с пучков сухой травы в воду, как моя нога почувствовала не поддающееся описанию втягивающее и засасывающее движение подводного песка. Еще мгновение, и я провалился почти по колена. В лунном свете вся поверхность песка, казалось, сотрясалась в дьявольской радости, высмеивая мою обманутую надежду. Я едва выкарабкался, покрывшись потом от ужаса и напряжения, с трудом добрался до оставленных позади кочек и рухнул лицом в траву.

Единственный путь к свободе перекрывали зыбучие пески.

У меня нет ни малейшего представления о том, сколько времени я там пролежал; в конце концов я очнулся от злобного хихиканья Ганги Даса, раздававшегося у самого моего уха.

— Я порекомендовал бы вам, покровитель бедных (негодяй говорил по-английски), вернуться домой. Здесь лежать небезопасно для здоровья. Да к тому же, когда вернется лодка, вас наверняка обстреляют.

Он стоял, возвышаясь в тусклом свете утренней зари, хихикая и насмехаясь надо мной. Подавив первое побуж-

дение схватить этого негодяя за горло и швырнуть его в выбучие пески, я мрачно поднялся и последовал за ним на площадку перед пещерами.

Внезапно и, как мне казалось, без всякой надежды на ответ, я спросил его:

— Ганга Дас, зачем они держат здесь лодку, если я все равно не могу выбраться отсюда?

Я вспоминаю, что даже в том подавленном состоянии мне не давала покоя мысль о ненужном расходе боеприпасов на охрану и без того надежно защищенного берега.

Ганга Дас снова ухмыльнулся и ответил:

— Лодка здесь бывает только днем. И держат они ее потому, что путь на волю все же есть. Я рассчитываю, что мы еще долго будем иметь удовольствие наслаждаться вашим обществом. Это место покажется вам не столь уж плохим, когда вы проведете здесь несколько лет и съедите достаточное количество жареных ворон.

Окоченелый и обессиленный, я, шатаясь, побрел к отведенной мне зловонной норе и забылся тяжелым сном. Спустя час или около того я пробудился от душераздирающего стога — резкого, пронзительного стога смертельно раненной лошади. Кто хоть раз слышал этот звук, никогда не забудет его. Я не сразу выкарабкался из норы. Когда же я выбрался наружу, я увидел Порника, моего славного беднягу Порника, распростертого мертвым на песке. Как им удалось убить его, остается для меня загадкой. Ганга Дас объяснил мне, что лошадь вкуснее вороны и что непреложным социальным законом является «наивысшее благо для наибольшего числа людей».

— У нас тут республика, мистер Джукс, и вы имеете право на положенную вам часть туши. Если хотите, мы можем даже выразить вам вотум благодарности. Предложить?

Да, мы и в самом деле были республикой! Республикой диких зверей, обреченных у подножия этой ямы жрать, и драться, и спать, пока мы все здесь не подохнем. Я даже не пытался выразить свой протест, я только сидел и смотрел на разыгравшееся передо мной отвратительное зрелище.

За время, пожалуй, даже меньшее, чем нужно, чтобы описать все это, туша Порника не слишком опрятно, но все же была разделана; мужчины и женщины приволокли куски мяса на площадку и стали готовить завтрак. Для меня его варил Ганга Дас. На меня снова накаты-

вало почти непреодолимое желание бежать к песчаным стенам и биться об них, пока я опять не рухну в изнеможении, и я боролся против этого изо всех сил. Ганга Дас продолжал отпускать в мой адрес обидные шутки, пока я не заявил ему, что если он посмеет сделать еще хоть одно замечание, я задушу его на месте. Это утихомирило его до той поры, пока я уже сам не мог дальше вынести молчания и не попросил его что-нибудь рассказать.

— Вы будете жить здесь, пока не умрете, как тот, другой фаранги¹, — холодно сказал он, бросив на меня испытующий взор поверх хряща, который жадно обгладывал.

— Какой другой фаранги, свинья? Отвечай немедленно и не вздумай мне лгать.

— Он вон там, — отвечал Ганга Дас, указывая на пятую пещеру слева. — Вы можете сами увидеть его. Он умер в пещере, как умрете и вы, как умру я, как умрут все эти мужчины, и женщины, и этот младенец.

— Ради бога, расскажи все, что ты знаешь о нем. Кто он? Когда он пришел и когда умер?

Эта просьба была проявлением слабости. Ганга Дас лишь злобно посмотрел на меня и ответил:

— Ничего я вам не скажу — пока вы мне не дадите чего-нибудь за это.

Тут я вспомнил, где нахожусь, и хватил этого человека кулаком в переносицу, почти оглушив его. Он сразу же скатился с площадки и, раболепствуя, и пресмыкаясь, и всхлипывая, и пытаясь обнять мои колени, повел меня наконец к пещере, на которую указывал.

— Я, право же, ничего не знаю об этом джентльмене. Клянусь вашим богом, мне ничего не известно. Он так же, как и вы, рвался убежать отсюда, и его подстрелили из лодки, хотя мы сделали все возможное, чтобы удержать его от этой попытки. Он был ранен вот сюда, — Ганга Дас показал рукой на свой тощий живот и склонился до земли.

— Ну, и что же дальше? Продолжай!

— Дальше? Дальше, ваша честь, мы отнесли его в дом, и дали воды, и наложили мокрые тряпки на рану, и он лежал у себя дома, пока не испустил дух.

— Сколько времени он лежал?

— Около получаса после того, как его ранили. Я призываю Вишну в свидетели, — скулил этот жалкий чело-

¹ Фаранги — европеец.

век, — что я сделал все для него, все, что было в моих силах.

Он бросился на землю и обнял мои ноги, но я сильно сомневался в человеколюбии Ганги Даса и отшвырнул его ногой, несмотря на все его уверения в непричастности к смерти англичанина.

— Вы небось растащили все его вещи. Ну, это я выясню сразу же. Сколько времени был здесь сахиб?

— Около полутора лет! Он, должно быть, под конец спятил. Но клянусь вам, покровитель бедных! Хотите, я присягну, ваша честь, что я никогда не тронул ни единой вещи из его имущества? Что ваша милость собирается делать?

Я схватил Гангу Даса поперек туловища и поволок его на площадку перед опустевшей пещерой. При этом я думал о моем злосчастном предшественнике, о его невыразимых страданиях среди всех этих ужасов на протяжении восемнадцати месяцев и о том, как он умирал в этой крысиной норе с пулевой раной в животе. Ганга Дас решил, что я собираюсь убить его, и жалобно взвыл. Остальные жители кратера, пресыщенные обильной мясной трапезой, наблюдали за нами, не трогаясь с места.

— Полезай туда, Ганга Дас, — сказал я ему, — и вынеси его наружу.

Я почувствовал, что меня тошнит от ужаса, я был близок к обмороку. Ганга Дас чуть не скатился с площадки и громко завопил:

— Но ведь я брахман, сахиб, — брахман высшей касты. Заклинаю вас вашей собственной душой и душой вашего отца, не принуждайте меня к этому!

— Брахман ты или не брахман, но клянусь тебе моей собственной душой и душой моего отца, что ты полезешь туда! — крикнул я, и, схватив его за плечи, я втиснул его голову в устье берлоги, пинком отправил туда же прочие части его тела, а затем сел у входа, закрыв лицо руками.

Прошло несколько минут, и я услышал сперва шуршание и скрип, затем задыхающийся шепот Ганги Даса, разговаривавшего с самим собой, наконец — мягкий, глухой звук падения; тут я открыл глаза.

Сухой песок превратил доверенное ему мертвое тело в желто-коричневую мумию. Я велел Ганге Дасу отойти, пока я не произведу осмотр. Тело, одетое в оливково-зеленый охотничий костюм, сильно потертый и за-

пачканый, с кожаными наплечниками, принадлежало человеку лет тридцати — сорока, выше среднего роста, со светлыми, песочного цвета, волосами, длинными усами и косматой, всклокоченной бородой. В верхней челюсти слева недоставало клыка, и отсутствовала часть мочки правого уха. На указательном пальце левой руки было надето кольцо — вырезанный в форме щита темно-зеленый, с красными крапинками, гелиотроп, оправленный в золото, с монограммой, которую можно было прочесть и как «Б. К.», и как «В. К.». На среднем пальце правой руки он носил другое кольцо, серебряное, в виде свернувшейся кобры, сильно потертое и потускневшее. Ганга Дас разложил у моих ног кучу мелких предметов, которые он извлек из пещеры, и я, закрыв лицо трупом платком, принялся их рассматривать. Я привожу подробную опись этих вещей в надежде, что это может привести к установлению личности покойного.

1. Головка курительной трубки из верескового корня, с зазубринами по краям, очень старая и почерневшая, обмотанная ниткой по нарезанной части.

2. Два ключа штампованных, оба с обломанными бородками.

3. Нож перочинный с черепаховой рукояткой, украшенный серебряной или никелевой пластинкой, с монограммой «Б. К.».

4. Конверт с неразборчивым штемпелем и маркой Виктории, адресованный: «Мисс Мон — (далее неразборчиво) — хэм-нт».

5. Блокнот в переплете из поддельной крокодиловой кожи с карандашом. Первые сорок пять страниц не использованы; четыре с половиной страницы трудно разобрать; остальные пятнадцать заполнены частными записями, главным образом по поводу следующих трех персон: миссис Сингтон, несколько раз сокращенно именуемой «Лот Сингл», миссис С. Мей и Гармисона, иногда именуемого также «Джерри» или «Джек».

6. Рукоять малоформатного охотничьего ножа. Лезвие обломано у самого основания. Из оленьего рога, ромбоидальной формы, складного типа, с кольцом на верхнем конце и привязанным к нему обрывком хлопчатобумажной веревки.

Не следует думать, что я тут же на месте составил столь детальную опись этих предметов. Прежде всего меня заинтересовал блокнот, и я сунул его в карман, с тем чтобы ознакомиться с ним позже. Прочие вещи

я для сохранности перенес к себе в пещеру и там, будучи человеком методичным, составил им подробную опись. После этого я вернулся к мертвому телу и велел Ганге Дасу помочь мне перенести его к реке. Когда мы несли мертвеца, у него вывалилась из кармана гильза от старого бурого патрона и покатилась к моим ногам. Ганга Дас не заметил ее, я же подумал, что человек во время охоты не подбирает старую стреляную гильзу, тем более бурую, которую нельзя использовать вторично. Иными словами, выстрел этот был сделан уже внутри кратера. Следовательно, где-то здесь же должно находиться и ружье. Я уже собирался обратиться с вопросом к Ганге Дасу, но удержался, поняв, что все равно он правды мне не откроет. Мы положили мертвого у кочек, на самой границе зыбучих песков. Я собирался затем столкнуть его, чтобы пески поглотили тело, — это был единственный вид похорон, который пришел мне тогда в голову. Я велел Ганге Дасу отойти подальше.

Затем я стал осторожно подталкивать беднягу к зыбучим пескам. Он лежал лицом вниз, и, взявшись за его охотничью куртку, я нечаянно разорвал непрочную, истлевшую ткань, отчего на спине у трупа обнаружилось зияющее отверстие. Я уже упоминал, что сухой песок мумифицировал тело. Поэтому я без труда установил, что это отверстие было раной от ружейного выстрела, причем дуло ружья было явно подведено почти вплотную к телу убитого. Охотничья куртка, не затронутая выстрелом, была надета на мертвеца уже после его смерти, которая наступила, видимо, мгновенно. Тайна гибели несчастного внезапно раскрылась передо мной. Кто-то из кратера, скорее всего Ганга Дас, застрелил его из его же собственного ружья, стрелявшего бурым порохом. Он вовсе и не пытался бежать, прорываясь сквозь ружейный заслон.

Я торопливо столкнул тело вниз, и оно скрылось из виду буквально за несколько секунд. Я содрогнулся, наблюдая это. Ошеломленный, почти бессознательно я вынул блокнот мертвеца и стал его разглядывать. Запачканный выцветший листок бумаги был заложен между переплетом и корешком записной книжки и случайно выпал, когда я стал перелистывать страницы. Вот что было там написано:

«Четыре прямо от вороньей кочки; три влево; девять прямо; два вправо; три назад; два влево; четырнадцать

прямо; два влево; семь прямо; один влево; девять назад; два вправо; шесть назад; четыре вправо; семь назад». Листок был обожжен и обуглен по краям. Что все это означало, я не понимал. Я присел на сухую траву, продолжая вертеть в руках эту странную запись, и внезапно обнаружил, что Ганга Дас стоит тут же, у меня за спиной, с пылающими глазами и его руки тянутся к листку.

— Вы нашли его! — вскричал он, задыхаясь от волнения. — Не позволите ли и мне взглянуть на него? Клянусь вам, я возвращу его.

— На что взглянуть? Что ты возвратишь? — спросил я.

— То, что вы держите в руках. Это спасет нас обоих. — Он продолжал тянуться к листку своими длинными, как у птицы, когтями, дрожа от нетерпения. — Я так и не смог его найти, — продолжал он. — Он прятал листок где-то на себе. За это я и застрелил его, но и тогда мне не удалось завладеть бумагой.

Ганга Дас совершенно забыл свою жалкую выдумку о выстреле с лодки. Я с полным спокойствием выслушал его. Моральное чувство притупляется от общения с мертвецами, которые остались в живых.

— Из-за чего ты так неистовствуешь? Что ты хочешь получить от меня?

— Да вот этот листок из блокнота. Он спасет нас обоих. Ну что вы за глупец! Бог мой! Неужели вы не видите, как это важно для нас? Ведь теперь мы убежим отсюда!

Его голос возвышался почти до крика. Он плясал передо мной от возбуждения. Признаюсь, и меня захватила возможность побега.

— Да не прыгай ты! Объясни все толком. Ты считаешь, что этот клочок бумаги может нас спасти? Но каким образом?

— Да прочтите его вслух! Ну, я прошу, я умоляю вас, прочтите его.

Я прочел. Ганга Дас слушал в полном восторге и пальцем чертил на песке какую-то ломаную линию.

— А теперь слушайте вы! Цифры — это длина его ружейного ствола без приклада. Этот ствол у меня. Четыре ствола прямо от места, где я охотился за воронами. Прямо наперез реке, понимаете? Затем три влево. Боже, как он работал над этим, целые ночи напролет!.. Затем девять прямо и так далее. Прямо — это всегда

от нас, через зыбучие пески. Он сам и рассказал мне все это, перед тем как я убил его.

— Но если все это было тебе известно, почему ты до сих пор не ушел отсюда?

— В том-то и дело, что это мне не было известно. Он сказал мне только, что открыл это полтора года тому назад и что с тех пор из ночи в ночь, когда лодка прекращала дозор, он упорно работал и теперь знает, как пробраться через зыбучие пески. Затем он предложил мне бежать вместе с ним! Но я побоялся, что в ту ночь, когда работа будет завершена, он бросит меня, и я застрелил его. К тому же не годится, чтобы человек, однажды побывавший здесь, ушел невредимый. Я могу уйти, но я ведь брахман.

Перспектива бегства вернула Ганге Дасу его кастовую гордость. Он выпрямился и ходил передо мной, дико жестикулируя. Наконец мне удалось заставить его говорить более связно, и он рассказал, как этот англичанин, целых полгода ведя свое исследование из ночи в ночь, дюйм за дюймом, обнаружил проход в зыбучих песках. Он утверждал, что было совсем нетрудно подняться вверх по реке, примерно на двадцать ярдов, после того как обогнешь левый выступ подковы. Сам он, однако, этого выполнить не успел, ибо Ганга Дас застрелил его из его же собственного ружья.

В неудержимом восторге от возможности покинуть кратер я даже обменялся пылким рукопожатием с Гангой Дасом, после чего мы решили предпринять попытку к бегству этой же ночью. Нелегко нам было дожидаться темноты.

Около десяти часов, насколько я мог судить, когда луна только что взошла над краем кратера, Ганга Дас забрался в свою берлогу и вытащил оттуда ружейный ствол для отсчета участков пути. Все остальные жители кратера уже давно расползлись по своим логовам. Сторожевая лодка ушла вниз по течению несколько часов тому назад, и мы были совершенно одни на вороньих кочках. Ганга Дас, держа в руках ружейное дуло, уронил листок из блокнота, который должен был служить нашим путеводителем. Я поспешно наклонился, чтобы поднять его, и в ту же минуту увидел, как этот дьявольский брахман занес ружейный ствол, готовясь нанести мне страшный удар по темени. Уклониться я уже не успел. Удар пришелся мне куда-то в затылок. Сто тысяч пляшущих звезд заискрились у меня в глазах,

и я без чувств повалился вперед у самого края зыбучих песков.

Когда сознание вернулось ко мне, луна уже зашла, и я чувствовал нестерпимую боль в затылке. Ганга Дас исчез, а рот у меня был полон крови. Я снова лег и молил небо послать мне смерть, которая избавила бы меня от дальнейших мучений. Но тут бессмысленное бешенство, о котором я уже рассказывал раньше, внезапно овладело мной, и я, шатаясь, побрел внутрь кратера, к песчаному откосу. Мне показалось, что кто-то шепотом окликнул меня: «Сахиб! Сахиб! Сахиб!» — в точности так, как будил меня обычно по утрам мой носильщик. Я было подумал, что брежу, но тут к ногам моим упала горсть песка. Тогда я поднял глаза и увидел заглядывающую сверху в кратер голову Дану, моего мальчишкипсаря, который присматривал за моими колли. Когда ему удалось привлечь мое внимание, он поднял руку и показал мне веревку. Еле держась на ногах, я жестами велел ему спустить ее вниз. Это были два кожаных шнура от висячего опахала, связанные вместе, с петлей на конце. Я надел петлю через голову под мышки, услышал, как Дану приказывает кому-то идти вперед, почувствовал, что меня поднимают, лицом к песчаному склону, вверх по круче, — и в следующее мгновение, задыхаясь и почти обмирая, ощутил себя уже на вершине холма, возвышающегося над селением. Дану, лицо которого казалось пепельно-серым в свете луны, умолял меня не останавливаться и немедленно возвращаться в мою палатку.

Оказалось, что он по отпечаткам подков Порника проследил наш путь на протяжении четырнадцати миль через пески к кратеру, вернулся и рассказал об этом моим слугам, но те наотрез отказались иметь дело с кем-либо, все равно белым или черным, кто однажды побывал в ужасном селении мертвецов. Тогда Дану оседлал одного из моих пони, взял пару шнуров от опахала, возвратился к кратеру и вытащил меня вышеописанным способом.

Короче говоря, Дану теперь стал моим личным слугой и получает по золотому мохуру¹ в месяц, но я отнюдь не считаю эту сумму достаточным вознаграждением за услугу, которую он мне оказал. Ничто на свете не заставит меня теперь даже приблизиться к этому

¹ Мохур — старинная золотая монета.

дьявольскому месту или обозначить его расположение яснее, чем я это сделал. О судьбе Ганги Даса я ничего больше не слышал, да мне и не хотелось бы услышать. Единственный мотив, побудивший меня опубликовать эту историю, — надежда, что кто-нибудь по отдельным приметам или по приведенному выше списку вещей сумеет установить личность человека в оливково-зеленой охотничьей куртке.

ЗА ОГРАДОЙ

Любовь не замечает ни касты, ни сломанной кровати. Я отправился на поиски любви и потерял себя.

Индийская пословица

Что бы ни случилось, человек должен держаться своей касты, расы, своего круга. Путь белых — к белым, черных — к черным. Тогда, какая бы беда с вами ни стряслась, — она в порядке вещей, она не грянет, как гром среди ясного неба, чуждая и неожиданная.

Вот история человека, который намеренно преступил допустимые пределы осторожности, принятые в приличном обществе, и жестоко поплатился за это.

Во-первых, он слишком много знал и, во-вторых, слишком много повидал на своем веку. Он проявил слишком глубокий интерес к жизни туземцев, но теперь он никогда не поступит так опрометчиво.

В самом центре города, за басти¹ Джитха Мегхджи, находится тупик под названием Водосток Амир Натх. Его замыкает стена с единственным зарешеченным окошком. В начале тупика — большой хлев, а стены по обе стороны переулочка — глухие. Ни Сачет Сингх, ни Гаур Чанд не желают, чтобы их женщины глядели на мир. Если б и Дурга Чаран придерживался того же мнения, он был бы теперь счастливее, а маленькая Бишеша сама бы месила тесто. Зарешеченное окошко ее комнатки выходило в узкий темный тупик, куда никогда не заглядывало солнце и где буйволы валялись в липком голубоватом иле водостока. Бишеша, вдова около пятнадцати лет от роду, днем и ночью заклинала богов послать ей возлюбленного: ее томило одиночество.

¹ Басти — поселок, городской квартал.

Однажды некто по имени Треджэго, бесцельно блуждая по городу, забрел в переулочек Амир Натх; он прошел мимо буйволов и оступился возле большой кучи фуража.

Сообразив, что водосток кончается тупиком, Треджэго вдруг услышал тихий смех, доносившийся из зарешеченного окошка. Смех был приятный, и Треджэго, знавший, что для всех практических целей старые «Арабские ночи» — лучший путеводитель, подошел к окошку и прошептал стих из «Любовной песни Хара Диала», который начинается так:

Как человеку не устоять на ногах перед ослепительным солнечным ликом, так и влюбленному — пред ликом своей Возлюбленной. У меня подкосились ноги, о свет моих очей, но разве я виноват? Меня ослепила твоя красота.

За решеткой послышалось позвякивание женских браслетов, и нежный голосок продолжил песнь с пятого стиха:

Увы, увы, Луне ли говорить Лотосу о своей любви, когда Небесные Врата закрыты и собираются тучи, несущие дожди? Они похитили у меня мою Возлюбленную и увезли ее с караваном на Север.

Ноги, попиравшие мое сердце, скованы железной цепью. Скажите лучникам, чтоб были наготове...

Голосок внезапно смолк, и Треджэго покинул тупик Амир Натх, дивясь, кто это так мастерски цитирует «Любовную песнь Хара Диала».

Наутро, когда он ехал в свою контору, какая-то старуха бросила сверток в его экипаж. В нем оказались: половина сломанного браслета, ярко-красный цветок дхак¹, горстка бхуса² и одиннадцать кардамоновых орешков. Этот сверток был письмом — не бестактной компрометирующей запиской, а наивным любовным посланием, принятым в простонародье.

Как я уже сказал, Треджэго имел слишком большие познания в таких делах. Ни один англичанин не расшифровал бы предметного письма. Но Треджэго разложил всю эту мелочь на крышке конторки и задумался.

Сломанный стеклянный браслет во всей Индии символизирует индусскую вдову: когда умирает муж, женщине надлежит разбить все браслеты на запястьях. Так Треджэго расшифровал смысл стеклянного обломка.

¹ Д х а к — цветок дерева палаш.

² Б х у с — солома, мякина.

Цветок дхак означает «ты мой желанный» либо «приходи», «напиши» либо «остерегайся» — в зависимости от сочетания предметов в послании. Один орех кардамона означает «ревность», но если в предметном письме какая-нибудь вещь дублируется, она теряет свой символический смысл и означает время в цифровом выражении, а если к тому же в письмо вложены благовония, творог либо шафран — и место встречи. Следовательно, послание можно было понять таким образом: «Вдова — цветок дхак и бхуса — в одиннадцать часов». Горстка бхуса прояснила письмо до конца. Треджэго догадался, — в расшифровке подобных посланий большую роль играет интуиция, — что бхуса символизирует кучу корма для скота, возле которой он оступился и упал в тупике Амир Натх, и что послание адресовано ему той, что пряталась за решеткой окна, она и есть вдова. Послание звучало так: «Вдова, живущая у Водостока, где лежит куча бхуса, хочет, чтоб ты пришел в одиннадцать часов».

Треджэго бросил весь этот мусор в камин и рассмеялся. Он знал, что на Востоке мужчины не встречаются с возлюбленными в одиннадцать утра, а женщины не назначают свидание за неделю. И в тот же вечер в одиннадцать часов он отправился к Водостоку Амир Натх, облачившись в бурка¹, прекрасно скрывающую и мужчину и женщину. Как только городские часы пробили условленный час, нежный голосок за решеткой произнес стих из «Любовной песни Хара Диала», в котором патанская девушка заклинает Хара Диала вернуться домой. На диалекте песня звучит прелестно. В английском переводе теряется интонация причитания. А смысл в ней примерно такой:

Одна на крыше взор свой обращаю
На Север. Молнии сверкнули ввечеру —
То отблески шагов твоих — я знаю.
Вернись, любимый, или я умру.
Базар уж пуст. В межгорье свой ночлег
Устроил караван. Проснутся поутру
Верблюды, пленники — успешен твой набег.
Вернись, любимый, или я умру.
Жена отца с годами стала злой:
Тружусь как вол, а все не ко двору.
Вкусив печаль, запью ее слезой.
Вернись, любимый, или я умру.

¹ Бурка — длинная чадра, покрывало.

Песнь смолкла. Треджэго шагнул к окну и сказал:
— Я здесь.

Бишеша была очень хороша собой.

Эта ночь положила начало многим удивительным событиям и такой неправдоподобной жизни Треджэго, что он и ныне дивится порой: а не привиделось ли ему все это во сне?

Бишеша либо ее служанка, подбросившая предметное письмо, отодвинула решетку, открыла вовнутрь окошко, и мужчина, обладавший определенной сноровкой, вполне мог проникнуть в образовавшийся проем.

Днем Треджэго занимался привычной работой в конторе или, облачившись в парадный костюм, отправлялся в форт — наносил визиты дамам, размышляя по дороге, долго ли будут его принимать, если узнают про маленькую Бишешу. Ночью, когда город засыпал, Треджэго, облачившись в дурно пахнущую бурка, осторожно миновал бастии Джитха Мегхджи, быстро сворачивал к Водостоку Амир Натх и крался меж спящих коров и глухих стен; пробравшись наконец к Бишеше, он слышал ровное дыхание старухи, спавшей за дверью комнатухи, которую Дурга Чаран отвел своей племяннице. Треджэго никогда не спрашивал, кто был Дурга Чаран и чем он занимался; ему и в голову не приходило, что его могут застать у Бишешы и заколоть ножом, пока безумие не кончилось, и Бишеша... Но об этом потом.

Бишеша была для него источником неиссякаемой радости. Она, как птичка божия, ничего не знала, и превратное толкование слухов, доходивших в комнатуху из внешнего мира, забавляло Треджэго не меньше, чем ее попытки осилить, картавя, его имя «Кристофер». Первый слог ей вообще никогда не давался, и Бишеша смешно жестикулировала маленькими розовыми ручками, будто желая отмахнуться от непонятого имени, а потом, стоя перед ним на коленях, допытывалась совсем как англичанка, уверен ли он, что любит ее. Треджэго клялся, что она ему дороже всех на свете. И это была чистая правда.

Миновал месяц любовного безумства, и заботы другой жизни вынудили Треджэго проявить особое внимание к некоей знакомой даме. Можете мне поверить на слово, что подобные события дают пищу для сплетен и пересудов не только соотечественникам, но и сотне-другой туземцев. Треджэго, сам того не желая, совершал прогулки с этой дамой, беседовал с ней у эстрады для

оркестра, два или три раза прокатился с ней в экипаже. Ему и на мгновение не закрадывалась в голову мысль, что это может как-то повлиять на его тайную жизнь, которой он дорожил несравненно больше. Но новость извечным непостижимым образом передавалась из уст в уста, пока не достигла служанки Бишеша, а от нее — самой Бишеша. Бедняжка так опечалилась, что работа валилась у нее из рук, и жена Дурги Чарана в назидание побила ее.

Неделю спустя Бишеша обвинила Треджэго в неверности. Она не владела хитрыми уловками и выложила все начистоту. Треджэго расхохотался, но Бишеша топнула ножкой, маленькой и легкой, как цветок бархатец, вполне умещавшейся в мужской ладони.

Многое из того, что пишется о восточной страстности и импульсивности, преувеличено и рассказано с чужих слов, но доля правды все же в этом есть, и когда англичанин испытывает ее на самом себе, она буквально потрясает его.

Бишеша бушевала и под конец пригрозила, что покончит с собой, если Треджэго не порвет немедленно с иноземной мэм-сахиб, вставшей между ними. Треджэго пытался объяснить Бишеше, что она не понимает, как смотрят на Западе на подобные отношения. Бишеша, гордо вскинув голову, сказала без всякого лукавства:

— Да, не понимаю. Знаю только, что ты стал мне дороже жизни, сахиб, а это не к добру. Ты — англичанин, а я всего-навсего черная девчонка (кожа у нее была светлей золота на Монетном дворе) и вдова черного. — Бишеша всхлипнула и добавила: — Но, клянусь своей душой и душой своей матери, я люблю тебя. Что бы ни случилось со мной, ты не узнаешь горя.

Треджэго спорил с ней, пытался ее утешить, но волнение Бишеша — беспричинное, на его взгляд, не проходило. Ничто не могло ее умиловить, она требовала, чтобы всякие отношения между ними прекратились. Он должен немедленно уйти. И Треджэго ушел. Когда он выпрыгнул из окна, Бишеша дважды поцеловала его в лоб, и Треджэго, озадаченный, побрел домой.

Прошла неделя, за ней — вторая, третья, но Бишеша не давала о себе знать. Треджэго, решив, что размолвка сильно затянулась, в пятый раз за последние три недели отправился к Водостоку Амир Натх; он на-

деялся, что на сей раз Бишеша отзовется на его стук. И он не ошибся.

Молодая луна освещала тупик; луч ее скользнул по решетке, и она отодвинулась в ответ на стук Треджэго. Из мрака к лунному свету потянулись руки Бишеши. Кисти их были обрублены до самого запястья, и обе культи почти зажали.

Потом, когда Бишеша опустила голову на обрубки рук и зарыдала, кто-то в комнате взревел, как дикий зверь, и в Треджэго, укрытого бурка, полетело что-то острое — нож, меч или копье. Удар не пришелся в цель, но задел мускул в паху, и Треджэго хромал до конца своих дней.

Решетку водворили на место. Дом будто вымер — лишь лунный свет скользил по высокой стене да чернел позади тупик Амир Натх.

Треджэго помнил лишь, что яростно кричал и метался как безумный меж безжалостных стен, а потом, на рассвете, неизвестно как очутился возле реки, выбросил бурка и пошел домой с непокрытой головой.

Как произошла трагедия — сама ли Бишеша призналась во всем в порыве беспричинного отчаяния или признание вырвали у нее под пыткой, знал ли его имя Дурга Чаран и что случилось с Бишешей, это по сей день неизвестно Треджэго. Произошло что-то ужасное, и мысль о том, как все это было, часто мучает Треджэго по ночам и не дает ему уснуть до утра. Примечательно в этом случае и то, что Треджэго не знает, куда выходит фасадом дом Дурги Чарана — в общий для двух-трех домов двор или, возможно, скрывается за одними из ворот басти Джитха Мегхджи, — этого Треджэго не может сказать. Не в его власти вернуть Бишешу, бедную маленькую Бишешу. Он потерял ее в городе, где люди зорко стерегут свои дома, неразличимые, как могилы. А зарешеченное окошко, глядевшее в тупик, давно замуровано.

Треджэго по-прежнему наносит визиты дамам и слышит очень порядочным человеком.

Он ничем не выделяется, разве что слегка прихрамывает на правую ногу: когда-то он растянул связки при верховой езде.

В ГОРОДСКОЙ СТЕНЕ

И спустила она их по веревке через окно; ибо дом ее был в городской стене, и она жила в стене.

Книга Иисуса Навина, II, 15.

Лалун — представительница древнейшей профессии. Ее прапрабабушкой была Лилит¹, которая жила, как всем известно, задолго до Евы. На Западе профессию Лалун сурово осуждают и произносят нравоучительные проповеди, дабы отвратить юные души от Порока. На Востоке же, где эта профессия передается по наследству от матери к дочери, она не вызывает порицания, никто никого не нравоучает, и это лишний раз доказывает, что Восток еще весьма нуждается в опеке.

Законным супругом Лалун был высокий китайский финик — ююба, ибо, по восточным обычаям, жрица этой профессии должна иметь супруга. Мать Лалун, которая сама была замужем за фиговым деревом, истратила десять тысяч рупий на свадебную церемонию Лалун, которую почтили своим присутствием сорок семь лиц духовного звания из клира храма, где жрицей была эта щедрая мамаша, не пожалевшая плюс к этому пять тысяч рупий на благотворительные нужды. Таков обычай страны. Преимущества законного брака с деревом ююба неоспоримы. Можно не опасаться, что заденешь его чувства, к тому же выгладит такой муж вполне внушительно.

Законный супруг Лалун стоял на равнине за городской стеной, а дом Лалун прилепился к восточной стене и глядел на реку. Если бы вам случилось, сев на диванчик у окна, вывалиться наружу, вы пролетели бы тридцать футов и упали прямо в городской ров. Но если не вываливаться из окна, а просто посмотреть вдаль, то можно увидеть стадо, которое гонят на водопой, студентов колледжа для чиновников английской администрации, играющих в крикет, высокую траву и деревья по берегам, песчаные отмели, за рекой красные гробницы почивших властителей, голубое море и в нем дальние отблески снежных вершин Гималаев.

Вали Дад, бывало, часами лежал у окна и любовался видом. Этот молодой мусульманин мучительно страдал от премудростей английского образования и сам это пони-

¹ Лилит — согласно еврейскому преданию, жена Адама до Евы.

мал. Отец послал его в школу при миссии, чтобы он грыз гранит науки, и Вали Дад так преуспел в этом, что изгрыз даже более того, на что рассчитывали и его родной отец, и святые отцы. После смерти отца Вали Дад обрел свободу и вот уже два года постигал различные конфессии и читал книги, от которых нет никакого толку.

После тщетной попытки приобщиться одновременно и к католической церкви и к пресвитерианской (миссионеры вывели его на чистую воду и подвергли осуждению; им было не дано понять его сомнения) ему подвернулась Лалун со своим гнездышком в городской стене, и он стал самым постоянным среди ее избранных поклонников. Наружность Вали Дада была такова, что английские художники там, у себя в Англии, непременно пленились бы ею и стали писать его портреты на фоне какой-нибудь немыслимой экзотики, а дамы-писательницы восторженно описывали бы его лицо на всех девятистах страницах романа. На самом деле это был типичный породистый юный мусульманин: брови — будто нарисованные тонкой кистью, изящно очерченные ноздри, маленькие руки и ноги, томный взгляд. По молодости он в свои двадцать два года отрастил черную бородку, холил ее, душил изысканными духами и с гордостью поглаживал. Он делил свой нескончаемый досуг между книгами, которые брал читать у меня, и любовными утехами с Лалун на диванчике у окна. Он слагал о ней песни, и некоторые из них по сей день поют по всему городу от улицы Мясников до Кузнечного ряда.

В одной песенке, кстати, самой удачной, рассказывается о красоте Лалун, столь ослепительной, что джентльмены из английской администрации потеряли покой и сон. Так ее поют на улицах; но немного здравого смысла и некоторая осведомленность позволяют обнаружить в сочетании понятий «красота» и «потеряли покой и сон» некий тайный смысл, поэтому песня расшифровывается так: «Лалун очень искусно причинила массу волнений английской администрации, которая потеряла такого-то и всем было не до сна». Когда Вали Дад поет эту песню, глаза его горят, как раскаленные угли, а Лалун откидывается на подушки и бросает ему веточку жасмина.

Однако для начала стоит дать кое-какие пояснения, касающиеся вездесущей центральной колониальной администрации. Джентльмены, прибывшие из Англии,

проводят в Индии несколько недель под сенью этого Великого Сфинкса Равнин и потом пишут огромные тома о центральной колониальной администрации, браня или превознося ее в меру своего невежества. И весь мир знает, как работает центральная колониальная администрация.

Но никто на свете, даже сама администрация, не знает всех тонкостей управления Индийской империей. Из года в год Англия шлет свежие пополнения на передний край, который здесь официально именуется гражданской службой. Англичане умирают, загоняют себя в гроб, надрываясь на работе, теряют здоровье и иллюзии, и все для того, чтобы уберечь эту страну от смертей, болезней, голода и войны, словом, чтобы дать ей возможность стать самостоятельной. Она никогда не станет вполне самостоятельной, но многие готовы умереть ради торжества этой прекрасной идеи и из года в год бранью, мольбами и лестью подталкивают ее на путь благоденствия. Если продвижение идет успешно, честь приписывают туземцам, а англичане ступешевываются, отирая со лба пот. Если же происходит осечка, они выступают вперед и берут вину на себя. Эта чрезмерная английская щепетильность рождает у туземцев непоколебимую уверенность, что они в состоянии управлять страной, причем немало англичан искренне разделяет эту уверенность, ибо идея, лежащая в ее основе, изложена прекрасным английским языком и окрашена в самые модные тона политической палитры.

Те, у кого недостаток образования успешно восполняется пылкой мечтательностью, тоже не прочь управлять страной на свой собственный лад, иначе говоря, им хочется приготовить блюдо с приправой из красного перца. Среди двухсот миллионов таких мечтателей сколько угодно, и если за ними не присмотреть, могут случиться неприятности, может даже разбиться огромный идол, называемый *Rax Britannica*¹, которому, если верить газетам, поклоняются между Пешаваром и мысом Кумари. Настань завтра Судный день, и центральная колониальная администрация тотчас же «примет меры, чтобы успокоить возбужденное население», и пошлет на кладбище войска, чтобы усопшие могли предстать перед судом Всевышнего организованно. Самый юный чиновник глазом не моргнув арестует под свою ответствен-

¹ Здесь: Великая Британская Империя (*лат.*).

ность архангела Гавриила, если тот не предъявит подписанное помощником уполномоченного разрешение «заниматься музыкой или производить иной шум», как гласит устав.

Теперь вам, несомненно, ясно, что людям, которые стремятся вызвать в обществе смятение, не приходится ждать снисходительности от администрации. Она ее никогда и не проявляет. Не показывает, что обеспокоена, не приходит в смятение, никому ничего не сообщает. Но вот все обдумано, взвешено, меры одобрены, и государственный механизм начинает действовать — пылкого мечтателя отторгают от друзей и приверженцев. Ему предоставляют счастливую возможность вкусить гостеприимство казенных учреждений, позволяют даже свободно передвигаться в ограниченных пределах, но он лишен возможности проводить время в обществе своих собратьев-мечтателей. Раз в полгода центральная колониальная администрация удостоверяется, что с мечтателем все обстоит благополучно, и официально подтверждает, что он существует на свете. И никто не спешит выступить с протестом по поводу его ареста, ибо те немногие, кто об этом осведомлен, едва живы от страха, что их заподозрят в знакомстве с узником; ни одна газета не выступит в его защиту, никто не организует демонстрацию, потому что газетчики в Индии понимают лживость поговорки, что перо — оружие более могучее, чем меч, и соответственно проявляют осмотрительность.

Итак, вы знаете все, что следует знать, о Вали Даде, в чьей голове смешалось множество разнообразных знаний, и о центральной колониальной администрации.

Однако еще ничего не сказано о Лалун. Она достойна, как утверждает Вали Дад, быть описанной золотым пером, а чернила должны благоухать мускусом. Ее не однажды сравнивали и с Луной, и с озером, и с перепелкой, и с газелью, и с солнцем над пустыней, и с рассветом, и со звездой, и с молодым побегом бамбука. Эти сравнения дают основание предполагать, что она несказанно хороша по туземным представлениям, которые в общем-то совпадают с западными. Глаза ее темны, и волосы ее темны, и брови ее темны, как две пиявки; ротик маленький, и слова, которые из него вылетают, пленительно остроумны; ручки крошечные, но деньги не текут сквозь пальцы; ножки тоже крошечные и попирают беззащитные мужские сердца. Но, как поет Вали Дад,

«Лалун — это Лалун, и, поняв это, вы постигнете только начало начал».

Маленький домик в городской стене вмещал лишь Лалун, ее служанку и кошку в серебряном ошейнике.

С потолка гостиной свисала большая люстра с подвесками розового и голубого хрустала. Этот кошмар был подарен Лалун кем-то из навабов¹ и храним ею из учтивости. Пол в комнате из полированного, белого, как молоко, чунама². В одной из стен окно закрывалось резными деревянными ставнями; всюду множество пышных подушек и пушистых ковров, даже сияющая серебряная, украшенная бирюзой хукка Лалун покоилась на маленьком коврикe, предназначенном специально для нее. Вали Дад был столь же неотъемлемой частью обстановки, как люстра. Я уже упомянул, что он обычно лежал у окна и размышлял о жизни и о смерти и, конечно же, о Лалун — больше всего о Лалун. Ноги сами несли молодых людей нашего города к дому Лалун, но тут они получали от ворот поворот, ибо Лалун была дама весьма разборчивая, немногословная и сдержанная и не питала ни малейшей склонности к шумным развлечениям, которые, как правило, заканчиваются скандалом. «Если я ничего не стою, я недостойна их общества, — изрекала Лалун. — Если же я чего-то стою, то они недостойны меня». Как видите, весьма лукавая сентенция.

В долгие жаркие весенние вечера в маленькой белой гостиной Лалун, казалось, собирался весь город. Мрачные фанатичные шииты; суфии, вовсе утратившие веру в пророка и весьма мало почитающие Аллаха; бродячие индусские проповедники, оказавшиеся здесь по пути в Центральную Индию, куда влекли их базары и еще какие-то надобности; ученые мужи в черных мантиях, с очками на носу, напичканные премудростями, которые они не успели переварить; бородатые чиновники из местных попечительских служб; сикхи, обсуждающие подробности недавнего спора в Золотом храме³; красноглазые священнослужители, чем-то напоминающие загнанных волков и галдящие, точно стая ворон; выпускники университетов со степенью магистра гуманитарных наук, чрезвычайно надменные и столь болтливые, — кого

¹ Наваб — мусульманский глава княжества.

² Чунам — известняк.

³ Золотой храм — знаменитая святыня сикхов в Амритсаре.

только не встретишь в белой гостиной Лалун. Вали Дад лежал на кушетке у окна и слушал разговоры.

— У Лалун настоящий салон, — сказал мне Вали Дад, — здесь царит эклектика, вы согласны? Нигде не видел такого сборища, разве что в масонской ложе. Там мне однажды пришлось обедать с евреем. — Он сплюнул в ров и принес извинения за то, что позволил это проявление националистических чувств. — Пусть я разуверился во всем, — сказал он, — и даже стараюсь сделать из этого предмет гордости, но евреев я ненавижу, ничего не могу с собой поделать. Лалун евреев сюда не допускает.

— И чем же все эти люди занимаются? — спросил я.

— Болтают, — ответил Вали Дад. — В этом проклятие нашей страны. Мы как афиняне — только и делаем, что обмениваемся новостями. Спросите о чем-нибудь нашу Жемчужину, и вы сразу поймете, что ей известно все — и что в городе происходит, и что в провинции. Лалун известны даже мельчайшие подробности.

— Лалун, когда сто семьдесят пятый полк выступает в Агру? — спросил я наобум. Лалун в это время беседовала с каким-то неизвестно откуда взявшимся курдом.

— Он никуда не выступает, — ответила Лалун, не повернув головы. — Вместо сто семьдесят пятого приказано выступить сто восемнадцатому, а сто семьдесят пятый отправляется через три месяца в Лакхнау, если не получит нового приказа.

— Именно так, — сказал Вали Дад без тени сомнения в голосе. — Может быть, вы с вашими телеграммами и газетами лучше осведомлены? Да, все вечно обмениваются новостями, — продолжал он. — Разве ваш Бог покарал хоть одну европейскую страну за то, что она точит ляды на базарах? Индия не одну сотню лет точит, вот и дождалась, что пришли солдаты. Потому-то вы сегодня здесь вместо того, чтобы умирать с голоду в вашей Англии, а я — я не мусульманин, я продукт — ничтожнейший продукт времени. Этим я тоже обязан вам и вашей цивилизации, я и слова не могу сказать, чтобы не процитировать кого-нибудь из ваших писателей. — Он затянулся хуккой и горестно вздохнул, оплакивая — отчасти в расчете на сочувствие, отчасти искренне — разбитые надежды своей юности. Вали Дад всегда что-нибудь оплакивал — страну, которая повергала его в отчаяние, идеалы, в которых он разуверился, англичан, которых никак не мог понять.

Лалун никогда ничего не оплакивала. Она играла на ситаре¹, и можно было без конца слушать, как она поет: «Плачь, павлин, плачь». Песен знала она великое множество — и воинственные песни Юга, которые вызывают злобу у стариков против молодых, а у молодых против властей, и любовные песни Севера, где слышатся звуки поцелуев и хищное клаяцанье мечей, где воины захватывают селение и вырывают возлюбленного из объятий красавицы, а он оглашает воздух рыданиями. Еще Лалун умела готовить табак для трубки так, что он благоухал, как врата рая, и незаметно увлекал вас к этим вратам. Она вышивала золотом и серебром и завораживающе танцевала в лунном свете, проникающем сквозь окно. Ей были открыты сердца мужчин, равно как и сердце города, она знала, чьи жены верны, а чьи — нет, была посвящена во множество тайн деятельности государственных учреждений, но о них здесь не стоит рассказывать. Ее служанка Назибан говорила, что украшения Лалун стоят не меньше десяти тысяч фунтов и что однажды ночью какой-нибудь вор взлетит в дом и убьет Лалун, а Лалун на это отвечала, что город разорвет вора на части и вор сам это знает.

Итак, она взяла свой ситар, села у окна и запела старинную песнь, которую пела в стане воинов представительница той же древнейшей профессии в канун великой битвы, за день до того, как броды через Джамну обагрились кровью и Шиваджи², ведя за собой турецкого скакуна, проскакал больше тридцати миль, чтобы укрыться в Дели. На луке седла он нес свою Лалун. Песня была маратхская, и в ней говорилось:

Их вел отважный Чимнаджи³,
Муж, опытный в боях,
И дети солнца и огня
Разбиты в пух и прах.

А дальше шел припев:

И юный воин полон был
Отваги боевой,
В тюрбане красном бился он,
Рискуя головой.

¹ Ситар — струнный инструмент, лютия.

² Шиваджи (1627 или 1630—1680) — вождь маратхов в их борьбе против Великих Моголов.

³ Чимнаджи — маратхский полководец. В 1739 г. взял город Басайн, принадлежавший португальцам и в результате его победы перешедший к династии Пешва.

— «Рискуя головой», — повторил Вали Дад по-английски, обращаясь ко мне. — Благодаря вашему правительству, нам смерть не грозит, и пожелай я того, я, с моим образованием, мог бы стать видным членом местной администрации. Возможно, со временем вошел бы даже в Законодательное собрание.

— Зачем ты говоришь по-английски? — недовольно сказала Лалун, снова склоняясь над ситаром. Припев полетел над городской стеной, поднимаясь к почерневшей стене крепости Амара, которая возвышается над городом. Никто не знает истинных размеров крепости. Много столетий назад ее построили три властелина, и ходят слухи, что под ее стенами на несколько миль тянется подземелье. Населяют крепость призраки, подразделение гарнизонной артиллерии и пехотная рота. Во времена былой славы там собиралось до десяти тысяч человек и рвы переполнялись трупами.

— «Рискуя головой», — все пела и пела Лалун.

На валу показалась голова — седая голова старика, и голос, грубый и шершавый, точно кожа акулы на рукоятке меча, повторил последнюю строку припева и запел песню, в которой я не разобрал ни слова, а вот Лалун и Вали Дад внимательно ее прослушали.

— Что это? — спросил я. — Кто это?

— Один упрямец, — ответил Вали Дад. — Он воевал с вами в сорок шестом году, еще совсем юнцом, потом в пятьдесят седьмом, пытался воевать и в семьдесят первом, но вы тогда уже слишком хорошо овладели искусством уничтожать людей из пушек. Теперь он старик, но если бы мог, все равно стал бы сражаться.

— Он что же, ваххабит¹? Но если он ваххабит или сикх, он не должен отзываться на песню, которую поют маратхи, — заметил я.

— Не знаю, — ответил Вали Дад. — Может быть, он потерял веру. Может быть, хочет стать раджей. Может быть, уже им стал. Я не знаю, как его зовут.

— Это ложь, Вали Дад. Если вам так много известно о его жизни, вы не можете не знать его имени.

— Да, вы правы. Я принадлежу к нации лжецов.

¹ Ваххабиты — приверженцы религиозно-политического течения в исламе, основанного Мухаммадом ибн Абд аль-Ваххабом. Проповедуют простоту нравов.

Но мне кажется, лучше вам не знать его имени. Сами подумайте.

Лалун перестала петь, протянула руку к крепости и сказала просто:

— Это Кхем Сингх.

— Гм, — произнес Вали Дад. — Жемчужина решила назвать вам его имя, но она дурочка.

Я перевел это Жемчужине, и она засмеялась.

— Что хочу, то и говорю. Они держали Кхема Сингха в Бирме, — продолжала она. — Держали много лет, пока он не тронулся умом. Ведь оно такое великодушное — ваше правительство. Когда оно увидело, какой он стал, его отпустили на родину, чтобы он повидал ее перед смертью. Он старик, но если он увидит свою страну, разум к нему вернется. К тому же многие здесь его помнят.

— Удивительный старикан, — заметил Вали Дад, затягиваясь. — Вернулся в страну, где все изменилось — и образование и политика, но Жемчужина права: здесь многие его помнят. Великий был человек. В Индии больше не будет великих людей. Теперь все с детства поклоняются чужим богам и становятся гражданами, «согражданами», «выдающимися согражданами» или как там еще называют их в наших газетах.

Похоже, Вали Дад пришел в очень дурное расположение духа. Лалун, улыбаясь, смотрела в окно, где, как пыль, клубился туман. Я вышел, думая о Кхеме Сингхе, который когда-то с тысячью единомышленников делал историю и, если бы не вышеупомянутая центральная колониальная администрация, наверняка стал бы даже правителем какого-нибудь княжества.

Капитан, командовавший фортом Амара, был в отъезде, но я спросил у его заместителя, субалтерна, который тоже заглянул вечером в клуб, действительно ли достопримечательности форта пополнились новым экспонатом — политическим заключенным. Субалтерн растолковал мне все с величайшей обстоятельностью, ему впервые пришлось командовать фортом, и сознание собственной значительности лежало на нем приятным бременем.

— Как же, — сказал он, — неделю назад с одной из соседних территорий ко мне прислали человека, не знаю, кто он, но, смею заверить, это безупречный джентльмен. Само собой разумеется, я сделал для него все, что мог. При нем было двое слуг и столовое

серебро, он выглядел совсем как офицер-индус. Я называю его субадар-сахиб¹. Так, на всякий случай. «Послушайте, субадар-сахиб, — сказал я ему, — вас передали на мое попечение, и я должен охранять вас. Я, знаете ли, не хочу портить вам жизнь, но и вы должны пойти мне навстречу. Весь форт в вашем распоряжении, от флагштока до рва, и я буду с удовольствием по мере сил развлекать вас при условии, что вы не используете мое доверие во зло. Дайте мне слово, что вы не будете пытаться бежать, субадар-сахиб, а я дам вам слово, что ваше положение узника не будет вам в тягость». Я решил, что самое подходящее обхождение с ним — это прямо-та, и, ей-богу, оказался прав! Старик дал мне слово и, очень довольный, теперь разгуливает по форту. Чрезвычайно странный субъект: вечно всех спрашивает, где он и что это за здание.

Когда его привезли, мне пришлось подписать бумагу, подтверждающую прибытие старикана со свитой, и я отвечаю за то, чтобы он не сбежал. Престранное дело, однако, присматривать за стариканом, который тебе в деды годится. Наведайтесь как-нибудь в крепость, поглядите на него.

По причинам, о которых я расскажу позже, мне не довелось побывать в форте в то время, когда там находился Кхем Сингх. Я запомнил только седую голову, которую видел из окна Лалун, — седую голову и хриплый голос. Но местные жители говорили мне, что изо дня в день он все смотрел и смотрел на солнечные дали вокруг крепости Амара, и память возвращалась к нему, а вместе с памятью и ненависть к врагам, угасшая было в далекой Бирме. Он с утра до вечера в ярости метался по западной части крепости, лелея несбыточные планы, а заслышав голос Лалун из домика в городской стене, принимался петь хриплым голосом боевые песни своей юности. Он ближе узнал субалтерна и открыл перед ним свою иссушенную страстями душу.

— Сахиб, — говорил он, постукивая тростью по брустверу, — в молодости я был одним из тех двадцати тысяч всадников, которые мчались здесь, по равнине. Сахиб, под моим началом была сотня, потом тысяча, потом пять тысяч, а теперь! — И он указывал на двух своих слуг. — Но сколько я себя помню, я резал, покада хватало сил, глотки всем сахибам в нашей стра-

¹ Субадар — офицер-индеец.

не. Смотри за мной в оба, сахиб, не то сбегу к тем, кто готов пойти за мной. Я забыл их, пока был в Бирме, но сейчас я снова на родине и помню все.

— А не помнишь ли ты случайно, что дал мне честное слово не замышлять побег? — поинтересовался субалтерн.

— Да, сахиб, тебе я дал слово, тебе и больше никому, — отвечал Кхем Сингх. — Потому что в тебя доброе лицо. Если снова настанет мой час, тебя я не повешу и глотку тебе не перережу.

— Благодарю, — важно отвечал субалтерн, глядя на ряд пушек, которые за полчаса могли превратить город в развалины. — Идем-ка домой, Кхем Сингх. Потолкуем после обеда.

Кхем Сингх сидел обычно на своей собственной подушке у ног субалтерна, отпивая большими глотками крепкий, с запахом аниса бренди, и рассказывал увлекательные истории о крепости Амара, где в старые времена был дворец, а в том самом сводчатом зале, который теперь служит офицерской столовой, умирали под пытками бегум и рани¹; говорил он и о Собраоне², а у субалтерна пылали щеки и он весь трепетал от гордости за своих соотечественников; о восстании куков³, которого с таким нетерпением и надеждами ждали тысячи индусов. Но никогда старик не упоминал о событиях пятидесят седьмого года⁴, ибо, как он сам объяснял, он — гость субалтерна, а о пятьдесят седьмом годе не принято говорить ни у англичан, ни у индийцев. Только однажды, когда анисовый бренди слегка затуманил ему голову, он начал было:

— Сахиб, если говорить о том событии, которое случилось после Собраона, но до куков, то нас поразило, что вы, установив везде свою власть, не превратили нашу страну в тюрьму. Теперь вот говорят, что вы

¹ Бегум — жены мусульманских князей; рани — жены раджей.

² Собраон — деревня на берегу реки Сатледж, под этой деревней в 1846 г. между англичанами и сикхами закончилась первая сикхская война.

³ Куки — секта, членами которой были плотники, каменщики, кузнецы; отвергали остатки индуизма, которые сохранились в сикхской общине.

⁴ События пятьдесят седьмого года. — Имеется в виду знаменитое индийское народное восстание 1957—1959 гг., жестоко подавленное англичанами. Называется также Сипайским восстанием.

относиться с великим уважением к нашим народам и сами стараетесь развеять ужас, который наводило одно только упоминание о вас и в котором всегда была ваша опора и защита. Дурацкая затея. Можно ли смешать масло и воду? Что же касается пятьдесят седьмого года...

— Меня тогда и на свете не было, субадар-сахиб, — перебил его субалтерн, и Кхем Сингх поплелся к себе.

Субалтерн рассказывал мне об этих беседах в клубе, и мое желание повидать Кхема Сингха росло день ото дня. Но Вали Дад, вечно сидящий на кушетке у окна в доме у городской стены, замечал, что это было бы бестактно, а Лалун делала вид, что обижается, как это я могу предпочесть ей общество какого-то старика сикха.

— Здесь и покурить можно и поболтать, здесь много друзей, все городские новости можно узнать, и, наконец, здесь я. Я рассказываю вам разные разности и пою, а Вали Дад занимает вас английскими глупостями. Разве это не веселее, чем смотреть на зверя в клетке? Уж если вам так хочется, идите завтра, а сегодня у меня будет такой-то, он расскажет удивительные вещи.

Так уж случилось, что это завтра все не наставало, влажная жара сезона дождей сменилась осенней прохладой, и только тут я заметил, что год пролетел. Вернулся из отпуска капитан, командовавший фортом, и взял на себя в соответствии с законом опеку над Кхемом Сингхом. Капитан не располагал к себе. Всех местных жителей он называл черномазыми, что свидетельствует не только о дурных манерах, но и о редкостной необразованности.

— Зачем двум солдатам караулить этого старого черномазого? — спросил он.

— Чтобы потешить его тщеславие, — ответил субалтерн. — Людям приказано не путаться у него под ногами, а бедный старикан считает, что их присутствие свидетельствует о его значительности.

— Для этого вовсе не нужны солдаты линейных войск. Возьмите из туземной пехоты.

— Сикхов? — спросил субалтерн, удивленно подняв брови.

— Сикхов, патанов, догра¹, — все едино, все они черномазые. — И капитан стал грубо выговаривать что-то Кхему Сингху, не заботясь о том, что тяжело ранит

¹ Догра — одна из народностей Индии.

чувства почтенного старца. Пятнадцать лет назад, когда его схватили во второй раз, он всем казался таким диким тигром. И ему это нравилось. Но он забыл, что за пятнадцать лет все переменялось и бывшие субалтерны стали капитанами.

— Ну что, эта свинья капитан еще командует крепостью? — спрашивал каждое утро Кхем Сингх у своих стражников. И они отвечали: «Да, субадар-сахиб», — из уважения к его преклонным годам и величественному виду, хотя ничего о нем не знали.

А в это время в доме Лалун собиралось еще больше гостей, чем прежде, и велись еще более оживленные беседы.

— Греки, жившие некогда в Афинах, — говорил Вали Дад, который, по обыкновению, брал у меня читать книги, — и постоянно обсуждавшие все, что происходит вокруг, держали своих жен взаперти — те были глупы как пробки. Поэтому и возник благословенный — надеюсь, вы согласны с определением? — институт гетер, уж эти-то дамы умели развлечь и были совсем не дуры. Их обществом наслаждались все греческие философы. Скажите, мой друг, а как сейчас в Греции и в других европейских странах? Ваши избранницы тоже дуры?

— Вали Дад, ведь вы никогда не обсуждаете с нами ваших избранниц, а мы с вами — своих, — возразил я. — Давайте не будем переходить границ.

— Да, — Вали Дад усмехнулся, — забавно получается: место наших встреч — здесь, в доме публичной женщины, или как вы их там называете? — Он указал мундштуком хукки на Лалун.

— Лалун — это Лалун, — ответил я, и на это трудно было что-нибудь возразить. — Но если бы вы нашли свое место в жизни, Вали Дад, и расстались с вашими фантазиями...

— Я мог бы одеваться как английский джентльмен. Я мог бы стать видным мусульманским проповедником. Мог бы даже, во имя укрепления дружеских связей Империи, играть в теннис у губернатора — англичане против индийцев. Душа души моей, — вдруг обратился он к Лалун, — сахиб говорит, что я должен покинуть тебя.

— Сахиб всегда говорит чепуху, — ответила Лалун, смеясь. — В этом доме я царица, а ты — царь. Сахиб... — она закинула руки за голову и задумалась на минуту, — сахиб будет нашим визирем — твоим и моим, Вали Дад, ведь он сказал, что ты должен меня покинуть.

Вали Дад расхохотался и долго не мог остановиться, я тоже засмеялся.

— Да будет так, — сказал он. — Мой друг, хотите ли вы занять эту прибыльную должность на государственной службе? Лалун, какое ты ему определяешь содержание?

Но Лалун уже начала петь, и я оставил всякую надежду добиться от них в тот вечер толку. Едва она умолкла, он тут же принялся читать персидские стихи, где что ни строка, то игра слов. Порой не совсем приличная, но безумно смешная, и мы забавлялись, пока Лалун не доложили, что к ней гость — грузный мужчина в черном, в золотом пенсне; Вали Дад повел меня прогуляться среди роз по саду в мерцающей ночи и высказать кое-какие еретические соображения по поводу различных религий, правительства, а также по поводу предназначения человека в жизни.

Приближался мухаррем¹ — великий мусульманский праздник скорби по великомученикам, и того, что Вали Дад говорил о религиозном фанатизме, было бы достаточно, чтобы изгнать его даже из самой вольнодумствующей мусульманской секты. Вокруг цвели розы, над головой сверкали звезды, из всех кварталов города доносился гул барабанов мухаррема. Вы, конечно, знаете, что город строго поделен между индусами и мусульманами, они враждуют между собой, и потому любой крупный религиозный праздник дает достаточно поводов для столкновений. Если есть хоть малейшая возможность, то есть если власти не в состоянии держать в узде индусов, они приложат все силы и устроят свой собственный маленький праздник именно в дни всеобщего мусульманского траура по великомученикам Хасану и Хусейну — героям мухаррема. По главным улицам города носят картонные макеты их гробниц, расписанные и позолоченные, правоверные вопят, рыдают, причитают под звуки музыки, горят факелы. Маршруты составляются заранее полицией, и полицейские наряды сопровождают каждый такой макет, чтобы индусы не бросали камни, ибо это грозит нарушить покой ее величества королевы, могут пострадать головы ее верноподданных. Время мухаррема в городе с «враждующим» населением повергает всех должностных лиц в величайшую трево-

¹ Мухаррем — первый месяц мусульманского лунного года хиджры. У шиитов первые десять дней — дни траура в память о гибели сыновей халифа Али — Хасана и Хусейна.

гу, — ведь если вспыхнут беспорядки, отвечать будут они, а вовсе не бунтовщики. Они обязаны все предвидеть и принять надлежащие меры предосторожности, избегая, однако, крайностей, каковыми можно считать детально проработанные планы.

— Прислушайтесь к бою барабанов, — сказал Вали Дад. — В этом вся сущность человека — он пуст, но производит много шума. Как, по-вашему, пройдет мухаррем в этом году? Мне кажется, будут беспорядки.

Он свернул в переулок, и я остался один, в обществе звезд и сонного полицейского патруля. Потом я пошел спать, и мне снилось, что Вали Дад захватил город и сделал меня визирем, подарив в качестве атрибута власти серебряную курительную трубку Лалун.

Весь день в городе били барабаны шиитов, весь день группы рыдающих индусов осаждали помощника уполномоченного, уверяя, что еще до рассвета мусульмане их перережут.

— Это доказывает, — конфиденциально сообщил помощник уполномоченного начальнику полиции, — что индусы что-то затевают. Я подумал и решил, что мы можем сделать им подарочек — послал предупреждение главам обоих вероисповеданий. Если они им пренебрегут, тем хуже для них.

Вечером в доме Лалун было особенно многолюдно, но, кроме грузного мужчины в черном и в золотом пенсне, я никого раньше не видел. Вали Дад лежал на кушетке у окна, и лицо его выражало горькое презрение к своим единоверцам и к их выступлениям, даже я не ожидал от него такого. Служанка Лалун хлопотала, нарезаая и смешивая табак для гостей. До нас доносился гром барабанов, процессии, каждая со своей картонной реликвией, двигались к главному месту сбора на равнине за городскими стенами, чтобы потом торжественно вступить в город и совершить почетный круг по улицам. Весь город был ярко освещен множеством факелов, только форт Амара был темен и тих.

Но вот барабанный бой смолк, в белой комнате царило молчание.

— Понесли первую реликвию, — сказал Вали Дад, глядя на равнину.

— Еще очень рано, — заметил мужчина в пенсне. — Всего половина девятого. — И все общество поднялось и ушло.

— Некоторые приехали из Ладакха, — сказала Ла-

лун, когда вышел последний гость. — Они привезли мне плиточного чаю, какой продают русские, и чайник из Пешавара. Пожалуйста, покажите мне, как английские мэм-сахиб заваривают чай.

Плиточный чай оказался настоящей отравой. Когда мы его выпили, Вали Дад предложил пойти на улицу.

— Кажется, нас ожидает тревожная ночь, — сказал он. — Все в городе в этом уверены, а *Vox populi* есть *Vox Dei*¹, как говорят наши высокообразованные туземцы. Если вы соберетесь прогуляться и полюбопытствовать, имейте в виду — у Ворот Падишаха всю ночь будет стоять моя лошадь. Какое позорное представление! Что за радость двадцать тысяч раз за ночь повторить: «Йа Хасан! Йа Хусейн!»

Все процессии — а их было двадцать две — уже вошли в город. Снова били барабаны, люди вопили: «Йа Хасан! Йа Хусейн!» — и колотили себя в грудь, медные трубы трубили во всю мощь, на каждом углу, где было место, муэдзины рассказывали душераздирающую повесть о смерти мучеников. Двигаться можно было только вместе с толпой, потому что улицы были не шире двадцати футов. В индусских кварталах ставни в лавках были закрыты и забраны крест-накрест задвижками. В тот миг, когда первая святыня — ярко раскрашенное картонное сооружение десяти футов высотой — всплыла на плечах десяти—двенадцати дюжих молодцов в полутьму улицы Всадников, кусок кирпича с треском прорвал ее покрытые слюдой и мишурой стены.

— Предаю себя в руки твои, Господи! — прошептал отступник Вали Дад, а сзади раздался истошный вопль, и конный офицер местной полиции стал с трудом пробираться сквозь толпу. Еще один кирпич, и картонная святыня закачалась на плечах остановившихся правоверных.

— Проходите! Именем Сиркара, проходите! — кричал полицейский, но раздался громкий треск, ставни сломали и отодрали, толпа с ревом и проклятиями осадила дом, откуда кидали кирпичи.

И тут началось светопреставление, оно захватило не только улицу Всадников, но и несколько других. Картонные храмы раскачивались над толпой, как корабли в море, метались факелы на длинных шестах, толпа

¹ Глас народа — глас божий (лат.).

вопила: «Индусы оскверняют наши святыни! Бей их! Бей! Долой их храмы! Защитим нашу веру!» Полицейские, сопровождавшие картонные гробницы, принялись орудовать дубинками, тщетно пытаясь заставить толпу продвинуться вперед, толпы индусов хлынули на улицы, и началось всеобщее побоище. В полумиле от нас, где святыни были еще целы, слышались барабаны и крики: «Йа Хасан! Йа Хусейн!» — но скоро и они смолкли. Муэдзины на перекрестках отламывали ножки кроватей, на которые были водружены их кафедры, и тоже вступали в бой за веру; меж тем из безмолвных домов на головы как своих, так и врагов летели камни, забитые людьми улицы ревели: «Дин! Дин! Дин!»¹ Одна картонная гробница загорелась, ее сбросили наземь, и она пылающей преградой разделила индусов и мусульман на углу улицы Всадников. Но вот толпа устремилась вперед, и Вали Дад потянул меня к каменному столбу у колодца.

— Это все было задумано заранее! — прокричал он мне в ухо с горячностью, в которой можно было заподозрить не одно только безверие. — Ну и свиньи эти индусы! Заранее запасли в домах кирпичи! Мы будем убивать коров в их храмах! Мы уничтожим их сегодня ночью в их собственных храмах!

Горящие и изорванные в клочья гробницы одна за другой проносились мимо нас в воющей, орущей толпе, которая крушила на пути двери домов. Мы наконец поняли, отчего возникла давка. Оказывается, помощник старшего офицера окружной полиции, двадцатилетний юнец по имени Хьюгонен, вместе с тридцатью полицейскими гнал толпу по улицам. Его старая серая в яблоках полицейская кобыла привычно теснила толпу, он ее пришпоривал, стегая направо и налево длинным арапником.

— Знают, что в полиции не хватает людей и мы не можем их остановить! — крикнул он мне, вытирая с лица кровь. — Всё знают, дикари проклятые. Хоть бы кто-нибудь из клуба пришел и помог нам! Проходите же, чертовы дети! — И арапник заходил по спинам, люди порывались прочь, но полицейские тут же обрушивали на них дубинки и приклады. Наконец факелы удалились, крики смолкли, Вали Дад шепотом выругался. Над фортом Амара взвилась ракета, потом еще две. Это подали сигнал к выступлению войск.

¹ Дин — вера, религия.

Помощник уполномоченного Петитт, весь в пыли и поту, но спокойный, с легкой улыбкой, скакал по пустой улице за основным отрядом бунтовщиков.

— Пока никто не убит! — крикнул он. — Буду гонять их до рассвета! Не позволяйте им останавливаться, Хьюгонен! Гоните, пока не придут войска.

Наука обороны требует, чтобы толпа безостановочно двигалась. Если ей дать передышку, она остановится, подожжет какой-нибудь дом, и тогда навести порядок будет куда труднее. Огонь так же возбуждает толпу, как запах крови дикого зверя.

Весть о том, что происходит в городе, долетела до клуба, на улицах появились джентльмены в смокингах и стали помогать полиции разгонять оружие толпы с помощью стремянных ремней, кнутов и всего, что под руку попало. Их толпа не трогала, у разбушевавшихся людей было довольно здравого смысла, и они понимали, что убей они хоть одного европейца, и всех их перевешают, да еще, чего доброго, явится эта ужасная артиллерия. Тем временем шум в городе нарастал. На улицы хлынули воинственно настроенные индусы, вернулась толпа. Странное это было зрелище. Картонных святынь уже не было, только сломанные носилки изпод них, не было и полиции. Здесь и там сановные индусы и мусульмане тщетно призывали своих единоверцев сохранять спокойствие, хотя за такой призыв недолго было и бороды лишиться. Толпа подхватила местного полицейского, он был пеший, но ловко орудовал шпорами и кричал этому сброду, что они жестоко поплатятся, если нанесут в его лице оскорбление властям. Повсюду бессмысленно размахивали палками, вцеплялись друг другу в глотки, орали, захлебываясь гневом, молотили кулаками в двери.

— Счастье еще, что в их руках только то оружие, которым снабдила их природа, — заметил я, обращаясь к Вали Даду, — не то погибло бы полгорода.

Я повернул к нему голову и взглянул в лицо. Ноздри его раздувались, он смотрел остановившимся взглядом и тихо бил себя в грудь. А в толпу влилось новое пополнение — сотня фанатиков-индусов теснила мусульман. Вали Дад с проклятиями бросился прочь от меня, завопил: «Йа Хасан! Йа Хусейн!» — и ринулся в самую гущу схватки; я потерял его из вида.

Переулком я пробрался к Воротам Падишаха, вско-

чил на лошадь Вали Дада и поскакал в форт. Здесь, за стеной, мощный рев города стих до глухого рокота, особенно выразительного при свете звезд и делающего честь пятидесяти тысячам здоровых мужских глоток, которые его производили. Войска, выстроенные по приказу помощника уполномоченного возле форта, не выказывали никаких признаков волнения. Две роты туземной пехоты и эскадрон туземной же кавалерии, а также рота британской пехоты стояли под защитой восточной стены форта в ожидании команды выступить. С сожалением должен заметить, что всех их переполняла радость не весьма гуманного свойства в предвкушении того, что они называли «потехой». Старшие офицеры, разумеется, ворчали, что им помешали выспаться, британские пехотинцы тоже изображали крайнее неудовольствие, но все субалтерны ликовали в душе, и в строю то и дело слышались негромкие реплики:

— Ни одного ядра, черт побери, это же просто свинство!

— Как вы думаете, неужто эти голодранцы устоят против нас?

— Надеюсь встретить здесь своего кредитора. Я должен ему больше, чем могу себе позволить.

— Черт, они не дадут нам даже обнажить шпаги.

— Ура! Четвертая ракета! Смотрите, вон она!

Артиллеристы, которые до последней минуты мечтали, вопреки всему, что им позволят обстрелять город с расстояния в сто ярдов, выстроились в шеренгу вдоль бруствера над Восточными Воротами и оглашали воздух хриплыми криками «ура», а британская пехота сдвоила ряды и направлялась к Главным Воротам города. Кавалерия легким галопом приближалась к Воротам Падишаха, а индийская пехота медленно двигалась к Воротам Мясников. Сюрприз, который готовили эти передвижения, был отнюдь не из разряда приятных, особенно если учесть, что полиция оказалась несостоятельной и только и смогла, что помешать мусульманам спалить дома нескольких видных индусов. Волнениями были охвачены в основном северная и северо-западная части города. На востоке и юго-востоке царили темнота и безмолвие, и я не мешкая поскакал к дому Лалун, — пусть она пошлет кого-нибудь на поиски Вали Дада. Дом стоял погруженный во тьму, но дверь была открыта, и я впотьмах поднялся наверх. При свете тусклой лампы я увидел Лалун и ее служанку, они на-

половину высунулись из окна и, тяжело дыша, тянули что-то вверх, а это что-то не поддавалось.

— Что же ты так долго, — проговорила Лалун, не поворачивая головы. — Помоги же нам, о глупец, если ты вовсе не обессилел, когда орал там, среди картонных гробниц. Тащи! У Назибан и у меня уже руки отваливаются! Ах, сахиб, это вы? Там, у рва, индусы охотились на старика мусульманина с дубинками. Они его убьют, если только найдут. Помогите нам втащить его сюда.

Я схватился за конец длинного отреза красного шелка, который свисал из окна, и мы втроем принялись тянуть что было сил. На другом конце было что-то очень тяжелое, оно лягалось о городскую стену и сыпало проклятиями на языке, которого я не понимал.

— Тяни, ох, тяни же! — шептала выбившаяся из сил Лалун.

И вот коричневые руки ухватились за подоконник, за ними показался и сам почтенный мусульманин, он едва дышал и тут же рухнул на пол. Зубы у него были стиснуты, тюрбан съехал набок, весь он был в пыли и клокотал гневом.

Лалун закрыла лицо ладонями и что-то сказала о Вали Даде, но я ее слов не разобрал.

Потом, к моему величайшему удовольствию, она обвила мою шею руками и принялась шептать ласковые слова. Я, разумеется, не спешил ее остановить; Назибан была хорошо вышколенная прислуга, она уткнулась в объемистый сундучок с драгоценностями, стоявший в углу белой гостиной. Мусульманин сидел на полу и злобно тарачился.

— Еще одно одолжение, сахиб, уж если ты так вовремя здесь оказался, — проворковала Лалун. — Не мог бы ты, — согласитесь, очень приятно, когда Лалун обращается к тебе на «ты», — не мог бы ты проводить старика по городу к Кумарсенским Воротам, ведь всюду солдаты, они могут расправиться с ним, а он так стар. Там, я уверена, можно нанять повозку и отправить его домой. Он мой друг, а ты... — о, ты больше, чем друг! — поэтому я и прошу тебя.

Назибан нагнулась к старику, сунула что-то в его пояс, я поднял его и вывел на улицу. Пересечь почти весь город с востока на запад и не нарваться на солдат или на толпу было просто невысказанно. Задолго до того, как мы вышли к улице Всадников, я услышал ярост-

ные крики британских пехотинцев: «Прочь, голодранцы! Прочь, черт вас побери! Проходите! Давай двигай!» Слышались удары прикладов и пронзительные крики избиваемых. Штыки не были насажены, и солдаты просто молотили бунтовщиков прикладами по голым ногам. Мой спутник все время что-то бормотал себе под нос, но вот толпа понесла нас обратно, сопротивляться было очень трудно. Я схватил старика за руку и почувствовал, что на запястье у него браслет — железный браслет сикхов, но у меня не возникло никаких подозрений, ведь какие-нибудь десять минут назад Лалун обнимала меня! Трижды толпа относила нас, и когда наконец мы пробрались мимо британских пехотинцев, то наткнулись прямо на конницу сикхов, которые прикладами гнали перед собой обезумевшую толпу.

— Что это за собаки? — спросил старик.

— Это конница сикхов, отец, — ответил я, продираясь с ним к двойному конному оцеплению; здесь оказался помощник уполномоченного в помятом шлеме, его окружали джентльмены из клуба, которые сейчас энергично помогали полиции в роли добровольцев.

— Будем гонять их до рассвета, — заявил Петитт. — Что это за мерзкий старикашка с вами?

Я успел только бросить: «Он под защитой Сиркара!», и тут новая толпа, которую гнала туземная пехота, бросила нас вперед ярдов на сто к Кумарсенским Воротам, а Петитт унесся в другую сторону, как призрак.

— Не понимаю... ничего не могу понять... тут все совсем не так! — причитал мой спутник. — Сколько их здесь, в городе, солдат-то?

— Наверное, сотен пять, — ответил я.

— Сто тысяч, сраженные пятью сотнями, — и среди них сикхи! Да, да, я стар, но... что это, Кумарсенские Ворота новые? Кто стащил каменных львов? Где акведук? Сахиб, я слишком стар, увы, я... я... мне плохо. — Он упал на землю у стены возле Кумарсенских Ворот, куда не достигали шум и беспорядки. Из темноты вдруг появился тучный джентльмен в золотом пенсне.

— Очень любезно с вашей стороны привести сюда моего старого друга, — учтиво сказал он. — Это арендатор из Акалы. Зачем ему быть в городе, когда тут такие волнения на религиозной почве? У меня экипаж. Очень, очень вам признателен. Не поможете ли посадить его в экипаж? Уже очень поздно.

Мы погрузили старика в пролетку, которая стояла не-

подалеку у ворот, а я отправился к дому в стене. Солдаты гоняли толпы туда-сюда, полицейские громогласно кричали: «По домам! Давай по домам!», арапник помощника начальника окружной полиции безостановочно свистел и щелкал. Какие-то лавочники отчаянно цеплялись за стремяна и вопили, что их дома разграблены (это была ложь), а дюжие всадники-сикхи похлопывали их по плечам и предлагали поскорее убраться во свояси, не то случится что-нибудь и похуже. Британские солдаты группами по пять-шесть человек с винтовками за плечом прочесывали переулки, крича и распевая песни и ступая сапогами по босым ногам индусов и мусульман. Никогда еще религиозные чувства не душились столь добросовестно, никогда свет не видывал нарушителей спокойствия в столь позорном состоянии, да еще с отдавленными ногами. Их извлекали из щелей и углов, закутов и хлебов и отсылали по домам. И горе ногам тех, у кого не было дома.

Подойдя к дверям Лалун, я наткнулся у порога на какого-то человека. Он истерически рыдал и взмахивал руками, точно гусь крыльями. Это был Вали Дад, наш скептик и агностик, босой, без тюрбана, на губах запеклась пена, вся грудь в синяках и в крови — с такой яростью колотил он по ней кулаками. Рядом валялось сломанное древко факела; нагнувшись, я услышал, как он трясущимися губами шепчет: «Йа Хасан! Йа Хусейн!» Я подтолкнул его вверх по лестнице, бросил камешек в окно Лалун и пошел домой.

На улицах уже было тихо, свистел холодный ветер, который поднимается перед рассветом. В середине площади, где стоит мечеть, я увидел человека, склонившегося над трупом. Голова убитого была размозжена то ли прикладом, то ли бамбуковой палкой.

— Ну что ж, все правильно — одного убили, — мрачно изрек Петитт, приподняв изуродованную голову индуса. — А то эти твари начали показывать зубы.

Вдали солдаты распевали «Милые черные глаза», разгоняя последних бунтовщиков.

* * *

Вы, без сомнения, поняли, что случилось. До меня же все это дошло не сразу. Когда разнеслась весть, что из форта Амара бежал Кхем Сингх, мне и в голову не

пришло, что я, Лалун и грузный джентльмен в золотом пенсне имеем к побегу какое-то отношение, — я это понял только теперь, когда пишу о событиях, которые тогда происходили. Мог ли я догадаться, что не я, а Вали Дад должен был провести Кхема Сингха через город; что Лалун обвила мою шею руками, чтобы я не видел, как Назибан дает деньги Кхему Сингху, и что Лалун мгновенно сообразила: английский джентльмен в роли охраны Кхема Сингха надежнее, чем Вали Дад, который, как выяснилось, вовсе не заслуживает доверия. Тогда мне было ясно только то, что Кхем Сингх бежал, воспользовавшись беспорядками в форте Амара, когда туда ворвалась разъяренная толпа; скрылись и оба его охранника-сикха.

Потом-то я прозрел, и Кхем Сингх тоже. Он бежал к тем, кто помнил его с давних времен, но многие умерли, другие изменились, и все теперь понимали, что значит навлечь на себя гнев властей. Кхем Сингх обратился было к молодым, но его имя давно утратило свою магическую силу, молодые шли теперь в армию или на государственную службу, а Кхем Сингх — что мог предложить им Кхем Сингх? Ни денег, ни наград, ни положения, разве что посмертную славу героев, которые позволили привязать себя спиной к дулу пушек и расстрелять в упор. Он обращался к тем, кто был верен ему, с письмами и посулами, но письма попадали не по адресу, и какой-нибудь офицер — мелкая сошка в полицейской табели о рангах — перехватывал их и закладывал таким образом основу своего будущего преуспевания. Ко всему прочему Кхем Сингх был стар и нищ, а анисовый бренди перепадал ему слишком редко, и потому его столовое серебро вместе с добротным постельным бельем осталось в форте Амара, и нанявшие мужчину в золотом пенсне разъяснили ему, что Кхем Сингх не столь популярен в народе, чтобы тратить на него средства.

— Велика милость этих глупцов англичан! — воскликнул Кхем Сингх, когда понял, в каком положении оказался. — Я добровольно вернусь в крепость Амара, и мне будут оказывать почет. Достаньте мне пристойную одежду.

Итак, когда пробил час, Кхем Сингх постучал в калитку форта и проследовал к капитану и субалтерну, которые чуть не поседели из-за ежедневных депеш из Симлы с грифом «секретно».

— Я вернулся, капитан-сахиб, — сказал Кхем Сингх. — И не надо мне больше охраны — не сбегу. Там мне уже нечего делать.

Спустя неделю, когда я увидел его впервые, он заговорил со мной с таким видом, будто мы с ним состоим в заговоре.

— Великолепно, сахиб, — сказал он, — я так восхищался вашей смелостью, когда вы вели меня мимо солдат, ведь иначе они разорвали бы меня в клочья. Знаете, в крепости Ултагарх заключен один человек, ему надо бежать, и такой отважный сахиб, как вы, был бы ему очень полезен. Сейчас я начерчу на песке план крепости...

Но я думал о том, что все-таки стал визирем Лалун.

БАРАБАНЩИКИ «ПЕРЕДОВОГО-ТЫЛОВОГО»

И поведет их мальчишка вперед...

В армейском реестре этот полк по-прежнему значится как «Передовой, боеспособный, прикомандированный к личной королевской легкой пехоте принцессы Гогенцоллерн-Зигмаринген-Ауспах, Мертер-Тидфилшайрского полкового округа 329 А», но всюду, в казармах и столовых, звали его «Передовой-тыловой». Со временем, может, его солдаты совершат нечто такое, что прославит его прозвище, но пока они его отчаянно стыдились, а тот, кто осмеливался называть его так, рисковал собственной головой.

К примеру, стоило кому-то шепотком ругнуть в конюшнях какой-нибудь кавалерийский полк, как уланы, чертыхаясь, выкатывались во двор, с ремнями и швабрами, но посмей кто сказать «Передовой-тыловой», так весь этот полк хватался за винтовки.

Единственным их оправданием было, что они все-таки потом вернулись и выполнили свой солдатский долг в наилучшем виде. Но пока что каждая собака знала, что они бежали, их били, а они дрожали в страхе и молча сносили позор. Солдаты знали, офицеры знали, конные гвардейцы знали, а начнется война — прознает и враг. На фронте было еще два-три запятнавших себя полка, но они потом «отмылись», отделались от своего позора; и горе тем неприятельским солдатам, которые оказались у них на пути.

Считается, что мужество британского солдата не

требует доказательства; как правило, так оно и есть. Об исключениях говорить не принято, вспоминают о них лишь вечером, в офицерских столовых, когда развязываются языки. Тогда-то и можно услышать странные и жуткие истории о солдатах, не подчиняющихся приказам офицеров, о приказах, которые отдают те, кому вовсе не положено командовать, и о позоре, который, если бы не счастливая звезда британской армии, привел бы к полному поражению. До чего же мерзкие истории приходится слушать, да и рассказывают их офицеры вполголоса, сгрудившись у пылающего огня в камине, а молодой офицеришка, опустив низко голову, думает про себя, что его-то солдаты, слава Богу, нипочем так не опростоволосятся.

Не надо сваливать всю вину на британского солдата за случайные просчеты, правда, знать ему не обязательно, что виноват не только он. Генерал со скромными умственными способностями тратит шесть месяцев впустую, чтобы овладеть наукой ведения войны, в которой участвует; полковник проводит с полком три месяца на полевых учениях, да так и не возьмет в толк, на что способны его солдаты; даже ротный командир может ошибаться насчет характера и норова своих подчиненных, — не надо пенять солдату за его промахи, особенно солдату нынешнего времени. Его могут потом расстрелять или казнить — *roug encourager les autres*¹, не надо поливать его грязью в газетах, это ведь лишь свидетельство отсутствия такта и пустая трата места.

Прослужил, скажем, солдат четыре года Ее Королевскому Величеству. Через два года его демобилизуют. Врожденных нравственных принципов ему Бог не дал, а разве мыслимо за четыре года превратить его мускулы в железо или вбить ему в башку, что полк его — святая святых! Ему бы попить винца, покуролесить, — а в Индии он норовит подкупить деньжат, — и уж меньше всего ему хочется нарваться на пулю. Образования ему хватает понять только наполовину те приказы, что ему приходится выполнять, да еще отличать рану огнестрельную от колотой или рваной. Так что, если роте скоман্দуют развернуться в ожидании атаки под неприятельским огнем, он смекнет, конечно, что его могут укокошить, пока он разворачивается, и потому надеется, что его просто отбросят и он выиграет хоть десять минут.

¹ Чтобы другим неповадно было (*фр.*).

Солдаты выполняют приказ молниеносно или не спеша, сбиваются в кучку или бегут рассыпной цепью, это уж зависит от того, как их муштровали четыре года.

И вот, вооруженный скудными знаниями, терзаемый предассудками и большим самолюбием выходца из низов, предоставленный самому себе, без поддержки однополчан, этот юноша сталкивается с вражеским солдатом, а на Востоке враг всегда безобразен и уродлив, как правило, высоченного роста и волосат, а очень часто просто неистово криклив. Если, осмотревшись, новобранец увидит бывалых солдат, тех, кто в армии лет по двенадцать отбарабанили и знают свое дело назубок, — в атаку бросаются лихо, выказывают отчаянную смелость, — то наш юнец успокаивается и налегает плечом на приклад винтовки с легким сердцем. Он делается еще спокойнее и увереннее, когда слышит, как шепчет ему командир, который муштровал его, а при случае угощал зуботычинами:

— Ну, теперь они минут пять как оглашенные вопить будут. Потом бросятся в атаку, тут мы их и возьмем за жабры.

Но если он видит вокруг себя таких же, как сам, новичков, — белых с перепугу, тех, кто пальцем по спусковому крючку скользят и приговаривают: «И какого дьявола им от нас надо?» — а командиры, сжимая эфес сабли и обливаясь потом, орут: «Эй, там, на передовой! Примкнуть штыки! Прицел триста футов, нет — пятьсот! Ла-ажись! Замри! Передние, на колени!» — и так далее, ему не по себе становится, а если он слышит, как с грохотом, словно уронили каминные щипцы, и со стоном, будто забитый бык, рухнул на землю его товарищ, тогда он окончательно обалдевает. Если он может пробраться немного вперед и глянуть, как его пули косят врагов, ему легче, глядишь, и просыпается в нем безрассудная жажда битвы, которую, вопреки всеобщему убеждению, разжигает хладнокровный дьявол, и солдата начинает бить колотун. Если же он не продвигается, у него начинает сосать под ложечкой, и он уже мало что соображает, а при этом ему отдают команды, которых он раньше вовсе не слышал, он уже не солдат, его дух сломен, и он начинает метаться; а самое тягостное зрелище — расстроенные ряды британского полка. Когда дело — табак и паника охватывает весь полк, солдат лучше отпустить подобру-поздорову, а ротным командирам драпать в неприятельский лагерь и отсижи-

ваться там. Но если уж их заставят вернуться, не завидуя тому, кто попадется на их пути, — дважды британский полк не покидает поля боя.

Лет через тридцать, когда нам удастся хоть как-то обучить ту часть населения, что носит панталоны, наша армия превратится Бог знает во что. Солдаты будут слишком много знать и слишком мало делать. Вот когда солдаты по уму и развитию не будут уступать нынешнему офицеру, они завоюют весь земной шар. Грубо говоря, в армии должны служить или мерзавцы, или джентльмены, а лучше всего — мерзавцы под командой джентльменов, тогда их кровавая работа пойдет на лад. Идеальный солдат должен, без сомнения, иметь голову на плечах — так ему предписано по уставу. К сожалению, пока он поумнеет, ему приходится пройти ту стадию, когда он способен думать лишь о собственной шкуре, а эгоизм — скверный помощник. У мерзавца, может, котелок туго варит, зато убить он в любую минуту готов, и несколько нарядов вне очереди научат его беречь собственную шкуру и дырявить чужую. Набожный до беспамятства шотландский полк под командой офицеров-пресвитериан, пожалуй, все же свирепее на поле боя, чем битые-перебитые, отчаянные ирландские головорезы под предводительством зеленых юнцов-безбожников. Но исключения подтверждают правило: не стоит полагаться на солдат «золотой середины». Они думают о спасении собственной шкуры, переть на рожон не станут. Случается, что им, будто нарочно, не спешат прислать подкрепление, да его уж и нет, враг перебил, и пока не подоспеет подмога, — а многие полковые командиры уверены, что она непременно подоспеет, — солдаты эти имеют шанс опозориться, а потому — нанести удар мощи Империи и армейской чести. У них отличные офицеры, которых муштруют с младых ногтей; к тому же Господь Бог наградил чистеньких британских юношей, выходцев из среднего класса, самым крепким спинным хребтом, хорошими мозгами и такими же внутренностями. По этой причине восемнадцатилетний юнец не кланяется пулям — в руке сабля, сердце кипит радостью, стоит себе как истукан, глядишь — пуля его и уложила. Если он умрет, то как джентльмен. Если выживет, напишет домой, что его «подстрелили», «ранили», «изрешетили» или «изрубили на куски», а сам начнет бомбить власти прошениями о пособии за ранение, пока не вспыхнет новая стычка

с врагом, тогда он наврет медицинской комиссии, подольстится к своему полковнику, охмурит его адъютанта, и его снова отправят на фронт.

Это вступление приводит меня напрямик к двум маленьким негодникам, самым отъявленным из тех, кто бил в барабан или играл на флейте в военном оркестре британского полка. Их грешный путь окончился открытым бунтом, за что они и поплатились жизнью. Звали их Джейкин и Лью — Поросенок Лью, были они наглые, испорченные мальчишки-барабанщики; им частенько доставалось от тамбурмажора «Передового-тылового» — он их нещадно сек.

Джейкин был четырнадцатилетним хилляком, Лью — примерно того же возраста. Оба украдкой пили и курили. Ругались привычно, как все в казармах: хладнокровно, сквозь зубы, а раз в неделю непременно дрались друг с дружкой. Джейкин был родом из лондонских трущоб, и скорее всего прошел через руки доктора Барнадо, прежде чем дорос до звания ротного барабанщика. Лью ничего не помнил о своей былой жизни, только случаи из жизни полка и военного оркестра, звуки которого сызмальства переполняли его восторгом. Где-то в тайниках его испорченной юной души теплилась истинная страсть к музыке, и, конечно же, по злой насмешке судьбы, у него была головка херувима, — до того похож он был на ангелочка, что дамы, ходившие в полковую церковь, имели обыкновение называть его «милашкой». Они ведь не слыхали тех мерзких словечек, что мальчишка отпускал в их адрес, возвращаясь с ротой в барак и задумывая очередные козни против Джейкина.

Другие барабанщики ненавидели мальчишек лютой ненавистью, потому что никогда не знали, что у них на уме. Джейкин мог колотить Лью, а Лью окунать Джейкина башкой в грязь, но стоило вмешаться кому-то третьему, даже если тот решил заступиться за одного из них, как Лью и Джейкин мгновенно объединялись, давали дружный отпор чужаку, а уж как тому доставалось, не приведи Господь! Мальчишки были в казармах изгоями, но изгоями богатенькими, — когда их не нагнали на других мальчишек, они дрались между собой за деньги, на потеху солдатам.

В тот самый день в лагере произошла стычка. Их застучали за тем, что они жевали табак, причем крепкий дешевый табак; Лью разозлился на Джейкина —

«от него так и разит, потому что трубку в кармане таскает», из-за этого идиота Джейкина им плетей и вlepили.

— Да говорят тебе, что трубка у меня в казарме, — отпирался Джейкин.

— Врешь ты все, гад, — отвечал Лью без особого гнева.

— Сам ты гад, ублюдок, — сказал Джейкин, прекрасно зная, что он тоже без роду без племени.

В довольно обширном словаре казарменной брани именно это словечко никому не прощается. Можете обозвать обидчика вором, и вам сойдет. Даже трусом назовите, ну свистанет он вам сапогом по уху, авось промахнется, но упаси вас Бог ублюдком его обозвать, если не хотите, чтобы он вышиб вам зубы.

— Попридержал бы язык, пока я не разозлился, — сказал мрачно Лью, пытаясь усмирить Джейкина.

— Еще как у меня разозлишься! — выпалил Джейкин и заехал Лью по его алебастрово-белому лбу.

Все кончилось бы миром и, как говорится в книгах, эта история не была бы написана, не приведи сюда злой рок после первого раунда драки сына базарного сержанта — долговязого двадцатипятилетнего бездельника. Он вечно стрелял деньги, и он знал, что у мальчишек они водились.

— Снова деретесь? — спросил он. — Вот скажу отцу, а он доложит о вас знаменосцу.

— Тебе-то какое дело? — спросил Джейкин, угрожаяще раздувая ноздри.

— Мне-то никакого. А вам влетит, ишь разохотились, чуть что — в драку.

— Да ты-то с чего взял, чем мы тут занимаемся? — спросил Лью-серафим. — Ты же не армейский, попросайка вшивая.

И он пнул парня в левый бок.

— Не советуем тебе совать свой паршивый нос, когда джентльмены на кулаках свою правоту доказывают, вали домой к своей матери-потаскухе, — сказал Джейкин и стукнул его в правый бок.

Парень попытался отбиться, схватил мальчишек за загривки и хотел было стукнуть их лбами. Может, номер и удался бы, да Джейкин ему врезал в живот, а Лью — по голени. Они сцепились и с полчаса дрались, до крови дрались, аж дыхание перехватывало. Изметелив почем зря своего противника, мальчишки бросили его

на землю и с азартом накинудись на него, точно терьеры на шакала.

— Погоди у меня! — хрипел Джейкин.

Он принялся разукрашивать лицо парня, а Лью — дубасить его по туловищу. Рыцарство — не самое явное достоинство в характере юных барабанщиков. Они, по примеру старших, дерутся с усердием, норвят оставить по себе отметины.

Жуткое зрелище являл собой парень, просто развалина; не менее жутким был гнев базарного сержанта. Такой же страшной была сцена в канцелярии, когда перед командиром предстали два негодника, которых обвиняли в том, что они до полусмерти избили штатского. Базарный сержант требовал отдать их под трибунал, а его сын лжесвидетельствовал. Мальчишки стояли по стойке «смирно», черные тучи доказательства их вины все сгущались.

— С вами, чертями, нервотрепки больше, чем со всем полком, — сказал сердито полковник. — Учить вас — дело пустое, в тюрьму не посадишь, на гауптвахту не отправишь. Только и остается снова высесть.

— Простите, сэ, Позвольте пару слов в свою защиту, — пропищал Джейкин.

— Слыхали?! Еще и препираться надумали?.. — возмутился полковник.

— Да нет, сэ, — подхватил Лью. — Но представьте, сэ, что к вам заявляется человек и грозитя донести на вас, сэ, за то, что вы кое-чего не поделили с приятелем, сэ, и хочет содрать с вас денег, сэ.

Канцелярию оглушили раскаты смеха.

— И что же? — спросил полковник.

— Именно так хотел поступить этот подонок прыщавый, сэ, он бы настучал на нас, сэ, если бы мы его не окоротили. Мы ведь сильно его не били, сэ. Никто его не просил совать нос в чужие дела, сэ, я готов стерпеть, пусть меня тамбурмажор высечет, сэ, пусть на меня капрал настучит, но я... но мне кажется, никуда не годится это, чтоб штатский стучал на военного человека, сэ.

Новый взрыв хохота потряс стены канцелярии, но полковник был мрачен.

— Какие отзывы об этих мальчишках? — спросил он полкового старшину.

— Мальчишки только капельмейстера признают, так вот тот говорит, они на все способны, но никогда не лгут.

— Неужели мы влипли из-за такой ерунды — из-за доноса этого парня, сэр? — сказал Лью, кивая на истца.

— Убирайтесь! Убирайтесь отсюда! — Полковник потерял терпение; когда мальчишек увели, он отчитал сына базарного сержанта за то, что тот суется не в свои дела, а капельмейстеру приказал быть построже с барабанщиками.

— Если еще хоть раз увижу ссадины на ваших рожах, — гремел капельмейстер, — прикажу тамбурмажору с вас шкуру содрать! Зарубите себе на носу, бесенята!

Потом он долго раскаивался в своих словах, потому что Лью, этот серафим в мундире красного сукна, взяв в руки трубу, — трубач попал в госпиталь, — оглашал окрестность воинственной мелодией. Лью, конечно же, был истинным музыкантом и в самые трудные минуты изливал свои чувства на любом инструменте.

— Ты запросто можешь стать капельмейстером, Лью, — сказал ему капельмейстер, лично он сочинял тайком вальсы и денно и ночью радел за свой оркестр.

— Чего это он тебе там бубнил? — спросил Джейкин после учения.

— Сказал, что я запросто могу стать капельмейстером и попивать вишневую наливку на офицерских пирушках.

— Ага! То есть сказал тебе, что солдат из тебя никудышный. Он ведь это имел в виду?! Я вот закончу свой первый срок службы в армии, — срам какой, денег нам не положено! — то стану полноправным рядовым, а через год уланом буду и военную науку выучу. А через три года уже сержанта получу. Но жениться не буду, нашли дурака! Останусь в армии, получу офицера, перейду в другой полк, где меня никто знать не знает. Буду настоящим офицером. Тогда я тебя буду приглашать на стаканчик вишневой наливки, мистер Лью, а ты, болван, будешь ждать в прихожей, когда тебе дежурный поднесет.

— А если я стану капельмейстером? Тогда я уже буду офицером. В этом нет ничего мудреного, стоит только взяться за дело, как говорил наш учитель. Полк не вернется на родину раньше, чем через семь лет. К тому времени я стану уланом или без пяти минут уланом.

Так строили мальчишки планы на будущее, и целую неделю они вели себя примерно. Если не считать, что Лью завел амуры с дочкой знаменосца, ей было тринадцать лет — «без каких-то там серьезных намерений, — объ-

яснял он Джейкину, — а так, позабавиться». И черно-волосая Крис Делиген принимала ухаживания Лью куда благосклоннее, чем знаки внимания других своих поклонников; мальчишки-барабанщики заходились от бешенства, а Джейкин читал своему приятелю мораль о том, как опасно «бегать за юбками».

Но любовь и добродетель не смогли удержать Лью на пути праведном, как только до нас дошли слухи, что полк посылают на войну, которую, для краткости, давайте назовем «Войной обреченных племен».

В казармы слух проник даже раньше, чем в офицерскую столовую, а из девяносто солдат полка и десяти нельзя было насчитать таких, кто уже понюхал пороху. Полковник лет двадцать назад участвовал в пограничной экспедиции, один из майоров служил когда-то на юге, один солдатик из роты Б, дезертир, — тому довелось мести улицы в Ирландии, вот и все. Полк уже давным-давно стоял в резерве. Подавляющее число солдат и низших чинов отбывали трех- и четырехлетнюю службу, унтер-офицеры все были не старше тридцати лет, сержанты и солдаты, похоже, забыли о тех славных боевых эпизодах из жизни полка, что были упомянуты на знаменах, на новых знаменах, получивших благословение архиепископа в Англии перед выступлением полка.

Они хотели идти на фронт — буквально рвались, они ведь не знали, что за штука — война, а просветить их было некому. В полку их были ребята в основном с образованием, количество аттестатов зрелости было очень даже внушительным, и большинство обучены были не только грамоте. Их взяли в армию, строго соблюдая принципы территориального набора, но они-то сами не имели никакого понятия об этом. Призвали их из перенаселенного фабричного района. Их слабые кости обросли плотью и мускулами на армейских харчах, но мужества они не обрели, ведь их предки из поколения в поколение тянули лямку каторжного труда за ничтожную плату, потели в сушилках, гнули спину над ткацкими станами, кашляли и задыхались от запаха свинцовых белил и мерзли на баржах с известью. Солдаты отъелись и отдышались в армии и теперь собирались бить «черномазых» — тех, на кого стоит замахнуть палкой, как они тут же драпают. Вот почему солдаты с восторгом встретили весть о войне, а жуки унтер-офицеры уже подсчитывали, как они нагрют себе руки

на предстоящих военных операциях. В штабе говорили:

— «Передовой, боеспособный» много лет не был под огнем. Пусть сначала их бросят на охрану коммуникационных линий.

Так бы и поступили, если бы британские полки не нужны были бы — до разреза нужны — на фронте, потому что находились там ненадежные местные силы, которым под силу были только мелкие боевые операции.

— Соедините их с двумя опытными полками, — приказали в штабе. — Им, конечно, поначалу несладко придется, но зато до конца войны выучат свое дело. Лучшая школа для солдата — ночные тревоги да пара-другая стычек с партизанами. Вот перережут полдюжине часовых глотки — сразу за ум возьмутся.

Полковник написал восторженный рапорт, что-де настроение у солдат отличное, все в полной боевой готовности и отличной форме. Майоры радостно улыбались, субалтерны парочками вальсировали в офицерской столовой после ужина и чуть не перестреляли друг друга, тренируясь в стрельбе из револьверов. Но в душах Джейкина и Лью царило смятение. А как с барабанщиками? Возьмут ли оркестр на фронт? Сколько барабанщиков пойдет с полком?

Они держали совет, забравшись на дерево и покуривая.

— Неужели они оставят нас в лагере с бабами?! Хотя тебе-то это по вкусу, — съехидничал Джейкин.

— Это ты, конечно, о Крис? Да что там баба, хоть целый лагерь баб, — разве с войной сравнишь! Ты же знаешь, я не меньше тебя хочу пойти воевать, — отвечал Лью.

— Эх, был бы я горнистом! — сказал с грустью Джейкин. — Они берут Тома Кида, да я его по стенке размажу, если нас не возьмут.

— Так пойдем отделаем этого гада, чтобы он не мог в трубу свою играть. Ты его поддержи, а я с ним разберусь, — сказал Лью, вертясь на суку.

— Ничего из этого не получится. Нет смысла, на нас и так бочки катят. Если они оставят оркестр в лагере, то мы никуда не пойдем, тут уж ничего не поделаешь. А если возьмут оркестр, нас могут забодать на медицинской комиссии. Ты годен, Поросенок? — спросил Джейкин, с силой пихнув Лью в ребра.

— Конечно, — ответил Лью и выругался. — Доктор

говорит, у тебя слабое сердце, потому что куришь на пустой желудок. Ну-ка, выпяти грудь, а я ударю.

Джейкин выставил грудь колесом, а Лью шваркнул что было сил. Джейкин побледнел, у него перехватило дыхание, он издал гулкий звук, заморгал глазами и сказал:

— Вот это да!

— Годишься, — сказал Лью. — Я слышал, можно умереть, если в грудь тебе саданут.

— Но от этого у нас не стало больше шансов попасть на фронт, — сказал Джейкин. — Не знаешь, куда полк посылают?

— Да Бог его знает. Куда-то на север, на фронт, бить пуштунов¹, волосатых мужиков, — говорят, попадешься к ним в лапы, выпотрошат из тебя все потроха. А вот бабы у них ничего.

— Есть чем поживиться? — спросил отчаянный Джейкин.

— Ни черта, разве что пороешься в земле, поищешь, куда черномазые свой клад прячут. Нечем поживиться. — Джейкин выпрямился на суку во весь рост и посмотрел через луг. — Лью, — сказал он, — вон полковник идет. Хороший он старикан. Пойдем попросим его.

Лью чуть с дерева не слетел от такой наглости. Как и Джейкин, он не боялся ни Бога, ни черта, но даже смелость барабанщика имеет границы, а разговаривать с полковником — это уж слишком...

Но Джейкин слез с дерева и направился к полковнику. Тот шел, погруженный в мечты и размышления о наградах — об ордене Бани, да, даже об ордене Бани второй степени, разве он не достоин такой награды, ведь командует лучшим полком в армии — «Передовым, боеспособным»? И тут он увидел мальчишек, мчащихся ему навстречу. Только что ему доложили, что «барабанщики бунтуют», а Джейкин и Лью — зачинщики. Тут пахло организованным заговором.

Мальчишки остановились в двадцати шагах, прошли как полагается строевым шагом четыре шага, отдали честь одновременно, стройные, точно шомполы, только чуть-чуть повыше.

Полковник был в прекрасном расположении духа; мальчишки среди необъятной Долины казались такими потерянными и беззащитными, один из них к тому же был очень миленьким.

¹ Пуштуны — афганцы (то же, что патаны).

— Ну что? — спросил полковник, узнав их. — Собрались свести со мной счеты в открытом поле? Я ведь вас не трогаю, хотя, — он подозрительно потянул воздух, — сдается мне, что вы курили.

Надо ковать железо, пока горячо. Сердце отбивало дробь.

— Осмелюсь спросить, сэр, — начал Джейкин. — Полк отправляют на фронт, сэр?

— По-видимому, — любезно ответил полковник.

— А оркестр, сэр? — спросили мальчишки в один голос. И без паузы: — Мы ведь идем, правда?

— Вы?! — спросил полковник, отступив назад, чтобы лучше разглядеть две тщедушные фигурки. — Вы?! Да вы в первом же переходе умрете.

— Нет, сэр, нет! Мы можем куда угодно с полком идти — на парад и вообще всюду, — сказал Джейкин.

— А вот если Том Кид пойдет, то он как раз и согнется пополам, как складной нож, — сказал Лью. — У Тома плохие вены, скрученные, сэр.

— Что?

— Скрученные, сэр. Потому когда парад слишком долгий, они у него распухают, сэр. Если он может идти, то мы тем более можем, сэр.

Полковник обмерил их снова долгим, внимательным взглядом.

— Да, оркестр идет, — сказал он совершенно серьезно, словно обращаясь к своему коллеге-офицеру. — У кого из вас есть родители?

— Ни у кого, сэр, — радостно ответили Лью и Джейкин. — Мы оба сироты, сэр. О нас некому будет плакать, сэр.

— Ох и мелюзга, а туда же, на фронт с полком рвутся! Жить надоело?

— Я уже два года ношу королевский мундир, — сказал Джейкин. — Сами знаете, сэр, как тяжело не получать никакой награды за то, что свой долг честно исполняешь!

— А если я не пойду, сэр, — вмешался Лью, — капельмейстер, сукин сын, ой, простите, его благородие, сказал, что станет меня музыке и дальше учить. Я ведь так не успею пороха понюхать, сэр.

Полковник долго не отвечал. Потом сказал тихо:

— Если получите медицинское свидетельство, можете идти. На вашем месте я бы не курил.

Мальчишки отдали честь и исчезли.

Дома полковник рассказал про мальчишек жене, и она чуть не расплакалась. Полковник был доволен: если такое рвение у детей, что говорить о солдатах!

Джейкин и Лью отправились в свой барак, преисполненные собственного достоинства, и не вступали ни в какие разговоры со своими товарищами, по крайней мере, минут десять. Наконец Джейкин проговорил медлительно и важно:

— Я только что потолковал с полковником. Добряк этот полковник. Я ему сказал: «Полковник, пошли-те меня на фронт». — «Ты пойдешь на фронт, — сказал он мне, — я мечтаю об одном, чтобы побольше было таких, как ты, среди паршивых чумазных дьяволят, что бьют в барабаны». Кид, смотри, будешь задирааться, когда тебе правду говорят, у тебя ноги распухнут.

В казарме все-таки вспыхнула настоящая заваруха, потому что все мальчишки сгорали от зависти и ненависти, а Джейкину с Лью не хватало ума умерить свой гонор.

— Пойду попрощаюсь со своей девчонкой, — сказал Лью, подливая масла в огонь. — Чтоб никто к моему снаряжению не прикасался, оно понадобится мне на войне, меня туда полковник лично пригласил.

Он пошел к баракам для женатых и высвистывал из-за деревьев Крис, пока та не вышла к нему; сперва они поцеловались, потом Лью принялся излагать суть дела.

— Я иду на войну с полком, — важно сообщил он.

— Поросенок, ну что ты чепуху мелешь, — сказала Крис, хотя сердце у нее екнуло: ведь Лью никогда не врал.

— Сама молоть горазда, — сказал Лью, обнимая ее. — Я иду на фронт. Когда полк выступит, увидишь меня в строю. Посмотришь, как мы весело вышагиваем. По этой причине ты мне задолжала поцелуй, Крис.

— Остался бы в лагере, где тебе на самом деле надо быть, получал бы от меня сколько душе твоей угодно поцелуев, — проговорила Крис, подставляя губки.

— Мне трудно расставаться с тобой, Крис. Поверь, трудно. Но это единственный выбор для мужчины. А останься я в лагере, ты бы и думать обо мне забыла.

— Не забыла бы, наверно, просто, Поросенок, мне хочется, чтобы ты рядышком был. А потом лучше целоваться, чем думать о тебе.

— Лучше медаль на войне получить, чем целоваться, и носить ее на груди.

— Не получишь ты никакой медали!

— Нет, получу. Из барабанщиков только нас двоих берут на фронт. А остальные — все взрослые солдаты, так что и мы с ними вместе получим медали.

— Неужели они никого другого не могут взять вместо тебя, Поросенок? Убьют ведь тебя, ты же такой отчаянный. Поросеночек, родненький, останься лучше со мной, в лагере. Я тебя до гробовой доски любить стану.

— А сейчас что тебе мешает, Крис? Ты же говорила, что любишь.

— Конечно, конечно, люблю. Очень даже. Подожди, пока подрастешь, Поросеночек. Ты ведь ниже меня ростом.

— Я уже два года в армии и не собираюсь отсиживаться в тылу, не отговаривай меня. Я вернусь, когда стану взрослым, и женюсь на тебе, женюсь, как только рядового получу.

— Обещаешь, Поросенок?

Лью размышлял о будущем, о котором совсем недавно рассказывал Джейкин, но губки Крис были так близко!

— Обещаю, с Божьей помощью так и будет! — сказал он.

Крис обняла его.

— Больше не буду тебя удерживать, Поросенок. Ступай получай свою медаль, а я сошью тебе кисет, постараюсь покрасивей его сделать, — прошептала она.

— Положи в него свой локон, Крис, я не расстанусь с ним до самой смерти.

Крис снова заплакала, и свидание их закончилось.

Мальчишки-барабанщики завидовали Джейкину и Лью лютой завистью, так что их жизнь стала невыносимой. Мало того что тех зачислили на действительную службу на два года раньше положенного — в четырнадцать лет, но еще, точно в награду за юный возраст, разрешили идти на фронт, а такого на их памяти никогда не случалось ни с одним барабанщиком. Число музыкантов в оркестре, который должен идти с полком, было доведено до двадцати человек, остальных перевели в другие роты рядовыми. Джейкина и Лью взяли сверх этой нормы, хотя они предпочли бы оказаться среди горнистов.

— Да ладно уж, — сказал Джейкин после медкомиссии, — спасибо хоть вообще взяли. Доктор говорил,

что раз мы после драки с сыном базарного сержанта живы остались, теперь нам ничего не страшно.

— Конечно, ничего, — поддакнул Лью, с нежностью разглядывая кое-как сшитый неумелой рукой Крис кiset, на котором красовалась неуклюжая, раскосая буква «L», с запятанным в него локоном.

— Лучше не получилось, — всхлипывала она. — Я не хотела, чтобы мне мама или офицерский портной помогали. Береги его, Поросенок, и помни, что я тебя очень люблю.

Они шли строевым шагом на железнодорожную станцию — девятьсот шестьдесят здоровых парней, все местные высыпали поглазеть на них. Барабанщики скрежетали от злости зубами, глядя, как маршируют Джейкин и Лью с оркестром, замужние женщины плакали на платформе, а солдаты до одури кричали «ура».

— Парни все как на подбор, — говорил командир своему помощнику, наблюдая, как рассаживаются в поезде первые четыре роты.

— Да, такие не подведут, — с энтузиазмом ответил помощник. — Вот только молоды, по-моему, еще, да и для дела такого слабоваты. Холодно сейчас в тех краях.

— Ничего, справятся, — сказал полковник. — Надо позаботиться, чтоб они не разболелись.

Итак, они ехали на север, все дальше и дальше на север, мимо бесконечных верблюжьих караванов, мимо войсковых обозов, мимо огромных гуртов груженных мулов; в поезде день ото дня прибывало людей, пока паровоз не втащил их наконец с пронзительным свистом на станцию, где был затор, — сходились шесть временно проложенных железнодорожных путей, тут скопилось шесть составов по сорок вагонов; надрывались гудками паровозы, обливались потом бабу, чертыхались от зари до глубокой ночи дежурные офицеры, кружили в воздухе клочки сена, непрерывно ревело тысячеголовое стадо волов.

— Скорее, скорее, ребята! Вас заждались на фронте! — такими словами встречали «Передовой-тыловой», то же самое твердили и пассажиры вагонов «Красного Креста».

— Не такие уж там страшные бои, — вздыхал кавалерист с перебинтованной головой, на которого с восхищением смотрели солдаты из «Передового-тылового». — Не такие уж там страшные бои, хотя враг о себе все время напоминает, а вот жратва и погода — никуда не год-

ные. Ночами холодина, а то бывает, град сыплет, все дни напролет солнце шпарит, а вода такая вонючая, что с ног сшибает. Меня вон наголо остригли, голова как яйцо стала, еще угораздило — воспаление легких подхватил, и несет, спасу нет. Скажу вам, ребята, края не для пикников.

— Какие там черномазые? — спросил один солдат.

— Вон в том поезде везут пленных, пойдн глянь. Это — их знать. А простолюдины еще страшнее. Если хотите узнать, каким оружием они сражаются, у меня под скамейкой длиннущий нож, вытяните его оттуда.

Они вытащили устрашающий трехгранный афганский кинжал с костяной рукояткой. Длинной он был почти с Лью.

— Вот этим ножичком они вас и пропорют, — сказал тихо кавалерист. — Им запросто можно отхватить руку от плеча, все равно что кусок мыла пополам разрезать. Я зарубил одного болвана, который с таким ножом шнырял, надвое; но их ого-го сколько! В открытую атаку не ходят, но колоть — мастера!

Солдаты перешли через пути — посмотреть пленных афганцев. Эти огромные, черноволосые, мрачные сыновья Израиля не были похожи на черномазых, каких солдатам «Передового-тылового» доводилось раньше видеть. Солдаты принялись разглядывать афганцев, а те, поплеывая и опустив глаза, о чем-то глухо переговаривались.

— Ну и рожи! Глаза бы не глядели! — сказал Джейкин, завершающий процессию. — Эй, старикан, как это тебя загребли? Благодарн Бога, что тебя сразу не повесили, с такой-то рожей!

Самый громадный пленный повернулся, гремя ножными кандалами, и уставился на мальчишку.

— Гляди-ка, — крикнул он своим товарищам на пушту, — они посылают воевать с нами детей! Ну и народ, ну и дураки!

— Эге! — закивал весело Джейкин. — Это вас на юг везут! Там вам и кхана¹ дадут, и пеникапани² дадут, заживете кемарфик³ раджи. Это получше, чем у себя дома на штык налетать! Прощай, старина, береги свои мускулы и смотри куши⁴.

¹ Дом.

² Питье.

³ От «кемаори» — по сравнению, все равно что.

⁴ Радостно.

Солдаты посмеялись, потом их построили, и они продолжили свой первый переход; теперь им уже было ясно, что армейские будни — не мед. Их пугал зверский вид черномазых великанов, они узнали, что это — патаны, не веселее было на душе и от всего остального: погоды, и кормежка, и прочее становилось все хуже и хуже. Окажись с ними человек двадцать бывалых солдат, они бы научили их, как устраиваться на ночлег, но они (как кто-то сказал в другом полку) «жили точно свиньи». Надо было привыкать к вареву, которое стряпали в походных кухнях, от него просто с души воротило, привыкать к верблюдам, к убогим палаткам, к злобным мулам. Они пили тухлую воду, и несколько человек заболело дизентерией.

К концу третьего перехода случилась еще одна неприятная неожиданность: сплюснутая, выпущенная неприятелем из засады в ярдах семистах свинцовая пуля угодила в голову солдату, сидевшему у костра. Пуля была первой, потом начался обстрел, они всю ночь не сомкнули глаз, неприятель эту цель и преследовал. А днем они ничего не могли обнаружить, кроме подозрительных облачков над грядой, тянущейся вдоль их пути. По ночам вдали вспыхивали огоньки и гремели выстрелы, и все начинали палить в темноту, попадая иногда в соседние палатки. Было уже несколько убитых. Ребята чертыхались, приговаривая, что, может, зрелище это и клевое, но войной его никак не назовешь.

Действительно, войны не было. Полк не мог оставаться и вступать в перестрелку с небольшими группами туземцев. Он обязан был двигаться вперед для соединения с частями шотландских и гуркхских¹ подразделений, к которым их прикомандировали. Афганцы знали это; после первой пробной вылазки они также поняли, что имеют дело с новичками. Вот они и решили держать «Передовой-тыловой» в постоянном напряжении. С вольнонаемными войсками, с хитрыми маленькими гуркхами они ни за что не позволяли себе таких проделок — гуркхи любили устраивать засады в темноте; афганцы не позволили бы себе такого и с внушающими страх, огромными мужчинами в юбках, которые, стоя ночью в дозоре, громко молились, чье спокойствие нельзя было нарушить никакой стрельбой, или с мерзкими сикхами, которые шли с беспечным видом,

¹ Гуркхи — непальцы; входили в британскую армию.

но стоило кому-нибудь попытаться напасть на них, так ему надолго охоту отбивали. А эти белые были другими, совсем другими. Они спали, будто боровы, беспробудным сном и бросались врассыпную, когда их будили. Часовые передвигались так шумно, что слышно было за четверть мили, стреляли без разбору во что ни пошло — даже в подгоняемого осла, а уж коли начинали пальбу, так буквально всем полком, причем им приказывали располагаться так, что стрелять им приходилось против утреннего солнца. К тому же в полку было много прислуги, те частенько отставали, а вырезать отставших никакого труда не составляло. Крики и вопли несчастных пугали белых солдат, а чем меньше оставалось прислуги, тем становилось труднее.

Так, с каждым переходом невидимый враг становился все наглее, полк корчился и содрогался под его ударами, а отомстить было не под силу. И уж полного торжества добился неприятель, когда однажды ночью подрезал веревки на палатках; пропитанная влагой парусина рухнула, солдаты вопили и барахтались под ней. А афганцы тем временем орудовали своими ножами. Да, это был блистательный план, прекрасно исполненный и окончательно выбивший из колеи солдат «Передового-тылового». Мужество свое они смогли проявить только среди ночи, но и на это их не хватило, — они своих постреляли да окончательно сна лишились.

Мрачные, недовольные, озябшие, одичавшие, хворые, в грязных, разорванных мундирах — такими присоединились к бригаде солдаты и офицеры «Передового-тылового».

— Слышал, досталось вам на переходах, — сказал бригадный командир.

Но, едва увидев списки раненых, он изменился в лице. «Плохи дела, — подумал он. — Они превратились в стадо овец». И сказал полковнику:

— Боюсь, мы не сможем дать вам оклематься. Нам нужны все наличные силы, в противном случае мы дали бы вам дней десять на пополнение.

Полковника передернуло.

— Клянусь честью, сэр, — возразил он, — нет никакой надобности щадить нас. Мои люди немного подавлены, потому что им не удалось отомстить за себя. Они спят и видят встретиться с врагом лицом к лицу.

— Не жду ничего путного от «Передового-тылового», — доверительно сказал бригадный командир свое-

му майору. — Они и на солдат-то не похожи, всю выучку растеряли. У них такой вид, будто они прошли всю страну из конца в конец. Первый раз вижу таких измученных солдат.

— Не беда, примутся за дело — оправятся. Маленько парадный лоск поблек, а боевую закалку они еще успеют приобрести, — сказал бригадный майор. — Их потрепали, конечно, но они вроде не осознают этого.

Они в самом деле не осознавали. Их все время били, били жестоко, вероломно, непривычным для них оружием. К тому же на них наваливались разные хворобы, уносившие в могилу прежде сильных и крепких парней. Но что самое ужасное — офицеры знали страну так же плохо, как солдаты, хотя притворялись, что знают. «Передовой-тыловой» был в жутком состоянии, но верил, что докажет свое мужество, как только он встретится с врагом в открытом бою. Пальба наугад не приносила успеха, а пустить в ход штыки не было случая. Пожалуй, это было и к лучшему. Долговязые афганцы, вооруженные ножами, могли поразить неприятеля и в восьми футах, и каждый из них мог покалечить трех англичан. «Передовой-тыловой» жаждал встретить врага дружным залпом из всех семисот стволов. Это желание определяло их настрой.

В лагерь пришли гуркхи и, коверкая солдатский жаргон, пытались завязать с ними разговор, предлагали им трубки и табак, приглашали выпить. Но солдаты «Передового-тылового», не зная нрава гуркхов, обращались с ними, как с черномазыми, и маленькие гуркхи в зеленых мундирах ретировались к своим надежным друзьям шотландцам; они, посмеиваясь, делились с ними:

— Этот проклятый белый полк никуда не годен. Солдаты злые, грязные, кошмар! Эй, плесни для Джонни!

Шотландцы похлопывали гуркхов по голове и внушали им, что те не должны позорить британский полк, а гуркхи только широко ухмылялись в ответ, — ведь шотландцы были для них старшими братьями и имели полное право на такую вольность. Любому другому не сносить бы головы, если б он посмел хоть пальцем тронуть гуркха.

Через три дня бригадный командир провел настоящий бой — по всем правилам военной науки, с учетом, естественно, афганского темперамента. Афганцы теснились на невыгодных позициях среди холмов, в воздухе поплыли зеленые знамена, — на помощь регуляр-

ным войскам афганцев пришли племена туземцев. Кавалерийские подразделения бригады состояли из полуторного эскадрона бенгальских улан, а артиллерия, находящаяся в личном распоряжении генерала, — из двух нарезных орудий, взятых напрокат у частей, дислоцирующихся в тридцати милях.

— Если они устоят, а я почти уверен в этом, у нас есть шанс понаблюдать за поединком пехотинцев. Будет на что посмотреть, — сказал бригадный командир. — Мы проведем его по всем правилам науки. Каждый полк выступит со своим оркестром, а кавалерию попридержим в резерве.

— И это весь резерв? — спросил кто-то.

— Да, потому что мы должны сразу смять неприятеля, — ответил бригадный — он избегал стандартных решений и не верил в возможности резервных сил в сражениях против азиатов.

И в самом деле, призадумайтесь — если бы во всех мелких стычках британская армия ожидала подкрепления, граница нашей Империи пролегла бы не дальше Британского побережья.

Бой был задуман блестяще.

Три полка, выйдя из трех ущелий, заняв заранее три высоты, должны были в центре ударить по так называемой афганской армии, а потом спуститься вниз, на край плоскодонной долины. Таким образом будет ясно, что три стороны должны практически принадлежать англичанам, а только четвертая — безусловно, афганское владение. В случае поражения афганцы могут ринуться вверх по холмам, откуда туземные племена прикроют огнем их отступление. В случае победы эти же племена обрушатся сверху на англичан и довершат их разгром.

Пушки должны были вести обстрел по передовым рядам афганцев во время очередного наступления, а кавалерии, стоявшей в резерве в долине справа, предстояло довершить массированную атаку. Бригадный командир, взирая со скалы на долину, сможет следить за битвой, разворачивающейся под ним. «Передовой-тыловой» выйдет из центрального ущелья, гуркхи — из левого, а шотландцы — из правого; по мнению командующего, левое крыло врага требовало большей ударной силы. Не каждый день афганцы принимали открытый бой, и бригадный командир был преисполнен решимости не упустить подобного случая.

— Побольше бы нам людей, — говорил он, — мы бы окружили врага и уничтожили. А так, боюсь, максимум, что нам удастся, — посечь их, когда они побегут. Жаль, конечно.

«Передовой-тыловой» наслаждался полным покоем пять дней, даже начал помаленьку приходить в себя, хотя и не избавился полностью от дизентерии. Но солдаты особенно не радовались, потому что недостаточно хорошо знали, какова их задача и справятся они или нет. В эти пять дней бывалые солдаты могли бы их подучить уму-разуму, но время ушло на обсуждение злоключений, что выпали на их долю, — вспоминали, как один солдатик был еще живой на рассвете, а до темноты его не стало, как другой вопил и метался под афганским ножом. Смерть была чем-то неведомым, ужасным для этих сыновей механиков, привыкших к тому, что люди умирают своей смертью, от заразных болезней, у себя в постели, а то, что их долго держали в казармах, не уменьшало этого ужаса.

На рассвете затрубили трубы, и «Передовой-тыловой», объятый преждевременным энтузиазмом, выстроился, не дожидаясь завтрака, за что и был проучен: его заставили мерзнуть под ружьем, пока другие полки не торопясь готовились к сражению. Все знают, что бесполезно раздевать шотландца. Тем более глупо заставлять его торопиться, если он не убежден, что в этом есть необходимость.

«Передовой-тыловой» ждал, опершись о винтовки и прислушиваясь к протестующему бурчанию голодных желудков. Полковник, как только до него дошло, что наступление начнут позже, из кожи вон лез, чтобы исправить свою оплошность, он распорядился приготовить кофе, но тут как раз все двинулись в путь во главе с оркестром. И опять осечка: «Передовой-тыловой» оказался в долине на десять минут раньше назначенного срока. Оркестр свернул направо, дойдя до открытой местности, и укрылся за небольшой скалой, продолжая играть, пока полк следовал мимо.

Для неопытного глаза зрелище было не из приятных: внизу, в долине, расположилась армия из нескольких действующих, всамделишных полков — солдаты все в красных мундирах и с винтовками, заряженными — в этом не стоило сомневаться! — пулями «мартини-генри», которые взрывают землю на сотню ярдов перед передовой ротой. Солдатам предстояло пройти по этой изреше-

ченной земле, после чего они открыли бал дружным и глубоким поклоном под напевы свистящих пуль, они сделали это так дружно, будто все были посажены на один вертел. Мало что соображая, солдаты дали другой залп, машинально прижав приклады к плечу и нажав на спусковой крючок. Шальные пули, может, и попадали в часовых на холмах, но враг перед ними оставался невредимым, к тому же пальба заглушала приказы, которые давали командиры.

— Господи! — сказал бригадный командир, восседавший высоко над ними. — Этот полк испортил всю обедню. Поторопите остальных, пустите в ход пушки!

Но пушки, обрабатывая вершины, держали огонь на небольшом глиняном укреплении, похожем на осинное гнездо; они без передыху его обстреливали с расстояния в восемьсот ярдов, подвергая испытанию мужество его защитников, никогда не подвергавшихся обстрелу из оружия с такой дьявольской точностью.

«Передовой-тыловой» продвигался вперед, но не так прытко. Где другие полки и откуда это у чернокожих пули «мартини»? Они инстинктивно повиновались односложным командам, ложась и стреляя наобум, перебежали несколько шагов и снова ложились, все строго по уставу. Находясь в этой массе, каждый ощущал себя чертовски одиноко, жался к своему товарищу, ища у него утешения.

Услышав рядом, возле самого уха, выстрел из соседнего ружья, он немедленно тоже стрелял, опять-таки ища утешения в шуме. Воздаяние не заставило себя ждать. После пяти залпов шеренги солдат обволокло непроницаемым дымом, пули взрывали землю в двадцати — тридцати ярдах перед стрелками, потому что тяжелый штык тянул винтовку вниз, а руку, не справляющуюся с отдачей, уводило вправо. Ротные командиры беспомощно вглядывались в дым, а те, у кого нервы послабее, механически пытались отогнать его шлемом.

— Вверх и влево! — до хрипоты надрывался капитан. — Прекратите! Прекратите палить, пусть дым немного рассеется!

Несколько раз горнисты призывали к порядку, наконец солдаты повиновались; они были уверены, что увидят перед собой груды вражеских тел, но легкий ветерок развеял дым: враг, целый и невредимый, оставался на прежних позициях. Совсем рядом, судя по

изрешеченной земле, была погребена добрая четверть тонны свинца.

Но солдаты не падали духом. Они ждали, пока уляжется безумная суматоха, и спокойно стреляли в гущу дыма. Один рядовой «Передового-тылового» на глазах у товарищей с душераздирающими предсмертными криками в мгновение ока отправился в мир иной, другой, задыхаясь, бился о землю, а третий, с разорванным пулей животом, молил товарищей о помощи. Смотреть на страдания этих несчастных и слышать их крики было невозможно. Дым сменился бледным туманом.

Вдруг неприятель принялся вопить, от армии отделилась масса — черная масса — и с невероятной быстротой покатила по земле. Впереди — человек пятьдесят, готовых погибнуть, но не сдаться, за ними — человек, должно быть, триста, которые тоже готовы были орать, стрелять и рубить врага. Пятьдесят человек были гази¹ — мусульмане, одуревшие от наркотиков религиозные фанатики. Когда они бросились в атаку, британские солдаты перестали стрелять и, по команде сомкнув ряды, встретили их штыками.

Бывалый солдат объяснил бы «Передовому-тыловому», что гази надо встречать дружными залпами, потому что человек, решивший умереть, мечтающий умереть, верящий, что после смерти попадет на небеса, в девяти случаях из десяти при сближении убьет своего противника, который не может избавиться от такого предрассудка, как любовь к жизни. Когда надо было сомкнуть ряды и идти вперед, «Передовой-тыловой» развертывал линию и завязывал перестрелку, а когда надо было развернуться и открыть огонь, он смыкал ряды и ждал.

Если человека полусонным стянуть с постели да к тому же еще и не покормить, настроение у него ниже среднего. Не повеселеет он и при виде трехсот шестифутовых великанов с выпученными глазами и с пеной на бородах, угрожающе орущих и размахивающих трехфутовыми ножами.

«Передовой-тыловой» слушал, как трубят горны гуркхов, — они двигались ускоренным шагом, — а слева трубили рожки шотландцев. Солдаты старались держать линию, хотя штыки качались, точно весла. И вот враг подошел вплотную, началась рукопашная; тут-то «Пере-

¹ Гази — мусульмане, участники походов против неверных.

довой-тыловой» на собственной шкуре узнал, до чего силен и вынослив противник; схватка эта закончилась криками и стенаниями, а уж что натворили ножи — лучше не вспоминать. Солдаты устроили свалку, рубили без разбору, прикончили немало своих же. Строй смялся, как бумага, пятьдесят гази прорвались вперед, за ними — остальные, опьяненные победой и потому дравшиеся с такой же яростью, как и те.

Раздался приказ сомкнуть задние ряды, субалтерны одни, без рядовых, бросились в самую гущу. В задних рядах слышны были крики, вопли, стоны, долетавшие из передних, солдат бил колотун при виде темной густой крови. Они не хотели больше оставаться здесь. Надо офицерам — сами пусть лезут в пекло, а они лучше уберутся подальше от неприятельских ножей.

— Вперед! — кричали субалтерны, а солдаты, проклиная их, бежали назад, натываясь друг на друга.

Чартерис и Девлин, субалтерны последней роты, уверенные, что их солдаты следуют за ними, встретили свою смерть в полном одиночестве.

— Вы убили меня, трусы! — зарыдал Девлин и рухнул, рассеченный от плеча до середины груди, а горстка солдат, отступая в панике, затоптала его.

Я чмокал ее в кухне и в зале чмокал жарко.

Детки, делайте, как я!

— Он всех нас чмокать будет? — промолвила кухарка.

Алли-Алли-Алли-Аллилуйя.

Гуркхи трусцой вырывались из левого ущелья и спускались с холмов вниз на зов полкового оркестра, наигрывавшего марш. Черные горы увенчали темно-зеленые мундиры, торжественные звуки горнов оглашали окрестности:

На рассвете! На рассвете рано утром,

Когда Гавриил играет на трубе рано утром.

Последние роты гуркхов спустились вниз, спотыкаясь о торчащие камни. Передние остановились на миг — окинуть взглядом долину и подтянуть потуже шнурки на ботинках. И вот легкий вздох облегчения пробежал по рядам, будто земля улыбнулась, — внизу был враг, а гуркхи так торопились встретить его! Тучи вражеских солдат, будет пожива!

Низенькие гуркхи сжимали свои кукри¹ и, оскалившись, точно терьеры, которые ждут, когда им бросят

¹ Кукри — кривые ножи непальцев.

камень, чтобы принести его хозяину, нетерпеливо поглядывали на своих офицеров. Они остановились на спуске в долину, представшее им зрелище восхитило их. Они присели на валуны и любовались этим зрелищем, их офицеры не торопились на помощь «Передовому-тыловому», схватившемуся с мусульманами-фанатиками больше чем в полумиле от них. Пускай белые сами отступают.

— Ого! — выкрикнул субадар-майор, обливаясь потом. — Вот идиоты, сомкнули ряды! Не смыкаться надо, палить надо!

С ужасом, изумлением и гневом гуркхи наблюдали за (скажем помягче) отступлением «Передового-тылового», в его адрес сыпались проклятья и насмешки.

— Драпают, белые-то драпают! Сахиб-полковник, можно мы тоже побежим? — бормотал старший джемадар Ранбир Таппа.

Но полковник вовсе не собирался торопиться.

— Пусть их, трусов, повырежут немного, — сказал он со злобой. — Так им и надо! Сейчас начнут. — Он увидел в полевой бинокль блеск офицерской сабли. — Офицеры плашмя саблей бьют проклятых новобранцев! До чего же легко газы проходят сквозь их ряды, — сказал он.

«Передовой-тыловой» бежал, увлекая за собой своих офицеров. Проход был очень узким, солдаты сгрудились в нем, в задних рядах раздался робкий залп. Мусульмане приостановились, потому что не знали, какой резерв укрыт в ущелье. К тому же глупо слишком далеко преследовать белых. Они возвращались назад, как волки в свое логово, довольные, что пустили врагу столько крови, останавливались прикончить раненого, распростертого на земле. «Передовой-тыловой» отступил на четверть мили и сейчас, стиснутый узким ущельем, корчился от боли и страха, а офицеры, вне себя от отчаяния, били солдат рукояткой и тупой стороной сабли.

— Назад! Назад, бабы трусливые! Развернуться! Построиться в ряды, собаки! — кричал полковник, а субалтерны костерили всех и вся.

Но полк спешил уйти — куда глаза глядят, лишь бы спастись от этих безжалостных ножей. Люди метались в разные стороны, сбитые с толку, вопили, справа гуркхи с большого расстояния стреляли прямо по толпе газы, возвращавшихся к своим войскам.

Оркестр «Передового-тылового» бежал при первом же натиске, хоть и притаился в стороне от прямого огня, под надежным прикрытием скалы. Джейкин и Лью тоже бежали, но ноги у них были коротки — мальчишки не поспевали за взрослыми и отстали ярдов на пятьдесят, а когда оркестр в страхе смешался с полком, они с ужасом поняли, что они в хвосте — вокруг никого, помочь никому!

— Бежим назад, за скалу! — выдохнул Джейкин. — Там нас не увидят.

И они вернулись к валявшимся на земле музыкальным инструментам, сердце бешено колотилось, вот-вот выпрыгнет из груди.

— Видал? — сказал Джейкин, бросаясь на землю и вытягиваясь во весь рост. — Ничего себе британская пехота! Вот дьяволы! Смылись и бросили нас. Что делать-то будем?

Лью подобрал брошенную кем-то флягу с ромом и стал тянуть из нее, пока не закашлялся.

— На, пей, — коротко бросил он. — Сейчас вернутся, вот увидишь.

Джейкин стал пить, но полк не возвращался. Они слышали глухой шум откуда-то с дальнего края долины, видели, как отступали мусульмане, ускоряя шаг, стараясь ускользнуть от пуль гуркхов.

— Только мы в оркестре остались, прикончат нас, как пить дать, — сказал Джейкин.

— Подумаешь, наплевать! — сказал Лью заплетаящимся языком, играя своей тонкой саблей барабанщика. Хмель ударил ему в голову, Джейкину тоже.

— Постой! Есть выход поумнее, чем в пекло лезть, — сказал Джейкин, осененный под действием рома блестящей идеей. — Заставим этих трусов вернуться. Подлюки патаны далеко. Пошли, Лью! Нас не ранят. Бери флейту, а мне давай барабан. Старый марш для тебя как раз подойдет! Вон наши уже возвращаются. Стой прямо, пьяный болван! Направо-о, кру-гом, шагом марш!

Он перекинул через плечо ремень от барабана, вручил Лью флейту, мальчишки вышли из своего укрытия на открытое место и принялись, нещадно перевирая, играть начало «Британских гренадеров».

Лью был прав — несколько человек из «Передового-тылового» возвращались назад — униженные и

мрачные, подгоняемые пинками и проклятиями офицеров; их красные мундиры мелькали на краю долины, за спинами блестели штыки. Но между этой неровной линией солдат и неприятелем, который со свойственной афганцам подозрительностью решил, что, раз британские солдаты так стремительно отступают, значит, они приготовили ловушку, — на полмили тянулась земля, усеянная телами раненых и убитых.

Музыка оглашала долину, мальчишки шли плечом к плечу. Джейкин наяривал на барабане. Одинокая флейта пела тоненько и жалобно, но звуки ее неслись далеко, достигая даже гуркхов.

— Двигайте сюда, собаки! — бормотал Джейкин. — Нам что, прикажете вечно играть?

Лью смотрел прямо перед собой, маршируя куда более твердым шагом, чем на параде.

И злой насмешкой над отдаленной толпой звучал мотив старой боевой песни, пронзительной и громоподобной:

Великий Александр,
Великий Геркулес,
И Гектор и Лисандр,
Чья слава до небес.

Гуркхи начали хлопать в ладоши, шотландцы одобрительно закричали, но ни одного выстрела не последовало ни с английской, ни с афганской стороны. А две маленькие красные точки двигались неуклонно по направлению к неприятелю.

Но кто из тех героев
Вступить посмеет в спор
С тобой ту-ру-ру-ру-ру,
Британский гренадер!

Солдаты «Передового-тылового» сгрудились у входа в долину. Бригадный командир наблюдал со своей высоты в безмолвной ярости. И по-прежнему никакого движения со стороны неприятеля. Казалось, все в природе замерло, наблюдая за детьми.

Джейкин остановился и принялся выбивать на сбор, а флейта безнадежно молила:

— Напра-во, кру-гом, марш! Держись, Лью, а то совсем охмелел, — сказал Джейкин.

Они развернулись и пошли назад.

Никто из них не ведал
Про пушечный обстрел.
Кто пороха не нюхал...

— Идут! — сказал Джейкин. — Вперед, Лью!

Врага не одолел!

«Передовой-тыловой» разлился по долине. Никто никогда не узнает, что кричали офицеры в то позорное, унижительное мгновение, потому что ни офицеры, ни солдаты об этом теперь не вспоминают.

— Они опять идут! — закричал афганский мулла. — Не убивайте детей! Возьмем их живыми, обратим в нашу веру.

Но раздался первый залп, и Лью упал навзничь. Джейкин постоял с минуту, крутанулся и тоже рухнул, а «Передовой-тыловой» двинул в наступление под градом проклятий офицеров, сгорая от стыда и позора.

Многие в полку видели, как умирали барабанщики, но не подали виду. Они даже не кричали. Они шли, ряд за рядом, по долине, в полной боевой готовности, не стреляя.

— Вот это, — тихо сказал полковник гуркхов, — настоящая атака, давно бы так! Пошли, дети мои!

— Улу-у-у-лу! — завизжали гуркхи и побежали с горы, весело позвякивая своими кукри, этими жуткими ножами.

А справа все было спокойно, — шотландцы, благо-разумно доверяясь воле Господней (потому что мертвецу безразлично, где его убьют — в пограничной стычке или при Ватерлоо), развернули свои ряды и открыли огонь, как у них заведено, то есть без ажиотажа и без перерывов, а пушки, уже разрушившие упомянутое выше нелепое глиняное укрепление, выпускали ядро за ядром в неприятеля, гроздьями облепившего вершины холмов под реющими зелеными знаменами.

— До чего ж надоело пушки заряжать! — пробормотал знаменосец шотландской роты, стоявшей справа. — Пушкарки всё проклинаят, но боюсь, придется им еще попотеть, если эти черные дьяволы не поддадутся. Стюарт, старина, не стреляй по воробьям, от них ведь никакого вреда королевской армии нет. По-ниже на фут и не так торопливо! Что это там англичане делают? Они почти в центре. Опять, что ли, драпают?

Англичане не драпали. Они кололи, резали, рубили, колотили, ибо белый редко может потягаться силой с афганцем в бараньей шкуре или в ватном халате, но когда жажда мести разгорается в его душе, а позади него

еще десятки собратьев, он на многое способен, пустив в ход оба конца своего оружия. Солдаты «Передового-тылового» стреляли только тогда, когда пулей можно было наверняка уложить пять или шесть человек, и афганцы стали отступать под орудийными залпами. Солдаты намечали своих жертв и справлялись с ними, задыхаясь и кашляя; кожаные пояса хрустели и стонали на стиснутых ими телах; солдаты впервые поняли, что афганцы, которых атакуешь, не такие свирепые, как те, что сами атакуют, бывалые-то солдаты это прекрасно знали.

Но в их рядах не было бывалых солдат.

У стойки гуркхов на этом базаре было больше всего шума, потому что они пустили в ход свои кукри, которые предпочитали штыкам, — шум стоял, как на скотобойне; они-то знали, до чего афганцы боятся клинков в форме полумесяца.

Афганцы стали отступать, и на горных вершинах зашевелились зеленые знамена и потекли им на помощь. Глупо. Уланы из правого ущелья рвались в атаку, они три раза высылали на разведку своего единственного субалтерна. В третий раз пуля оцарапала ему колено, и он вернулся, ругаясь на хиндустани, и доложил, что пора выступать. И эскадрон рванулся вперед, обогнув шотландцев справа, на кончиках их пик зло посвистывал ветер, уланы обрушились на остатки неприятеля, хотя, согласно правилам военной науки, им следовало бы подождать, когда враг обратится в бегство.

Но то была изящная атака, красиво исполненная; кончилась она тем, что кавалерия оказалась у прохода, который афганцы наметили для отступления; следом за уланами устремились два подразделения шотландцев, что вовсе не входило в планы бригадного командира. Но подобный ход событий способствовал успеху дела. Враг был отрезан от своей основной позиции, как губка от скалы, он метался под огнем по долине смерти. И как губка болтается на воде в ванне по воле руки купающегося, так и афганцев гнали вдоль долины, пока они не рассыпались на горстки, с которыми куда труднее совладать, чем с большим скоплением людей.

— Смотрите! — говорил бригадный командир. — Все идет по моему плану. Мы отрезали их от основной позиции, а сейчас справимся.

Максимум, на что мог рассчитывать бригадный командир, принимая во внимание силы, какими они рас-

полагали, был прямой удар по солдатам, которым суждено выстоять или погибнуть из-за ошибки в расчетах враждующих сторон, надо простить их стремление довериться случаю. Афганцы стремглав бежали врассыпную. Бежали, как бегут измученные, обессиленные волки, рыча и огрызаясь. Красные уланы разбились по двое и по трое, с пронзительными криками подымали они свои пики; пики торчали, как мачты над штормовым морем, пока всадники прочищали себе путь к цели. Уланы неслись в погоне за добычей к крутым холмам, потому что афганцы пытались вырваться из долины смерти. Шотландцы отпускали беглецов шагов на двести, а потом, прежде чем те добирались до спасительных камней, настигали их и сбивали с ног, задыхающихся в предсмертных судорогах. Гуркхи шли следом, но солдаты «Передового-тылового» сами расправлялись с неприятелем, с теми, кого они прижали к холмам, их ватные халаты загорались от пуль.

— Нам не удержать их, капитан-сахиб! — выдохнул уланский офицер. — Разрешите пустить в дело карабины. Пики — дело хорошее, только уж больно долго с ними возиться.

Они взялись за карабины, враг по-прежнему таял, сотнями разбегаясь по холмам, и не под силу было справиться с беглецами двумя десятками пуль. Пушки в горах смолкли — иссякли снаряды, бригадный сокрушался, что не хватает пуль, чтобы окончательно добить отступающих. Задолго до того, как прекратилась пальба, санитары с носилками начали подбирать раненых. Бой окончился; если бы подоспело подкрепление, афганцы были бы стерты с лица земли. Но и теперь их потери составляли тысячи убитых, а там, где прошли солдаты «Передового-тылового», трупов была тьма.

Но полк не ликовал вместе с шотландцами, не предавался диким пляскам среди мертвых вместе с гуркхами. Солдаты, опершись на винтовки и вздыхая, хмуро смотрели на полковника.

— Ступайте в лагерь! Осрамились — дальше некуда. Идите, выхаживайте раненых. Больше вы ни на что не годны, — сказал полковник.

А ведь в течение последнего часа солдаты «Передового-тылового» совершили такое, о чем ни один смертный командир и мечтать не мог. Они понесли огромные потери, потому что у них не было никакой сноровки, но они действовали храбро, и это спасло их.

Юный и пылкий знаменосец, вообразивший себя героем, протянул свою фляжку шотландцу, у того во рту все пересохло.

— Я не пью с трусами, — ответил сухо еще более юный шотландец и, повернувшись к гуркху, сказал: — Глотка воды не найдется?

Гуркха усмехнулся и подал свою фляжку. Ребята из «Передового-тылового» смолчали.

Они вернулись в лагерь, подобрав убитых и раненых на поле боя, и только у бригадного, представлявшего, как через три месяца ему вручат орден, нашлось для них несколько теплых слов. Полковник был совсем убит, а офицеры смотрели мрачно и злобно.

— Что же, — сказал бригадный командир, — они ведь еще совсем зеленые, и ничего удивительного, что в какую-то минуту стали отступать в беспорядке.

— Святая Мария! — бормотал молоденький штабной. — Отступать в беспорядке! Да они во все лопатки драпали!

— Но ведь они вернулись. Мы все это видели, — старался утешить командир полковника, глядя на его землистое лицо, — а уж потом были просто молодцы. Правда молодцы. Я наблюдал за ними. Не принимайте все это так близко к сердцу, полковник. Как сказал один немецкий генерал о своих солдатах, их просто надо было обстрелять, всего-то.

А сам подумал: «После такого кровопускания их можно послать на что-нибудь стоящее. Отлично, что они все это испытали на собственной шкуре. Пули их еще пощекочут, потом их не удержишь. Бедолага полковник».

Остаток дня над холмами мигал гелиограф, сообщая о победе штабным в горах в сорока милях. А вечером прикатил потный, пыльный, усталый корреспондент, который сбился с пути, спешил на пожар в какой-то деревушке, — он узнал о разыгравшемся сражении, находясь далеко отсюда, и теперь проклинал свою несчастную звезду.

— Расскажите мне все как было, пожалуйста, подробнее. Впервые я не был с войсками — и вот на тебе! — сказал корреспондент бригадному командиру, а бригадный без тени смущения поведал ему, как неприятельская объединенная армия была сокрушена и разбита исключительно благодаря его стараниям, мудрости и стратегическим способностям.

Но некоторые солдаты, а среди них и гуркхи, наблюдавшие за битвой, считали, что ее выиграли благодаря Лью и Джейкину, чьи маленькие тела похоронили в неглубоких ямках в изголовье огромной братской могилы на высотах Джагаи.

ВОПЛОЩЕНИЕ КРИШНЫ МАЛВЕНИ

Wohl auf¹, мы скачем в Божий храм
Под топот, свист, и смех,
Чтобы поспеть к святым дарам.
Коня украсть — не грех.

.....

Держитесь в церкви поскромней
Ведь это — gottes haus².
Du³, Конрад, обойди парней
И schenck der виски aus⁴.

Баллады Ганса Брайтмана

В некотором царстве, далеко-далеко от Англии, жили некогда трое друзей, да таких преданных, что, казалось, никому на свете — ни мужчине, ни женщине — никогда не разрушить их дружеский союз. Нельзя сказать, чтобы они отличались изысканными манерами; пожалуй, приличные люди их и на порог бы не пустили — ведь все трое служили рядовыми в армии Ее величества, а у британских солдат не так-то много времени для самосовершенствования. Все, что требуется от солдата, — следить, чтобы снаряжение блестело и на мундире не было ни пятнышка, стараться не напиваться чаще, чем положено, слушаться командиров и молиться, чтобы поскорей началась война. И все это наши друзья исправно выполняли, да еще время от времени вязывались по собственному почину в боевые действия, не предусмотренные войсковым уставом. Волею судеб им выпало служить в Индии, в краю отнюдь не столь благодатном, как утверждают поэты. Солдаты мрут там, как мухи, а тем, кому удается выжить, приходится терпеть множество невзгод, подчас самых немислимых. Не думаю, чтобы

¹ Ну ладно, в добрый путь (нем.).

² Божий дом (нем.).

³ Ты (нем.).

⁴ Разлей виски по стаканам (нем.).

наших друзей волновали социальные или политические проблемы Востока. Они приняли участие в довольно крупных военных действиях на северной границе, повоевали на наших западных рубежах, сражались в Верхней Бирме. Потом их полк отвели для пополнения, и теперь им приходилось сражаться лишь с убийственной скукой, царящей в гарнизоне. С утра до вечера их гоняли на пыльном полковом плацу. Два бесконечных года они слонялись взад и вперед по одной и той же покрытой белой пылью дороге, ходили в одну и ту же церковь и одну и ту же винную лавку, спали в одном и том же беленом баре. Один из друзей, Малвени, был старейшиной солдатского цеха, служившим чуть ли не во всех полках, от Бермуд до Галифакса, — закаленный в боях, покрытый рубцами, отчаянный и находчивый, а во время кратких приступов благонравия и образцовый солдат. К нему, в поисках защиты и утешения, прилепился двухметровый малый, медлительный и неуклюжий, рожденный на холмах и вскормленный в долах Йоркшира и получивший всестороннее образование на стоянке носильщиков Йоркского железнодорожного вокзала. Звали его Лиройд, и его главным достоинством была неиссякаемая выносливость, благодаря которой он выходил победителем в любой драке. Каким боком вошел в это трио кокни¹ Ортерис, внешностью и темпераментом напоминавший фокстерьера, остается для меня загадкой и по сей день. «А мы завсегда втроем были, — любил повторять Малвени, — и, Бог даст, так и останемся втроем до конца службы».

С другими солдатами они дружбы не искали — им вполне хватало своей компании, но горе тому, кто пытался встать им поперек дороги. Пользоваться кулачными аргументами в споре с Малвени или йоркширцем никому в полку, впрочем, и не приходило в голову; а всякому обидевшему Ортериса пришлось бы иметь дело с этой парочкой, с которой и пятерым не справиться. Так они жили да поживали и от Каликута до Пешавара все делили поровну: выпивку, табак и деньги, удачу и невзгоды, сражения и опасности, мирную жизнь и возможное счастье.

Не столько за какие-то мои личные достоинства, а скорее благодаря счастливому случаю, я был отчасти удостоен их дружеского расположения; первым меня признал Малвени — сразу же и безоговорочно; потом,

¹ Кокни — здесь: уроженец района Ист-Энд в Лондоне.

мрачно и с неохотой, Лиройд; и последним — Ортерис, который долго относился ко мне с недоверием и утверждал, что штатскому не след водиться с «красными мундирами». «Всяк своему свояк, — повторял он, — солдат — солдату, а шпаку — шпак. Так уж устроен мир, и все тут».

Но оказалось, что не все. Мало-помалу лед недоверия таял, и вскоре я узнал от них столько историй об их жизни и приключениях, что мне их до конца дней не описать.

Опуская все прочее, я начну свой рассказ прямо с Великой Жажды — Причины Всех Причин. Никогда еще им так не хотелось выпить, уверял Малвени. Они дружно проклинали свою вынужденную трезвость, однако попытку исправить положение предпринял один лишь Ортерис. Будучи наделен самыми разнообразными талантами, он вышел на большую дорогу и украл собаку «у какого-то штатского» — то есть у незнакомого ему человека, не служащего в армии Ее Величества. Вскоре, однако, оказалось, что этот штатский недавно женился и связал себя родственными узами с семьей командира их полка. Гром грянул с той стороны, с которой Ортерис его менее всего ждал, и ему пришлось, во избежание крупных неприятностей, срочно сплавить за смехотворно мизерную цену самого многообещающего юного терьера, когда-либо украшавшего дальний конец собачьего поводка. Вырученных денег едва хватило на один хороший «поход», закончившийся на полковой гауптвахте. Впрочем, он отделался строгим выговором и несколькими часами дополнительной муштры на плацу. Видимо, Ортериса спасла его репутация «лучшего из левофланговых в полку». Малвени всегда внушал своим приятелям, что главное для солдата — это сноровка в бою и личная опрятность. «Неряшливый солдат, — любил повторять он, — чуть не так повернется — и уже загремит на губу, а то и под трибунал пойдет из-за пары пропавших носков; но если солдат опрятен, если он — украшение своей роты, пуговицы у него сияют, мундир сидит как влитой, а снаряжение без единого пятнышка, такому все сойдет с рук, если, конечно, не зарываться, и он преспокойно может пьянствовать от подъема до отбоя. Вот зачем солдату нужно блюсти опрятный вид».

Как-то раз мы, отойдя подальше от казармы, сидели в теньке вражка, по дну которого в дождливый сезон бежит ручей. За спиной у нас начинались заросли кустарника, где, как утверждают, водятся шакалы, павлины и

серые волки, обычные в Северо-Западных провинциях, а иногда забредают и тигры из Центральной Индии. Прямо перед нами в ослепительных лучах солнца блестя беленые бараки военного городка, а слева направо тянулась широкая дорога, ведущая в Дели.

Возможно, долгое созерцание джунглей подсказало мне эту гениальную мысль, но только я посоветовал Малвени взять на день увольнение и отправиться на охоту. Павлины в Индии считаются священными, и всякий, кто убьет павлина, рискует быть растерзанным жителями ближайшей деревни; но в прошлый раз Малвени удалось, не оскорбив религиозных чувств местного населения, вернуться с пятью роскошными павлиньими хвостами и не без выгоды их продать, так что, возможно, и на этот раз...

— Кто же ходит на охоту без капли спиртного? — обиделся Малвени. — Земля сейчас сухая, как порох, мне же пылью всю глотку забьет. Пока павлина поймашь — знаете, сколько надо побегать? А на воде много не набегаешь. Тем более на той, что в джунглях!

Ортерис не спеша обдумал проблему со всех сторон. Потом, задумчиво покусывая мундштук трубки, продекламировал:

В путь — так в путь, вернись со славой,
В Клузий¹ смело вступишь ты
И на стенах вражьих храмов
Римские прибеешь щиты!

— По-моему, надо идти. Не стреляться же, в конце концов, — во всяком случае, пока есть надежда раздобыть что-нибудь выпить. Мы с Лиройдом останемся на всякий случай дома — мало ли, вдруг чего подвернется. А ты бери пушку и дуй за павлинами. Тебе на день увольнение получить — раз плюнуть. Вот и получи — добудешь павлинов или чего еще...

— А что ты скажешь, Джек? — повернулся Малвени к Лиройду, который подремывал в тенечке под насыпью. Тот неспешно поднялся.

— Ступай, Ма-а-лвени, ступа-ай, — протянул он.

И Малвени пошел, кроя своих компаньонов на все корки с ирландским пылом и казарменной виртуозностью.

¹ Клузий — один из двенадцати городов древней Этрурии, области на северо-западе Апеннинского полуострова, населенной этрусками. В V—III вв. до н. э. были покорены римлянами.

— Заметь, — сказал он, когда, заработав увольнение, появился в костюме из суровой ткани, с одним из двух имевшихся в полку охотничьих ружей в руках, — заметь, Джек, и ты тоже, Ортерис. Я иду против своей воли — только чтобы доставить вам удовольствие. Сдается мне, ничего путного из бестолковой беготни за павлинами по этим Богом забытым джунглям не выйдет; скорее всего я свалюсь от усталости и помру от жажды. Тащиться за павлинами ради таких неблагодарных лодырей, как вы, да чтоб мне потом в первой же деревне башку оторвали...

Он махнул своей огромной лапищей и отправился в путь.

Вернулся он в сумерках, намного раньше, чем собирался, весь заляпанный грязью и с пустыми руками.

— А где же павлины? — осведомился Ортерис; он сидел, поджав ноги по-турецки, на казарменном столе и покуривал в свое удовольствие, а Лиройд дремал рядом на лавке.

— Джек, — позвал Малвени, не ответив на вопрос Ортериса, и встряхнул спящего за плечо. — Джек, ты драться будешь? Хочешь подраться?

Постепенно смысл слов стал доходить до Лиройда, и он приподнялся на скамейке. Он понял, чего от него хотят, да и как тут было не понять? Малвени тряс его что было сил. Солдаты в бараке взвыли от восторга. Наконец-то в тройственном союзе произошел раскол — война не щадит давние узы дружбы.

Казарменный этикет очень строг и недвусмыслен. На прямой вызов нужно давать столь же прямой ответ. Даже многолетняя испытанная дружба не оправдание, чтобы нарушать это правило. Малвени еще раз повторил свой вопрос. Лиройд выдвинул в ответ единственный аргумент, который знал, причем выдвинул его настолько проворно, что ирландец едва успел увернуться. Лиройд в недоумении уставился на своего друга, который, казалось, был огорошен не меньше его. Ортерис кубарем скатился со стола — мир рушился у него на глазах.

— Давайте выйдем, — сказал Малвени и, когда остальные солдаты радостно приготовились последовать за ними, повернулся и с яростью произнес: — Драки не будет — разве что кто из вас хочет попробовать. Тогда милости прошу...

Никто не тронулся с места. Трое приятелей вышли на залитый лунным светом плац; Лиройд на ходу застегивался.

вал мундир. Плац был пуст, только несколько шакалов бросились врассыпную. Малвени стремительно шагал впереди и увел спутников далеко от казармы, прежде чем Лиройд попытался его остановить и продолжить дискуссию.

— Спокойно, Джек, — сказал Малвени. — Я сам виноват, не с того конца начал. Надо было сперва все объяснить. Но скажи, Джек, только честно, — готов ты для великой драки — драки, какой еще свет не видел? С парнем, который и меня, пожалуй, за пояс заткнет? Подумай, прежде чем отвечать.

Окончательно сбитый с толку Лиройд пару раз повернулся на месте, пощупал бицепсы, сделал несколько пробных ударов в воздух и ответил:

— Я готов.

Он привык не раздумывая вступать в драку, когда ему приказывали те, у кого, как он считал, голова варит лучше, чем у него.

Они уселись в кружок, — остальные наблюдали за ними с безопасного расстояния, — и Малвени все рассказал, облегчая душу не вполне парламентскими выражениями.

— Так вот, послушался я, значит, вас, остолопов, и потащился по бездорожью в эту чертову глушь за казармами. И там повстречался мне один благочестивый индус на телеге, запряженной волами. Я сразу догадался, что он давно мечтает меня подвезти, и залез на телегу...

— Ах ты, длинноногий ленивый черный боров, — растягивая слова, пропел Оргерис, который, впрочем, на месте Малвени поступил бы точно таким же образом.

— И очень разумно сделал. Этот черномазый провез меня несколько миль — аж до новой железной дороги, ну той, что строят сейчас за рекой Тави. Ему хотелось меня как-то поделикатнее выставить из повозки, и он все твердил: «Телега совсем грязный, мы в ней землю возим». — «А я сейчас и сам, что твоя земля, — говорю я, — да еще такая иссохшая, какой ты в жизни не возил. Погоняй, сынок, и да будет твой путь увенчан славой!» Тут я заснул и проспал до тех пор, пока он не въехал на насыпь железной дороги, куда кули таскали землю. На этой дороге работало тысячи две кули, не меньше; обратите внимание — две тысячи. И вот звонит колокол — конец работы, и они всем скопом валят к конторе, огромному такому сараю. «Где тут у вас главный белый?» — спрашиваю я возницу. «В конторе, — отвечает. — Он сей-

час лотерею проводит». — «Чего, чего?» — говорю. «Лоретею, — говорит он. — Ты берешь билет. Он берет деньги. И ты остаешься с носом». — «Ах, вот что, — говорю я ему. — У цивилизованных и культурных народов это называется лотерея, запомни, нечестивый сын греха и мрака. Правь скорее к этой самой лотерее, хотя, хоть убей, не могу понять, как этот бедолага забрел так далеко от дома, когда его место на рождественском благотворительном базаре, рядом с полковничьей женой во главе чайного стола». Короче, я подъехал к сараю и увидел, что сегодня у кули день получки. Деньги приготовлены на столе, а за столом сидит здоровенный рыжий дитина — семь футов ростом, поперек себя четыре на три, а каждый кулак — с ведро. Он честь по чести выплачивает кули все, что им причитается, но каждого спрашивает, будет ли тот участвовать в лотерее, на что каждый работник отвечает: «Да, конечно». И рыжий удерживает у того соответствующую сумму. Когда выплата закончилась, он достал старую коробку из-под сигар, насыпал туда ружейных пыжей, и кули стали один за другим тянуть пыжи из коробки. Видно было, что это для них дело знакомое, и не похоже, чтобы эта игра им особо по вкусу. Парень рядом со мной вытянул черный пыж и пропищал: «Вот, я выиграл...» — «Повезло тебе», — говорю я ему. Кули подошел к этому здоровенному рыжему дитине, тот сдернул тряпку, а под тряпкой оказался роскошный, украшенный эмалью и ярко раскрашенный портшез — я таких в жизни не видел.

— Какой тебе портшез, — презрительно сказал Ортерис. — Думай, что говоришь. Это паланкин. Ты что, портшеза от паланкина отличить не можешь?

— Раз я сказал портшез, значит, так и будет портшез, коротышка, — сказал ирландец. — Просто чудо, что за портшез, — обитый розовым шелком и с красными шелковыми занавесками. «Ну, вот он», — говорит рыжий. «Ага, вот он», — повторяет кули и жалобно так улыбается. «Только вот какой тебе от него прок?» — спрашивает рыжий. «Никакого, — отвечает кули. — Я хочу его вам подарить». — «Ну что ж с тобой поделаешь, так и быть, принимаю твой подарок», — говорит рыжий, и все кули изобразили что-то вроде криков ликования и пошли обратно копать землю, а я остался в сарае. Тут рыжий меня увидел, от злости жирная шея у него раздулась и лицо посинело. «А тебе чего здесь надо?» — спрашивает. «Ничего, — отвечаю, — разве что приличных манер,

да только от такого стервеца и подонка, как ты, их не дождешься». Это я чтобы он не вообразил, будто я его испугался. «Вон отсюда! — заорал он. — Я хозяин на этой стройке». — «А я — всюду сам себе хозяин, и, пожалуй, немного тут постою. И часто ты здесь эти лотереи разыгрываешь?» — «А тебя что, колышет?» — спрашивает. «Меня-то, может, и не колышет, а вот тебя очень даже может, потому что, сдается мне, добрую половину доходов ты получаешь от этого портшеза. Ты что, всегда так ловко его разыгрываешь?» И с этими словами я вышел и пошел к кули разузнать, что и как. Так вот, ребята, этого парня зовут Дирзли, и он раз в месяц разыгрывает таким манером в лотерею этот старый портшез вот уже девять месяцев. Каждый кули на его участке раз в месяц в день полочки покупает билет — а иначе Дирзли его увольняет. Каждый, кто выигрывает, возвращает портшез, потому что он слишком велик, чтобы забрать его с собой, а всякого, кто пытается его продать, он тут же выставляет с работы. И таким вот путем этот гнусный вымогатель Дирзли награл несметные сокровища. Подумайте о несчастных кули, которых наша армия обязана здесь, в Индии, охранять и всячески защищать. Да я готов со стыда стогреть при мысли, что он каждый месяц обирает две тысячи кули!

— Да черт с ними, с кули, — сказал Лиройд. — Ты отнял у него носилки?

— Не спеши. Узнав, какое наглое, неслыханное мошенничество творит здесь этот Дирзли, я стал держать сам с собой военный совет; а он тем временем оскорблял меня самыми поносными словами — хотел, чтобы я драться полез. Ясно, что этот портшез не мог прежде принадлежать никому из кули. Только какому-нибудь махарадже или махарани. Разукрашен золотом, шелком и все такое. Вы меня знаете, ребята, я не стану на старости лет ввязываться в бесчестное дело, но, с другой стороны, он же пользовался этой штукой девять месяцев и не посмеет поднимать шум, если мы у него ее тяпнем. И всего в пяти миллионах отсюда... ну, может, в шести...

Наступило долгое молчание, и только шакалы хохотали в темноте. Лиройд закатал рукав и задумчиво оглядел при лунном свете правую руку. Потом утвердительно кивнул — не то самому себе, не то приятелям. Ортериса прямо корежило от нетерпения.

— «Я уверен, ты согласишься, что мои требования вполне разумны», — продолжал Малвени. — Это я тому

парню сказал. Тут от лобовой атаки — когда пехота, конница и артиллерия сразу — никакого толку, мне же все равно не на чем было увезти эту штуковину. «Сегодня я не стану тут с тобой препираться, — говорю я, — но потом, мистер Дирзли, но попозже, господин лотерейщик, мы с тобой потолкуем по душам. Нехорошо вымогать у туземцев деньги, нажитые тяжелым трудом, а по сведениям, которыми я располагаю, — это я от возницы узнал, — ты промышляешь этим вот уже девять месяцев. Но я человек справедливый, — говорю я, — и поэтому, закрыв глаза на то, что этот диван с золоченой крышей наверняка попал к тебе нечестным путем, — тут он позеленел, как весенняя трава, и я понял, что попал в точку, — да, нечестным путем, я остановлюсь лишь на преступлении, состоящем в присвоении выигрыша в этом последнем месяце».

— Ого! — с дружным восхищением воскликнули Лиройд и Ортерис.

— Этот Дирзли просто сам на рожон лезет, — продолжал Малвени, печально покачав головой. — Всех черт на меня навешал, обозвал меня грабителем, представляете! Это меня-то, который хочет помешать ему и дальше жить в грехе и пытается подействовать на него увещанием, — а увещанием, если у человека еще осталась хоть капля совести, можно заставить его начать новую жизнь. «Не в моих привычках спорить с кем бы то ни было, мистер Дирзли, — говорю я, — но, клянусь честью, я избавлю тебя от соблазна и заберу у тебя этот портшез». — «Тогда тебе придется со мной драться, — говорит он, — потому что ты не посмеешь на меня донести». — «Я готов драться, — говорю я, — но не сегодня, потому что исхудал и ослаб от нерегулярного питания». Он оглядел меня с головы до ног и говорит: «Ты, я вижу, бывалый боец. У нас с тобой будет славная драка. А сейчас поешь, выпей и ступай своим путем». С этими словами он дал мне поесть и налил виски, хорошее виски, и мы немного поболтали с ним о том о сем. «Теперь мне труднее будет конфисковать у тебя эту мебель, — вытерев рот, сказал я, — но справедливость прежде всего». — «Погоди, ты же у меня его еще не забрал, — говорит он. — Нам еще предстоит драка». — «Ага, — говорю, — и драка будет что надо. А за обед, которым ты меня сегодня накормил, в твоём распоряжении все, что найдется на полковой кухне». Потом я — ноги в руки и к вам. Только смотрите, пока помалкивайте. Значит, так. Завтра

мы все втроем туда пойдем, и пусть он выбирает, с кем драться, — со мной или с Джеком. У Джека внешность обманчивая — посмотришь, вроде бы один жир, да и спит на ходу. А я — наоборот, на вид одни мускулы да пошустрее. Могу поспорить, что этот Дирзли не захочет иметь дело со мной; так что мы с Ортерисом будем секундантами. Вот увидишь, Джек, драка будет — пальчики оближешь, мармелад, а поверх еще взбитые сливки. А после мы все втроем — хотя от Джека после драки толку будет мало — попрем этот портшез...

— Да не портшез, а паланкин, — сказал Ортерис.

— Как ни называй, а надо добыть эту штуку. Единственная годная на продажу вещь во всей округе, которую мы можем добыть, да еще и без особых трудов. В конце концов — подумаешь, драка! Он же грабил этих туземцев, и грабил бесчестно. А мы его ограбим по справедливости, потому что он все же угостил меня виски.

— Хорошо, но что мы потом будем делать с этой чертовой штукой? — сказал Ортерис. — Здоровенная, как дом, и хрен кому продашь, как сказал Макклири в тот раз, когда ты стащил у них караульную будку.

— Послушай, в конце концов, мне же драться, не тебе! — сказал Лиройд, и Ортерис сдался. Все трое, не проронив ни слова, вернулись обратно в казарму. Последний довод Малвени решил дело. В самом деле, какую еще годную для продажи вещь они могут раздобыть такой малой кровью? А рано или поздно паланкин удастся превратить в пиво. Да здравствует Малвени!

На следующий день отряд из трех человек выступил в поход и вскоре скрылся в зарослях в направлении новой железной дороги. Только у одного Лиройда вид был беззаботный; Малвени был мрачен и весь погружен в мысли о будущем, и даже коротышка Ортерис притих в страхе перед неведомым. О том, что на самом деле произошло тогда около недостроенной железнодорожной насыпи, знают лишь несколько сотен кули, а их показания крайне противоречивы и сводятся в основном к следующему:

«Мы работали. Пришли трое белых в красных мундирах. Они подошли к сахибу — сахибу Дирзли. У них вышел очень крупный разговор, особенно громко кричал маленький солдат. Сахиб Дирзли тоже начал кричать и очень сильно ругаться. Потом они вышли на поляну, и толстый в красном мундире дрался с сахибом Дирзли, так, как обычно дерутся белые люди, — на кулаках, мол-

ча, и за волосы друг друга не таскали. Те, кто посмелее, смотрели, как они дерутся, — примерно столько времени, сколько нужно, чтобы сварить обед. Маленький солдат взял часы сахиба Дирзли. Нет, он их не украл. Он держал их в руке, и время от времени выкрикивал что-то, и те двое ненадолго прекращали драку, похожую на драку молодых бычков весной. Вскоре оба сильно покраснели, но сахиб Дирзли был краснее того, другого. Увидев это и опасаясь за его жизнь, а мы все очень его любим, — человек пятьдесят попробовали броситься на этих в красных мундирах. Но один из них — тот, с черными волосами, нет, не маленький и не тот толстый, что дрался с сахибом, схватил в охапку человек десять, а может, и пятьдесят, мы можем это все подтвердить, и стал бить головами друг о друга, пока не выбил из нас всю храбрость и мы не убежали. Никогда не нужно вмешиваться в драку между белыми. Потом сахиб Дирзли упал и больше не поднимался, эти белые набросились на него, взяли у него все деньги, попытались поджечь сарай и скрылись. Дирзли ничего об этом не рассказывал? Мы совсем ошалели от страха и мало что помним. Нет, никакого паланкина около сарая не было. Что нам известно о паланкине? А правда, что сахиб Дирзли десять дней сюда не приходит из-за болезни? Во всем виноваты эти плохие белые в красных мундирах, и их нужно строго наказать; потому что сахиб Дирзли нам заместо отца и матери, и мы его все очень любим. Но если сахиб Дирзли совсем не вернется назад, мы скажем всю правду. Да, был паланкин, и из-за этого паланкина нам приходилось отдавать девять десятых месячного заработка. И когда сахиб Дирзли отбирал у нас эти деньги, мы должны были ему почтительно кланяться перед этим паланкином. А что мы могли поделать? Мы люди бедные. Он забирал у нас половину заработка. А правительство выплатит нам эти деньги? Трое белых в красных мундирах взвалили паланкин на плечи и ушли. Все деньги, которые сахиб Дирзли у нас забрал, были спрятаны в подушках этого паланкина. Так что они их украли. Там было несколько тысяч рупий — все наши деньги. Это была наша общая касса, и мы добровольно отдавали сахибу Дирзли три седьмых месячного заработка. Почему белый человек смотрит на нас так строго? Как перед Богом — паланкин был, а теперь вот его нету; и если пришлют сюда полицию проводить расследование, мы все скажем, что никакого паланкина вообще никогда и не было. Да и откуда

тут взяться паланкину? Мы люди бедные и ничего не знаем».

Так примерно звучал наиболее связный вариант наименее путаного рассказа о походе на Дирзли. Я услышал его от рабочих. Сам Дирзли был не в состоянии что бы то ни было рассказывать, а Малвени был нем как могила, только время от времени облизывал пересохшие губы языком. Великолепие драки, которую ему довелось наблюдать, настолько потрясло его, что он лишился обычного красноречия. Я с уважением относился к такой сдержанности и ни о чем не спрашивал, до тех пор пока через три дня после этих событий не обнаружил в собственной пустовавшей долгое время конюшне паланкин редкой красоты. С первого взгляда было видно, что прежде он принадлежал какой-то царице. Ручки паланкина, которые носильщики кладут на плечи, были покрыты кашмирскими украшениями из расписного папье-маше. Подкладки под плечи были из желтого шелка. На стенках носилок были изображены любовные сцены из жизни всех богов и богинь индуистского пантеона, росписи были выполнены лаком по кедру. Кедровые раздвижные дверцы закрывались на защелку, покрытую полупрозрачной джайпурской эмалью, и скользили по серебряным полозьям. Подушки сшиты из делийской парчи. Занавески, некогда скрывавшие от любопытных взглядов царственных красавиц, жестко топорщились от множества золотых нитей. Правда, при ближайшем рассмотрении было видно, что ткань во многих местах потерялась и полиняла от времени; но даже сейчас носилки вполне достойны были украшать крыльцо женской половины дворца самого знатного раджи. Единственное, что мне в этом паланкине не нравилось, это то, что стоял он в моей конюшне. Я попытался приподнять носилки за инкрустированную серебром рукоятку и невольно расхохотался. Дорога от конторы Дирзли до барачного городка была узкой и изрытой, и тащить по ней такую тяжесть трем неопытным носильщикам, один из которых к тому же сильно избит, — это же мука мученическая! И все же, на мой взгляд, это не давало права трем мушкетерам превращать меня в укравателя краденого.

— Я хотел вас попросить, если можно, поддержать его пока у себя, — сказал Малвени, когда я высказал ему свои сомнения. — Разве ж это краденое? Дирзли сам сказал, что тот, кто его побьет, может забрать паланкин. Джек его и побил — ах, сэр, что это был за бой! Джек весь

в кровянице, точно недорезанный боров, малыш Ортерис с визгом скачет на одной ноге с часами, которые ему одолжил Дирзли, в руках, — клянусь, я согласен был даже уступить вам свое место ненадолго, чтобы вы полюбовались хоть на один раунд. Он выбрал Джека, как я и ожидал. У Джека очень обманчивая внешность. Девять раундов ни один, ни другой не уступал, а вот на десятом... Теперь насчет паланкина, сэр. У вас нет никаких оснований для беспокойства — иначе разве бы мы посмели принести его сюда! Вы же знаете, что Королева, — да благословит ее Бог! — не позволяет рядовым держать в казарме слонов, паланкины и прочие посторонние предметы. После того как мы приволокли эту штуку от Дирзли через этот чертов кустарник, — у Ортериса чуть сердце не лопнуло, — мы оставили ее на ночь в овраге; но, как оказалось утром, разбойники дикобразы и пройдохи виверры устроили себе в нем спальню. Ответьте, сэр, разве такой роскошный паланкин, который впору для принцессы, подходящее место для зверья, ошивающегося вокруг казармы? Поэтому, когда стемнело, мы перенесли его в вашу конюшню. И пусть вас не мучает совесть. Вы только подумайте, как обрадуются эти работяги там, в сарае у Дирзли, когда увидят его с башкой, обмотанной полотенцем, и будут знать, что теперь они смогут унести домой все заработанные деньги, без вычетов на всякие там лотереи. Вы как бы тоже поможете освободить от бессовестного стервятника крестьян нескольких деревень, сэр. И потом, вы что думаете, этот портшез у нас долго залежится? Вы меня плохо знаете. Не так уж часто тут продаются такие поистине бесценные вещи. Да любой раджа в окрестности сорока миль, — он повел рукой вдоль окутанного пылью горизонта, — любой раджа с радостью его купит. Как-нибудь я сам выберу время, проедусь по округе и сбуду его с рук.

— Это каким же образом? — спросил я, зная, что от Малвени можно ждать чего угодно.

— Да просто сяду в паланкин и поеду по дороге, а сам буду поглядывать в щелочку из-за занавесок. Как увижу подходящую туземную рожу, так спущусь тихонько с лежанки да и гаркну: «Эй, ты, черная образина, покупай паланкин!» Правда, придется обождать до полочки — ведь надо нанять четырех носильщиков.

Как ни странно, Лиройд, непосредственно сражавшийся за обладание паланкином и получивший от победы величайшее удовлетворение, какое ему не суждено

было испытать в этой жизни ни до, ни после, к самому призу относился вполне равнодушно, а Ортерис даже вслух призывал и вовсе разломать эту чертову штуку, пока не поздно. Он утверждал, что Дирзли, возможно, не так прост, как кажется, и при всех своих выдающихся бойцовских качествах может обратиться в гражданский суд — а уж хуже этого нет беды для солдата. И вообще, повеселились — и будет; до полочки осталось всего ничего, а тогда пива и так будет — хоть залейся. Так на кой им сдался этот размалеванный паланкин?

— Для левофлангового ты парень что надо, — сказал Малвени, — и стреляешь классно. Но соображения у тебя в башке не больше, чем в яйце всмятку, ей-богу. Приходится мне одному ночами не спать, ломать голову да раскидывать умом за троих. Ортерис, сынок, тут речь идет не о паре галлонов пива и даже не о паре дюжин; в этом портшезе скрыты бочонки, лохани, реки спиртного. Кто там, что да откуда взялось — мы не знаем; но я нутром чую: я, ты и Джек с его выбитым пальцем делаем на этом кучу денег. А теперь оставьте меня в покое и дайте подумать.

Тем временем паланкин по-прежнему стоял в моей конюшне, а ключи от конюшни хранились у Малвени.

Наконец настал день полочки, а вместе с ним пришло и пиво. Глупо было бы ожидать, что Малвени, иссушенный четырехнедельным постом, проявит благоразумную умеренность. На следующее утро он исчез, а вместе с ним исчез и паланкин. Правда, впоследствии выяснилось, что Малвени предусмотрительно попросил трехдневный отпуск, «чтобы навестить приятеля на железной дороге», и полковник, прекрасно понимавший неминуемость очередного пивного тайфуна, охотно согласился, в надежде, что тайфун этот проявит свою разрушительную силу на территории, находящейся за пределами его юрисдикции. На этом месте обрывается та часть истории Малвени, которая записана в анналах гарнизонной столовой...

Ортерис тоже мало что смог к этому добавить.

— Ну нет, не скажу, чтобы он был пьян, — дипломатично ответил он. — Он только-только начал разговляться по-настоящему; но прежде, чем отчалить, он набил бутылками весь этот чертов паланкин, нанял шестерых носильщиков и уехал; мне пришлось помочь ему забраться на брачное ложе — ведь как я его ни отговаривал, он меня и слушать не хотел. Так и покатил по дороге в одной рубашке и в брюках, ругаясь на чем

свет стоит, свесив из носилок ноги и размахивая ими, точно ворона крыльями.

— Да, но куда же он поехал? — спросил я.

— Я и сам бы хотел это знать. Сказал, что едет продавать паланкин, но когда я его пропихивал через дверцу, мне пришло в голову, что он двинет на строящуюся насыпь подразнить Дирзли. Вот сменится Джек с караула, мы с ним туда сходим, поглядим, жив он еще или нет, — я имею в виду не Малвени, а того, второго. Святые угодники, не завидую я тому, кто будет извлекать Теренса из паланкина, когда тот по-настоящему надерется!

— Вернется, ничего с ним не случится, — сказал я.

— Конечно, вернется. Вопрос только, что он успеет натворить до того, как вернется. Он же запросто может укокошить этого Дирзли. Зря он не взял с собой меня или Джека.

Получив подкрепление в лице Лиройда, Ортерис разыскал начальника стройки. Голова у Дирзли все еще была замотана полотенцами. Пьяный или трезвый, Малвени никогда не позволил бы себе ударить человека в таком состоянии, а сам Дирзли с негодованием отверг предложение, будто он воспользовался беспомощностью пьяного соперника.

— Я же сам выбирал из вас двоих, — объяснил он Лиройду. — И хоть вы у меня этот паланкин и забрали, я все же успел им попользоваться, и не без выгоды. Так чего же мне сводить с ним счеты, раз все по-честному. Ваш приятель действительно сюда заезжал — пьяный в дупель, нарочно, чтобы меня подразнить, высунулся из паланкина и обзывал меня святым мучеником на палочке. Мы с ним выпили, и я помог ему продолжить путешествие. Но я и пальцем его не тронул.

На это Лиройд, не отличавшийся достаточной чуткостью, чтобы понять, что на этот раз Дирзли не врет, сказал лишь:

— Смотри, узнаю, что это ты тут руку приложил, снова холку намну, не погляжу, что ты башку тряпками обмотал, завяжу тебе шею бантиком в лучшем виде. Так что гляди у меня.

С тем посольство и удалилось, а побитый хохотал вслух в одиночестве за ужином в тот вечер.

Прошло три дня, и четыре, и пять. Неделя подходила к концу, а Малвени все не возвращался. И он, и великолепный паланкин, и шесть человек свиты как в воду ка-

нули. Когда очень крупный и очень пьяный солдат разъезжает по стране, свесив наружу ноги, в носилках, предназначенных лишь для знатных особ, это не может остаться незамеченным для местных жителей. Но оказалось, что никто в округе и слышать не слышал о таком диве. Он был и исчез; и Лиройд предложил не откладывая свернуть Дирзли шею — что-то вроде жертвы богам в честь павшего воина. Ортерис успокаивал его, говорил, что все обойдется, и, учитывая, что подобные истории уже не раз случались с их другом и прежде, надежды его были вполне основательны.

— Если уж Малвени куда-то намылился, он может заехать Бог знает куда, особенно если назюсюкается до посинения, как теперь. Другое дело, что он по пути наверняка должен был пощипать черномазых, а что-то ничего насчет этого не слышно. Это плохой признак. К этому времени деньги и выпивка у него должны выйти; разве что он банк грабанул, а тогда — почему бы ему не вернуться? Не нужно было ему одному ехать.

Но к концу седьмого дня даже Ортерис упал духом; теперь уже чуть ли не половина полка прочесывала окрестности, а Лиройду пришлось даже драться с двумя солдатами, намекнувшими, что Малвени дезертировал. Впрочем, полковник — нужно отдать ему должное — лишь посмеялся над таким предположением, хотя оно исходило от его собственного адъютанта, к мнению которого он обычно прислушивался.

— Да скорее мы с вами дезертируем, чем Малвени, — сказал он. — Нет, тут одно из двух: либо он вляпался в какую-то историю с местными, что маловероятно, потому что он хитер, как черт, и сумеет увильнуть от расплаты даже на Страшном суде; либо он отлучился по какому-то неотложному делу, и когда-нибудь мы услышим о его новых фантастических похождениях — после того как эта история обойдет солдатские казармы и дойдет до офицерской столовой. Что меня действительно беспокоит, так это то, что мне придется посадить его на двадцать восемь суток за самоволку как раз тогда, когда он мне так нужен, — надо побыстрее отбесить партию новобранцев. Никто не умеет так быстро приводить молодых солдат в божий вид, как Малвени. Интересно, как ему это удастся?

— Методом пряника и солдатского ремня, сэр, — ответил адъютант. — Если речь идет об ирландском призыве, он один стоит пары сержантов, да и лондонские

ребята его обожают. Хуже всего то, что, когда он попадает за решетку, с двумя другими нет никакого сладу, пока он не выйдет. По-моему, Ортерис считает, что просто обязан бунтовать в знак солидарности; Лиройд же скорбит по томящемуся в неволе Малвени, и в этом случае в казарме воцаряется глубокий траур. Сержанты уверяют, что он не разрешает другим солдатам веселиться, когда ему грустно. Странная эта троица.

— И, при всем при том, я бы хотел, чтобы у нас было побольше таких парней. Хорошо, конечно, когда в полку образцовая дисциплина, но, признаться, эти юные недотепы с постными физиономиями, бегающими глазками и благовоспитанной речью, поступающие к нам из центра формирования, порой пугают меня своей вызывающей добродетельностью. По-моему, все, на что они годятся, так это дуться в карты да увиваться за чужими женами. Ей-богу, я бы сразу простил этого старого пройдоху, если бы он сейчас вернулся и представил мало-мальски правдоподобное оправдание своей отлучке.

— Ну, уж за этим-то дело не станет, сэр, — сказал адъютант. — Оправдания у Малвени всегда не менее фантастичны, чем его приключения. Говорят, что, когда он служил в полку Черных Тиронцев в Ирландии, перед тем как его к нам перевели, его задержали на берегу Лиффи, когда он пытался продать боевого скакуна полковника какому-то торговцу из Донегала, уверяя, что это самая подходящая лошадь для дамской верховой езды. Командиром полка у них был Шакболт.

— Шакболта небось чуть удар не хватил, когда ему сказали, что кто-то так отзывается о его неукротимых боевых конях. Он обычно покупает необъезженных жеребцов и приручает их по специальной методе, основанной на лишении корма. А что Малвени?

— Сказал, что он — член «Общества по борьбе с жестоким обращением с животными» и что он хотел «продать этого бедолагу человеку, который не станет морить его голодом так, что у того аж бока ввалились». Шакболт расхохотался, но, по-моему, из-за этой истории его к нам и перевели.

— И все же жаль, если с ним что-то случится, — сказал полковник. — Он мне нравится, и надеюсь, что я ему — тоже.

В тот вечер, чтобы хоть как-то развлечься, Лиройд, Ортерис и я отправились на пустошь выкуривать дикобраза. Все гарнизонные псы вызвались нас сопровождать,

но даже поднятый ими гвалт, — а они начали, не стесняясь в выражениях, высказывать все, что они думают о дикобразах, едва мы вышли из барачного городка, — не мог отвлечь нас от невеселых мыслей. Огромная низкая луна посеребрила плюмажи трав, а черные силуэты чахлых зарослей верблюжьей колючки и тамариска походили на сидящих в кружок демонов. Пахло прогретой за день землей, а ласковый бесшабашный ветерок, промчавшийся над розовыми садами на юге, приносил аромат сухих роз и воды. Когда огонь у входа в нору как следует занялся, бывалые собаки залегли наготове и стали ждать, когда выскочит дикобраз, а мы взобрались на иссеченный дождевыми промоинами земляной холм и оглядели расстилающуюся перед нами поросшую кустарником равнину с прожилками протоптанных скотом тропинок и темнеющими на светлом фоне высокой иссохшей травы пятнами неглубоких прудов, где зимой водятся бекасы.

— Проклятые места, — вздохнул Ортерис, взирая на все это безрадостное запустение. — Воистину проклятые. Просто бред сумасшедшего. Похоже на огромный камин, когда дрова прогорят. — Заслоняя ладонью от лунного света, он стал вглядываться в заросли. — А вон, для полноты картины, какой-то лунатик танцует, как полоумный. Я бы и сам станцевал, если бы на душе не было так тошно.

На фоне лунного диска действительно выплывал некий призрак — огромный, растрепанный дух пустыни махал нам издали крылами. Он поднялся из глубин земли и приближался, все время меняя очертания. Покрывало, сброшенное на плечи призрака — не то тога, не то скатерть, не то халат, — принимало сотни самых причудливых форм. Наконец таинственное существо остановилось на соседнем холме и замахало руками и ногами, точно ветряная мельница.

— Что-то мне не нравится это огородное пугало, — сказал Ортерис. — Боюсь, если оно подойдет поближе, как бы нам не пришлось выяснять отношения.

Лиройд поднялся с земли, как буйвол, отряхиваясь, встает из глубокой лужи, где он спасался от зноя. И точно так же, как буйвол, он заревел, вглядевшись повнимательнее в таинственный призрак:

— МАЛВЕНИ! Эгей, Малвени, мы здесь!

Тут уж мы все завопили, а привидение нырнуло в разделявшую нас ложбину, потом раздался треск раз-

дираемой травы, и уже оплаканный всеми Малвени, поднявшись большими шагами по склону, появился в свете костра, — впрочем, лишь до пояса, потому что ноги были скрыты облепившими его ликующими собаками. Лиройд и Ортерис, стараясь не показывать охватившие их чувства, дружно заорали, один басом, другой фальцетом: «Малвени, сукин ты сын!» И на радостях крепко поддали ему в бок кулаками.

— Полегче, полегче, — сказал он, обхватив обоих друзей огромными ручищами. — Должен вас предупредить, что теперь я — бог, и обращаться со мной следует соответствующе — хотя, боюсь, от гауптвахты меня это не спасет.

Заключительная часть этого странного заявления несколько рассеяла подозрения, возникшие было после первой половины фразы. Впрочем, Малвени не мудро было принять за помешанного. Он предстал перед нами без шапки и босиком, рубашка и брюки его превратились в лохмотья; правда, поверх лохмотьев было наброшено великолепное одеяние: с плеч его до самой земли ниспадал широчайший плащ из бледно-розового шелка, разукрашенный тончайшими кружевами ручной работы давно усопших мастериц, с картинами любовных сцен из индуистской мифологии. Когда он поправлял складки тяжелой ткани, при свете костра в безумном хороводе мелькали самые фантастические фигуры.

Ортерис с уважением пощупал ткань покрывала, а я попытался вспомнить, где я ее видел прежде.

— Господи, что ты сделал с паланкином? — вдруг взвизгнул Ортерис. — Никак, это ты с него обивку содрал?

— Точно, — ответил ирландец. — Эта вышивка мне весь бок к чертям ободрала. Пятый день маюсь в этом дурацком покрывале. Знаете, ребята, я теперь понял, почему от этих черномазых никакого проку. Босиком и без штанов, да еще в кружевах, точно нога в чулке, вроде тех, что девчонки натягивают на танцы, я и сам начинаю себя чувствовать черномазым — всего боюсь и от всех шарахаюсь. Дайте скорее трубку, сил моих больше нет терпеть.

Он закурил трубку, снова обнял приятелей и затрясся в неудержимом приступе смеха.

— Малвени, — строго сказал ему Ортерис, — как ты можешь сейчас смеяться? Мы с Джеком чуть с ума не сошли из-за тебя, хотя ты этого и не заслуживаешь. Про-

шлялся Бог знает сколько времени в самоволке, и теперь вот сядешь за решетку; являешься в самом гнусном виде, какой только можно себе представить, обернутый в обивку от этого треклятого паланкина. И еще хохочешь! Мы ведь все эти дни думали, что тебя давно нет на свете!

— Вот что, ребята, — все еще трясясь от хохота, ответил Малвени. — Когда я закончу, можете меня оплакивать сколько угодно, а малыш Ортерис пусть скажет все, что он обо мне думает. А пока что помалкивайте да слушайте. Подвиги мои были многотрудны, но мне сопутствовала фортуна, которая, как известно, всегда на стороне британского солдата, а что еще человеку надо? Я отправился в путь в паланкине пьяный как сапожник, а вернулся богом в розовой тоге. Могу поспорить, что когда время моего отпуска истекло, а от меня не было ни слуху ни духу, вы пошли к Дирзли, верно? С него все и Началось.

— Что я говорил? — пробормотал Лиройд. — Ну все, завтра я ему башку оторву.

— Нет, Джек, не оторвешь. Дирзли — золотой человек. После того как Ортерис загрузил меня в паланкин и шестеро оболдуев поволокли меня по пыльной дороге, мне вдруг стукнуло подразнить Дирзли — ну, насчет той драки. Поэтому я велел нести меня к насыпи и там, как последний осел, высунулся из своей коробочки и прокричал Дирзли пару теплых слов. Я, должно быть, здорово его обложил — когда я в таком состоянии, во мне просыпается оратор. Помню, сказал, что у него рот теперь открывается сбоку, как у ската, что было истинной правдой — после того, как Лиройд над ним поработал; но, как ни странно, он ничуть на это не обиделся и не разозлился, а даже щедро накачал меня пивом. Наверное, пиво меня и доконало, потому что обратно в паланкин я полз уже на карачках, так что правой ногой чуть не отдал себе левое ухо, и после заснул как убитый. Потом, еще сквозь сон, чувствую — в голове поднялся какой-то жуткий рев, треск и стук; такого прежде у меня не было, ей-богу. «Матерь Божия, — думаю я. — Представляю, какой концерт начнется у меня в башке, когда я совсем проснусь». И я свернулся поудобнее и хотел снова заснуть, прежде чем музыканты успеют как следует разыграть. Не тут-то было — это, оказывается, не голова с похмелья трещала, это колеса поезда стучали по рельсам.

Малвени сделал эффектную паузу.

— Да, оказывается, он посадил меня на поезд — вме-

сте с паланкином и со всеми потрохами, да еще с шестью черномазыми бандитами-кули, из его прихвостней. Нас погрузили на открытую платформу для гравия, и мы — стук-постук — катили прямехонько в Бенарес. Как ни странно, но я ни разу не проснулся и, таким образом, не имел возможности представиться этим кули. Как я уже говорил, я проспал почти весь день и всю ночь. Поняли теперь — этот Дирзли пристроил меня на поезд, который подвозит ему строительные материалы из Бенареса, специально, чтобы я просрочил увольнительную и угодил за решетку?

Объяснение звучало в высшей степени правдоподобно. От Бенареса до их гарнизона не меньше десяти часов езды по железной дороге, и ничто на свете не могло спасти Малвени от ареста за дезертирство, очутись он там, да еще в самый разгар загула. Дирзли все-таки сумел ему отомстить. Лиройд отодвинулся от Малвени и принялся в шутку наносить ему несильные удары по корпусу. Чувствовалось, что мысли его уже далеко, на железнодорожной насыпи, и вид его не предвещал Дирзли ничего хорошего.

— Когда я все-таки наконец проснулся, — продолжал между тем Малвени, — паланкин стоял где-то посреди улицы; во всяком случае, я так решил, потому что снаружи доносились шум шагов и голоса прохожих. Но я понимал, что нахожусь далеко от родной казармы. В военных городках всегда стоит особый запах — сухой земли, кирпича и кавалерийской конюшни. Здесь же пахло цветущими ноготками и гнилой водой, а один раз какая-то живность подошла к паланкину и тяжело засопела в щель между створками. «Наверное, я в деревне, — подумал я про себя, — и это чей-то буйвол обследует мой паланкин». Но, при всем при том, мне смертельно было лень шевелиться. «На чужой стороне, чтобы горя не мыкать, нужно верить в удачу и лежать — не чирикать». Это старая армейская поговорка. Я ее сам только что сочинил.

— Потом появились какие-то типы и стали шушукаться около паланкина. «Ну-ка, взяли и понесли», — сказал один голос. «А кто нам заплатит?» — спросил второй. «Как кто, конечно же министр нашей махарани». — «Ого, — подумал я. — Теперь я — жена махараджи, и мои расходы оплачивает министр. Еще немного полежу, глядишь — императором стану; но сдается мне, что я не в деревне». Я лежал тихо-тихо, потом незаметно

приложился правым глазом к щелке в дверце; гляжу — вся улица забита паланкинами, лошадьми, а между ними снуют голые до пояса жрецы, посыпанные желтой пудрой и украшенные тигровыми хвостами. Но должен сказать вам, ребята, что из всех паланкинов наш был самый роскошный. Как вы знаете, в паланкинах путешествуют лишь знатные туземные дамы — за исключением, конечно, тех случаев, когда солдату вздумается выдать себя за царственную особу и совершить небольшую прогулку. «Женщины и жрецы, — сказал я себе. — Что ж, кажется, сын твоего отца попал как раз туда, куда нужно, Теренс. Думаю, дело будет». Шесть темнокожих молодцов в одеждах из розового муслина подхватили паланкин — меня от качки да тряски замутило, ей-богу. Нас зажало среди других паланкинов, — всего их было около полусотни, — швыряло и терло друг о дружку, точно утлые лодочки в бурном потоке. Женщины хихикали и верещали в своих паланкинах. Впрочем, у меня-то был воистину царский экипаж; все расступались, чтобы дать нам дорогу, и, Бог свидетель, мои молодцы в розовом муслине вопили: «Дорогу махарани Гокрал-Ситаруна». Вы, случайно, не знаете, что это за птица, сэр?

— Знаю, — ответил я. — Очень почтенная старая махарани из центральных штатов, и, как говорят, необыкновенно толстая. Одно только странно: раз уж она появилась в Бенаресе, весь город должен был знать ее паланкин.

— Извечная мудрость черномазых, сэр. Ведь носильщики, которых послал Дирзли, бросили паланкин посреди дороги и ушли, а эти видят — стоит всеми заброшенный, одинокий паланкин редкой красоты, ну, они и назвали самое звучное имя, которое первое пришло в голову. Впрочем, тут был свой резон. Как известно, старая дама путешествовала инкогнито — так же, как и я. Хорошо, что она толстая. Я ведь тоже не из легких, так что носильщики мои были рады-радешеньки, когда наконец дотащили паланкин и поставили его под огромной аркой, украшенной самым бессовестным образом такой непристойной резьбой, какой я в жизни своей не видел. Я даже покраснел, ей-богу, как — ну, прямо как настоящая махарани.

— Храм Притхви-Дэви¹, — догадался я, вспомнив

¹ Притхви-Дэви — богиня Земля.

чудовищные резные скульптуры, украшавшие арку этого храма в Бенаресе.

— Может быть, у них это и называется «прихоти девы», но, по мне, его бы следовало назвать «храмом бесовской похоти», сэръ. Если там и было что-то, достойное внимания девы, так разве что я сам. Едва кули поставили паланкины в полумраке под аркой и ушли, закрыв за собой большие черные ворота, набежала целая рота жирных желтых жрецов и перекантовала паланкины в еще более темное место — большой каменный зал с резными колоннами, статуями богов, дымом курений и прочей чепухой. История с воротами меня, признаться, огорчила — я понял, что путь к отступлению отрезан и для того, чтобы выбраться отсюда, придется пробиваться вперед. Кстати, жрецы — никудышные носильщики. Чуть не вытряхнули меня наружу, пока волокли паланкин в храм. Значит, так, в храме диспозиция сложилась следующая. По милости провидения носилки махарани Гокрал-Ситаруна — то есть мой паланкин — поставили на левом фланге, в тени большой колонны, украшенной резными слоновыми рожами. Остальные паланкины стояли широким полукругом лицом к статуе какой-то богини — такой огромной, толстой и нелепой, что и во сне не приснится. Голова ее терялась где-то во тьме высоко над нами, и только ножищи выступали из мрака в свете маленькой лампы, куда жрец то и дело подливал масло из плошки. Вдруг в темноте сзади кто-то запел и заиграл на какой-то штуковине. Ну и странная это была музыка, скажу я вам, — у меня волосы дыбом на загривке встали. Тут отодвинулись дверцы паланкинов, и оттуда высыпали женщины. И я увидел то, что больше уже не увижу никогда в жизни. Почтище рождественского представления: наряды всех мыслимых цветов и оттенков — розовых, голубых, серебряных, красных, зеленых, как весенняя трава, раскрашены с головы до ног брильянтами, изумрудами и огромными красными рубинами. Но главное даже не в этом. Бог мой, они были прекрасней, чем все ангелы небесные; их маленькие ножки казались нежнее ручек наших знатных барышень, губы, как распускающиеся розы, а таких темных и огромных глаз мне за всю мою жизнь встречать не доводилось. Можете надо мной смеяться сколько угодно, но это истинная правда. Никогда еще я не видел ничего подобного и больше уже не увижу.

— По всей вероятности, тебе выпала редкая честь

созерцать жен и дочерей самых знатных махараджей Индии, так что, думаю, ты и вправду такого больше не увидишь, — сказал я, догадавшись, что, видимо, Малвени случайно попал на знаменитую большую молитву для махарани в Бенаресе.

— Увы, никогда, — печально повторил он. — Такое счастье дважды не выпадает. Мне даже смотреть было совестно. Какой-то толстый жрец постучал в дверцы моего паланкина. Я решил, что вряд ли у него хватит наглости беспокоить махарани Гокрал-Ситаруна, и не отозвался. «Старая корова дрыхнет», — сказал он другому жрецу. «Ну и пусть спит, — ответил тот. — Все одно уже не отелится!» А я еще прежде слышал, что все женщины в Индии — впрочем, и в Англии тоже — молятся, чтобы Бог послал им детей. Тут я еще больше загрустил — у меня-то самого детей не осталось.

Он на некоторое время умолк, вспомнив о сыне, который умер еще ребенком много лет назад.

— Они молились, лампы мерцали, все было окутано синеватым дымом курений, и на фоне огня казалось, будто женщины сами изнутри сверкают и светятся. Они обнимали колени богини, кричали и бились о землю и буквально обезумели от этой нескончаемой неистовой музыки. Мать Божия! Как они плакали, а богиня лишь презрительно ухмылялась на них сверху. Хмель из меня стал быстро выходить, и я крепко призадумался — так крепко, что мысли теснились в башке и налезали одна на другую; я думал о том, как бы мне отсюда выбраться, ну и еще о разной чепухе. Женщины раскачивались из стороны в сторону, на поясах позвякивали алмазные подвески, а между ладонями, которыми они закрывали лицо, текли слезы; лампы догорали, и в храме постепенно темнело. Потом под крышей что-то полыхнуло, точно молния вспыхнула, осветив на секунду внутренность паланкина; и в том конце, куда я упирался ногами, я увидел свою точную копию, вышитую на ткани. Вот сейчас я вам ее покажу.

Он покопался в складках розового плаща, запустил руку под ткань и наконец показал нам при свете костра большое — примерно около фута — вышитое изображение бога Кришны, играющего на флейте. Тяжелым подбородком, широко раскрытыми глазами, иссиня-черными усами бог и вправду отдаленно напоминал Малвени.

— Вспышка тотчас же погасла, но в голове у меня уже созрел план. Я, как видно, и сам немного спятил.

Я отодвинул дверцу, выгрузился из паланкина и, спрятавшись в тени колонны, закатал до колен брюки, сбросил ботинки и содрал большую часть розовой обивки внутри паланкина. К счастью, она оторвалась сразу же, как юбка у барышни, когда, бывает, наступишь на нее во время танцев на балу у сержанта; и вместе с тканью вылетела еще пустая пивная бутылка. Я схватил бутылку и через минуту уже выходил из-за колонны на свет, весьма живописно обернутый в розовую ткань; музыка гремит, что твои литавры, по полу сквозняк гуляет, и босиком стоять холодно. Хотите верьте, хотите нет, но я был вылитый Кришна, наигрывающий на флейте — ну, тот бог, про которого нам рассказывал наш полковой священник. Ну и вид же у меня был, должно быть! Глаза огромные, лицо бледное как мел — я, наверное, больше был похож на привидение. Но они приняли меня за живого бога. Музыка смолкла, женщины онемели от ужаса, а я изогнул дугой ноги, как пастушок на фарфоровой вазе, принялся помахивать то одной, то другой ступней, как не раз делал прежде в полковом театре, потом плавно проплыл через весь храм перед статуей богини, наигрывая на пивной бутылке.

— И что же ты им исполнил? — спросил Ортерис, всегда интересовавшийся практическими деталями.

— Я-то? Вот! — Малвени вскочил и, решив, по-видимому, что пора оживить повествование, с серьезным видом плавным шагом прошествовал перед нами в неверном свете костра — этакое слегка потрепанное, но весьма живописное божество. — Я спел им:

Ты лишь скажи,
Что станешь миссис Бралахан.
Не откажи,
Красотка Джуди Каллахан.

Я сам не узнал своего голоса. А на женщин просто жалко было смотреть, ей-богу. При виде меня красотки тотчас упали ниц. Когда я проходил, последняя с краю даже протянула руку, чтобы прикоснуться к моим стопам. Я решил оказать ей особую честь и на ходу накрыл ее голову концом розового плаща, после чего скрылся в темноте в противоположном конце храма, где угодил прямо в лапы огромного жирного жреца. Все, о чем я мечтал тогда, — это смыться. Поэтому я схватил его за потную шею и сжал ему горло так, что он и пикнуть не мог. «Где выход? — спросил я. — Как мне отсюда выйти, отвечай, жирный нехристь». — «Так ты...» — охнул он. «Ну да,

человек, — говорю. — Белый человек, солдат, обычный солдат. Где, ради всего святого, тут у вас черный ход?» Женщины в храме по-прежнему сидели, склонив головы ниц, а молодой жрец простирали над ними руки. «Вон там», — отвечает мой толстый приятель, ныряет за статую какого-то быкоподобного бога и пытается проскользнуть в проход. Но тут я вспоминаю, что я, должно быть, создал этому заведению репутацию чудотворного храма на ближайшие полсотни лет. «Постой, не спеши», — говорю я ему и не мешкая загораживаю проход руками. Старый жулик мне улыбнулся в ответ, точно отец родной. Я его обхватил сзади за шею, на случай если он вдруг вздумает меня ненароком ножом пырнуть, и протащил пару раз туда и обратно по проходу, чтобы немножко поумнел. «Успокойся, — говорит он по-английски, — я понял». — «Вот так-то лучше, — говорю я. — А что ты мне дашь за этот великолепный паланкин — а то мне сейчас не с руки с ним возиться». — «Никак не могу», — говорит он. «Можешь, — отвечаю. — Ты же должен мне оплатить билет на поезд. Я забрался далеко от дома и, как-никак, оказал всем вам здесь важную услугу». До чего же, ребята, здорово быть жрецом; старикашке нет нужды бегать в банк всякий раз, когда ему нужны деньги. Чуть позже вы убедитесь, что я не вру: он пошарил по закоулкам намотанного на нем тряпья, и мне в руки посыпались десятирупиевые бумажки, старинные золотые мохуры и рупии, так что скоро уже в руках было не удержать.

— Врешь! — сказал Ортерис. — Ты или загибаешь или спятил от солнечного удара. Туземец сам никогда и гроша не отдаст, из него деньги можно только клещами вырвать. Так не бывает.

— Ну, так значит, то, что мне причудилось после удара, спрятано вон под той кучей дерна, — невозмутимо отозвался Малвени и кивнул в сторону зарослей. — И поверь мне, Ортерис, если ты чего-то не видел, это не значит, что такого не бывает, — какие еще твои годы, сынок. Четыреста тридцать четыре рупии, если я правильно посчитал, и большое золотое ожерелье, которое я взял у него на память, — вот наша доля в этом предприятии.

— И он что, прямо так тебе их сам и отдал? — спросил Ортерис.

— Мы там были одни, в этом проходе, может быть, я и проявил некоторую излишнюю настойчивость... Но, с

другой стороны, я ведь столько сделал для храма, да и представьте, какую радость я доставил бедным женщинам. Так что плату я взял самую умеренную. Я бы и больше взял, конечно, если б нашел. В конце я даже перевернул старикашку вверх ногами, но больше ничего из него вытрясти не удалось. Потом он открыл мне дверь в другой проход, и я оказался по колено в речной воде — ну и воняло же там, я вам скажу! Оказывается, я вышел на берег около гхата, где они сжигают покойников и потом сплавляют заразу по всей реке. Была, наверное, уже середина ночи — я пробыл в храме четыре часа. У причала было полно пустых лодок, я отвязал одну из них и переплыл на тот берег. Потом стал пробираться к дому — ночью шел, а днем отлеживался.

— Как же тебе удалось дойти? — спросил я.

— А как сэр Фредерик Робертс¹ добрался из Кабула в Кандагар? Он знай себе шагал и никому никогда не жаловался, как ему тяжело приходилось. Потому и стал тем, кем стал. А сейчас, — Малвени зевнул, как лев, — сейчас я пойду в полк и доложу о самовольной отлучке. Двадцать восемь дней губы мне обеспечено, как тут ни крути, да еще полковник выплет по первое число, уж будьте уверены. Но, в конце концов, дело того стоило.

— Малвени, — осторожно начал я. — Если бы ты мог представить какое-нибудь оправдание, которое удовлетворило бы полковника, мне кажется, ты отделался бы выговором. Ты же знаешь, сейчас присылают новобранцев, и...

— Ни слова более, сэр. Так старику нужно, чтобы я представил оправдания? Вообще-то оправдываться не в моих привычках, но для него я сделаю исключение. Скажу, что я улаживал кое-какие финансовые проблемы, связанные с местным храмом. — И он зашлепал по дороге к казарме и гарнизонной тюрьме, распевая во всю глотку:

И вот пришел за мной капрал,
Ведут меня в тюрьму:
Я честь солдата замарал,
Нарушил я присягу.

И когда фигура его скрылась в мерцании лунной ночи, до нас долетели слова припева:

¹ Фредерик Робертс (1839—1914) — британский генерал, участник афганских войн. В 1880 г. совершил переход в Кандагар, осажденный Айюб-ханом.

В барабан сильнее бей и тарелок не жалей!
В ногу, дружно, раз-два, веселей, ребята!
Нас не балует война,
Виски нет, и нет вина,
Только песня греет душу храброго солдата!

Так, с песней, он сдался чуть не плачущему от радости караулу и был восторженно принят однополчанами. Полковнику он сказал, что с ним случился солнечный удар и он провалялся без сознания бог знает сколько времени в туземной хижине; так, с добродушными шутками и снисходительными ухмылками, дело успешно и замяли, и уже на следующий день он учил новобранцев главной заповеди солдата: «Бей без промаха в цель, бойся Божьего гнева, чисти чаще мундир и чти свою королеву».

БЫВШИЙ

Отверзлась земля. Из могилы сырой
Явился к нам гость на пир.
Присел отдохнуть и продолжил свой путь,
Но в душах нарушил мир.

К отмщению взывает кровь,
Сполна грядет расплата,
Как час пробьет, Бог предъявит счет
За нашего мертвого брата.

Баллада

Поймите меня правильно: всякий русский — милейший человек, покуда не напьется. Как азиат он очарователен. И лишь когда настаивает, чтоб к русским относились не как к самому западному из восточных народов, а, напротив, как к самому восточному из западных, превращается в этническое недоразумение, с которым, право, нелегко иметь дело. Он и сам никогда не знает, какая сторона его натуры возобладает в следующий миг.

Диркович — а он был самый что ни на есть распрорусский русский — числился офицером казачьего полка на царской службе и, всякий раз под новым псевдонимом, писал для одной из русских газет. Это был молодой, красивый азиат, любивший бродить по нехоженным тропам; в Индию он забрел невесте откуда. Во всяком случае, никому не удалось установить, лежал ли его путь через Балх, Бадахшан, Читрал, Белуджистан или Непал или же он прибыл другой дорогой, и какой именно. Ин-

дейское правительство, против обыкновения, распорядилось оказать гостю радушный прием и показать все, что стоит смотреть. Болтая на дурном английском и отвратительном французском, он мотался из города в город, покуда в Пешаваре, что стоит в устье узкой ложины в горах — люди называют ее Хайберским перевалом, — не прибился к Белым Гусарам Ее Величества. Его офицерское звание не вызывало сомнений; мундир, как это принято у русских, украшали эмалевые кресты орденов, он умел поддержать беседу и как-то раз (хоть сие отнюдь не добродетель) блестяще справился с заведомо безнадежной задачей, вернее с кружкой, куда Черные Тиронцы, употребившие всем вместе и каждому в отдельности отпущенное гостеприимство, чтоб спойть иностранца, намешали всевозможных горячительных напитков — меда, подогретого виски и коньяка с корицей. Пить с Черными Тиронцами, — а они все сплошь ирландцы, — и сохранить ясную голову — нет, этот иностранец был молодчина, каких мало.

Белые Гусары относились к подбору напитков ничуть не менее ответственно, чем к исполнению воинского долга. Они предоставили в полное распоряжение Дирковича все свои запасы, включая бутылки дивного бренди, и он чудесно проводил время, даже лучше, чем с Черными Тиронцами.

Но вот беда, среди всех этих гульбищ он упорно продолжал считать себя европейцем. К Белым Гусарам обращался не иначе как «друзья мои, любимые друзья», «доблестные товарищи по оружию», «неразлучные братья». Мог часами напролет рисовать картины славного будущего, что ждет Англию и Россию, когда, объединив войска и слившись территориями и сердцами, они дружно приступят к великой миссии просвещения Азии. Все это, разумеется, вздор, цивилизацию Азии не перекроить на западный манер. Азия слишком обширна, да и лет ей немало. Из женщины, что знавала многих мужчин, не сделаешь скромницы, а ненасытная в любви Азия в былые времена заигрывала с кем ни попадя. В воскресную школу или на выборы ее можно загнать только с оружием в руках.

Диркович знал это не хуже других, но предпочитал ораторствовать в духе передовых статей, расточая направо и налево лучезарные улыбки; временами скуп, весьма скуп делился сведениями о своей казачьей сотне, брошенной где-то за семью морями и, по-видимому, оди-

чавшей без командира. Он подавлял восстания туземцев в Средней Азии и пороха понюхал поболее своих ровесников, но старался ничем не выдавать свое превосходство и прямо из кожи вон лез, превознося по любому поводу стать, выучку, мундиры и обычаи Белых Гусар Ее Величества. Впрочем, полк и впрямь заслуживал восхищения. Леди Дерган, вдова покойного сэра Джона Дергана, после приезда к ним в гарнизон, где вскоре каждый офицер предложил ей руку и сердце, весьма изящно выразила общую мысль, объяснив, что просто не может удовольствоваться всего одним гусаром: все они так милы, ей бы хотелось сочетаться браком с каждым, в том числе и с уже женатыми майорами и полковником. После чего, будучи противоречивой по натуре, вышла за какого-то коротышку из стрелкового полка. Белые Гусары собрались было надеть траурные повязки, но передумали и ограничились тем, что явились на свадьбу в полном составе и с молчаливым упреком выстроились в боковом приделе церкви. Кокетка обманула их всех — от капитана Бассет-Холмера до Крошки Милдред, юного субалтерна, брак с которым сулил ей титул и четыре тысячи в год.

И только несколько тысяч семитов, что жили по ту сторону границы и звались патанами, не разделяли общего расположения к Белым Гусарам. Правда, деловая встреча между ними состоялась лишь единожды и длилась не более двадцати минут, но в ходе дружеской беседы было убито и ранено столько патанов, что последние навсегда утратили способность к беспристрастному суждению. Белых Гусар они звали не иначе как дьявольскими отродьями, более того, утверждали, что их родителей решительно невозможно встретить в приличном обществе. Но поживиться за счет своих недругов патаны были все же не прочь. Полк был вооружен карабинами — превосходными карабинами «мартини-генри»; стрелять из такого карабина одно удовольствие, удобнее, чем из длинноствольной винтовки, а его пули поражают неприятеля на расстоянии тысячи ярдов. Стоит ли удивляться, что весь приграничный люд возмечтал о таком оружии? Спрос неминуемо рождает предложение, и карабины стали поставлять населению; платили за него три с половиной килограмма серебряных рупий — его собственный вес — или шестнадцать фунтов стерлингов. По ночам, рискуя получить увечье и даже потерять жизнь, змеекудрые воры по-пластунски переползали границу и уводили карабины прямо из-под носа у часовых; они зага-

дочным образом исчезали с пирамид даже в закрытом помещении, а в жаркую погоду, когда окна и двери казармы распахивали настежь, растворялись в воздухе, как дымок из ствола.

Приграничным жителям они были нужны для кровной мести, и вообще мало ли для чего. Зимой, когда ночи на севере Индии холодны и долги, воры совсем распоясались. В это время года в горах торговля смертью шла живее чем когда бы то ни было, и цены на товар взлетели выше прежнего. Командование выставило двойные, а потом и тройные кордоны. Солдату по большей части плевать на оружие — пускай пропадает, правительство выдаст новое, но Боже упаси посягнуть на его сон. В полку сильно осерчали, и задали одному из пойманных воров такую трепку, что и по сей день на его теле видны следы гусарского гнева. Набеги временно прекратились, число часовых соответственно сократили, гусары принялись играть в поло и неожиданно так в этом преуспели, что со счетом два — один обыграли сам Лашкарский Легкий Кавалерийский полк, непревзойденных спортсменов, хотя у последних было по четыре пони на каждого (сражались всего час), кроме того, за них играл офицер из местных, который носился по полю, как огненный смерч.

Дабы отпраздновать событие, гусары дали обед. Пришла команда кавалеристов, пришел в длиннополом, как халат, немисливо длинном мундире казачьего офицера Диркович, был представлен лашкарцам и немало подивился их стати. Они были мельче гусар и ходили той характерной танцующей походкой, по которой всегда узнаешь солдата Нерегулярной Кавалерии или Панджабских пограничных войск. Такой походке, как и всякому воинскому искусству, приходится учиться, но, в отличие от прочих навыков, она никогда не забывается, и тело хранит ее ритм до самой смерти.

Огромная, с бревенчатым потолком, столовая Белых Гусар являла собой поистине запоминающееся зрелище. Все тарелки парадного сервиза были расставлены вдоль длинного стола — того самого, на котором в незапамятные времена, после давней битвы, лежали пятеро убитых офицеров; перед дверью стояли выцветшие, истрепанные боевые штандарты, серебряные канделябры перемежались букетами зимних роз, портреты усопших офицеров взирали на своих преемников меж голов кабана, оленя, дикого буйвола и двух оскалившихся снежных барсов — гордости клуба, добытых Бассет-Холме-

ром ценой четырехмесячного отпуска, который он мог бы провести в Англии, а не на Тибетских тропах, где ежедневно рисковал жизнью, — долго ли сорваться с узкого карниза или поросшего травой склона, а то и погибнуть под снежной лавиной?

Слуги в кипенно-белом муслине и тюрбанах, спереди украшенных гербами своих полков, ждали позади хозяев, оттеняя пурпур и золото Белых Гусар и сливки с серебром Легкой Кавалерии Лашкара. Единственным темным пятном на пиру был блекло-зеленый мундир Дирковича, но его огромные ониксовые глаза искупали безобразие наряда. Он шумно братался с капитаном Лашкарской команды — тот все интересовался, скольких казаков сможет в честном бою уложить его смуглый, жилистый солдат. Но о таких вещах не принято говорить вслух.

Беседа становилась все оживленнее, по старинному обычаю в перерывах между блюдами играл полковой оркестр; но вот остатки обеда унесли, и все замолчали разом, ожидая первого, непременного тоста. «За Вице-короля, за Королеву», — вставая, произнес один из офицеров. «За Королеву, да хранит ее Господь!» — подхватил на противоположном конце Крошка Милдред, и, браво звеня длинными шпорами, бравые гусары тяжело и шумно поднялись из-за стола, дабы выпить за Королеву, которой по неведению предстояло оплатить пирушку своих воинов. Этот торжественный застольный обет хранит неувядаемую прелесть, и всякий, услышав его, на суше или на море, неизменно чувствует, как к горлу подступает комок. Диркович сунулся было со своими «славными братьями», но где ж ему было понять, если не всякий офицер Британской армии знает, что означает этот тост, — у большинства он лишь рождает теплый отзвук в душе. Как всегда после завершения ритуала, наступила короткая тишина, и в зал вошел игравший за Лашкарскую команду туземный офицер. Он, разумеется, не мог принять участия в обеде, а потому явился, когда подали десерт, — двухметровый великан, в огромных черных сапогах, увенчанный голубым с серебром тюрбаном. В знак верности протянув для пожатия рукоятку своей сабли полковнику Белых Гусар, он уселся на свободный стул под радостные крики поднявшихся ему навстречу офицеров:

— Ранг-хо Хира Сингх! (Что в переводе означает: войди и победи.)

— Да вы хромаете, старина, уж не разбил ли я вам колено?

— Рессайдар-сахиб ¹, что за брыкливого пони вы вывели на поле в последние десять минут?

— Шабаш ², рессайдар-сахиб!

— За здоровье рессайдара Хиры Сингха! — воскликнул полковник.

Когда восторги улеглись, Хира Сингх поднялся для ответного тоста, ибо был отпрыском королевского дома, сыном сына махараджи, и знал, как держать себя в подобных обстоятельствах.

— Полковник-сахиб и доблестные Белые Гусары, — начал он на своем языке. — Большую честь оказали вы мне. Я этого никогда не забуду. Мы приехали издалека, чтоб сыграть с вами. Но были побиты. («Это не ваша вина, рессайдар-сахиб. Само собой, мы хозяева поля. Ваши пони просто застоялись в вагоне. Не извиняйтесь!») А потому мы, возможно, приедем опять, — конечно, с вашего разрешения. («Правильно! Давай! Молодчина! Bravo! Да тише вы!») И тогда мы сыграем снова («Что ж, будем только рады!») и станем сражаться, покуда наши пони не собьют копыта в кровь. О спорте все. — Его рука опустилась на рукоятку меча, взгляд выхватил из толпы развалившегося на стуле Дирковича. — Но если Бог ниспошлет нам другую игру, отличную от игры в поло, тогда будьте уверены, полковник-сахиб и офицеры, мы с вами встанем плечом к плечу и будем сражаться, даже если они, — он вновь покосил на Дирковича, — повторяю, даже если они выставят полсотни пони против одного нашего коня. — И, зычно выдохнув: «Ранг-хо!», прозвучавшее, как залп мушкета, сел на место. Офицеры со всех сторон потянулись к нему с бокалами.

Диркович, к тому времени успевший порядочно нализаться бренди, — того самого разящего наповал бренди, о котором я уже рассказывал, — ничего не понял, а тактичные переводчики постарались смягчить выпад. Речь Хиры Сингха была единодушно признана самым ярким событием вечера; пирушка затянулась бы до рассвета, но грохот выстрела вдруг разорвал веселье, и каждый потянулся за саблей, но на левом боку, в честь праздничка, было пусто. За окнами, видимо, завязалась драка. Кто-то заорал от боли.

¹ Рессайдар — князь.

² Шабаш — молодец.

— Опять за карабинами явились, голубчики, — спокойно сказал адъютант, как ни в чем не бывало усаживаясь на стул. — Вот что значит сократить стражу. Надеюсь, часовые пристрелили вора.

По плитняку веранды захохотали тяжелые башмаки солдат; они, видимо, что-то волокли по полу.

— Почему они не бросят его в погреб до утра? — раздраженно сказал полковник. — Сержант, сходите посмотрите, не ранен ли он.

Прислуживавший за столом сержант нырнул в темноту и вернулся с двумя рядовыми и капралом. Все трое были изрядно смущены.

— Вот, сэр, поймали, хотел карабин увести, — сказал капрал. — Обошел часовых на дороге, срезал угол, подполз к казармам, сэр, стража говорит...

Из бесформенной кучи лохмотьев, которую поддерживали трое солдат, послышался стон. Свет не видывал такого нищего, жалкого афганца. Босой, без тюрбана, весь в грязи, как в коросте, он был чуть жив от побоев. Хира Сингх привстал со своего места. Диркович пригубил очередной стакан бренди.

— Так *что же* доложила стража? — осведомился полковник.

— Он говорит по-английски, сэр, — отвечал капрал.

— И на этом основании вы притащили его сюда вместо того, чтобы сдать сержанту?! Да говори он на всех языках Вавилона, какое вы имели право...

Оборванец вновь застонал, запричитал... Крошка Милдред поднялся посмотреть, в чем дело. И отпрянул как ошпаренный.

— Сэр, солдатам, наверное, лучше уйти, — сказал он полковнику, у которого ходил в любимчиках. Он обхватил укутанное в лохмотья страшилище и усадил его на стул.

Вы, должно быть, уже догадались, что «Крошкой» Милдред прозвали за великанский рост и внушительное телосложение. Капрал, увидев, что офицер собирается сам присмотреть за пленником, а глаза полковника мечут молнии, поспешил ретироваться вместе с подчиненными. Собрание осталось, таким образом, один на один с вором, который уронил голову на стол и заплакал — горько, безнадежно, безутешно, как плачут маленькие дети.

— Полковник-сахиб, — сказал, поднявшись, Хира

Сингх. — Это не афганец, ибо афганцы, плача, приговаривают: «Ай! Ай!» Но он и не индеец, ибо они, плача, приговаривают: «Ох-хо!» Этот же плачет на манер белых мужчин: «Ой! Ой!»

— Черт возьми, Хира Сингх, с чего вы взяли? — спросил капитан лашкарцев.

— Прислушайтесь! — просто сказал Хира Сингх, указывая на сгорбленную фигуру пленника, чьим рыданиям, казалось, не будет конца.

— Он говорит «Господи», — сказал Крошка Милдред. — Я слышал, он произнес это слово.

Полковник и гусары с кавалеристами уставились на несчастного. Ужасно, когда плачет мужчина. Женщина рыдает легко — верхним небом или губами, мужчине же приходится рыдать диафрагмой, и плач разрывает его нутро на части.

— Бедняга, — сказал полковник, заходясь в кашле. — Надо отправить его в больницу. Ему, видно, крепко досталось.

Но тут вмешался адъютант. Адъютант любил свои карабины. Он лелеял их точно внуков, и после солдат они ему были дороже всего.

— Я еще могу понять, когда афганцы воруют — так уж они устроены, — возмутился он. — Но отчего он плачет? По-моему, плаксивый вор еще хуже обычного.

Должно быть, бренди пробрало-таки Дирковича — он откинулся на спинку стула и уставился в потолок. Потолок был ничем не примечателен, кроме разве что тени, очертаниями напоминавшей огромный черный гроб. Так уж построили столовую, что стоило зажечь свечи, как тут же возникала и тень. Впрочем, она нисколько не вредила пищеварению Белых Гусар. По правде говоря, они ею очень гордились.

— Он всю ночь собирается реветь или как? — с раздражением спросил полковник. — Мы что, нанялись тут сидеть с гостем Крошки Милдред, пока ему не полегчает?

Мужчина вскинул голову и, оглядев собравшихся, простонал: «О, Господи!», и все офицеры разом вскочили на ноги. Дальнейшие действия капитана лашкарцев достойны всяческих похвал; за исключительную доблесть в борьбе с мучительным любопытством он, на мой взгляд, заслужил по меньшей мере «Крест Виктории». Глазами показав на дверь, он поднял свою команду и, ненадолго задержавшись у полковничьего стула, бро-

сил: «Это не наше дело, сэръ. Извините», — после чего вывел кавалеристов на веранду, а оттуда в парк, — так хозяйка, улучив момент, уводит дам из гостиной.

Хира Сингх уходил последним и посмотрел на Дирковича. Но Диркович уже давно вознесся в свой маленький коньячный рай. Беззвучно шевеля губами, он изучал гроб на потолке.

— Да он белый, белый с головы до ног! — воскликнул адъютант Бассет-Холмер. — Какой коварный изменник! Интересно, откуда он?

Полковник легко потряс незнакомца за плечо.

— Кто ты такой? — спросил он.

Тот не ответил. Лишь обвел столовую взглядом и улыбнулся в лицо полковнику. Крошка Милдред, в котором, покуда не прозвучит клич: «По коням!» — женское начало всегда преобладало над мужским, повторил вопрос — голосом, способным растопить и камень. Незнакомец продолжал улыбаться. Диркович, сидевший на дальнем конце стола, медленно съехал со стула на пол. Так уж он глупо устроен, этот мир, что всякий сын человеческий, смешав в желудке пять стаканов гусарского шампанского с восемью стаканами гусарского бренди, обречен ударить лицом в ту самую грязь, из которой Господь в свое время слепил Адама. Оркестр заиграл мелодию, которой Белые Гусары, со дня основания полка, завершали любое торжество. Они скорее дадут расформировать свой полк, чем изменят излюбленной мелодии: это дело принципа. Незнакомец выпрямился на стуле и забарабанил пальцами по столу.

— Не понимаю, почему мы должны развлекать сумасшедших, — сказал полковник. — Позовите стражу — пусть посадят его в погреб. Отложим разбирательство до утра. Впрочем, сперва налейте ему вина.

Крошка Милдред наполнил бренди винный бокал и дал незнакомцу. Тот выпил; все громче звучала музыка, и все шире расправлял плечи несчастный пленник. Потом тонкой, с длинными ногтями рукой накрыл лежавшую перед ним серебряную пластину и с нежностью опущал ее. Пластина была с секретом: стоило нажать потайную пружину, и семисвечный канделябр — три чашечки по бокам и одна посередине — превращался в круглый, перегородчатый светильник. Незнакомец нашел пружинку, нажал ее и тихо рассмеялся. Он встал со своего места, осмотрел картину на стене, потом другую; молча наблюдали за ним офицеры. Дойдя до ка-

мина, он остановился и сокрушенно покачал головой. Его внимание привлек парадный портрет гусара верхом на лошади. С неммым вопросом в глазах незнакомец указал на него, потом на каминную доску.

— Ну-ка, что это? — спросил Крошка Милдред. И сам же ласково и терпеливо, как мать ребенку, объяснил: — Лошадь. Это лошадь.

— Знаю... видел... Но... где же *лошадь*? — медленно, бесстрастно просипел незнакомец. Каждое слово давалось ему с трудом.

Офицеры расступились, чтоб он мог беспрепятственно совершать свой обход. Было слышно, как бьются сердца. О том, чтобы звать стражу, не было и речи.

— Где же *наша* лошадь? — вновь с усилием выдавил он.

Речь могла идти лишь об одной лошади — пегом мерине барабанщика, гордости полкового оркестра; тридцать семь лет прослужил он Белым Гусарам, покуда его не пристрелили по старости. Портрет мерина висел над дверью в столовую. Его тотчас же сорвали и отдали незнакомцу. Тот все-таки установил портрет на каминной полке, но бессильные руки не удержали тяжести, портрет стукнулся о край, незнакомец, шатаясь, добрал до стола и рухнул на стул Крошки Милдред.

— Лошадь барабанщика убрали с каминной полки еще в шестьдесят седьмом, — заволновались офицеры. — Как он узнал? Милдред, поди поговори с ним. Что вы намерены предпринять, господин полковник? Да замолчите вы, пусть бедняга хоть немного придет в себя! Ну, это вряд ли. Он сумасшедший.

Крошка Милдред подошел к полковнику и что-то зашептал ему на ухо.

— Соблаговолите занять свои места, господа, — сказал он, и гусары повиновались. Через минуту пустовало только место Дирковича рядом со стулом, где прежде сидел Крошка Милдред, сам же он переместился на место Хиры Сингха. В мертвой тишине, не понимая, что происходит, прислуживавший за столом сержант наполнил бокалы. И снова полковник встал и, глядя на незнакомца, сидевшего на стуле Крошки Милдред, хрипло произнес:

— За Вице-короля, за Королеву! — но рука его дрогнула, и портвейн выплеснулся на скатерть.

За столом воцарилась тишина, но не надолго — незнакомец вскочил на ноги и без запинки ответил:

— Здоровье Королевы, да хранит ее Господь! — и, залпом осушив бокал, переломил между пальцами тонкую ножку.

Давным-давно, когда императрица Индии была молода, а ее верноподданных одушевляли незамутненные идеалы, в некоторых собраниях, выпив за ее здоровье, было принято бить бокалы, к вящему удовольствию подрядчиков, поставлявших посуду для стола. Обычай этот не существует более, да и за что бить бокалы? Неужто за правительство, которое то и дело в прах разбивает наши надежды?

— Все ясно, — шумно выдохнув, сказал полковник. — Он не сержант. Кто же он такой?

Последние слова подхватили все, и на пришельца обрушился такой град вопросов, что любой бы испугался. Не удивительно, что грязный оборванец лишь качал головой и улыбался.

Из-под стола, невозмутимый и лучезарный, вылез Диркович, чье чудесное забытие было нарушено грубыми пинками офицерских сапог. Он вдруг вырос рядом с незнакомцем, и тот с криком пал ниц. После торжественного, пышного тоста жутко было видеть, как скоро покинул несчастного только что обретенный рассудок. Диркович не пытался поднять его, но Крошка Милдред тут же подхватил и поставил рядом. Негоже господину, умеющему ответить на тост за королеву, валяться в ногах у казачьего субалтерна.

От резкого движения рубище несчастного расползлось почти до талии, обнажив тонкие бурые шрамы, исполосовавшие его тело. Этих параллельных следов не оставляет ни палка, ни плетка-девятихвостка. Лишь одним оружием в мире можно так расписать спину. Увидев шрамы, Диркович переменялся в лице. Зрачки его глаз расширились. Он что-то спросил у незнакомца, и тот по-русски заискивающе ответил: «Четыре».

— Что это значит? — хором спросили офицеры.

— Его номер. Номер четыре, — Диркович еле ворочал языком.

— Каким образом у офицера Ее Величества оказался порядковый номер? — спросил полковник. За столом негодуяще зашумели.

— Почему мне знать? — обворожительно улыбнулся душка-азиат. — Он этот, как его — пленный, беглец, во-он оттуда, — и он кивнул на окно, где чернела ночь.

— Поговорите с ним, если он станет вам отвечать, но только вежливо, — сказал Крошка Милдред, усаживая незнакомца на стул.

Всех покорило то, что Диркович продолжал прихлебывать бренди, выплевывая округлые русские слова в лицо существу, которое отвечало так робко и было так явно напугано. Но они, очевидно, понимали друг друга, так что офицеры помалкивали, а во время долгих промежутков в беседе, тяжело дыша, подавались вперед. В следующий раз, как выпадет передышка в делах ратных, Белые Гусары всем полком отправятся в Санкт-Петербург — учить русский.

— Он не помнит, сколько лет прошло, — сказал Диркович, оборачиваясь к собранию, — но говорит, что это случилось давным-давно, во время войны. Думаю, произошло недоразумение. Говорит, воевал в вашем доблестном полку.

— Списки! Списки! Холмер, несите списки! — воскликнул Крошка Милдред, и адъютант, с непокрытой головой, бросился в канцелярию подразделения, где хранились списки личного состава. Когда он вернулся, Диркович как раз заканчивал свою речь:

— А потому, друзья мои, с великим прискорбием вынужден сообщить вам, что произошло недоразумение, но его можно было бы предотвратить, если бы этот человек, оскорбивший нашего полковника, извинился перед ним.

И вновь послышались негодующие возгласы. Подумаешь, оскорбил русского полковника, дело великое! Тщетно пытался полковник успокоить господ офицеров.

— Сам он не может припомнить, но, по-моему, произошло недоразумение; в результате его не обменяли в числе других пленных, а отправили... в другое место, — как это сказать по-английски? — в провинцию. И вот он здесь. Говорит, не знает, как к вам добирался. Что? Жил в Чепанах. — Бедняга, услышав, кивнул и задрожал. — В Жиганске и в Иркутске. Ума не приложу, как ему удалось бежать. Скрывался в лесах, но сколько лет провел там, позабыл — он все забывает. Недоразумение. А все потому, что не извинился перед нашим полковником. Ах, какая досада!

Вместо того чтобы разделить благородную грусть Дирковича, Белые Гусары, как ни печально, выказали живейший, но совершенно не христианский восторг и

иные чувствования, напрочь позабыв о тяготевшем над ними долге гостеприимства. Холмер бросил на стол истертые, пожелтевшие списки, и офицеры бросились к ним.

— Внимание! Пятьдесят шесть — пятьдесят пять — пятьдесят четыре, — а вот и то, что нам нужно. Лейтенант Остин Лиммасон. *Пропал без вести*. Это случилось перед Севастополем. Какая нечеловеческая жестокость! Тридцать лет вычеркнуто из жизни, тридцать лет! — ужаснулся Холмер.

— Но он и не подумал извиняться. Сказал, скорей умру, чем извинюсь, — дружно подхватили офицеры.

— Бедняга! Может, после и передумал, да куда там! — сказал полковник. — Как ему все же удалось до нас добраться?

Из наваленной на стуле кучи грязного тряпья ответа не последовало.

— Вы знаете, кто вы такой?

Послышался слабый смех.

— Знаете ли вы, что ваше имя Лиммасон, лейтенант Лиммасон из полка Белых Гусар?

Ответ прозвучал мгновенно, точно выстрел.

— Да, разумеется, я Лиммасон, — в некотором недоумении вымолвил оборванец, но тут же свет в его глазах погас, и, с ужасом наблюдая за каждым движением Дирковича, он повалился на пол. Какие-то простейшие, обрывочные сведения, видимо, еще удерживались в его памяти, но изнемогший после побега из Сибири мозг оказался не в силах восстановить меж ними связи. Несчастный не мог объяснить, каким образом, подобно почтовому голубю, нашел он дорогу туда, где стоял его родной полк. Что видел он в пути, что пришлось ему выстрадать? — об этом можно было только догадываться. Он пресмыкался перед Дирковичем так же безотчетно, как нажал пружину подсвечника, искал картину с лошадьёю барабанщика и отвечал на тост за королеву. Дальше чернел провал, и даже страх, испытанный при звуках русской речи, смог пробудить в нем напряженье мысли лишь на время. Склонив голову на грудь, он то испуганно съеживался, то трясясь от смеха.

И в этот-то донельзя неподходящий момент дьявол, что живет на дне бутылки уже не единожды упомянутого бренди, побудил Дирковича произнести речь.

Он встал, слегка пошатываясь, и ухватился за край стола; глаза его горели опаловым огнем.

— Друзья мои, доблестные воины, хлебосольные хозяева, — начал он. — Произошло несчастье, и я скорблю — я глубоко скорблю о случившемся. — Тут он лучезарно улыбнулся и обвел взглядом собравшихся. — Но есть одна ма-аленькая, малюсенькая деталь. Так, пустячок, безделка. Царь! Вздор! Плевал я на него — плевал с высокой колокольни. Верую ли я в него? Нет. Но в нас, в славян, которые еще ничего не совершили, — вот в это верю, да. Сколько нас — семьдесят миллионов — ничего, ни-че-гошеньки не совершивших людей. Вздор! Наполеон? Где он, Наполеон? Р-раз — и нет его. — Он стукнул кулаком по столу. — Нет, вы погодите, братцы, вы послушайте, ведь мы не оставили в мире никакого следа, ровным счетом никакого — нигде, ничего! Но! Нас ждут великие дела, и горе тому, кто заступит нам дорогу. Прочь! Посторонись! — Он повелительно взмахнул рукой и указал на лейтенанта Лиммасаона. — Смотрите на него. Что? Страшно? Ма-аленькое недоразуменьице, так, пустячок, никто и не вспомнил о нем. Видите, *что* теперь с ним случилось? И с вами то же будет, братья мои, доблестные воины, в точности то же самое. Но вы ни-ко-гда не вернетесь. Все, все отправится в Сибирь, в Сибирь или... — И он показал на огромную гробоподобную тень на потолке и, бормоча: — Семьдесят миллионов — поберегись... — упал и захрапел.

— Не в бровь, а в глаз, — сказал Крошка Милдред. — Что толку обижаться? Давай-ка лучше позаботимся об этом бедняге.

Но любящие руки Белых Гусар опустели неожиданно и скоро. Лейтенант Лиммасаон возвратился лишь затем, чтобы по прошествии трех дней вновь покинуть свой полк; гарнизонное начальство не заметило, что за столом кого-то не хватает, лишь плач эскадронных труб, выведивших траурный марш, возвестил о потере вновь обретенного офицера.

Уехал вечерним поездом и Диркович — добродушный, обходительный и, как всегда, лучезарный. Провожали его Крошка Милдред с товарищем — что делаешь, он был гостем Белых Гусар, а кодекс гусарской чести не допускал и малейшего нарушения гостеприимства, так что, даже если бы он дал пощечину самому полковнику, его бы все равно проводили.

— Прощайте, Диркович, доброго пути! — сказал Крошка Милдред.

— *О-ревуар*, — поправил его русский.

— Ах да, в самом деле, до свидания. Но разве вы не домой?

— Домой, но я обязательно вернусь. Друзья мои, неужто этот путь закрыт? — И он показал туда, где над Хайберским перевалом горела Полярная звезда.

— Господи, а я и забыл. Разумеется. Приезжайте, старина, мы вам всегда рады. У вас все в порядке? Сигары, лед, постель — все на месте? Ну вот и славно. Что ж, *о-ревуар*, Диркович.

— Мда-а, — сказал его спутник, когда хвостовые огни поезда уменьшились до крошечных светящихся точек. — Этот человек положительно неисправим!

Крошка Милдред ничего не ответил. Он смотрел на Полярную звезду и мурлыкал песенку из нового водевиля, — Белые Гусары видели его в Симле, и он им очень понравился. Вот ее слова:

Мне обидно за Синюю Бороду —
Вновь, бедняга, дал маху с женой,
Но кому-то, увы, не сносить головы,
Когда вновь он вернется домой.

НАЧАЛЬНИК ОКРУГА

Стало узником больше в Центральной тюрьме
За сбитой из грязи стеной,
Стало вором больше в кордонной тьме,
А на всем — монарший покой, братва,
На всем — монарший покой.

Поделим честно вину главаря,
Согнемся под общей виной,
Коль тронем страну, в оковах, в плену,
А на всем — монарший покой, братва,
На всем — монарший покой¹.

I

Воды Инда поднялись неожиданно. Еще вчера вечером реку можно было перейти вброд, сегодня же между крутым и пологим берегами бурлил мутный поток шириной в пять миль, а вода все прибывала. Светила

¹ Перевод М. Редькиной.

луна. Шестеро бородачей с непривычки неловко несли паланкин; дойдя до белой песчаной кромки, остановились, перед ними расстился бескрайний, млечно-белый речной простор.

— На все воля Божья, — сказали они. — Богу не угодно, чтоб мы сегодня переправились на тот берег, даже в лодке. Давайте-ка лучше разведем огонь и приготовим ужин. Все мы устали.

Они вопросительно взглянули на паланкин. Там за занавесками лежал заместитель комиссара округа Кот-Кумарсен; он умирал от лихорадки. Они принесли его сюда издалека, шестеро воинов из приграничного клана, которым он старался привить хоть какие-то понятия о порядочности, покуда у подножия их негостеприимных гор не свалил его смертельный недуг. Тэллантайр, его помощник, сопровождал их верхом, и на душе у него было черно от горя, а глаза от недосыпания слипались. Он служил под началом больного шесть лет и полюбил его, как любят или ненавидят друг друга мужчины, связанные общим тяжким трудом. Спешившись, он раздвинул занавески паланкина и заглянул внутрь.

— Орде, Орде, дружище, ты меня слышишь? Нам не повезло, придется подождать, пока спадет вода.

— Слышу, — хрипло прошептал больной. — Ждите, пока спадет вода. Я-то думал, до рассвета доберемся до лагеря. Полли знает. Она выйдет встретить меня.

Один из носильщиков разглядел на дальнем берегу неверный мерцающий свет.

— Там огни его лагеря и его жена, — зашептал он Тэллантайру. — Утром они переправятся к нам, у них-то лодки получше наших. Доживет он до утра?

Тэллантайр покачал головой. Ярдли-Орде вот-вот умрет. К чему беречь его душу несбыточной надеждой на встречу? Река уже слизнула песчаный утес и теперь заглатывала все новые участки берега, урча, как прожорливый зверь. Носильщики в поисках топлива рылись в куче сухой верблюжьей колючки и отбросов, оставленных путниками, которые останавливались на привал у брода. Окутанные лунной дымкой, они легко ступали, звеня кинжалами; лошадь Тэллантайра закашляла, требуя попоны.

— Я совсем заоченел, — раздался голос из паланкина. — Чувствую, конец мне приходит. Бедняжка Полли!

Тэллантайр стал поправлять одеяла; увидев это,

Кхода Дад-хан сбросил овчину и кинул поверх укрывавших больного теплых вещей.

— Ничего, сейчас согреюсь у костра, — сказал он.

Тэллантайр взял на руки своего истаявшего начальника и прижал к груди. Если Орде хорошенько согреть, он, может статься, еще протянет немного, повидается с женой напоследок. Господи, только бы хоть на три фута спала вода в реке.

— Теперь полегчало, — слабым голосом сказал Орде. — Ты со мной замучился, прости, но, может, — может, есть чего-нибудь выпить?

Ему дали молока и виски, и Тэллантайр почувствовал, что больному стало теплее.

— Я не боюсь смерти, — зашептал Орде. — Но на кого я покину Полли и округ? Слава богу, у нас нет детей. Знаешь, Дик, я ведь первые пять лет службы был весь в долгах, по уши. Пенсию назначат небольшую, но ей хватит. Дома у нее осталась мать. Только вот добраться туда трудно. И потом... понимаешь, если бы она была женой солдата...

— Не тревожься, мы соберем ей на проезд, — тихо сказал Тэллантайр.

— Горько мне думать, что придется пустить шапку по кругу, но Господи, скольких товарищей схоронил я в этой земле, и мало кому посчастливилось избежать этой участи. Мортен умер — мы с ним были ровесники. Шонесси умер, а ведь у него дети; помню, он зачитывал вслух их письма из школы; каким же занудой он нам казался! Эванс мертв — Кот-Кумарсен убил его! Умер Рикетс из Миндони, — пришел и мой черед. «Человек, рожденный женою, — лишь тощий злак, и скудны всходы его»¹. Да, Дик, как бы не забыть — четыре деревни в нашем округе просят, чтоб этой весной им на треть сократили налоги. Это справедливо: урожай у них нынче неважный. Проследи, чтоб их просьбу уважили, и поговори с Феррисом насчет канала. Жаль, не дожить мне до завершения строительных работ — канал так много значит для крестьян, живущих в верховьях Инда, а Феррис — малый ленивый, расшевели его. Пока мне не пришлют преемника, управлять округом будешь ты. Хотелось бы, чтоб назначили тебя: ты знаешь людей. И все же скорее всего начальником станет Баллоуз. Человек

¹ Киплинг перефразирует Библию: «Человек, рожденный женою, краткодневен и пресыщен печальями». — Иов, 14, 1.

он славный, но слабоват для работы на границе; и к тому же не понимает жрецов. За слепым муллою из Джагаи нужен глаз да глаз. Все найдешь в моих бумагах — они, по-моему, лежат в ящике. А теперь зови людей, я в последний раз буду держать перед ними речь. Кхода Дад-хан!

Вожак подскочил к паланкину, за ним подошли остальные.

— Друзья, я умираю, — торопливо начал Орде на местном наречии. — Скоро не станет Орде-сахиба, и некому будет наказать вас за угон чужого скота.

— Нет, сахиб не умрет, — басом дружно запротестовали туземцы. — Бог не допустит такого несчастья!

— Умрет. И тогда ему откроется, кто же прав: Мухаммед или Моисей. Вы же, когда меня не станет, смотрите, ведите себя примерно. Те, кто живет на наших границах, должны, как и прежде, послушно выплачивать налоги. Я заступился за вас, и деревням в этом году дадут поблажку. Те же, кто живет в горах, должны прекратить воровать скот и поджигать соломенные крыши. Да не больно слушайтесь жрецов — им не ведомо могущество правительства; они лишь втянут вас в бессмысленные войны, где вас непременно убьют, а чужаки съедят ваш урожай. Не грабьте караваны, а оружие, как спуститесь с гор, сдайте в полицейский участок — это приказ. С вами остается Тэллантайр-сахиб, а кого пришлют на мое место — не знаю. Верьте мне, дети мои, ибо я одной ногой уже в могиле — а вы, хоть силы вам не занимать, сущие дети.

— Да ты нам все равно что отец с матерью, — клятвенно заверил Кхода Дад-хан. — На кого ж ты нас покидаешь, кто теперь за нас заступится, кто станет учить уму-разуму?

— Вот Тэллантайр-сахиб. Обращайтесь к нему: он знает ваш язык и вашу душу. Успокойте молодежь, слушайтесь старших и повинуйтесь. Кхода Дад-хан, возьми мое кольцо. Часы с цепочкой отдай брату. Храните эти вещи в память обо мне, а я, какого Бога ни повстречаю на небесах, замолвлю за вас словечко. У меня все. Можете идти.

Кхода Дад-хан, с кольцом на пальце, услышав знакомую фразу, которой Ярдли обычно завершал беседу, поперхнулся и закашлялся. Его брат повернулся к реке и стал всматриваться в даль. Занималась заря, на тусклом серебре воды показалось белое пятно.

— Это она, — понизив голос сказал брат. — Он проживет еще два часа? — И, вытащив из-за пояса только что подаренные часы, подражая англичанам, тупо уставился на циферблат.

Два часа бился, метался в волнах тугой парус; Тэллантайр все прижимал Орде к груди, а Кхода Дад-хан растирал ему ноги. То и дело больной вспоминал об округе и о жене, но чем ближе подступала смерть, тем чаще говорил он о Полли. «Хорошо еще не знает, что жена сейчас рискует жизнью, пытаюсь в утлой туземной лодчонке переплыть бурный поток», — думали они, но Орде, в котором заговорило предчувствие, что посещает всех умирающих, перехитрил их. Он подтянулся вперед и, раздвинув занавески паланкина, увидел, как близко к берегу подплыл парус.

— Это Полли, — просто сказал он, хоть рот его кривился в смертной муке. — Полли... Какую страшную шутку сыграла с нами жизнь! Дик... тебе придется... объяснить...

Час спустя Тэллантайр встречал на берегу женщину в льняном костюме для верховой езды и широкополой шляпе. «Где мой муж, мой любимый, мой мальчик?» — кричала она, а тем временем Кхода Дад-хан бросился ничком на песок и закрыл глаза.

II

Вся прелесть затеи состояла в ее простоте. Хотите снискать славу прозорливого, оригинального государственного деятеля, в первую голову пекущегося о чаяниях народа? Нет ничего легче: назначьте дитя страны управлять этой страной. Двести миллионов самых что ни на есть преданных и благодарных подданных ее величества закричат «ура!», и их восхищению не будет конца. И все же величайший из вице-королей был равнодушен и к похвале и к хуле. Его правление зиждилось на принципах, а принципы должно соблюдать во что бы то ни стало. Словом и пером он по мере возможности сотворил Новую Индию, — горластое, упрямое государство это заняло свое место среди других государств и принадлежало ему всецело. Засим величайший из вице-королей сперва принял решение, а уж потом позвал на совет тех, кто должен был подсказать ему, кого же назначить преемником Ярдли-Орде. Он имел на примете одного джентльмена, сотрудника Бенгальской гражданской

службы, чье место в обществе и университетский диплом позволяли ему на равных оспаривать место у сынов Англии. Человек он был образованный, светский и, если отчет не врал, мудро и, что всего важнее, милосердно управлял одним из густонаселенных округов Юго-Восточной Бенгалии. Он побывал в Англии и очаровал общество, собиравшееся в тамошних гостиных. Как бишь его зовут? Ах да, мистер Гириш Чандра Дэ, если не изменяет память.

— Короче, мы назначаем индийца управлять индийцами — что тут можно возразить? На округ в Юго-Восточной Бенгалии переведем с повышением какого-нибудь молодого чиновника той же национальности, что и мистер Г. Ч. Дэ (который, кстати сказать, написал весьма неглупый памфлет о политической значимости сострадания в государственном управлении); а мистера Г. Ч. Дэ направим на север, в Кот-Кумарсен. — Вице-король из принципа ненавидел вмешиваться в такого рода дела, — назначать должны провинциальные власти. — Я же просто рекомендую, советую, поймите меня правильно. Если же кого-то смущает национальная принадлежность мистера Гириша Чандры Дэ, то он, смею вас уверить, более англичанин, чем сами англичане, и в то же время ему присуща та особенная сострадательность и прозорливость, которую даже лучшие из лучших приобретают лишь в конце службы.

Заседавшие в Совете Индии угрюмые чернобородые махараджи встретили предложение без восторга, чем, как и следовало ожидать, едва не довели величайшего из вице-королей до истерики; он растерялся и сделался упрям и жалок, точно капризное дитя.

— Принцип-то сам по себе не плох, — сказал человек с усталым взглядом — начальник Красных Провинций, в которые входил и Кот-Кумарсен (он был тоже не прочь пофилософствовать), — да только вот...

— Надавите на чиновников округа; назначьте Дэ в подмогу парочку толковых заместителей комиссара; дайте ему лучшего помощника во всех провинциях; внушите людям божий страх, прежде чем Дэ заступит в должность; а если у него что-нибудь не заладится — свалите вину на помощников. Все равно эти милые эксперименты всегда кончаются восстанием, — сказал Рыцарь Обнаженного Меча, и грубая правда его слов заставила начальника Красных Провинций содрогнуться.

Вот с такого-то молчаливого согласия и состоялось назначение; дело обстряпали без шума, и не без причин.

С грустью вынужден признать, что общественность Индии по большей части не сумела оценить мудрость вице-королевского решения. Немало нашлось презренных чернильных наймитов, подкупленных деспотами-бюрократами, которые весьма прозрачно намекали, что Его Превосходительство — болван, прожектер, начетчик и, что всего хуже, играет людскими судьбами. «Газета Его Превосходительства Вице-короля» не пожалела слов, чтобы поблагодарить «нашего любимого Вице-короля за то, что он в который раз признал за бенгальцами выдающиеся управленческие способности и предоставляет им возможность проявить себя в чужих краях, за пределами нашего штата. Мы ни на секунду не сомневаемся, что наш достойный соплеменник, Мистер Гириш Чандра Дэ, эсквайр, магистр искусств, не посрамит гордого звания бенгальца, какие бы закулисные интриги и пешбанди¹ не плели, дабы похитить его славу и погубить будущность, гордые чиновники, иным из которых волей-неволей придется послужить под началом презренного туземца и слушаться его приказаний. Вот так-то, господа! Как вам это нравится? Ваше Превосходительство! Пожалуйста, не поддавайтесь и впредь расовым предрассудкам и, закрывая глаза на цвет кожи, позвольте этому цветку Гражданской службы (теперь она наша) получать все жалованья и пособия, назначенные его более удачливым собратьям».

III

— Когда этот человек приступит к своим обязанностям? Я сейчас один, но, по-моему, скоро окажусь под его началом.

— Может, похлопочешь о переводе? — резко спросил Баллоуз и, положив Тэллантайру руку на плечо, добавил: — Все мы в одной лодке, не бросай нас. И все же какого черта ты здесь остаешься, ведь ты можешь получить другое место?

— Этим округом управлял Орде, — просто сказал Тэллантайр.

— Зато теперь им управляет Дэ. Типичный бенгалец,

¹ Пешбанди — профилактические меры.

напичканный гражданским и уголовным правом; милейший человек, прекрасный кабинетный работник и собеседник приятный. Но лучше б его держали в родной Бенгалии, — там, где-то южнее Дакки, живут все его сестры, тетушки и кузины. Округ он превратил в очаровательный семейный заповедник, а подчиненным позволял делать все, что вздумается, причем каждый мог наживаться на чем хочет. Так что, сам понимаешь, его там просто обожают.

— Меня это не касается. Но как я объясню людям, что ими будет управлять бенгалец? Что ж, по-твоему, — я хочу сказать, по мнению правительства, — люди Кусру Кейла не взбунтуются, когда узнают об этом? Как полицейские — сикхи-мазбийцы¹ и патаны, — как они смогут работать под его началом? Что скажут мусульмане — деревенские старосты? Мы-то не смеем возражать, даже если правительство даст нам в начальники метельщика, но люди молчать не станут, и ты это знаешь. Дорого нам встанет чья-то дурацкая прихоть!

— Милый мой мальчик, я все знаю, даже больше, чем нужно. Я уже докладывал куда следует, так вот, мне сказали, что я обнаруживаю «преступное легкомыслие и подвержен предрассудкам». Черт возьми, я буду не я, если люди Кусру Кейла не выкинут чего-нибудь похлеще! Судя по всему, округ повиснет у тебя на шее, а я должен буду забросить свои дела, чтоб помочь тебе управиться. Придется тебе подстраховывать бенгальца на каждом шагу. Не мне тебе объяснять: это в твоих же интересах.

— Только ради Орде. По мне, так пропади все пропадом.

— Не глупи. Видит Бог, мы попали в беду, и правительство об этом еще пожалеет, но ты-то чего киснешь? Ты должен попытаться управлять округом; ты должен будешь показать ему все ходы-выходы и следить, чтоб он не вляпался в дерьмо; ты должен умиротворять Кусру Кейл, и, кстати, шепни курбару², чтоб он держал ухо востро — далеко ли до беды? Со мной всегда можешь связаться по телеграфу; ради того, чтобы округ не развалился, я готов рискнуть своей репутацией. Ты-то свою потеряешь, не сомневайся. Если удержишь народ в узде и бенгальца в дороге не отколотят палкой,

¹ Сикхи-мазбийцы — одна из низких сикхских подкаст.

² Курбар — начальник полиции.

все похвалы достанутся ему. Ну, а если что не так, ты будешь виноват, скажут, не поддержал.

— Я знаю, что мне предстоит, — устало сказал Тэллантайр, — и готов ко всему. Только тяжело мне придется.

— «Человек предполагает — а Аллах располагает» — говаривал Орде, если уж совсем припечет, — сказал Баллоуз и ускакал.

То, что два джентльмена, состоящие на Бенгальской гражданской службе Ее величества, сплетничали о третьем, также состоящем на этой службе, и притом о человеке образованном и любезном, представляется мне странным и немало удручает. И все же прислушайтесь к безыскусной болтовне слепого муллы из Джагаи, кусру-кейлского жреца, живущего на скале у самой границы. Пять лет назад рядом разорвался шальной снаряд и комья земли ударили в лицо мулле, который в это время как раз подстрекал правоверных напасть на шестерых солдат Ее величества. С тех пор он ослеп, и, надо сказать, любви к англичанам у него от этой маленькой неприятности не прибавилось. Ярдли-Орде знал о его беде и многожды вышучивал его за это.

— Псы вы, — сказал слепой мулла своему племени, собравшемуся вокруг костра. — Битые псы. Вы слушали Орде-сахиба, и называли его отцом своим, и почитали, как дети. Так вот же вам, Британское правительство показало, как оно вас уважает. Орде-сахиб мертв.

— Ай-ай-ай! — запричитали с полдюжины голосов.

— Он был мужчина. А на его место приезжает — кто бы вы думали? Бенгалец из Бенгалии — рыбоед-южанин.

— Ложь! — сказал Кхода Дад-хан. — И не будь ты муллой, уж я бы заставил тебя замолчать — вогнал бы тебе в глотку ружейный ствол, и все дела.

— Ага, заговорил, английский прихлебала! Поди, поди завтра через границу, присягни на верность преемнику Орде-сахиба, сбрось обувь у бенгальца на пороге, и пусть он возьмет твои подношения своей черной рукой. Так и будет, уж я-то знаю; а в дни моей молодости, если молодой человек говорил гадости мулле, что сторожит врата ада и рая, глотку ружейным стволом затыкали ему. Да!

Слепой мулла ненавидел Кходу Дад-хана лютой ненавистью: они оспаривали друг у друга власть над племенем. Первого люди боялись за то, что он мог на-

слать на них немилость небес, второго — за его кулаки. Кхода Дад-хан взглянул на кольцо, подарок Орде, и хмыкнул.

— И пойду, завтра же и пойду — я не старый болван, которого хлебом не корми, дай повоевать с англичанами. Если правительство повредилось умом и действительно прислало нам бенгальца, тогда...

— Тогда, — прокаркал мулла, — ты соберешь молодых воинов и нападешь на четыре деревни у границы.

— Или сверну тебе шею, черный ворон джеханнама за то, что разносишь ложные вести!

Назавтра Кхода Дад-хан тщательно умастил маслом свои длинные локоны, подпоясался лучшим бухарским поясом, надел новый тюрбан и отличные зеленые ботинки и в сопровождении немногих друзей отправился представляться новому заместителю комиссара округа Кот-Кумарсен. Он нес ему дань — четыре или пять бесценных золотых мохуров времен Акбара¹, завернутых в белый носовой платок. Заместитель комиссара потрогает их и отложит в счет налога. Небольшая эта церемония означала, что Кхода Дад-хан, особенно если заместитель комиссара ему понравился, употребит все свое личное влияние, чтобы мальчики Кусру Кейла не шалили — до следующего раза. Во времена Ярдли-Орде визит заканчивался пышным обедом, который запивали запрещенным вином; а сколько порассказали друг другу историй, какая чудесная, крепкая дружба связывала их! Потом Кхода Дад-хан возвращался к своим сородичам совершенно убогатый и важно заявлял, что Орде-сахиб — настоящий принц, и Тэллантайр-сахиб тоже, и Кхода Дад-хан собственноручно спустит шкуру с того, кто посмеет совершить набег на Британскую территорию.

На сей раз он не заметил в шатрах заместителя комиссара ничего необычного. Считая себя по-прежнему желанным гостем, он шагнул в открытую дверь и увидел прилизанного кругленького бенгальца в английском костюме, который сидел за столом и что-то строчил. Не испытав на себе возвышающего влияния высшего образования, Кхода Дад-хан ни во что не ставил университетские дипломы, а потому с ходу принял мужчину за

¹ Акбар (1542—1605) — император из династии Великих Моголов.

бабу, работающего у заместителя комиссара клерка из местных — ненавистная, презренная тварь!

— Эй, бабу-джи¹, — жизнерадостно окликнул он клерка. — Где твой хозяин?

— Я заместитель комиссара, — сказал джентльмен по-английски.

Он, в свою очередь, переоценивал магическое воздействие университетских дипломов и посмотрел Кходе Дад-хану прямо в глаза. Но если ты с пеленок привык видеть битвы, убийства и внезапную смерть, если пролитая кровь для тебя не страшнее красной краски, если ты вдобавок свято веришь, что бенгальцы — слуги всего Хиндустана и весь Хиндустан притом не стоит и мизинца твоей собственной могучей и жадной до жизни персоны, — ты можешь выдержать любой, самый долгий взгляд, даже если не учился в школе. Можешь даже переглядеть оксфордского выпускника, если тот родился в теплице, от родителей, возвращенных в теплице, и боится физической боли, как иные боятся греха, особенно если мать твоего противника в детстве на ночь пугала его страшными сказками о населяющих Афганистан шайтанах и зловещими легендами о черном Севере. Глаза за очками в золотой оправе устали в пол. Кхода Дад-хан фыркнул и выбежал прочь. Тэллантайра он нашел неподалеку.

— Вот, — сказал он грубо, бросив перед ним узелок с монетами, — дотронься и отложи. Я обещаю вести себя примерно. Но — о сахиб, зачем правительство прислало нам черного бенгальского пса? Они что, спятили? Это что же получается — я должен служить этой образине? А ты, сахиб, неужели ты будешь у него в подчинении? Что все это значит?

— Это приказ, — сказал Тэллантайр. Он ожидал подобной вспышки. — Он очень умный с-сахиб.

— Он? Сахиб? Он *кала адми* — черный человек — и недостоин даже погонять осла горшечника. Бенгальцы! Да их только ленивый не грабил. Вот мы, люди Севера, бывало, как захотим женщин или там какого добра — куда мы идем? В Бенгалию, куда ж еще. Что ты тут мне лепечешь, точно дитя, о его сахибстве — и это после Орде-сахиба! Правду говорил слепой мулла, чистую правду.

— А что мулла? — встревоженно спросил Тэллан-

¹ Суффикс «джи» подчеркивает уважение к собеседнику.

тайр. Он не доверял этому старцу с мертвыми глазами и змеиным языком.

— Скажу. Ради клятвы, которую дал я Орде-сахибу в его последний час там, на берегу реки, скажу. Во-первых, правда ли, что англичане теперь под пятой у бенгальцев и больше не управляют страной?

— Но я же здесь, — сказал Тэллантайр. — А я служу английской махарани.

— Мулла говорит другое. А еще говорит, поделом вам, вы любили Орде-сахиба, точно псы виляли перед ним хвостом, вот правительство и послало вам свинью в управители. Ну и, говорит, убирают белых солдат, видно, индийцев на их место пришлют, и вообще скоро все переменится.

Большой страной надо управлять с умом — иначе быть беде. То, что кажется таким простым в Калькутте, таким справедливым в Бомбее, таким безупречным в Мадрасе, на берегах Инда выглядит совсем иначе; иными словами, что годится южанину — северянину нож острый. Кхода Дад-хан, как мог, постарался объяснить, что, хоть сам он и не собирается безобразничать, за сорвиголов из своего племени, которых к тому же науськивает слепой мулла, он не ручается. Может, они и не взбунтуются, кто знает, но слушаться нового заместителя комиссара не станут, это уж как пить дать. А что Тэллантайр, уверен ли он, что вооруженные силы округа смогут быстро призвать их к порядку, если возобновятся набеги на границе?

— Скажи своему мулле, если он снова станет болтать глупости, — оборвал его Тэллантайр, — что он ведет своих людей на верную смерть и племя ждет блокада и штраф за нарушение границы и за пролитую кровь. Но зачем я вообще разговариваю с человеком, чье слово больше не имеет веса на совете племени?

Кхода Дад-хан проглотил обиду. Он узнал все, что хотел, и вернулся в родные горы, где его с распростертыми объятиями встретил ехидный мулла, и долго бушевала вокруг лагерных костров гневная речь слепца, и жарче пламени, что пожирает кизячную лепешку, возгоралась ненависть в сердцах людей Кусру Кейла.

IV

Но отвлекитесь на минуточку от грустных мыслей и представьте себе незнакомый округ Кот-Кумарсен.

Он вытянулся вдоль берега Инда под горной цепью Кусру — неприступной крепостью, где голые валуны перемежаются участками бесплодной земли. Семьдесят миль в длину и пятьдесят в ширину, он кормил не менее двухсот тысяч населения и со своей, более чем наполовину бросовой территории платил налог до сорока тысяч фунтов в год. Здешние земледельцы были народ суровый, рабочие на соляных коях и того суровой, но самыми суровыми из всех были скотоводы. Когда чиновники гражданской службы пасовали перед соляными контрабандистами и угонщиками скота, полицейские из участка в правом верхнем углу и военные из маленького глиняного форта в левом приходили им на помощь; а в правом нижнем углу лежала Джумала, окружной центр, жалкая кучка беленых амбаров — местные ловчилы сдавали их под жилье; они протекали в дождь, в жару накалялись, как печки, и изо всех щелей глядела приграничная лихорадка.

В это-то место и направлялся Гириш Чандра Дэ, с тем чтоб официально принять округ под свою руку. Но весть о его приезде опередила его. Для бесхитростных приграничных жителей, которые, не таясь, отрезают друг другу головы длинными ножами, а потом честно молятся индусским богам или магометанским святым, бенгалец — такая же диковинка, как и пудель. Так что они всем миром высыпали поглазеть на Гириша Чандру Дэ и, показывая на него пальцами, попеременно сравнивали то с беременной буйволицей, то с хромой клячей, насколько позволяло им неискушенное в метафорике воображение. Досталось и полицейским — народ непременно желал знать, как долго плечистые сикхи собираются сопровождать бенгальскую обезьяну.

— Эй, бенгалец, где же твои бабы, — интересовались они, — смотри, вздумаешь портить наших, пеняй на себя!

В довершение всего стоявшая у обочины морщинистая фурия вдруг хлопнула себя по высохшим грудям и, когда Гириш Чандра Дэ поравнялся с ней, запричитала:

— Я шестерых богатырей выкормила! Да они б таких, как этот, шесть тысяч с потрохами слопали! Расстреляли власти моих орлов, а это пугало королем сделали!

На что кряжистый кузнец в голубом тюрбане крикнул:

— Не теряй надежды, мать моя! Он еще догонит твоих покойничков!

Маленькие дети, коричневые крепыши, тоже с любопытством смотрели на нового дядю. Дети любили Орде-сахиба. Бывало, забредешь к нему в палатку, и тебе дадут медных монет, — нужно только захотеть, — и расскажут самые настоящие сказки, каких до конца не знает даже мама. Нет, этот черный жирдяй никогда не расскажет им о том, как Пир Притх вырвал глазные зубы у десяти шайтанов; как в ряд легли на вершины гор Кусру огромные камни и что случится, если вечером, повстречав серого волка, крикнуть ему из ворот деревни: «Бадл Кхас умер!» Меж тем Гириш Чандра Дэ, подобно тем индийцам, что, начитавшись умных книжек, мнят себя «более англичанами, чем сами англичане», спешил как можно больше рассказать Тэллантайру об Оксфорде и «доме» — парусных гонках, крикете, охоте и прочих нечестивых занятиях, которым предаются чужаки.

— Надо приструнить этих наглецов, — раз или два беспокойно обмолвился он. — Хорошенько приструнить, и уж потом держать округ в ежовых рукавицах. Нечего с ними миндальничать.

Минуту спустя Тэллантайр услышал, как Дебендра Натх Дэ, из братских чувств решивший разделить судьбу родственника в надежде, что тот осенит его крылом своей славы и выхлопочет место стряпчего, шепчет на бенгали:

— Лучше жевать сухую рыбу в Дакке, чем сложить голову в Дели. Брат мой, наша матушка предупреждала: эти люди — исчадия ада. Ты тут никогда не сможешь спешиться!

Вечером в захолустном городке в тридцати милях от Джумалы новый заместитель комиссара собрал под большим навесом мелких чиновников из местных и, в ответ на поздравления, держал перед ними речь. Эта прочувствованная, выстраданная речь стала бы подлинным шедевром ораторского искусства, когда бы третье ее предложение не началось с трех невинных слов: «Хамара хукум хаи» — это мой приказ. С задних рядов, где сидели несколько землевладельцев, раздался смех, звонкий, как колокольчик, потом засмеялись дружной, посыпались оскорбления, и худое, нежное лицо Дебендры Натха Дэ побледнело, а Гириш Чандра, повернувшись к Тэллантайру, процедил:

— Вы... это вы все подстроили.

Тут снаружи вдруг застучали копыта, и в палатку, весь в пыли и в поту, вошел курбар — старший инспектор полиции округа. Правительство упекло его на задворки провинции для борьбы с соляной контрабандой, и семнадцать долгих лет он тщетно ждал повышения. Теперь он опустил, прикрутил ржавые шпоры к своим когда-то отличным кожаным ботинкам и с равным безразличием мог носить на голове и тюрбан, и пробковый шлем. Его белый мундир был вечно в пятнах. Озлобленный неудачами, старый, изнуренный холодом и жарой, он дорабатывал до пенсии, достаточной, чтобы не умереть с голоду.

— Тэллантайр, — сказал он, не обращая внимания на Гириша Чандру Дэ, — выйди на пару слов. — Они удалились. — Тут вот какое дело, — продолжал курбар, — племя Кусру Кейл напало на людей Ферриса — тех, что заняты на строительстве набережной нового канала; прирезали с полдюжины кули, убили двоих солдат и похитили женщину. Я бы не стал тебя беспокоить по пустякам — Феррис и Хьюгонин, мой помощник, уже пустились в погоню, и с ними десять конных полицейских, но, боюсь, это только начало. Их костры уже горят на высотах Хассан Ардеб, и если мы не поторопимся, скоро запылает вся граница. Они обязательно нападут на четыре деревни Кусру на нашей территории: между ними кровная вражда с незапамятных времен, и потом, ты знаешь, с тех пор как не стало Орде-сахиба, слепой мулла разжигает священную войну. Что скажешь?

— Проклятье! — выругался Тэллантайр. — Эти ребята не теряют времени зря. Надо скакать в Форт Зиар, пусть дадут людей, сколько смогут, — пока не поздно, прикрыть деревни в низине. Командиром там, по-моему, Томми Додд. Феррис и Хьюгонин должны хорошенько проучить головорезов, а ты... Нет, начальнику полиции не пристало у всех на виду сторожить казну. Возвращайся на канал. Я телеграфирую Баллоузу, чтобы прихватил полицейских поздоровей и спешил в Джумалу. Сокровищницу, конечно, не тронут, но так оно будет лучше.

— Я... я... я хочу знать, что все это значит! — раздался голос заместителя комиссара, который вышел вслед за заговорщиками.

— Ох, — вздохнул курбар, который, будучи полицейским, не мог уразуметь, что пятнадцать лет непре-

рывной учебы в принципе должны превратить бенгальца в британца. — Тут заварушка вышла на границе, порезали кучу народу. Намечается другая заварушка, и порезут такую же кучу, а то и поболее.

— Отчего?

— Оттого что подавляющему большинству жителей округа вы не слишком показались, вот они и хотят поразвлечься под вашим чутким руководством. Вы бы приняли меры. Я, как вам известно, действую согласно вашим приказаниям. Что вы предлагаете?

— Я... я призываю вас всех в свидетели, что я еще не вступил в должность начальника округа, — заикаясь, пробормотал заместитель комиссара, разом растеряв весь свой британский лоск.

— Ах, вот оно что! Я так и думал. Что ж, Тэллантайр, я уже говорил, твой план хорош. Приступай. С тобой кого-нибудь послать?

— Не надо. Дай мне свежую лошадь. Но может быть, сообщим в штаб-квартиру?

— По цвету щек твоего начальника я догадываюсь, что он еще до утра пошлет немало чудесных телеграмм. Предоставь это ему, и очень скоро половина вооруженных сил провинции прибудет к нам поглядеть, что стряслось. Ну, вперед, и береги себя, помни: афганцы наносят удар снизу вверх. Эй, Мир-хан, дай Тэллантайр-сахибу лучшую лошадь да пошли пятерых людей проводить сахиба-бахадуря заместителя комиссара до Джумалы. Времени в обрез!

Времени было и впрямь в обрез, так что лучше б Дебендра Натх Дэ не цеплялся за поводья полицейской лошади, требуя, чтоб ему — немедленно — сообщили кратчайший, наикратчайший путь в Джумалу. Оригинальность губительна для бенгальца. Дебендре Натху следовало остаться с братом, тот сейчас улепетывал в Джумалу, воссылая благодарения богам, о которых, к слову сказать, в самом католическом из университетов и понятия не имели, за то, что не принял управление округом и может, в случае чего, — о, счастливое прибежище плодovitой расы! — сказаться больным. С сожалением вынужден признаться, что двое полицейских, не брезговавших грубой шуткой, в дороге, покуда тряслись в седлах, сговорились, и, когда он достиг своей цели, устроили себе забаву из жалкого его положения. Они по очереди входили к нему в комнату и пугали пространными рассказами об ужасах войны, о скоплении кровожад-

ных чудовищ — горных племен, о горящих городах. Получалось — обхохочешься. Эти негодники утверждали, что дразнить бенгальца почти так же здорово, как гоняться с курбаром за неуловимыми афганцами. После каждой небылицы их слушатель на полчаса усаживался за телеграммы — даже если б грабили Дели, не всякий чиновник решился бы послать такое. Ко всякой власти, что способна привести солдат и забрать смертельно напуганного человека из этого страшного места, зывал по телеграфу Гириш Чандра Дэ. Он остался один, помощники разбежались, а ведь он не принимал управление округом, честно, не принимал. Телеграммы, без сомнения, наделали бы шума — если бы их отправили; но поскольку единственный в Джумале телеграфист заснул, а начальник станции, раз взглянув на гору бумаг, вспомнил, что законы железной дороги запрещают пересылать правительственную почту, полицейским Раму Сингху и Нихалу Сингху ничего не оставалось, как сделать из телеграмм подушку, на которой они благополучно проспали до утра.

Тэллантайр вонзил шпоры в пегие бога синеглазого жеребца, тот встал на дыбы и стрелой полетел вперед — до Форта Зиар предстояло преодолеть сорок миль. Зная округ как свои пять пальцев, он не стал терять времени на поиски кратчайших путей, а через плодородные пастбища поскакал прямо к форту, где умер и был похоронен Орде. Стук копыт тонул в дорожной пыли, неутомимым призраком плясала перед ним в лунном свете его собственная тень, а обильная роса промочила одежду до нитки. Холм, чахлый куст, легко задевший брюхо лошади, грунтовая дорога, по обочинам растет тамариск и хлещет по лбу игольчатыми листьями, покрытые старыми высохшими травами низины, где пестреют стада, и снова холм, — все это осталось позади, и пегий замедлил ход, увязая в глубоком песке брода Инда.

Тэллантайр все никак не мог собраться с мыслями. И лишь когда паром медленно пристал к другому берегу, а лошадь негромко зафырчала, увидев белый надгробный камень Орде, снял шапку и крикнул, чтоб услышал мертвый:

— Они наступают, дружище! Пожелай мне удачи.

Когда забрезжил холодный рассвет, он уже колотил стремени в ворота Форта Зиар, где стояло подразделение Тигров Белуджистана, — да, да, того самого мно-

гажды битого полка; подразделение насчитывало всего пятьдесят сабель и охраняло интересы Ее величества на участке границы протяженностью в несколько сот миль. Фортком командовал субалтерн, принадлежавший к старинному роду де Руле и отзывавшийся на имя Томми Додд, что, впрочем, никого не удивляло. Когда приехал Тэллантайр, он сидел, завернувшись в овчину, и, дрожа от лихорадки как осиновый лист, пытался прочитывать список больных, составленный аптекарем-индийцем.

— Это ты, — вяло приветствовал он Тэллантайра. — Мы тут все бодем, вряд ли мне удастся усадить в седло и тридцать солдат. А так — п-п-п-п-п-почтем за счастье. Постой-ка, погляди, как по-твоему — вранье или ловушка?

Он бросил Тэллантайру клочок бумаги, и тот с трудом разобрал нацарапанные на гурмуках¹ старательные каракули: «Мы не можем сдержать молодых жеребцов. Завтра ночью, как взойдет луна, они через Джагайский перевал поскачут к четырем деревням у границы — отведать ихней травы». И круглым почерком по-английски подпись: «Ваш искренний друг».

— Добрый человек! — сказал Тэллантайр. — Я знаю, это дело рук Кходы Дад-хана. Это единственная английская фраза, которую ему удалось запомнить, и он ею очень гордится. А со слепым муллой у него старые счеты. Но какое коварство! Молод, да хитер!

— О ваших куру-кейлских интригах ничего не знаю. Но если ты доволен, я тоже. Записку перебросили через ворота вечером, и я думал, возьмем себя в руки, поедем, посмотрим, разберемся. Черт, все валяются в лихорадке, а тут, как назло, ни слова вранья! И что же, крупная выйдет заварушка или как? — спросил Томми Додд.

Тэллантайр вкратце изложил ему суть дела, а Томми Додд то присвистывал, то трясся в лихорадке. Весь этот день он изучал стратегию и воинское искусство, а также приводил в чувство личный состав, и на закате сорок два солдата встали в строй. Томми гордо обозрел свое тощее, лохматое, измученное войско и обратился к ним с такой речью:

— Солдаты! Если вас убьют, вы непременно попадете в ад. Посему старайтесь уцелеть. Но даже в аду, если уж случится туда попасть, не может быть жарче, чем

¹ Гурмуки — один из алфавитов панджабского языка.

здесь, а будет ли нас там трепать лихорадка, это еще вопрос. Посему не бойтесь умереть. Шаго-ом марш!
Они ухмыльнулись и пошли за ним.

V

Не скоро забудет племя Кусру Кейл свой ночной набег на деревни в низине. Мулла сулил им легкую победу, ну а потом — грабь, сколько душе угодно. Но что это? Вдруг как из-под земли выросли вооруженные солдаты Ее Величества и засверкали ножи, засвистели сабли; люди не знали, куда деваться, — всюду их настигали конники. Сколько их, может быть, целая армия? И они побежали назад, в горы. В панике бегства немало народу полегло от афганских — снизу вверх — ножевых ударов, но еще больше пристрелили из дальнобойных карабинов. Кто-то закричал: «Измена!» — а когда афганцы наконец добрались до родных сторожевых высот, вся их вера в слепого муллу, вместе с сорока убитыми и шестьюдесятью ранеными, осталась в долине, внизу. Много шумных споров и клятв слышалось в ту ночь вокруг костров, женщины оплакивали убитых, а слепой мулла визгливо проклинал тех, кто вернулся.

И тут поднялся не принимавший участия в схватке Кхода Дад-хан и, едва отдышавшись, с присущим ему красноречием поспешил поправить положение. Он подчеркнул, что настоящим несчастьем племя по всем статьям обязано слепому мулле, этому неисправимому лжецу, который заманил их в ловушку. Конечно, обидно, что бенгальца, сына бенгальца, назначили начальником на границе, но из этого не следует делать вывод, как это пытался представить мулла, что у них на все времена развязаны руки и они могут грабить сколько влезет. Необъяснимое помешательство англичан ничуть не умаляет их умения охранять свои рубежи. Напротив, побежденному и сбитому с толку племени, теперь, когда закрома их почти опустели, перекроют любую торговлю с Хиндустаном, покуда они не представят заложников и не уплатят компенсацию за нарушение границ и пролитую кровь — тридцать шесть фунтов английских стерлингов за каждого убитого крестьянина. И вы же знаете, эти псы из низины присягнут, что мы зарубили не один десяток. Мулла заплатит штраф, или, может, нам продать свои ружья? Племя негодуяще зашумело.

— Теперь, когда всем ясно, что все это проделки муллы, который пока что только кормил нас обещаниями райского блаженства, — продолжал он, — я хочу поделиться с вами болью своего сердца. Люди! У Кусру Кейла нет святилища, где мы могли бы творить молитву. Нас осталось мало; как посмеем мы пересечь границу Мадар Кейла, где, по обычаю, преклоняли колени у гробницы Пир Саджи?¹ Мадарцы нападут на нас, и поделом. Но наш мулла — святой. Нынче ночью он отворил ворота рая для сорока человек. Так пусть же последует за чадами своими, и мы возведем над его телом купол, выложим его голубой мултанской² плиткой и каждую пятницу будем возжигать лампу у него в ногах. Он станет святым, у нас появится святилище, и наши женщины смогут молиться там, чтоб Аллах послал им сыновей, которые, возмужав, встанут на место убитых. Ну как?

В ответ раздался мрачный смех, и — вжик-вжик-вжик — зазвенели обнаженные ножи. Идея была блестящая и отвечала давним чаяниям племени. Мулла вскочил на ноги, невидящим взглядом пытаясь разглядеть представшую перед ним смерть и призывая на головы племени проклятье Аллаха и Мухаммада, пророка его. И началась игра в догонялки: слепой мулла, спасаясь от преследователей, метался меж костров, бегал вокруг, а тем временем народный поэт Кхурук Шах пел песню на стихи собственного сочинения — ее поют и поныне.

Кончиком ножа муллу легонько кололи под мышкой, он отскакивал, но тут же затылком ощущал холодное лезвие и тыкался бородой в ружейный ствол. Тщетно молил он о пощаде: его последователи в большинстве своем полегли в долинах, — Кхода Дад-хан не пожалел усилий, чтобы обеспечить их сошествие в мир иной. Люди описывали ему красоты будущего святилища, а маленькие дети хлопали в ладоши и кричали: «Беги, мулла, беги! Дядя сейчас тебя схватит!» В конце концов, когда все пресытились забавой, брат Кходы Дад-хана вонзил ему нож под ребро.

— Итак, — с очаровательной простотой сказал Кхода Дад-хан. — Теперь я вождь Кусру Кейла!

¹ Пир Саджи — один из двух святых, похороненных в Мултанской крепости.

² Мултан — город, ныне находящийся на территории Пакистана (200 миль к юго-востоку от Лахора). С древних времен славился керамическим производством.

Никто не сказал ни слова поперек; спать расходились молча, в угрюмой задумчивости.

Внизу, в долине, Томми Додд рассказывал о прелестях ночной кавалерийской атаки, а Тэллантайр, все еще в седле, истерически всхлипывал, припав к лошадиной шее: болтавшийся у него на запястье клинок был обагрён кровью Кусру Кейла, племени, которое Орде всегда держал в узде. Когда раджпутский солдат обратил его внимание на правое ухо пегого, — оно было срезано под корень неловким взмахом всадника, — Тэллантайр совсем раскис, и смеялся, и рыдал, покуда Томми Додд не заставил его прилечь и отдохнуть.

— Надо подождать до рассвета, — сказал он. — Я перед отъездом телеграфировал полковнику, чтоб прислал подкрепление. И все же он придет в ярость, когда узнает, что мы тут развлеклись без него. Такого удовольствия горцы нам больше не доставят.

— Тогда пошли Тигров поглядеть, как там курбар на канале. Мы должны охранять всю линию границы. Томми! А ты уверен, что там... что там была только кровь пегого?

— Совершенно уверен, — сказал Томми. — И хорошо, что промахнулся, а то бы не сносить ему головы. Я сам наблюдал за тобой во время битвы. Спи спокойно, малыш.

В полдень прибыли два эскадрона Тигров Белуджистана под предводительством братьев-офицеров, которые в ярости требовали, чтобы Томми отдал под трибунал, за то что он «испортил им пикник»; потом поскакали на канал, где Феррис, курбар и Хьюгонин внушали запуганным кули, что только безумец может бросить интересную и высокооплачиваемую работу из-за какого-то пустяка: ну, подумаешь, прирезали шестерых, так и что ж с того? При виде Тигров Белуджистана кули воспрянули духом, и скрывавшиеся от полиции головорезы Кусру Кейла увидели, как на берегу канала вновь закипела жизнь; тех же из них, кто попрятался в ручьях и оврагах, вскоре отловили солдаты. На закате полиции и военные начали прочесывать приграничную территорию — так гоняют быстроногие стада неутомимые ковбои.

— Ну, что, — сказал Кхода Дад-хан товарищам, показывая на мерцающие внизу огни, — теперь вы видите, как изменились старые порядки? После лошадей к нам пожалуют маленькие шайтанские пушки, которые ан-

гличане могут затащить хоть на вершину горы и, насколько мне известно, даже на облака, если мы переберемся повыше. Пойду-ка я к Тэллантайру-сахибу — он меня любит, — может, удастся отвести от нас хотя бы блокаду. Что скажет совет? Разрешаете заступиться за племя?

— Заступись, заступись, ради Бога. Как они мигают, распроклятые костры! А кто вызвал войска, англичане, или это дело рук бенгальца?

Когда Кхода Дад-хан спускался с горы, его на пару слов остановил могучий соплеменник, вследствие чего он поспешил вернуться, чтобы кое-что захватить. Потом, сдаваясь двум солдатам, которые преследовали его друга, попросил препроводить его к Тэллантайру-сахибу и с Баллоузом поехал в Джумалу. Граница успокоилась: пришло время мирных переговоров.

— Слава Богу, — сказал Баллоуз, — что беда случилась так скоро. Конечно, в отчете нельзя назвать вещи своими именами, но вся Индия поймет, в чем дело. Лучше уж короткая, сильная вспышка, чем пять лет никудышного управления приграничной территорией. Дешевле. Гириш Чандра Дэ сказался больным, и его без малейшего взыскания отправили в родную провинцию. Он наотрез отказался от должности начальника округа.

— Еще бы! — с горечью бросил Тэллантайр. — Ну, а меня в чем можно упрекнуть?

— Да в чем угодно. Тебе, конечно, скажут, что ты превысил все свои полномочия, должен был доложить, написать и советоваться три недели кряду, пока воины Кусру Кейла не спустятся с гор в полном составе. Но я не думаю, что власти станут поднимать шум. Они получили хороший урок. Ты знаком с версией курбара? В отчетах он не силен, зато умеет говорить правду.

— Кому она нужна, эта правда? Пусть порвет свой отчет. Тошно делается, как подумаю, что произошло. Душа болит. Разве нельзя было обойтись без кровопролития? Одно хорошо — мы избавились от этого бабу.

С полным мешком в руках вошел нимало не смущенный Кхода Дад-хан, за ним — два солдата.

— Да продлятся ваши дни, сахибы, — жизнерадостно приветствовал он англичан. — Да, славная была битва, и мать Наим-шаха теперь твоя должница, Тэллантайр-сахиб. Мне рассказали, чистая работа, — сквозь челюсть и ватный халат разрубить ключицу, да еще как! Здорово! Но я пришел заступиться за племя. Мы про-

винились, и вина наша велика. Ты, Тэллантайр-сахиб, знаешь, я и мои люди сдержали клятву, данную Орде-сахибу на берегах Инда.

— Да, как афганец держит свой нож — тупой край впереди, острый сзади, — сказал Тэллантайр.

— Так удобней резать. Но, Аллах свидетель, я говорю чистую правду. Молодежь поддавалась на уговоры слепого муллы, он сказал, больше нет закона границы: раз к нам прислали бенгальца, англичан бояться нечего. Вот они и спустились вниз, чтоб кровью смыть оскорбление и вернуться с добычей. Вы знаете, что было дальше и как я помог вам. Сто наших воинов убиты или ранены, нам стыдно и жалко, что все так вышло, и мы не хотим войны. А потому, чтоб вы верили нам, мы отрезали голову слепому мулле, чей змеиный язык довел нас до преступления. Вот она, — он вынул голову из мешка и бросил на пол. — Теперь он уж не наделает бед: я стал вождем племени и на всех советах сажу на почетном месте. Но! Услуга за услугу. Мы провинились снова. Один из наших увидел эту черную бенгальскую скотину, — и зачем его только к нам прислали, с него-то все и началось! Он ехал верхом на лошади и плакал. Вспомнив, сколько хороших людей полегло из-за этой твари, Алла Дад-хан, которого, если хочешь, я завтра же пристрелю, отрезал ему голову, а я принес ее тебе. Похороми ее, сахиб, пока не узнали. Смотри, никто не тронул очки, а ведь они из чистого золота!

Медленно покати́лась к ногам Тэллантайра стриженная голова очкастого бенгальца с выпученными глазами и открытым ртом — воплощенный ужас.

— Придется заплатить и за эту голову, Кхода Дад-хан, и заплатить как следует, — сказал Баллоуз, наклонившись. — Это голова его брата Дебендры Натха Дэ. Сам же бабу давно и благополучно убрался восвояси, и все, кроме дурней из Кусру Кейла, об этом знают.

— Я не разбираюсь в сортах мертвечи́ны. Так, чик-чик — и готово. Эта нечисть забрела к подножью наших гор, стала спрашивать дорогу на Джумалу, ну Алла Дад-хан и показал ему дорогу в джеханнам, — правильно ты говоришь, дурень, что с него взять. Посмотрим, как с нами поступит правительство. А блокада...

— Молчать, торговец дохлой псиной! Да кто ты такой, чтоб рассуждать о договорах и ставить условия! — загремел Тэллантайр. — Убирайся, откуда пришел, убирайся и сиди тихо, голодай и жди, пока правитель-

ство не смилостивится и не вызовет вас, безмозглые вы дети, и не назначит вам наказание. Считайте своих мертвых, и чтоб ни-ни! Будьте уверены, на сей раз правительство пришлет вам мужчину!

— Идет, — отозвался Кхода Дад-хан, — ведь и мы мужчины. — И, глядя Тэллантайру в переносье, добавил: — И дай бог, о сахиб, чтобы это был ты!

ЛЮБЯЩИЕ БЕЗ БЛАГОСЛОВЕНИЯ ЦЕРКВИ

До прихода весны я собрал урожая плоды,
Раньше времени в поле созрели колосья мои.
И раскрыты все тайны, что прежде таил я, храня.
Сгон поруганных весен и стон умирающих зим
Перед таинством жизни и смерти печально застыл.
Мое солнце зашло до рассвета, и тщетно я небо молил.
Чья здесь мудрость — об этом не ведаю я.

«Горе»

I

— А если будет девочка?

— Нет, моя жизнь, мой владыка, у нас будет мальчик. Я столько ночей молилась, столько даров послала в гробницу шейха Бадла, и теперь уверена: Аллах пошлет нам сына — опору в жизни и старости. Думай об этом и радуйся. Пока я не оправлюсь, за ним будет ухаживать моя мать, я позову муллу патанской мечети читать над ним суры Корана, — да пошлет его Аллах на землю в счастливый час! — и тогда, мой господин, ты вовеки не разлюбишь свою рабыню.

— С каких это пор, моя царица, ты считаешь себя рабыней?

— О, я всегда была рабыней... пока Аллах не даровал мне это счастье. Как я могла быть уверена в твоей любви, ведь меня купили.

— Ничего подобного, это были деньги для твоего приданого. Я просто дал их твоей матери.

— А она схватила серебро и ни на миг с ним не расстается. О каком приданом ты говоришь? Разве я была невеста? Меня купили, как покупают танцовщицу из Лакхнау.

— Ты печалишься, что так случилось?

— Раньше — да, печалилась, но сейчас я счастлива. Ты никогда не разлюбишь меня? Ответь мне, мой царь.

— Никогда! Я никогда тебя не разлюблю.

— Даже если тебя будут любить мэм-сахиб — белые женщины твоего племени? Я ведь смотрю на них по вечерам, когда они катаются на лошади; они очень красивые.

— Я видел сотни праздничных фонариков. Потом увидел полную луну — и блеск фонариков померк.

Амира захлопала в ладоши и засмеялась.

— Какие прекрасные слова! — воскликнула она. Потом напустила на себя величественный вид и сказала: — Но довольно. Я позволяю тебе удалиться — если ты сам хочешь.

Мужчина не двинулся с места. Он сидел на низкой кровати из красного лака; бело-синий палас на полу, несколько ковров и великое множество длинных индийских подушек — больше в комнате ничего не было. У ног мужчины сидела женщина шестнадцати лет, и для него в ней сосредоточился весь мир. Это было противно всем законам и обычаям, потому что он был англичанин, а она — мусульманка, он купил ее два года назад у ее собственной матери, которая осталась без средств к существованию и с радостью продала бы рыдающую Амиру самому Князю Тьмы, предложи он за нее хорошую цену.

Холден заключил сделку, не придав ей никакого значения; но девушка начала расцветать, и в один прекрасный день он обнаружил, что она заполнила почти всю его жизнь. Он снял для нее и для ее старой карги матери домик на окраине большого города возле красной кирпичной стены, и когда во дворе у колодца расцвели ноготки, а Амира устроила новое жилище в согласии со своими представлениями о комфорте и мать перестала ворчать, что кухня неудобная, базар далеко и вообще все не так, он почувствовал, что настоящий его дом здесь. В его холостяцкую квартиру мог нагрянуть кто угодно в любое время дня и ночи, и такая жизнь его тяготила. Но стоило ему подъехать к домику у городской стены, стоило пройти через двор и вступить в комнаты на женской половине, а сторожу замкнуть за ним массивные деревянные ворота, как он оказывался в своих владениях, он был царь, а Амира — царица. И вот теперь в этом царстве должен был появиться кто-то третий, и Холден не желал этого третьего. Он вторгался в его безбрежное счастье. Нарушал привычный мирный уклад дома, где был его семейный очаг. Зато Амира вся светилась от радости, ее мать ликовала. Любовь мужчины, тем более белого,

так ненадежна, но ее могут удержать детские ручонки, в этом обе женщины были уверены.

— Уж тогда-то он и глядеть не станет на белых мэм-сахиб, — твердила Амира. — Как я их ненавижу — всех до единой.

— Придет время, и он вернется к людям своего племени, — возражала мать, — но время это настанет нескоро, Аллах в своей милости пощадит нас.

Холден молча сидел на кровати и думал о будущем, и мысли его были не из радужных. Двойная жизнь сопряжена с массой сложностей. У одного из офицеров в другом городе заболела жена, надо было его заменить, и, конечно же, начальство выбрало именно Холдена и теперь усылало из гарнизона с особым поручением на две недели. Причем устный приказ сопровождался беззаботной шуткой — счастливчик Холден, он-то холост и свободен, — и это было особенно обидно. Он поехал к Амуре рассказать новость.

— Ты меня огорчил, — медленно произнесла она, — но не будем печалиться. Ведь со мной останется мать, и ничего дурного случиться не может — разве что я умру от счастья. Езжай, раз тебя посылают, трудись и ни о чем не тревожься. Придет день, и, я надеюсь, — нет, я уверена! — я положу его тебе на руки, и ты уже никогда меня не разлюбишь. Поезд ведь отправляется сегодня в полночь? Езжай, и пусть твое сердце не терзается страхом за меня. Ты не удержишься там слишком долго? Не будешь разговаривать в пути с дерзкими белыми мэм-сахиб? Возвращайся ко мне скорее, о моя жизнь.

Выйдя во двор, где у ворот был привязан его конь, Холден кликнул старого седого сторожа, который охранял дом, дал ему бланк с уже написанным текстом и объяснил, при каких обстоятельствах следует отправить телеграмму. Больше Холден ничего не мог сделать, он отправился в изгнание ночным почтовым поездом в самом похоронном настроении. Днем он замирал от ужаса, что вот сейчас принесут телеграмму, все ночи напролет ему представлялись картины, как Амира умирает. Вследствие этого он не проявил большого рвения на поприще служения Империи и не дал коллегам повода заподозрить его в любезности и дружелюбии. Две недели прошли, а он так и не получил вести из дома и, чуть не теряя рассудок от волнения, вернулся в город, где потерял два драгоценных часа в клубе за обедом, слушая словно сквозь сон чьи-то голоса, которые рассказывали ему, до чего же

он скверно выполнял обязанности офицера, которого был послан замещать, и как мало расположил к себе тамошнее общество. Но вот он наконец помчался верхом сквозь ночь, чувствуя, что сердце вот-вот выскочит из груди. Постучал в ворота, однако никто не вышел впустить его, и тогда он повернул коня, чтобы вышибить их с разбегу, но тут появился Пир-хан с фонарем и взялся за стремя.

— Ну что? — спросил Холден.

— Не из моих уст надлежит услышать о великом событии покровителю бедняков, и все же... — Он протянул трясущуюся руку за наградой, которая положена приносящим добрые вести.

Холден кинулся через двор к дому. В комнате наверху горел свет. У ворот заржал его конь, в тот же миг он услышал жалобный пронзительный плач и чуть не задохнулся. Да, это голос новорожденного, но Амира, жива ли Амира?

— Кто там, наверху? — крикнул он, подбежав к подножию узкой кирпичной лестницы.

Раздался ликующий возглас Амиры, дрожащий голос матери торжественно изрек:

— Здесь мы — две женщины и один мужчина... твой сын.

На пороге комнаты Холден наступил на обнаженный кинжал, который был положен туда, чтобы отводить беду, и под его нетерпеливой ногой рукоятка сломалась.

— Велик Аллах! — нежно проворковала Амира в темноте. — Ты взял все его несчастья на себя.

— Скажи скорее, душа моей жизни, как ты все перенесла? Как она себя чувствует, старуха?

— Когда мальчик родился, она от радости забыла все свои муки. Все прошло хорошо; но зря ты говоришь так громко, — ответила мать.

— Ах, наконец-то я тебя дождалась, вот теперь я совсем поправлюсь, — сказала Амира. — О мой повелитель, как долго тебя не было. Какие подарки ты мне привез? Но что я говорю, глупая! Сегодня мой черед дарить подарки. Смотри же, моя жизнь, смотри! Видел ли ты когда-нибудь такое чудо? Нет, я еще слишком слаба, не могу оторвать от него руку.

— Тогда молчи, тебе нужен покой. Ведь я теперь с тобой, моя маленькая.

— Ты прав, мой ненаглядный, теперь нас соединяют узы, которые ничто не в силах разорвать. Полюбуйся

на него — тебе довольно света? Он так хорош, само совершенство. Другого такого красавца нет во всем мире. Ла илля¹. Он будет ученый — нет, он будет служить в кавалерии Ее величества. Признайся, моя жизнь, ты любишь меня, как и прежде? Ведь я такая слабая, больная, так подурнела. Скажи мне правду.

— Я люблю тебя так же сильно, как прежде, люблю всей душой. Лежи спокойно, моя жемчужина, набирайся сил.

— Тогда не уходи! Сядь рядом со мной — вот так. Мама, принеси подушку господину этого дома, ему так будет удобнее. — Лежащий рядом с Амирой младенец в окружении ее руки слегка зашевелился. — Ах ты, мой милый! — От нежности ее голос сорвался на шепот. — Он у нас сильный-пресильный, так больно бьет меня в бок своими ножонками. У кого еще есть на свете такое чудо! И это чудо наш сын — твой и мой. Положи ему на головку руку, только осторожно, он ведь совсем крошечный, а мужчины с детьми обращаться не умеют.

Холден боязливо прикоснулся кончиками пальцев к покрытой пушком головке.

— Он правоверный, — сказала Амира, — я лежала здесь и каждую ночь шептала ему на ухо молитвы и рассказывала, как велик Аллах. И знаешь, что самое удивительное? Он родился в пятницу, как и я. Осторожнее, жизнь моя; а знаешь, его ручки уже почти могут хватать.

Холден нашел крошечную беспомощную ручку, и пальчики слабо сжали его палец. Он всем своим существом отозвался на это движение, его сердце раскрылось. До сих пор для него существовала только Амира. Сейчас он начал понимать, что в мире есть кто-то еще, однако до сознания не доходило, что это его родной сын — такой же человек, как он, и у него есть душа. Он задумался, а Амира забылась в легкой дремоте.

— Тебе лучше уйти, сахиб, — прошептала мать. — Не надо, чтобы ты был здесь, когда она проснется. Ей нужен покой.

— Да, я уйду, — покорно сказал Холден. — Вот тебе деньги. Следи, чтобы мой малыш быстро рос и ни в чем не нуждался.

Звон серебра разбудил Амиру.

— Я мать ему, а не наемная служанка, — слышал-

¹ Здесь: о, Аллах!

ся ее слабый голос. — Разве мне нужны деньги, чтобы любить его? Мама, отдай все обратно. Ведь я родила моему властелину сына.

Она проговорила эти слова и тотчас же погрузилась в глубокий сон — так велика была ее слабость. Холден, неслышно ступая, спустился во двор; на сердце у него было легко. Старик Пир-хан радостно засмеялся.

— В этот дом пришло великое счастье, — сказал он и вложил в руки Холдену рукоятку сабли, которую он, Пир-хан, носил много лет назад, когда был полицейским на службе у Ее величества. Возле колодца заблеял привязанный к перекладине козленок.

— Их два, — сказал Пир-хан, — два самых лучших козленка, каких только можно было найти на базаре. Я сам их купил, большие деньги отдал; и уж раз мы не созываем гостей в честь рождения мальчика, все мясо я возьму себе. Целься точнее, сахиб! Эту саблю вечно несет влево. Они сейчас ноготки едят, вот поднимут головы, и тогда руби.

— Да зачем? — в изумлении спросил Холден.

— Как зачем? В благодарность за новую жизнь. Иначе судьба не будет защищать дитя и оно может умереть. Покровитель бедняков знает, какие слова следует произнести.

Действительно, Холден выучил когда-то заклинание, мог ли он подумать, что придется произносить его при исполнении ритуала! В руке была холодная рукоятка сабли, но вдруг вместо ее холода он почувствовал теплые льнущие пальчики ребенка, который спал в комнате на втором этаже, — пальчики его родного сына, — и его охватил ужас, а вдруг он потеряет ребенка?

— Руби! — сказал Пир-хан. — Когда кто-то рождается на свет, за жизнь нужно заплатить жизнью, так ведется испокон веков. Видишь, козлята поднимают головы. Пора! Руби с оттяжкой!

Едва ли понимая, что делает, Холден дважды опустил саблю, шепча мусульманскую молитву: «О всемогущий! Ты подарил мне сына, и я отдаю тебе жизнь за жизнь, кровь за кровь, плоть за плоть». Почуяв запах свежей крови, которая брызнула на сапоги Холдена, ожидающий его конь заржал и стал рваться с привязи.

— Вот это рука! — восхитился Пир-хан, вытирая саблю. — Зря ты не пошел в драгуны. Езжай теперь домой, сын небес, и ни о чем не тревожься. Я — твой

верный слуга и слуга твоего сына. Да проживет светоч щедрости тысячу лет... стало быть, я могу взять всю козлятину себе?

Пир-хан получил в награду столько, сколько Холден платил ему в месяц. Холден взлетел в седло и поскакал сквозь стелющийся по ночной земле дым. Его переполняло бурное веселье, оно вдруг сменялось безмерной нежностью ко всему миру, он начинал задыхаться и склонялся к холке спотыкающегося коня. «Что со мной? Такого я никогда в жизни не испытывал, — думал он. — Поеду-ка в клуб, там приду в себя».

Весь народ был в биллиардной, начиналась игра. Холдену хотелось света, хотелось общества друзей, он вошел, распевая во весь голос:

Гуляя в Балтиморе, красотку встретил я...

— Неужто? — спросил секретарь клуба из своего угла. — А она случайно не сказала вам, что у вас сапоги мокрые? Господи, да это кровь!

— Вздор! — отмахнулся Холден и взял с подставки свой кий. — Сыграю с вами? Это роса. Я ехал по высокой пшенице. Да, сапоги и в самом деле хороши!

Если девочка родится — ей колечко будет сниться.
А мальчишка родится — к королю пойдет он биться.
С острым кортиком, и в кепи, и в голубеньком жилете —
Он пройдет по фрегату, как его отец когда-то!

— Желтый бьет по голубому, следующий зеленый, — монотонно провозгласил маркер.

— «Он пройдет по фрегату...» Зеленым бью я? «Он пройдет по фрегату...» А, черт, промазал! «Как его отец когда-то...»

— Не вижу причин для столь безудержного ликования, — ехидно заметил письмоводитель, на редкость старательный чиновник. — Начальство не в восторге от того, как вы исполняли обязанности Сандерса.

— Что, мне грозит выговор? — спросил Холден и рассеянно улыбнулся. — Не беда, переживу.

Разговор вертелся вокруг темы, неиссякаемо интересной для всех, — работы, и в конце концов Холден успокоился и поехал в свое темное пустое бунгало, где его встретил слуга с таким видом, что было ясно — он знает о своем хозяине все. Холден почти не спал, а когда ненадолго забывался дремотой, ему снилось что-то приятное.

II

— Сколько ему сейчас?

— Йа илля! Только мужчина может задать такой вопрос! Всего полтора месяца; нынче вечером, моя жизнь, мы поднимемся с тобой на крышу и будем считать звезды. Это самое благоприятное время. Ведь он родился в пятницу, под знаком Солнца, и мне предсказали, что он переживет нас обоих и будет богат. Можно ли желать лучшей доли, о мой возлюбленный?

— Конечно же, нет. Давай поднимемся на крышу, и ты будешь считать звезды, — только их сейчас немного, небо затягивают тучи.

— Дождей все нет и нет, наверное, зима запоздает. Идем, а то все звезды скроются. Я надела мои самые любимые драгоценности.

— А главную забыла.

— Ахи! Это наша с тобой общая драгоценность. Мы возьмем его с собой. Он еще никогда не видел неба.

Амира поднялась по узкой лестнице на крышу. На руках у нее спокойно лежал и не мигая глядел вверх младенец, завернутый в роскошный муслин с серебряной каймой, в маленькой шапочке. На Амуре были украшения, особенно дорогие ее сердцу. Она вдела в нос бриллиантовую серьгу, эту восточную разновидность мушки, которая должна привлечь внимание к изящному вырезу ноздрей; на лбу была золотая звезда, усыпанная овальными шлифованными изумрудами и рубинами не слишком высокого качества; вокруг шеи массивное ожерелье чеканного золота, которое надевалось, как обруч, — так мягок был металл самой высокой пробы; на ногах звенящие серебряные браслеты-цепочки, соскользнувшие по розовым лодыжкам до самой косточки. Одета она была в светло-зеленый муслин, как подобает правоверной мусульманке, руки от плеча до кисти унизаны серебряными браслетами с пушистой кисточкой на шелковых шнурах-завязках, хрупкие стеклянные обручи на запястьях подчеркивали, какие узкие у нее кисти; надела она и массивные золотые браслеты, каких не носят в ее стране, но их подарил ей Холден, и к тому же они застегивались хитрым европейским замочком, который приводил ее в неописуемый восторг.

Они сели на плоской крыше у низкой беленой ограды и стали глядеть на городские огни.

— Хорошо им там, — сказала Амира. — Но я увере-

на — нам лучше. Мы даже счастливее, чем белые мэм-сахиб. А ты как думаешь?

— Конечно, счастливее, я не думаю, а знаю.

— Знаешь? Откуда?

— Они отдают своих детей кормилицам.

— В жизни о таком не слышала, — сказала Амира и вздохнула, — слышать не желаю. Ахи¹. — Она положила голову на плечо Холдену. — Я насчитала сорок звезд и устала. Погляди на нашего мальчика, любовь моя, он тоже считает.

Младенец смотрел широко раскрытыми глазами на темное небо. Амира положила его на руки Холдену, и он не заплакал.

— Как мы его назовем? — спросила она. — Я не могу на него наглядеться! У него твои глаза. А губы...

— Губы твои, мое сокровище. Кому это знать, как не мне.

— Ротик такой маленький. Совсем крошечный. Но я сердце отдам, чтобы только он улыбался. Позволь мне взять его у тебя. Я уже соскучилась.

— Не надо, пусть лежит; ведь он пока не плачет.

— А когда заплачет, отдашь? Ты в точности такой же, как все мужчины! А я — когда он плачет, я люблю его еще больше. Но давай же выберем ему имя, моя жизнь.

Маленькое тельце лежало у самой груди Холдена, слева, где сердце. Такое беззащитное и нежное. Холден даже дышать боялся, как бы не повредить малышу. Зеленый попугай в клетке, которого местные жители считают духом — охранителем дома, зашевелился на жердочке и медленно расправил во сне крылья.

— Вот имя и выбрано, — сказал Холден. — Его подсказал нам Миан Митту. Так и назовем нашего сына — попугай. Когда подрастет, будет болтать без умолку и носиться по дому. Ведь на твоём языке... на мусульманском языке Миан Митту значит попугай, верно?

— Зачем ты отталкиваешь меня? — обиженно возразила Амира. — Пусть имя будет как бы английское и в то же время не совсем. Ведь он и мой сын тоже.

— Тогда назовем его Тота, это имя похоже на английское.

— Тота? Чудесно! И знаешь, это слово тоже значит «попугай». Прости меня, владыка моей души, что я

¹ Здесь: нет, ни за что.

сейчас возразила тебе, но ведь он совсем крошечный, а Миан Митту слишком важное имя, оно ему не подходит. Ну вот, теперь у нашего сына есть имя — Тота, так мы его и будем звать. Слышишь, мой маленький? Капелька моя, ты — Тота. — Она поцеловала ребенка в щечку, он проснулся и заплакал, пришлось Холдену отдать его, Амира стала успокаивать его и запела прелестную песенку «Аре коко, джаре коко», что значит, если перевести:

Кыш, ворона, улетай!
Мой малютка, засыпай!
В джунглях финики растут,
Дам на пенни целый фунт!
Целый фунт на пенни —
Детям угощенье!

Она так долго убеждала Тоту, что финики стоят именно пенни, что он наконец поверил и заснул. Во дворе два белых выхолощенных быка мирно жевали жвачку; старик Пир-хан сидел на корточках возле коня Холдена, на коленях у него лежала сабля полицейского, он в полудреме посасывал кальян, а огромный кальян квакал, будто лягушка в пруду. Внизу на веранде сидела мать Амиры и пряла, деревянные ворота были закрыты и заложены на засов. К ним на крышу сквозь негромкий шум города доносились звуки свадебной процессии, мимо низко висящей луны пролетали одна за другой летучие мыши. Амира и Холден молчали.

— Я молилась, — наконец произнесла Амира, — молилась, чтоб Всевышний исполнил два моих желания: пусть он позволит мне умереть вместо тебя, если судьба захочет отнять твою жизнь, и пусть позволит мне умереть вместо нашего сына. Я молилась пророку Мухаммеду и Биби Мириам (святой Деве Марии). Как ты думаешь, услышали они меня?

— Когда просят твои уста, святые услышат даже самый тихий шепот.

— Я тебя всерьез спросила, а ты в ответ мне сладкую лесть. Неужто мои молитвы не будут услышаны?

— Откуда мне знать? Господь милосерд.

— Вот в этом я не уверена. Послушай, я хочу тебе что-то сказать. Вдруг я умру или умрет наш сын, какая тебя ждет судьба? Если ты останешься в живых, ты вернешься к дерзким белым мэм-сахиб, ибо зов племени неодолим.

— Не всегда.

— Да, женщины могут остаться к нему глухи; но мужчины устроены иначе. Когда-нибудь потом, через много лет ты снова будешь жить жизнью своего народа. Я это перенесу, потому что меня тогда не будет. Но после смерти душа твоя улетит в неведомый мне мир, ты будешь в раю, где мне нет места.

— Ты уверена, что я попаду в рай?

— Конечно, кто же посмеет причинить тебе страдание? Но мы с ним — я и наш сын — окажемся в другом месте, мы не сможем соединиться с тобой, а ты с нами. Раньше, когда нашего мальчика не было, я об этом и не задумывалась, зато теперь думаю все время. Видишь, как все печально.

— Что будет, то и будет. Нам неведомо, что случится завтра, но сегодня мы вместе, мы любим друг друга. Мы счастливы, что нам еще надо?

— Так счастливы, что хочется оградить от всех наше счастье. Твоя Биби Мириам должна услышать меня, ведь она тоже женщина. Ах, она будет завидовать мне! Не подобает мужчинам поклоняться женщине.

Холден громко засмеялся над ревностью, которая охватила Амиру.

— Не подобает, говоришь? Почему, в таком случае, ты не запрещаешь мне поклоняться тебе?

— Это ты-то поклоняешься мне? О, мой царь, спасибо тебе за сладкие слова, но я ведь знаю, что я — твоя служанка и раба, я прах у твоих ног. И другой участи я не желаю. Вот, гляди!

И она простерлась перед ним, — он не успел ее удержать; потом поднялась с тихим смехом и прижала Тоту к груди. И вдруг чуть ли не с яростью:

— А это правда, что дерзкие белые мэм-сахиб живут в три раза дольше, чем я? Правда, что они выходят замуж совсем старыми старухами?

— Они выходят замуж, как все девушки в мире, — когда приходит пора.

— Знаю, знаю. Но они считают, что пора приходит в двадцать пять лет. Это правда?

— Да, правда.

— Йа илля! В двадцать пять лет! Кто по доброй воле возьмет себе в жены даже восемнадцатилетнюю? Ведь она уже пожилая — и с каждым днем все стареет. А тут двадцать пять! В эти годы я буду старухой, а твои белые мэм-сахиб остаются вечно молодыми. Как я их ненавижу!

— Полно, что нам до них?

— Не могу объяснить. Я только знаю, что на свете живет женщина, которая придет и отнимет у меня твою любовь, она будет на десять лет старше, чем я сейчас, а я — я в это время превращусь в седую старуху и буду нянчить сына Тоты. Это несправедливо, зачем мне такая судьба? Пусть они тоже умрут.

— Хоть тебе и шестнадцать лет, ты просто малое дитя, сейчас я возьму тебя на руки и отнесу вниз.

— Осторожней — Тота! Мой повелитель, ты его прижал! Уж если кто из нас неразумное дитя, так это ты! — Амира положила головку Тоты себе на плечо, и Холден понес их в объятьях по лестнице, Амира смеялась, а Тота открыл глазки и заулыбался, как ангелочек.

Он был удивительно спокойный ребенок, и не успел Холден до конца осмыслить, что у него есть сын, как этот золотоволосый божок деспотически подчинил себе весь дом у городской стены. Для Холдена и для Амиры то были месяцы ничем не омраченного счастья — счастья, которым они наслаждались вдаль от мира, за деревянными воротами, которые охранял Пир-хан. Днем Холден делал все, что полагалось по службе, безмерно сожалея о тех, кого судьба не одарила так щедро, как его, а в гостях у членов их небольшой колонии увлеченно играл с маленькими детьми, что удивляло и сместило многих дам. Вечером он возвращался к Амуре, а Амира — Амира, захлебываясь от восторга, рассказывала об удивительных событиях дня: Тота сегодня хлопал в ладоши, показывал пальчиками разные предметы, — это, конечно же, чудо, — а потом сам, без всякой помощи, сполз со своей низкой кровати на пол, встал на ноги и долго стоял качаясь, она успела сделать целых три вдоха.

— А дышала я медленно-медленно, у меня от радости сердце чуть не остановилось, — говорила Амира.

Потом мальчика стали интересоваться животные — быки, которые ходили вокруг колодца, поднимая воду, маленькие серые белки, мангуста, живущая в норе возле колодца, и особенно попугай Миан Митту, — он без всякой жалости таскал птицу за хвост, и она пронзительно кричала, пока не прибежали Амира с Холденом,

— Ах ты злодей! И ведь до чего сильный! Ты почему обижаешь своего брата, который живет на крыше? Ай-ай-ай, как стыдно! Но я знаю волшебное средство

сделать его мудрым, как Сулейман и Афлатун (Соломон и Платон). Сейчас увидишь, — сказала Амира. Она достала из вышитого мешочка горсть миндаля. — Вот так. Теперь отсчитаем семь орехов. Да благословит нас Аллах!

Она посадила сердитого взъерошенного Миана Митту на крышку клетки, села между клеткой и ребенком и своими белыми, белее миндального зерна, зубками разгрызла орех и вынула зерно.

— Не смейся, моя жизнь, это самое верное средство. Одну половинку я дам съесть попугаю, а другую — Тоте. — Миан Митту осторожно взял клювом свою долю из губ Амиры, а другую Амира губами втокнула в ротик сыну, поцеловав его; он стал медленно жевать орех, округлив рот от удивления. — Семь дней подряд я буду давать им по половинке зерна, и ты увидишь: наш сын вырастет мудрым и красноречивым. Правда ведь, Тота, когда ты вырастешь, а я состарюсь и поседею, ты будешь самый мудрый, самый красноречивый?

Тота поджал пухлые ножки, и на них образовались прелестные складочки. Он любил ползать и не желал тратить лучшие дни своего детства на пустые слова. То ли дело дергать Миана Митту за хвост.

Когда он подрос и удостоился чести носить серебряный пояс, — этот пояс вместе с серебряной пластинкой, которая висела у него на шее и на которой был выгравирован магический квадрат, составляли почти всю его одежду, — он отправился на своих еще нетвердых ножках в полное опасных приключений путешествие по саду к Пир-хану и попросил старика покатавать его на лошади Холдена, он ему за это отдаст все свои драгоценности; Тота видел, как его бабка торгуется на веранде с уличными торговцами. Пир-хан прослезился, в знак преданности поставил не слишком еще крепкие ножки ребенка на свою седую голову и отнес смельчака в объятия матери, которой и поклялся, что Тота станет повелевать людьми еще до того, как у него борода вырастет. Однажды знойным вечером, когда Тота сидел на крыше между отцом и матерью и с восхищением наблюдал нескончаемое состязание воздушных змеев, которых запускали городские мальчишки, он вдруг потребовал, чтобы у него тоже был змей, — его будет запускать Пир-хан, сам он боится играть игрушками, которые больше него; Холден в ответ воскликнул: «Ах ты малявочка!» И тогда мальчик встал во весь рост и с достоинством

произнес, утверждая свою обретенную независимость: «Я не малявочка, я человек».

Холден онемел и с того часа стал непрестанно думать о будущем Тоты. Но напрасно он с таким воодушевлением строил все эти прекрасные планы. Счастье, которое подарила ему жизнь, было слишком полным, оно не могло длиться долго. Судьба отняла его, как отнимает многое в Индии, — неожиданно, в одночасье. Маленький повелитель дома, как звал Тоту Пир-хан, вдруг притих, стал плакать и жаловаться, что у него все болит, — это он-то, всегда такой здоровый и непоседливый. Обезумевшая от ужаса Амира сидела возле него весь день и всю ночь, но на рассвете его жизнь погасла, он не вынес лихорадки — той, что вспыхивает каждой осенью. Амира и Холден даже представить себе не могли, что он может умереть, они долго не верили, что его уже нет, хотя маленькое тельце холодело на кровати. Потом Амира вскочила и стала биться головой о стену, и, не удержав ее Холден силой, она бы бросилась в колодец.

Но Холдена судьба попыталась хоть немного отвлечь. Когда он днем приехал на службу, в кабинете его ждала необычно большая стопа писем, и чтобы ответить на них, нужно было сосредоточиться и надолго погрузиться в работу. Однако он не почувствовал к богам признательности за это благодеяние.

III

Когда в вас попадает пуля, вы в первый миг не чувствуете боли, лишь неожиданный толчок. Раненое тело начинает протестовать против вторжения лишь через несколько секунд. Холден медленно осознавал свое горе — так же медленно, как прежде постигал безмерность своего счастья, и с той же настоящей потребностью его скрывать, чтобы никто не догадался. Сначала он только чувствовал, что на них обрушилась утрата и нужно утешать Амиру, которая сидела, уткнувшись головой в колени, и дрожала, а Миан Митту кричал на крыше: «Тота! Тота! Тота!» Но потом весь мир, в котором он жил, каждая мелочь его повседневного бытия стали причинять ему невыносимую муку. Какая вопиющая несправедливость — вечером на деревянном помосте для оркестра шумят и играют дети, а его сын лежит в моги-

ле. Еще ужаснее было, когда кто-нибудь из них задевал его, а рассказы приятелей о шалостях и проделках своих любимцев ранили его в самое сердце. Он не мог показать людям свою муку. Ему не было ни помощи, ни утешения, ни сострадания; а когда кончался тоскливый день, его принималась терзать Амира, упрекая себя, как упрекают все матери, потерявшие ребенка, что это она во всем виновата, это она что-то недосмотрела, надо было проявить чуть больше заботы, и он бы остался жив.

— Может быть, я была плохая мать? — спрашивала его Амира. — Как ты думаешь, скажи мне! Он так долго играл в тот день один на крыше, а я — ахи! — я заплетала волосы, наверное, его напекло солнце, и от солнца началась лихорадка. Надо было мне увести его с солнца, тогда бы он не заболел. О моя жизнь, скажи, что я не виновата! Ты знаешь: я любила его так же сильно, как я люблю тебя. Скажи, что я не допустила никакой оплошности, иначе я умру, умру, умру, умру!

— Ты не виновата, Богом клянусь, нет здесь твоей вины. Так было суждено, и спасти его от судьбы никто не мог. То, что случилось, — случилось. Надо смириться, любимая.

— Ах, в нем была вся моя жизнь. Разве я могу смириться, когда мои руки каждую минуту тоскуют о нем? Ахи, ахи... Тота, мой Тота, вернись к нам, сыночек, вернись, мы опять будем вместе, как раньше!

— Не плачь, умоляю, не плачь. Пожалей себя и меня, если ты меня любишь. Успокойся.

— Теперь я вижу, что ты совсем не горюешь; да и что тебе горевать? У белых мужчин каменное сердце, а душа — души у них вовсе нет. Ах, почему я не вышла замуж за человека своего племени? Пусть бы он бил меня, зато не пришлось бы есть горький хлеб чужого!

— Это я-то чужой, о мать моего сына?

— Конечно, ты — белый сахиб!.. О, прости меня, прости! От горя у меня помрачился рассудок. Ты — моя жизнь, мое сердце, ты свет моих очей, мое солнце, а я... я наговорила тебе злых слов, забудь их скорее. Если ты оставишь меня, кто мне поможет? Не гневайся! Поверь, не твоя раба обидела тебя, а ее горе.

— Знаю, все знаю. У нас был сын, теперь мы остались одни. И потому должны особенно любить друг друга.

Они, по обыкновению, сидели на крыше. Был теплый вечер, начиналась весна, на горизонте плясали зарницы,

погромыхивал далекий гром. Амира замерла в объятиях Холдена.

— Сухая земля истосковалась по дождю, а я — знаешь, мне страшно. Когда мы считали звезды, я ничего не боялась. Но ведь ты по-прежнему любишь меня, хотя скреплявшие нас узы порвались? Ответь мне!

— Я люблю тебя еще сильнее, потому что нас теперь соединяют узы горя, которое мы пережили вместе, и ты это знаешь.

— Да, знаю, — еле слышно прошептала Амира. — Но так приятно слышать это из твоих уст, о моя жизнь, ведь ты такой сильный. Ты утешаешь меня, ты моя опора. Я больше не буду вести себя как малодушное дитя. Я буду мужественной, буду поддерживать тебя. Дай мне ситар, я спою. Слушай же!

Она взяла маленький инкрустированный серебром ситар и запела песню о великом герое радже Расалу. Но вот ее пальцы замерли на струнах, голос дрогнул, пресекаясь, она тихо запела детскую песенку про хитрую ворону:

Кыш, ворона, улетай!
Мой малютка, засыпай!
В джунглях финики растут...

Из глаз хлынули слезы, с уст сорвался жалкий ропот на злую судьбу, она еще долго плакала, наконец заснула; во сне слабо всхлипывала, а правая ее рука лежала так, словно она кого-то обнимает, ограждает, но объятие было пусто. После той ночи Холдену стало немного легче. Неотступная боль утраты гнала его к работе, и работа платила ему благодарностью, заполняя все его мысли на девять или даже десять часов в сутки. Амира сидела дома одна и предавалась скорби, но когда она поняла, что Холден слегка воспрянул, она, как всякая любящая женщина, обрадовалась. Счастье снова вернулось к ним, но теперь они трепетно берегли его.

— Мы слишком сильно любили Тоту, потому он и умер. Аллах почувствовал ревность, — сказала Амира. — Я повесила над нашим окном большой черный кувшин, чтобы отвести от нас дурной глаз, и мы не должны говорить о нашем счастье, мы затаимся и будем жить тихо-тихо под звездами, Аллах нас и не заметит. Правильно я говорю, мой бесценный?

Желая доказать, как искренне ее стремление защитить его и себя, она с особой нежностью произнесла

«мой бесценный», заменив им столь привычное в ее устах «возлюбленный». Но поцелую, который последовал за наречением нового имени, мог бы позавидовать сам Бог любви. С тех пор они стали твердить: «Все в воле Судьбы, мы ей покоряемся», — надеясь, что Высшие Силы их услышат.

Но Высшие Силы были заняты другими делами. Они подарили тридцатимиллионному народу четыре урожайных года, у людей было вдоволь хлеба насущного и еще оставалось, чтобы засеять поля; рождаемость неуклонно возрастала; в отчетах, которые посылали округа, сообщалось, что на каждую квадратную милю приносящей высокие урожаи земли приходится одних только земледельцев от девяти сот до двух тысяч; член Парламента от Лоуэр-Тутинга, путешествующий по Индии в цилиндре и в сюртуке, с жаром говорил всюду о том, каким благом для страны явилось британское управление, и доказывал, что теперь Индии необходимо одно — ввести всеобщее избирательное право, ограничив его тщательно продуманными цензами. Многострадальные хозяева улыбались и оказывали ему всяческое гостеприимство, а когда он умолкал, любуясь кроваво-красными цветами жасмина, который расцвел в этом году раньше обычного, и потом начинал бурно восхищаться, утверждая, что это предвестник грядущих перемен, улыбка приклеивалась к их лицам намертво.

На день в клубе остановился помощник уполномоченного администрации в Кот-Кумарсене, он-то и рассказал потешную историю, от которой у Холдена кровь в жилах застыла, хотя он слышал только конец.

— Больше он никому своими благоглупостями докучать не будет. У него просто глаза выпучились от изумления, в жизни такого дурацкого выражения не видел, клянусь. Он наверняка сделает по этому поводу запрос в Палате общин. Один из пассажиров, с которым он сюда плыл, — они, кстати, обедали за одним столиком, — подхватил холеру и за день умер. Напрасно вы смеетесь, джентльмены. Видели бы вы, в какое неопишное негодование пришел наш член Палаты общин от Лоуэр-Тутинга и до чего же он перетрусил. Судя по всему, эта просвещенная особа не чаёт удрать из Индии по добру-здорову.

— А неплохо бы ему свести знакомство с холерой. Это отвало бы других болтунов от вояжей к нам, нечего им здесь делать. Но стойте, почему вы помянули

холеру? Для холеры что-то очень уж рано, — заметил управляющий убыточными соляными копиями.

— Не знаю, — задумчиво отозвался помощник уполномоченного. — На поля напала саранча. На севере в нескольких городах вспышки холеры — мы говорим «в нескольких», щадя чувства населения. В пяти округах недород, один Бог знает, когда начнутся дожди. Уже конец февраля. Не хочу никого пугать, но мне кажется, Природа нынешним летом сведет баланс жирным красным карандашом.

— А я-то собирался в отпуск! — воскликнул кто-то в другом конце гостиной.

— В этом году мало кому предоставят отпуск, зато многие получают повышение. Я приехал, чтобы убедить Администрацию включить в программу мер по предотвращению голода строительство оросительного канала, я давно лелею этот план. Нет худа без добра. Наконец-то я добьюсь своего, и канал будет построен.

— Значит, все как в былые времена: голод, лихорадка, холера? — спросил Холден.

— Совсем нет! Всего лишь неурожай в некоторых местностях и необычно широкое распространение сезонных заболеваний. Если вы доживете до следующего года, сможете найти все это в отчетах. Вам-то хорошо. У вас нет жены, не о ком тревожиться. Всех женщин придется отправить подальше от опасности. Они поселятся в горных гарнизонах.

— Мне кажется, вы придаете слишком большое значение слухам, которые распускают на базарах, — возразил молодой чиновник из секретариата. — Что касается меня, то я заметил...

— Да, надо отдать вам должное — заметили, — прервал его помощник уполномоченного, — однако боюсь, мой юный друг, заметили вы далеко не все. А пока я бы хотел обратить ваше внимание на... — И, отведя чиновника в сторону, принялся излагать ему свою заветную мечту о строительстве оросительного канала.

По дороге домой Холден проникся сознанием, что он не один в этом мире и что он боится за жизнь другого существа, а это самый благотворный страх, который ведом человеческой душе.

Через два месяца Природа, как и предсказал помощник уполномоченного, начала подводить баланс тем самым красным карандашом. Весенний урожай был снят, но его хватило ненадолго, и Администрация, заявив-

шая, что не допустит голода в стране, прислала пшеницу. Потом народ по всей стране начала косить холера. Она обрушилась на город, где собрались полмиллиона паломников на поклон святыне. Многие умерли прямо у статуи божества; кому-то удалось выбраться, они разъехались по всей стране, неся с собой смертельную болезнь. Она врывается в обнесенные стеной города и убивала по сто, по двести человек в день. Поезда были переполнены, люди висели на подножках, устраивались на крышах вагонов, но холера гналась за ними по пятам, на каждой станции из вагонов выносили мертвых и умирающих. Люди умирали на обочине дорог, и лошади англичан, увидя в траве труп, испуганно шарахались и взвизгивали на дыбы. Дождей все не было, земля превратилась в камень, не желая, чтобы человек избег смерти, спрятавшись в ней. Англичане отослали жен в горы и продолжали выполнять свой долг, смыкая, как им было приказано, ряды, если кто-то из них выбывал. Холден потерял голову от страха, что может лишиться своего самого драгоценного достояния на земле, и с жаром убеждал Амиру, что ей и ее матери нужно уехать в Гималаи.

— Зачем мне туда ехать? — сказала она ему однажды вечером, когда они сидели на крыше.

— В городе болезнь, люди умирают, все белые мэм-сахиб уехали.

— Все до единой?

— Да... Ну, может быть, осталась только какая-нибудь старая идиотка, и теперь ее муж не знает ни минуты покоя, потому что она подвергает себя смертельной опасности.

— Не говори так, эта старая идиотка — моя дорогая сестра, и ты, пожалуйста, не смейся над ней, потому что я поступлю в точности, как она. Какое счастье, что все ваши дерзкие мэм-сахиб уехали.

— Ты кто — разумная женщина или неразумное дитя? Уезжай в горы, я отправлю тебя, как принцессу. Подумай, девочка моя. В красной лакированной коляске, ее повезут быки; занавески будут и легкие и плотные, на дышле бронзовые павлины, попоны тоже красные. Я пошлю охранять тебя двух вестовых, я...

— Нет, нет и нет! Это ты несмышленое дитя, раз предлагаешь мне такое. Зачем мне все эти игрушки? Вот *он* стал бы гладить быков, забавлялся бы со сбруей. Ради *него* я, может быть, и поехала бы, — видишь, ты

почти сумел превратить меня в англичанку. Но сейчас — ни за что. Пусть они бегут в горы.

— Возлюбленная моя, им велят ехать мужья.

— О, вот это интересно! Разве ты мне муж и я должна тебе во всем повиноваться? Я всего лишь родила тебе сына. И вся моя жизнь — это ты. Как я могу оставить тебя, когда я знаю: если зло захочет коснуться тебя хотя бы мизинчиком, таким же тоненьким, как мой, — а он и вправду тоненький, смотри! — я почувствую это даже в раю. Сейчас такое ужасное лето, вдруг ты умрешь, — ахи, джани¹, ведь ты можешь умереть! — и когда ты будешь умирать, позовут белую женщину ухаживать за тобой, и она напоследок украдет у меня твою любовь!

— Да разве можно полюбить так быстро, тем более на смертном одре!

— Что ты знаешь о любви, мужчина с каменным сердцем? Ей достанутся твои последние слова благодарности, а я, — клянусь Аллахом и пророком Мухаммедом, а также матерью твоего пророка Биби Мириам, — я этого не вынесу. О господин мой и мой возлюбленный, никогда больше не веди эти пустые речи, не требуй, чтобы я уехала, где ты будешь, там буду и я. Довольно, больше ни слова. — Она обняла его и зажала рот ладошкой.

Мы особенно остро ощущаем полноту счастья, когда над ним нависла тень меча. Они смеялись, прильнув друг к другу, и бесстрашно произносили слова самой пылкой любви, какая способна вызвать гнев богов. Раскинувшийся внизу город был переполнен горем. На улицах жгли серу; служители индусских храмов оглушительно трубили в раковины, потому что боги в эти дни были глухи к людским голосам. Возле знаменитой мусульманской гробницы читали Коран, муэдзины не умоляя призывали правоверных к молитве. Из домов умерших неся плач, вдруг истошно закричала мать, у которой только что скончался ребенок — она звала его, умоляла вернуться. Когда небо посерело перед рассветом, они увидели, что из городских ворот выносят покойников, каждые носилки провожала маленькая толпа скорбящих. Амира и Холден целовали друг друга и не могли унять дрожь.

Красный карандаш трудился без усталости, потому что

¹ Да, любимый.

земля была тяжело больна и нуждалась хотя бы в недолгой передышке, пока ее снова не залил поток столь дешево ценимой жизни. Дети не достигших возмужания отцов и несозревших девочек-матерей не противились судьбе. Они смиренно, безропотно ждали, когда придет ноябрь и уберет карающий меч в ножны, — если небу будет угодно. Были жертвы и среди англичан, но потери эти восполнялись. Жителям в пострадавших от засухи районах раздавали зерно, строили холерные бараки, заболевшим оказывали помощь, проводили санитарную профилактику — насколько это было возможно в существующих условиях, ибо таково было распоряжение Администрации.

Холдену сказали, что он должен быть готов в любую минуту ехать и сменить первого, кто выйдет из строя. Он был на двенадцать часов в сутки разлучен с Амирой, а от холеры умирают за три часа. Как же он будет страдать, если расстанется с ней на три месяца или если она умрет без него. А он был совершенно уверен, что смерть ее заберет, — до такой степени уверен, что, когда поднял глаза от телеграммы и увидел в дверях запыхавшегося Пир-хана, лишь громко рассмеялся.

— Значит, все-таки... — проговорил он.

— Когда в ночи раздается крик и душа рвется прочь из тела, какими чарами ее вернуть? Скорее, сын небес! У нее черная холера.

Холден вскочил на коня и понесся домой. Небо затянули тучи, несущие долгожданный дождь, жара стояла удушающая. Во дворе его встретила причитающая мать Амиры.

— Она умирает. Уже без сознания. Вот-вот испустит дух. Что же будет со мною, сахиб?

Амира лежала в комнате, где родился Тота. Она не шевельнулась, когда вошел Холден, даже не открыла глаз, потому что человеческая душа очень одинока, и когда готовится отлететь, то прячется в туманные пределы, куда живые не могут последовать за ней. Черная холера убивает быстро, никому ничего не объясняя. Жизнь покидала Амиру, казалось, сам Ангел Смерти коснулся ее перстом. Она дышала прерывисто и часто, наверное, ей было страшно или больно, но ни глаза, ни губы не отзывались на поцелуи Холдена. Что тут можно было сказать, что сделать? Холдену оставалось одно — ждать и мучиться. По крыше застучали первые капли дождя, на улицах измученного засухой города разда-

лись крики радости. На миг душа Амиры приблизилась к живым, губы зашевелились. Холден наклонился к ней и стал слушать.

— Не оставляй на память обо мне ничего, — прошептала она. — Даже пряди волос. Когда-нибудь потом она заставит тебя все сжечь. А я почувствую это пламя. Ближе! Нагнись ко мне ближе! Помни только одно: я любила тебя и родила тебе сына. Завтра ты обвенчаешься в церкви с женщиной, но ты никогда уже не обнимешь своего первенца, это счастье у тебя отнято навеки. Вспомни обо мне, когда у тебя родится сын, — сын, который по праву и закону будет носить твое имя. Я приняла на себя все несчастья, что уготовила ему судьба. Клянусь... — шептали ее губы прямо ему в ух о , — клянусь: нет бога, кроме... тебя, мой возлюбленный.

И она умерла. Холден сидел неподвижно, в голове не было ни одной мысли; но вот мать Амиры подняла занавеску.

— Умерла, сахиб?

— Умерла.

— Тогда я начну оплакивать ее, а потом сделаю перечень всего имущества, которое есть в доме. Оно принадлежит мне. Сахиб ведь не захочет взять его? Это же такая малость, сахиб, почти и нет ничего, а я старуха. Мне бы только тихо дожить свои дни.

— Ради всего святого, замолчи. Уйди куда хочешь и плачь, только чтобы я не слышал.

— Сахиб, через четыре часа ее похоронят.

— Я знаю ваш обычай. И уйду до того, как ее унесут. Тут ты будешь сама распоряжаться. Позаботься только, чтобы кровать, на которой... на которой она лежит...

— Ах! Эта прекрасная кровать красного лака! Я так давно мечтала...

— Эта кровать останется здесь, не смей к ней прикасаться. Все остальное в доме — твое. Найми повозку, погрузи на нее все, что хочешь, и уезжай, чтобы к рассвету духу твоего не было, здесь останется лишь то, что я запретил тебе трогать.

— Но ведь я старуха. Позволь мне остаться хотя бы на время траура, к тому же начались дожди. Куда мне деваться?

— Что мне за дело? Уходи, я приказываю. В доме имущества на тысячу рупий, вечером мой вестовой привезет тебе еще триста.

— Это очень мало. Ведь придется платить возчику.

— Убирайся, и как можно скорее, иначе вообще ничего не получишь. Уйди. Да уйди ты Бога ради, оставь меня с той, что покинула меня!

Мать засемила вниз по лестнице и принялась спешно собирать вещи, забыв, что ей положено оплакивать дочь. Холден сидел у ложа Амиры, а на улице ревел дождь. Он все пытался понять, что это за шум, но не мог, мысли путались. Но вот в комнату неслышно проскользнули четыре тени в насквозь промокших покрывалах и уставились на него сквозь прозрачную ткань. Они пришли обмыть усопшую. Холден вышел из комнаты и двинулся к коню. Он мчался сюда в мертвой, раскаленной духоте, на земле по щиколотку лежала пыль. Сейчас двор превратился в настоящий пруд, его поверхность молотил дождь, плавали лягушки; под воротами бурлил рыжий поток воды, ревуший ветер нес на глинобитные стены шквал тяжелых капель, точно обстреливал их картечью. Пир-хан продрог в своей каморке, конь нетерпеливо переступал в воде ногами.

— Мне передали повеление сахиба, — сказал Пирхан. — Все будет исполнено. Этот дом опустел. Я тоже его покину, чтобы мое старое лицо не напоминало сахибу о днях счастья. А кровать я утром принесу в твой дом; но только знай, сахиб: ты будешь глядеть на нее, и каждый раз в твоей ране будет поворачиваться нож. Я отправлюсь в паломничество и денег у тебя не возьму. Разленился я, служа великодушной щедрой светлости, чье горе — мое горе. Сегодня я в последний раз держу твоё стремя. — Старик обнял ногу Холдена, и конь вынес седока на улицу, где скрипящие стволы бамбука стегали небо и радостно квакали лягушки. Холден ничего не видел, дождь хлестал в лицо. Он заслонил руками глаза и прошептал, простонал:

— Какая жестокость! Какая тупая жестокость!

Дома уже знали о его несчастье. Он понял это по глазам слуги, когда Ахмед-хан подал ему ужин и в первый и единственный раз в жизни положил своему хозяину руку на плечо и сказал:

— Ешь, сахиб, ешь. Мясо хорошее лекарство от скорби. Я тоже пережил такое. Но тени приходят и уходят, сахиб; так уж жизнь устроена — приходят и уходят. Я приготовил яйца под соусом кари.

Холден не мог есть, не мог спать. За ночь небо обрушило на землю восьмидюймовый слой воды и дочиста ее вымыло. Вода сносила стены, размывала дороги, об-

нажала покойников в неглубоких могилах на мусульманском кладбище. Дождь лил весь следующий день, и Холден сидел дома и думал о своем горе. На третий день утром принесли короткую телеграмму: «Рикеттс умирает. Немедленно командуйте Холдена в округ Миндони обеспечить замену». Он решил, что перед тем, как ехать, взглянет на дом, где был когда-то царь и повелитель. Дождь ненадолго перестал, от пропитанной влагой земли поднимался пар.

Глинобитные столбы забора обвалились, прочные деревянные ворота, которые некогда замыкали его царство, беспомощно висели на одной петле. Двор покрывала густая высокая трава; каморка Пир-хана стояла пустая, промокшая соломенная крыша едва держалась на балках. На веранде хозяйничала серенькая белка, словно дом пустовал не три дня, а лет тридцать. Мать Амиры увезла все, кроме нескольких циновок в лишаях плесени. Тишину в доме нарушало лишь шуршанье бегающих по полу скорпионов. Стены и потолок в комнате Амиры и в той, другой, где спал Тота, покрылись слоем плесени; узкая лестница, что вела на крышу, была вся в потеках глины. Холден посмотрел на все это и вышел на улицу, где увидел владельца дома Дургу Даса — вальяжного, источающего любезность, с головы до ног в белом муслине, на подушках легкого рессорного кабриолета. Он осматривал свои дома — как-то крыши выдержали натиск первых ливней.

— Я слышал, сахиб, — сказал он, — вы отказываетесь от дома?

— А что вы станете с ним делать?

— Может быть, сдам кому-нибудь другому.

— Тогда пусть остается за мной, хотя бы на время моей командировки.

Дурга Дас помолчал.

— Не надо, сахиб, — наконец сказал он. — Когда я был молод, я тоже... а сейчас я член муниципалитета — неплохо, правда? Послушайтесь моего совета. Птицы улетели, кому нужно опустевшее гнездо? Прикажу-ка я его снести — древесина всегда в цене. Да, решено, снесу, а муниципалитет проложит здесь дорогу от пристани к городским воротам, — они давно собираются, — и никто никогда не вспомнит, где этот дом стоял.

КЛЕЙМО ЗВЕРЯ

Кто знает, чьи боги могущественнее — твои или мои?

Индийская пословица

Как считают некоторые, к востоку от Суэцкого канала Провидение, опекающее христиан, перестает вмешиваться в их дела; человек оказывается во власти божеств и демонов Азии, и бог Англиканской Церкви проявляет к нему весьма поверхностный интерес лишь изредка и только в том случае, если этот человек — англичанин.

Если принять эту теорию, то станет понятно, почему в Индии происходят ужасы, без которых вполне можно было бы обойтись; ею же при желании можно объяснить случай, который я собираюсь рассказать.

В роли свидетеля может выступить мой друг Стрикленд, который служит в полиции и знает об индийцах все, что стоит знать. То, что видели мы со Стриклендом, видел также и наш врач Дюмуаз. Но он сделал из увиденного ложное заключение. Его уже нет в живых, он умер весьма странной смертью, я описал ее в другом рассказе.

Когда Флит приехал в Индию, у него было немного денег и участок земли в Гималаях неподалеку от селения, которое называется Дхармсала. И деньги и земля достались ему после смерти дяди, и он приехал вступить во владение наследством. Был он высок, грузен, добродушен и на редкость безобиден. Туземцев, конечно, знал плохо и все сокрушался, что язык ему никак не дается.

Перед Новым годом он прискакал из своего имения в предгорьях Гималаев к нам в город и остановился у Стрикленда. В новогоднюю ночь в клубе закатали грандиозный банкет, и стоит ли упрекать его участников, что вино лилось рекой. Когда в дружеском кругу собираются люди, съехавшиеся со всех концов страны, им сам Бог велел пить и веселиться. С границы прислали лихих молодцов, которые не ставят в грош не только чужую жизнь, но и свою собственную; они за целый год если и видели двадцать белых лиц, то это великая удача, а обедать ездят в соседний форт за пятнадцать

мил, рискуя получить отравленную стрелу туда, где так уютно греет выпитый виски. На радостях, что никакая опасность сейчас молодцам не грозит, они стали играть в бильярд свернувшимся в клубок ежиком, которого нашли в саду, а один расхаживал по гостиной с фишкой в зубах. Приехавшие с юга плантаторы морочили разными небылицами Величайшего Вралья Азии, а он расскажет одну-единственную историю — и всех их за пояс заткнет по части выдумок. Кого здесь только не было, происходил как бы смотр наличных сил, подсчитывали потери за минувший год, перечисляли убитых и выбывших из строя. Выпито было немало, я помню, как мы пели «За дружбу старую до дна, за счастье прежних дней», и море нам было по колено, завоевать кубок чемпионов по игре в поло казалось нам плевым делом, душу переполняли честолюбивые мечты, мы клялись друг другу в вечной дружбе. Потом кто-то из нас уехал и присоединил к владениям Британской империи Бирму, кто-то попытался окончательно прибрать к рукам Судан и поплатился за это головой во время жаркой битвы с дервишами в колючих зарослях под Суакином, кто-то дослужился до высоких чинов и наград, кто-то женился, и ничего хорошего из этого не вышло, кто-то совершил еще более предосудительные поступки, кто-то остался тянуть лямку здесь в надежде составить себе состояние без особых приключений.

Флит начал ужин с шерри и аперитивов, до самого десерта пил шампанское бокал за бокалом, потом перешел к неразбавленному, обжигающему внутренности «Капри», который по крепости не уступает виски, выпил с кофе несколько рюмок «Бенедиктина», в бильярдной опрокинул четыре или пять стаканчиков виски с содовой — для точности удара, в половине третьего подали жареное мясо с пивом, и завершил он все старым выдержанным бренди. Вследствие чего, выйдя в половине четвертого утра на четырнадцатиградусный мороз, он чрезвычайно рассердился на свою лошадь за то, что на него напал кашель, и попытался вскочить в седло. Лошадь сбросила его и вернулась в конюшню; пришлось нам со Стриклендом сопровождать Флита домой в качестве не весьма почетного эскорта.

Путь наш лежал через базар мимо маленького храма, посвященного Хануману — божественной обезьяне, которая особо почитается в стране. Все боги достойны уважения, равно как и их служители. Лично я

очень расположен к Хануману и питаю самые добрые чувства к его соплеменникам — большим серым обезьянам, которые обитают в горах. Никто ведь не знает, когда нам понадобится помощь друга.

В храме горели светильники, и когда мы проходили мимо, то слышали священные песнопения. Жрецы индийских храмов всю ночь славят своих богов. Флит ринулся вверх по ступенькам, — мы не успели его удержать, — похлопал по спине двух жрецов и принялся деловито тушить окуроч сигары о лоб Ханумана, вырезанного из красного камня. Стрикленд силится оттащить Флита, но тот уселся на пол и торжественно изрек:

— В-в-видели? З-зверь теперь... ик... с клеймом. Это я... ик... его заклеил. Хорош, в-верно?

Храм мгновенно ожил и загудел; Стрикленду было слишком хорошо известно, что святотатца, оскорбившего божество, неизбежно постигнет кара, и он сразу же сказал: теперь добра не жди. Жрецы его знали, потому что он занимал столь важный пост, давно жил в стране и с удовольствием проводил время в обществе местных жителей, и сейчас огорчению Стрикленда не было границ. Флит расселся на полу и не желал вставать. Он убеждал нас, что Хануман — отличный старик, мягче подушки не сыскать.

Вдруг из ниши, что была за статуей божественной обезьяны, неслышно возник Серебряный Человек. Несмотря на пронизывающий холод, который стоит в эту пору, он был совершенно наг, и тело его светилось, точно серебряная филигрань, потому что он был прокаженный, вроде того библейского, про которого сказано, что рука его побелела, как снег¹. Лица у Серебряного Человека не было, его разъела ужасная язва, и весь он был покрыт струпами. Мы со Стриклендом наклонились к Флиту, пытаясь поднять его и вытащить на улицу, а храм уже плотно набился людьми, они как из-под земли выросли, и тут вдруг прокаженный поднырнул у нас под руками, издал звук, похожий на мяуканье выдры, обхватил Флита и прижал голову к его груди, — нам с трудом удалось оторвать его от нашего приятеля. Прокаженный ушел в угол и сел на пол, продолжая мяукать, а народ все валил в храм и валил.

Пока Серебряный Человек не дотронулся до Флита,

¹ Библия, Исход, 4, 6.

жрецы клокотали от гнева. Но теперь они успокоились.

Все стихли. Наконец один из жрецов приблизился к Стрикленду и сказал на безупречном английском языке:

— Уведите вашего друга. Он причинил Хануману зло, теперь черед Ханумана.

Толпа раздалась, мы выволокли Флита на улицу.

Стрикленд был в ярости. Он сказал, что всех нас могли зарезать и что Флит должен благодарить судьбу за такой счастливый исход.

Флит никого благодарить не стал. Он заявил, что хочет спать. Он был блаженно пьян.

Мы двинулись дальше, взбешенный Стрикленд молчал, и вдруг Флита начала колотить дрожь, он весь покрылся потом. Какая ужасная вонь стоит на базаре, стал возмущаться он, почему это власти разрешают бойни так близко от английского квартала.

— Неужели вы не слышите запаха крови? — спрашивал Флит.

Наконец мы уложили его в постель; уже светало, и Стрикленд предложил мне выпить виски с содовой. Мы сели в столовой со своими стаканчиками, и он заговорил о происшествии в храме, признавшись, что решительно ничего не понимает. Стрикленд не выносит, когда туземцы его мистифицируют, потому что поставил целью своей жизни взять над ними верх, пользуясь их же оружием. Пока он этой цели не достиг, но лет через пятнадцать—двадцать ему, надеюсь, удастся сделать несколько шагов по направлению к ней.

— Они бы должны разорвать нас на части, — сказал он, — а этот прокаженный просто сидел и мяукал. Не понимаю, ничего не понимаю. Не нравится мне это.

Я ответил, что, по всей вероятности, совет храма подаст на нас в суд за оскорбление религиозных чувств народа. В Уложении о наказаниях для Индийской империи есть статья, под которую как раз и подпадает проступок Флита. Дай-то Бог, сказал Стрикленд, будем надеяться, что все этим обойдется. Потом я отправился домой, но сначала заглянул в комнату Флита и увидел, что он лежит на правом боку и чешет грудь с левой стороны. Спать я лег в семь утра, никак не мог согреться, на душе было тревожно, тоскливо.

В час я поехал к Стрикленду справиться, что Флит. Надо думать, голова у него раскалывается с похмелья.

Флит завтракал и действительно выглядел неважно. К тому же был не в духе, сердился на повара и требовал отбивную с кровью. Человек, способный есть полупрожаренное мясо после целой ночи обильных возлияний, — большая экзотика. Я сказал об этом Флиту, он засмеялся.

— В ваших краях водятся очень странные москиты, — заметил он. — Набросились на меня, как вурдалаки, но жалили только в грудь.

— Покажите укусы, — попросил Стрикленд. — Может быть, они за это время погасли.

Дождаясь отбивных, Флит расстегнул сорочку и показал нам на левой стороне груди, сверху, пятно из пяти или шести черных колец неправильной формы — точное воспроизведение узора на шкуре леопарда.

Стрикленд внимательно взгляделся и сказал:

— Утром были красные. А сейчас почернели.

Флит бросился к зеркалу.

— Черт, какая гадость! — воскликнул он. — Что это такое?

Мы не знали. Принесли ростбифы, сочные, едва схваченные огнем, Флит набросился на них с шокирующей жадностью и мгновенно проглотил три куска мяса. Жевал он только правой стороной челюсти, наклоняя голову к правому плечу. Покончив с ростбифами, он сообщил, что вел себя по меньшей мере странно, и стал оправдываться с виноватым видом:

— Я хотел есть, как волк, в жизни со мной такого не бывало. Готов был вилку и нож проглотить.

После завтрака Стрикленд попросил меня:

— Не уезжайте. Оставайтесь у меня и ночь тоже проведите здесь.

Я жил милях в трех от Стрикленда, если не ближе, и потому его просьба показалась мне пределом абсурда. Но Стрикленд все уговаривал меня, хотел привести какой-то важный довод, но Флит прервал его, объявив с сокрушенным видом, что не наелся. Стрикленд послал ко мне домой слугу принести постель и привести одну из лошадей, а сами мы пошли втроем в конюшню Стрикленда, собираясь провести там час-полтора, оставшиеся до верховой прогулки. Если вы питаете слабость к лошадям, вы готовы до бесконечности разглядывать и обсуждать их; а когда за этим занятием убивают время два страстных любителя лошадей, чего только они не наговорят друг другу, каких только былей и небылиц.

В конюшне стояло пять лошадей, и я в жизни не

забуду, что с ними начало твориться, когда мы подошли. Они словно походили с ума. Взивались на дыбы, пронзительно ржали, чуть не разнесли в щепы стены денников; животные потемнели от Нота и дрожали, изо рта падала пена, в глазах был безумный страх. А ведь лошади любили Стрикленда так же преданно, как и его собаки, и потому их поведение казалось тем более непонятым. Мы вышли из конюшни, боясь, что впавшие в панику животные бросятся на нас. Но Стрикленд тут же вернулся и позвал с собой меня. Лошади еще не успокоились, однако подпустили нас к себе, дались похлопать и погладить, выслушали все ласковые слова и положили нам на плечи морды.

— Нас с вами они не боятся, — сказал Стрикленд. — Клянусь, я отдал бы жалованье за три месяца, если бы только Норовистый мог обрести человеческую речь.

Но Норовистый молчал, он только ластился к хозяину и раздувал ноздри, а это значит, что лошадь хочет что-то поведать, но не умеет рассказать. В это время Флит тоже вошел в конюшню, и едва лошади его увидели, на них снова напал ужас. Пришлось нам ретироваться, и спасибо, что мы убереглись от их копыт.

— Судя по всему, Флит, лошади не очень-то вас жалуют, — заметил Стрикленд.

— Что за чепуха, — возразил Флит, — моя кобыла ходит за мной, как собачка.

Он подошел к ней. Она стояла в отдельном деннике, но едва он отворил ворота, кобыла рванулась, сбила его с ног и унеслась в сад. Я засмеялся, а Стрикленд хоть бы улыбнулся. Он захватил усы в горсть и стал дергать обеими руками с такой силой, что чуть не вырвал. Флит и не подумал ловить свою собственность, он зевнул и объявил, что очень было бы славно сейчас вздремнуть. И действительно, пошел к себе и лег спать, — ну можно ли провести первый день Нового года более бездарно?

Мы со Стриклендом сели в конюшне, и он спросил меня, не заметил ли я в манерах Флита чего-нибудь необычного. Я сказал, что он ест, как дикий зверь, но это, возможно, объясняется тем, что он живет один, в горах, и лишен общества столь изысканного и просвещенного, как, например, наше. Стрикленд и на это не улыбнулся. По-моему, он меня не слушал, потому что вместо ответа заговорил о пятнах на груди Флита, и я сказал, что, может быть, его искушали шпанские мушки или это родинка, она недавно появилась, а он ее только

что заметил. Оба мы согласно решили, что вид у пятен отталкивающий; впрочем, Стрикленд нашел повод сообщить мне, сколь невысоко он ценит мои умственные способности.

— Я не могу сейчас открыть вам, что я думаю, — сказал он, — вы сочтете меня сумасшедшим; но прошу вас, если можете, проведите со мной ближайшие дни. Наблюдайте за Флитом, но не делитесь пока со мной своими выводами, я хочу сначала сам во всем убедиться.

— Но я сегодня приглашен в гости, — возразил я.

— Я тоже, — сказал Стрикленд, — равно как и Флит. Если он, конечно, не откажется.

Мы закурили и молча пошли гулять по саду, — ведь мы друзья, а разговоры мешают получить удовольствие от хорошего табака; но вот наши трубки погасли. Пора было будить Флита. Он уже давно проснулся и беспокойно метался по комнате.

— Знаете, я бы съел еще отбивных, — сказал он. — Повар может поджарить?

Мы засмеялись и сказали:

— Переодевайтесь. Пони сейчас подадут.

— Ладно, — согласился Флит. — Но сначала отбивные, и не забудьте — с кровью.

Судя по всему, он не шутил. Сейчас было четыре, а завтракали мы в час; и все равно он упорно требовал отбивные с кровью. Потом переоделся в костюм для верховой езды и вышел на веранду. Приготовленный для него пони — его кобылу так и не удалось поймать — даже не подпустил его к себе. Остальные три лошади обезумели от страха, в них словно бес вселился, и Флит в конце концов сказал, что останется дома и перекусит. Стрикленд и я поскакали на ипподром чрезвычайно озадаченные. Когда мы приблизились к храму Ханумана, навстречу нам вышел Серебряный Человек и замяукал.

— Он не принадлежит к числу жрецов храма, — сказал Стрикленд. — Вот кого я бы с удовольствием арестовал.

Лошади в тот день скакали словно через силу. Никакой резвости в них не было, как будто их перетренировали.

— Это они до сих пор не оправились после утреннего испуга, — заметил Стрикленд.

Больше он за всю нашу прогулку ничего не сказал. Раза два, как мне показалось, выругался, но это не в счет.

Вернулись мы около семи, уже стемнело, однако окна дома не были освещены.

— Бездельники, дармоеды! — аттестовал Стрикленд своих слуг.

На дорожке, ведущей к конюшне, что-то лежало, мой конь взвился на дыбы, и тут с земли поднялся Флит.

— В чем дело, почему вы ползаете по саду? — спросил Стрикленд.

Но обе лошади шарахнулись и чуть нас не сбросили. Мы спешили возле конюшни и вернулись к Флиту, который стоял на четвереньках под мандариновым деревом.

— Вы что, заболели? — спросил Стрикленд.

— Нет, нет, я совершенно здоров. — Флит говорил очень быстро и хрипло. — Я просто смотрел, что тут у вас в саду растет... любовался цветами. Как прекрасно пахнет земля. Пойду-ка я погуляю... куда-нибудь далеко... на всю ночь.

Тут я понял, что действительно случилось что-то очень серьезное, и сказал Стрикленду:

— Гости на сегодня отменяются.

— Вот и отлично! — отозвался Стрикленд. — Довольно, Флит, вставайте. Так недолго и лихорадку схватить. Идемте обедать, прикажем сейчас зажечь лампы. Мы все трое сегодня обедаем дома.

Флит нехотя поднялся.

— Только не надо ламп, зачем нам свет? — пробормотал он. — И вообще здесь гораздо приятнее. Давайте обедать в саду, будем есть отбивные — много отбивных и все с кровью, почти совсем сырые, с косточкой.

Декабрьскими вечерами в Индии холод пробирает до костей, и предложение обедать на воздухе могло исходить разве что от душевнобольного.

— Идемте в дом, — сурово произнес Стрикленд. — В дом, и немедленно.

Флит поплелся в комнаты, и когда внесли лампы, мы увидели, что он весь с ног до головы облеплен толстым слоем глины. Наверное, катался в саду по земле. Он отпрянул от света лампы и ускользнул к себе в комнату. Глаза у него были страшные, они горели зеленым огнем, только этот огонь был не в глазах, а словно бы за ними, в глубине, надеюсь, вы представляете; нижняя губа Флита отвисла.

— Ночь будет тревожная, очень тревожная, — сказал Стрикленд. — Не переодевайтесь.

Мы всё ждали, когда же появится Флит, и в конце концов Стрикленд приказал подавать обед. Было слышно, как Флит ходит у себя по комнате, но лампы он не зажигал. Вдруг из его комнаты послышался протяжный волчий вой.

Мы то и дело слышим и читаем, что у кого-то там кровь застыла в жилах, волосы встали дыбом, и прочие страсти. А ведь ощущения, которые при этом испытываешь, так ужасны, что говорить это просто ради красного словца, право же, не стоит. У меня сердце остановилось, как будто в него вонзили нож, лицо Стрикленда стало белым, как скатерть.

В комнате снова завывали, и где-то далеко, в полях, раздался ответный вой.

Кто мог бы выдержать этот кошмар?

Стрикленд кинулся в комнату Флита. Я за ним, и мы увидели, что Флит вылезает из окна. Он гортанно, позвериному урчал. Мы стали что-то кричать ему, но он нам не отвечал — не мог. Он шипел.

Что было дальше — я помню плохо, но, вероятно, Стрикленд оглушил его длинным рожком для снятия сапог, иначе мне вряд ли удалось бы сесть ему верхом на грудь. Флит утратил дар членораздельной речи, он только рычал, и рычал не как человек, а как волк. Видимо, человек в нем весь день умирал и с наступлением темноты умер. Мы пытались одолеть зверя, который когда-то был Флитом.

Человеческий разум бессилён рационально объяснить это превращение. Я хотел сказать «гидрофобия», но не мог произнести это слово, мне не хотелось лгать.

Мы связали зверя кожаными ремнями, на которых висело опахало, стянули вместе большие пальцы рук и ног, заткнули в рот рожок для обуви — из него получается отличный кляп, нужно только знать, как его вставляют. Потом отнесли зверя в столовую и послали слугу за доктором Дюмуазом с просьбой приехать немедленно. Посыльный отправился, мы перевели дух, и тут Стрикленд сказал:

— Зря все это. Тут не врач нужен.

И он был прав, я это понимал.

Голова зверя была свободна, он мотал ею из стороны в сторону. Если бы кто-нибудь заглянул в столовую, то решил бы, что мы выделяем волчью шкуру. Запах — вот что было омерзительнее всего.

Стрикленд сидел, уткнув подбородок в кулак, внимательно глядел на зверя, который извивался на полу, и не произносил ни слова. Когда мы с ним боролись, сорочка порвалась, и на обнажившейся груди слева чернели леопардовые пятна. Они даже вздулись, как волдыри.

И вот в тишине нашей вахты мы вдруг услышали в саду крик, похожий на мяуканье выдры. Мы вскочили, и не знаю, как Стрикленд, но лично я почувствовал, что мне дурно, — клянусь, я не ради красного словца говорю, казалось, я вот-вот потеряю сознание. «Это кошка», — сказали мы друг другу, точно герои «Броненосца «Малютка»¹.

Приехал Дюмуаз, и, должен признаться, я в жизни своей не видел, чтобы привыкший ко всяким экзотическим болезням врач до такой степени растерялся. Он сказал, что это тяжелейший случай гидрофобии и что помочь больному невозможно. Все паллиативные средства лишь будут длить агонию. У зверя из пасти текла пена. Мы сказали Дюмуазу, что Флита несколько раз кусали собаки. Человек, который держит свору терьеров, должен быть готов к тому, что его в любую минуту тяпнут. Дюмуаз был бессилен что-то сделать. Он мог только удостовериться, что Флит умирает от гидрофобии. Зверь начал выть — он умудрился вытолкнуть изо рта рожок. Дюмуаз сказал, что готов указать в свидетельстве о смерти ее причину и что конец неотвратим. Этот на редкость славный человек изъявил желание остаться с нами, но Стрикленд отклонил его любезное предложение. Зачем же портить Дюмуазу Новый год? Он только попросил доктора не разглашать истинную причину смерти Флита.

Дюмуаз уехал в величайшем волнении; и когда шум колес его двуколки стих вдали, Стрикленд шепотом рассказал мне, что, по его мнению, произошло. Это было до такой степени чудовищно и невероятно, что он едва осмелился высказать свои подозрения; я и сам был убежден, что дело обстоит именно так, а не иначе, но мне было стыдно в этом признаться, и я для вида стал возражать.

— Предположим, Серебряный Человек покарал Фли-

¹ «Малютка», броненосец флота Ее Величества — оперетта, созданная в 1878 г. У.-С. Гилбертом и А. Салливенем.

та за то, что он осквернил изображение Ханумана, но ведь действие злых чар не могло проявиться так быстро.

Не успел я это прошептать, как возле дома снова раздался крик, и лежащий на полу зверь начал отчаянно корчиться, пытаясь освободиться, — мы испугались, что кожаные ремни лопнут.

— Не спускайте с него глаз! — велел мне Стрикленд. — Если это будет повторяться, после шестого раза я сам с ним расправлюсь. А вы мне поможете, я вам приказываю.

Он ушел к себе в комнату и через несколько минут вернулся, с собой он принес стволы от старого дробовика, кусок лески, толстую веревку и приволок свою массивную деревянную кровать без постели. Я сообщил ему, что конвульсии начинаются через две секунды после того, как раздастся крик, и что зверь заметно ослабел.

— Неужели он хочет лишить его жизни? — пробормотал Стрикленд. — Этого нельзя допустить!

Я возразил, сам не веря тому, что говорю:

— А может быть, это кошка. Наверняка кошка. Если во всем виноват тот, Серебряный, разве он осмелится прийти сюда?

Стрикленд подбросил в камин дров, всунул в огонь концы стволов, разложил на столе во всю длину веревку, переломил пополам одну из своих тростей. Был еще примерно ярд лески, плотно перевитой с проволокой, — такой ловят усачей, — и он связал ее концы, так что получилась петля. Потом сказал:

— Как же нам его поймать? Надо взять живым и невредимым.

Я ответил, что надо довериться Провидению и, вооружившись клюшками для игры в поло, незаметно спрятаться в кустах против парадного входа. Кто бы ни издавал эти звуки — человек или животное, он все равно безостановочно ходит вокруг дома, будто ночной сторож. Мы дождемся в кустах, когда он покажется, и схватим его.

Стрикленд согласился с моим планом, и мы неслышно вылезли из окна ванной, прокрались по веранде к парадному крыльцу, быстро пробежали по мощеной дорожке к кустам и затаились в них.

Вот из-за угла дома показался прокаженный, мы ясно видели его в свете луны. Он был совершенно наг, время от времени мяукал и принимался плясать, с ним

вместе плясала и его тень. Зрелище было омерзительное, и когда я подумал, что столь гнусное создание довело беднягу Флита до такой позорной деградации, я отбросил прочь все сомнения и решил помогать Стрикленду во всем: пусть он его подвергнет любым пыткам, пусть жжет раскаленными стволами, пусть душит веревкой — я с ним до конца.

На веранде у парадного крыльца прокаженный на миг остановился, и мы ринулись на него с клюшками. Поразительно, до чего он оказался силен, — мы боялись, что он удерет или же мы его в схватке смертельно раним. Нам почему-то представлялось, что на прокаженного дунь — и он упадет, однако ничего подобного. Стрикленд сбил-таки его с ног, и я придавил его шею сапогом. Он отвратительно мяукал, а я — я даже сквозь подошву сапога чувствовал, что его тело — разлагающаяся заживо плоть прокаженного.

Серебряный Человек молотил нас культами рук и ног, лягался. Мы обхватили его ремнем арапника под мышками и потащили в прихожую, потом из прихожей в столовую, где лежал зверь. Здесь мы связали его чемоданными ремнями. Он не делал попыток бежать, только мяукал.

Что начало твориться со зверем, когда прокаженный оказался рядом! Он выгнулся дугой назад, будто его отравили стрихнином, душераздирающе застонал. Об остальном я рассказывать не стану, это не поддается описанию.

— Кажется, я был прав, — сказал Стрикленд. — А теперь мы попросим его вылечить больного.

Но прокаженный лишь мяукал. Стрикленд сложил в несколько раз полотенце и вынул им из огня ружейные стволы. Я продел половину переломленной трости в петлю из лески и надежно прикрутил прокаженного к кровати Стрикленда. В ту ночь я понял, почему не только мужчины, но даже женщины и дети заморожено смотрят, как у них на глазах жгут заживо колдунов и ведьм; зверь на полу хрипло стонал, и хотя у Серебряного Человека не было лица, по изъязвленному месиву, в которое оно обратилось, волнами прокатывались ненависть, гнев, ужас, как волны жара прокатываются по раскаленному докрасна железу, — например, по ружейному стволу.

Стрикленд закрыл лицо руками, постоял так с минутой, и мы приступили к делу. Дальнейшее я опускаю.

Когда прокаженный заговорил, уже светало. До сих пор он все мяукал и мяукал. Зверь обессилел до того, что не подавал признаков жизни, в доме стояла мертвая тишина. Мы отвязали прокаженного и велели ему снять чары. Он подполз к зверю и положил руку ему на грудь, слева. Только и всего. Потом уткнулся лицом в пол и заскулил, судорожно всхлипывая.

Мы глядели на морду зверя — на наших глазах она превращалась в человеческое лицо, в лицо Флита. На лбу выступил пот, и глаза — вполне человеческие глаза — закрылись. Прошло около часу, Флит все спал. Мы перенесли его к нему в спальню и отпустили прокаженного, отдав ему кровать, лежавшую на кровати простыню, чтобы он прикрыл наготу, перчатки и полотенца, которыми мы к нему прикасались, арапник, которым тащили его в столовую. Он завернулся в простыню и вышел в серые предутренние сумерки, не произнеся ни единого слова, ни разу не мяукнув.

Стрикленд отер лицо платком и сел. Далеко в городе слышались удары в гонг — семь часов утра.

— Ровно сутки! — воскликнул Стрикленд. — За то, что я сделал, меня следует уволить со службы и поместить на всю оставшуюся жизнь в сумасшедший дом. Может быть, нам все это приснилось, как по-вашему?

Раскаленный докрасна ствол дробовика упал на пол, ковер под ним начал тлеть. Дым был вполне настоящий.

В одиннадцать утра мы со Стриклендом пошли будить Флита. Осмотрели его грудь и не нашли никаких следов черных леопардовых пятен. Его было невозможно растолкать, — едва откроет глаза и тут же снова провалится в сон, но наконец он нас увидел и воскликнул:

— А, это вы, черт вас подери! С Новым годом, господа. Никогда не мешайте выпивку. Башка чугунная.

— Спасибо за поздравление, но оно несколько запоздало, — ответил Стрикленд. — Нынче у нас второе. Вы проспали больше суток.

Открылась дверь, в комнату просунул голову Дюмуаз. Он пришел пешком и думал, что мы обряжаем Флита, готовясь положить на стол.

— Я привел медицинскую сестру, — сказал Дюмуаз. — Надеюсь, она поможет... сделает все необходимое...

— Превосходно! — весело воскликнул Флит, садясь в постели. — Где ваши сестры, зовите их.

У Дюмуаза словно язык отнялся. Стрикленд увел

его из комнаты и объяснил, что, вероятно, диагноз был поставлен неправильно. Дюмуаз тотчас же ушел, так и не обретя дара речи. Он счел, что его профессиональному достоинству нанесено оскорбление, и решил во что бы то ни стало восстановить свою честь. Стрикленд тоже ушел из дому. Когда вернулся, то рассказал, что был в храме Ханумана, выразил жрецам глубочайшее сожаление за то, что над их богом было совершено надругательство, и хотел возместить ущерб, но жрецы дали ему торжественную клятву, что ни один белый человек не прикасался к статуе божественной обезьяны, а сам Стрикленд — воплощение всех совершенств, однако же оказался жертвой заблуждения.

— Ну, и что вы на это скажете? — спросил Стрикленд.

Я сказал:

— «Есть многое на свете, друг Горацио...»

Но Стрикленд слышать не может эту цитату. Говорит, я затвердил ее, как попугай, уши вянут.

Произошел еще один эпизод, он испугал меня, пожалуй, больше всех остальных событий минувшей ночи. Флит оделся, вышел в столовую и стал принюхиваться. Он очень забавно раздувает ноздри, когда нюхает.

— Ужасно пахнет псиной, — объявил он. — Помоему, Стрик, вы запустили своих терьеров. Говорят, сера хорошо помогает.

Но Стрикленд ничего на это не ответил. Он вцепился в спинку стула и дико, истерически захохотал. Очень страшно, когда на твоих глазах суровый мужчина с железной волей не может побороть истерику. Потом я вдруг понял, что именно здесь, в этой комнате, мы боролись с Серебряным Человеком за душу Флита и что мы, англичане, навеки опозорили себя; тут на меня тоже напал неудержимый хохот, я задыхался и всхлипывал так же непристойно, как Стрикленд, а Флит стоял и думал, что мы сошли с ума. Мы так никогда ему ничего и не рассказали.

Через несколько лет, когда Стрикленд женился и стал примерным членом общества, который исправно посещает церковь — в угоду своей супруге, — мы однажды беспристрастно разобрали весь эпизод по косточкам, и Стрикленд предложил мне вынести его на суд публики.

Не думаю, чтоб это помогло развеять тайну; во-первых, никто не поверит, что эта весьма неприятная история случилась на самом деле, а во-вторых, любой

здравомыслящий человек знает, что языческие боги — всего лишь каменные или медные истуканы и те, кто пытается увидеть в них нечто большее, заслуживают самоото беспощадного осуждения.

ЛУЧШАЯ В МИРЕ ПОВЕСТЬ

Доблести годы ушли, как вода,
Мир не такой, как встарь,
Ты был раб-христианин тогда,
А я в Вавилоне — царь.

*У.-Э. Хенли*¹

Его звали Чарли Мирз, он был единственным сыном вдовы, жил в северной части Лондона и каждый день приезжал в Сити, где работал в банке. Чарли было двадцать лет, и его одолевали честолюбивые мечты. Я познакомился с ним в бильярдной, где маркер звал его по имени, а он маркера — Парень Не Промах. Чарли объяснил мне несколько нервозно, что забрел сюда понаблюдать за игрой, а поскольку подобная забава может дорого обойтись молодому человеку, я сказал, что лучше бы он шел домой, к матери.

Это был первый шаг к более короткому знакомству. Он стал заглядывать ко мне по вечерам, вместо того чтобы слоняться по Лондону со своими приятелями-клерками, и вскоре, как водится у молодых, раскрыл мне свои честолюбивые помыслы — он мечтал о литературной славе. Желая обессмертить свое имя, Чарли в основном полагался на стихи, но писал и рассказы о роковой любви и посылал их в дешевые журнальчики. Я обрек себя на молчаливое выслушивание сотен и сотен поэтических строк и неудобочитаемых отрывков из пьес, которые еще, несомненно, потрясут мир. Наградой мне было его беспредельное доверие, а исповеди и печали юноши святы, почти как исповеди и печали девушки. Чарли еще ни разу не влюблялся, но мечтал влюбиться и ждал лишь случая; он верил в честь и благородство, но в то же время никогда не упускал возможности показать, что он тертый калач, как и подобает клерку, получающему двадцать пять шиллингов в неделю. Он рифмовал «кровь» и «любовь», «розы» и «моро-

¹ Хенли Уильям Эрнест (1849—1903) — английский поэт, критик.

зы» и наивно полагал, что никто еще до этого не додумался. Он поспешно извинялся за длинные непонятные пропуски в своих пьесах, скороговоркой сообщал, что должно произойти, и переходил к следующей сцене, причем видел все, что собирался написать, так отчетливо и ясно, что считал дело сделанным и оборачивался ко мне, ожидая одобрения.

Подозреваю, что мать не поощряла его честолюбивые устремления, и знаю наверняка, что дома письменным столом ему служил край деревянной подставки для умывальника. Это он поведал мне почти в самом начале нашего знакомства, опустошая книжные полки в моем шкафу, и вскоре уже заклинал меня сказать начистоту, есть ли у него шансы «написать, понимаете ли, нечто истинно великое». Возможно, я слишком его обнадежил, но как-то вечером он явился ко мне с горящими от возбуждения глазами и выпалил:

— Вы не возражаете, если... словом, позвольте мне побыть у вас и писать весь вечер. Я вас не отвлеку, поверьте. Мне негде писать дома, у матери.

— А в чем дело? — поинтересовался я, прекрасно зная, в чем дело.

— Мне пришла в голову идея замечательной повести, такой еще никто и никогда не писал. Позвольте мне написать ее здесь. Это такая идея!

Я не устоял против мольбы Чарли и освободил ему стол. Он, едва поблагодарив меня, с головой ушел в работу. С полчаса он без усталости строчил пером. Но вот Чарли вздохнул и запустил руку в волосы. Перо скользило по бумаге все медленней, он все чаще зачеркивал написанное, а потом работа и вовсе замерла. Лучшая в мире повесть не продвигалась.

— Теперь мне кажется, что я сочинил ужасный вздор, — мрачно произнес он, — а сначала, когда обдумывал повесть, все выглядело так здорово. Почему у меня ничего не выходит?

Мне не хотелось говорить правду и тем самым подрезать ему крылья. И я ответил:

— Может, ты сегодня просто не в настроении?

— Нет, настрой был, но он пропал, когда я увидел, что у меня получилось. Уф!

— Прочти, что ты написал, — предложил я.

Чарли прочел, это и впрямь никуда не годилось, а он делал паузы после особенно напыщенных фраз,

ожидая знаков одобрения; он гордился этими фразами — я знал наперед.

— Надо бы слегка подсократить, — осторожно заметил я.

— Терпеть не могу сокращать свои вещи. Слово заменишь, и то сразу искажается смысл. А на слух все воспринимаешь лучше, чем при письме.

— Чарли, ты, как и многие другие, слишком быстро впадаешь в панику. Отложи рукопись в сторону, через неделю займешься ею снова.

— Я хочу написать повесть одним махом. Что вы о ней думаете?

— Как мне судить о наполовину написанном произведении? Изложи свой замысел.

Чарли изложил, и в его рассказе было все, чему его неопытность так настойчиво мешала воплотиться на бумаге. Я глядел на него и удивлялся: мыслимо ли, что он не понимает самобытности, глубины идеи, пришедшей ему в голову? Это была поистине Идея среди идей. Иных авторов буквально распирало от гордости за свои идеи, несравнимые с блистательным замыслом Чарли, так и просившимся на бумагу. Но Чарли безмятежно лопотал, прерывая поток чистой фантазии чудовищными фразами, которые намеревался вставить в текст. Я терпеливо выслушал его до конца. Было бы величайшей глупостью оставить эту идею в его неопытных руках, в то время как я мог бы так много из нее выжать. Не все, разумеется, но ох как много!

— Я, пожалуй, назову повесть «История одного корабля», как вы думаете? — спросил наконец Чарли.

— Что ж, замысел хорош, но ты не сможешь работать его как следует. А вот я бы...

— Вам он пригодится? Хотите им воспользоваться? Мне это будет очень лестно, — сразу предложил Чарли.

Немногое в этом мире доставляет человеку большую радость, чем простодушное, горячее, неумеренное восхищение юного друга. Даже женщина в своей самой слепой, беззаветной преданности не может идти в ногу со своим кумиром, сдвигать шляпку набок точно так, как носит шляпу он, уснащать речь его любимыми ругательствами. А Чарли все это делал. И все же я чувствовал потребность как-то успокоить свою совесть, прежде чем завладеть его идеей.

— Давай заключим сделку, — начал я. — Плачу пять фунтов за твой замысел.

В Чарли тут же проснулся банковский клерк.

— О нет, это невозможно. Так между друзьями не водится, сами понимаете, если мне дозволено считать вас своим другом, конечно, да и как порядочный человек я не могу принять этих денег. Воспользуйтесь идеей, если она вам нравится. У меня их — без счету.

Так оно и было — мне ли не знать? Но то были чужие идеи.

— Рассматривай это как сделку между порядочными людьми, — отозвался я. — За пять фунтов можно купить много поэтических сборников. Бизнес есть бизнес, и — не сомневайся — я не дал бы эту цену, если бы...

— Ну, если посмотреть на дело таким образом... — Чарли был явно взволнован мыслью о книгах.

Заклучив сделку, мы договорились, что Чарли будет время от времени являться ко мне со всеми своими замыслами, отныне ему будут предоставлены письменный стол и неотъемлемое право навязывать мне свои поэмы и отрывки из них.

— Расскажи, как тебе пришла в голову эта идея? — полюбопытствовал я.

— Сама собой. — Глаза Чарли слегка округлились.

— Да, но ты так много рассказывал мне о герое. Должно быть, вычитал это где-нибудь?

— Мне некогда читать, разве что здесь, с вашего разрешения, а по воскресеньям я катаюсь на велосипеде или уезжаю на весь день на реку. А с героем все в порядке, верно?

— Расскажи-ка еще раз, чтоб я его себе ясно представил. Вот ты говоришь, что герой стал пиратом. А как он жил?

— На нижней палубе корабля, о котором я вам рассказывал.

— А что это был за корабль?

— Гребное судно, морская вода бьет струей сквозь уключины, и люди гребут, сидя по колено в воде. Между двумя рядами гребцов — помост, а по нему прохаживается взад и вперед надсмотрщик с хлыстом — следит, чтоб гребцы работали.

— Откуда ты все это знаешь?

— Прочитал в одной книжке. Над помостом тянется веревка, она закреплена на верхней палубе, надсмотрщик держится за нее в качку. Как-то раз надсмотрщик не успел схватиться за веревку и свалился с помоста

на гребцов — помните, наш герой засмеялся, и его за это высекли. Он, конечно, прикован к веслу — герой.

— Каким образом?

— На нем железный пояс, прикрепленный цепью к скамье, а кандалами на левом запястье он прикован к веслу. Сидит он на нижней палубе, куда помещают самых отпетых. Свет туда доходит только сквозь люки верхней палубы да сквозь уключины. Представляете — лучик света едва пробивается между рукояткой весла и отверстием уключины и все время дрожит — ведь судно качает.

— Я-то представляю, но как-то не верится, что ты себе ясно это представляешь.

— А как же иначе? Так вот, слушайте. Длинными веслами на верхней палубе гребут четверо на каждой скамье, на средней — их трое на весло, а на нижней — по двое. Я уже говорил, что внизу совсем темно, и люди сходят с ума. Когда гребец с нижней палубы, прикованный к веслу, умирает, его не бросают за борт, а расчленяют, не освобождая от цепей, и пропихивают куски мяса через уключины.

— Почему? — Меня изумило не столько само сообщение, сколько уверенный тон Чарли.

— Так надсмотрщики избавляли себя от лишних хлопот и на других гребцов страх наводили. Ведь одному надсмотрщику не под силу вытащить покойника наверх. А оставишь нижних гребцов без пригляда, так они, конечно, и грести перестанут, и скамьи вырвут, если поднимутся все разом, в цепях.

— Да, у тебя поистине неиссякаемое воображение. А где это ты начитался про галеры и галерных рабов?

— Нигде не читал. А впрочем, не помню. Я сам люблю погрести при случае. Может, я и впрямь вычитал это где-нибудь, раз вы так считаете.

Вскоре после этого разговора Чарли ушел побродить по книжным лавкам, а я с изумлением размышлял о том, как сумел банковский клерк двадцати лет от роду поведать мне с такой расточительной подробностью, с такой абсолютной уверенностью о фантастической кровавой аванюре, мятеже, пиратстве и смерти в неведомых морях. Он провел своего героя тернистым путем через бунт на галере против надсмотрщиков к командованию своим собственным судном и созданию королевства на острове, затерянном «где-то в море», и, обрадованный моими жалкими пятью фунтами, отправился

покупать идеи других людей, чтобы научиться у них писать. Я утешался лишь тем, что отныне замысел Чарли принадлежит мне по праву покупателя, и надеялся как-то его обыграть.

Когда Чарли явился ко мне в следующий раз, он был пьян — пьян в благородном смысле этого слова, опьянен творениями поэтов, которых открыл для себя. Зрочки его были расширены, речь сбивчива, и он кутался в лоскутное одеяло цитат. Больше всего его пьянил Лонгфелло.

— О, это великолепно, это величественно! — вскричал Чарли, едва поздоровавшись. — Вы только послушайте:

Видно, хочешь, — молвил кормчий, —
Тайну моря разгадать?
Лишь поспорившему с бурей
Суждено ее узнать ¹.

Бог ты мой!

Лишь поспорившему с бурей
Суждено ее узнать, —

произнес он раз двадцать, расхаживая взад и вперед по комнате, совершенно позабыв про меня. — Но я тоже способен это понять, — сказал он сам себе. — Не знаю, как и благодарить вас за пять фунтов. Или вот еще, послушайте:

Помню корабли, и мрачные гавани,
И своевольный бурливый прибой,
И бородатых испанцев, пришедших из плавания,
И дивный парусник в далекой гавани,
И тайну пучины морской ².

Хоть я и не сражался с морем, у меня такое чувство, будто мне все про него известно.

— Да, ты, несомненно, понимаешь море. Ты его когда-нибудь видел?

— Еще ребенком я ездил однажды в Брайтон, мы жили в Ковентри, до того как переехали в Лондон. А раньше я никогда не видел моря.

Когда опускается на Атлантику
Могучий
Экваториальный шторм ³.

¹ Г.-У. Лонгфелло. Тайны моря.

² Г.-У. Лонгфелло. Моя утраченная юность.

³ Г.-У. Лонгфелло. Водоросли.

Чарли ухватил меня за плечо и потряс, чтобы и я ощутил страсть, потрясшую все его естество.

— Думаю, когда начинался шторм, — продолжал он, — все весла на галере, про которую я рассказывал, ломались, и их дергающиеся рукояти пробивали гребцам грудь. Кстати, пригодилась ли вам моя идея?

— Пока нет. Жду, что ты еще что-нибудь расскажешь. Объясни, ради Бога, почему ты так уверенно описываешь галеру. Ты ж ничего не знаешь о кораблях.

— Не могу объяснить. Я знаю корабли как свои пять пальцев, пока не берусь за перо. Только вчера в постели об этом размышлял — вспоминал «Остров сокровищ», который вы мне дали почитать. Я припомнил много такого, что можно ввести в повесть.

— Что именно?

— К примеру, вспомнил, что ели гребцы — гнилой инжир, черные бобы, а пили вино; мехи с вином они передавали от скамьи к скамье.

— Стало быть, твою галеру построили еще во время оно?

— В какое время? Откуда мне знать, давно ее построили или нет. Ведь это выдумка, но порой мне кажется: все, что я рассказываю, и вправду взято из жизни. Я надоел вам своими рассказами про галеру?

— Ничуть. А что ты еще вспомнил?

— Да так, разные пустяки.

Чарли слегка покраснел.

— Неважно, рассказывай.

— Значит, так: история с галерой не выходила у меня из головы, ночью я поднялся и записал на листочке то, что гребец мог нацарапать на весле острым краем наручников. Мне показалось, что такая мелочь сделает повесть более правдивой. Я, верите ли, все вижу, будто наяву.

— У тебя с собой этот листок?

— Да-а, но что толку его показывать? Просто какие-то закорючки, и больше ничего. Правда, их можно поместить на заглавном листе книги.

— Такие детали я беру на себя. Покажи, что там нацарапали гребцы.

Чарли вынул из кармана листок бумаги с одной-единственной строчкой каких-то каракулей, и я тотчас припрятал его.

— Что, по-твоему, это значит по-английски?

— Ума не приложу. Может, «я до смерти устал»,

в общем, чепуха какая-нибудь, — повторил Чарли. — Но все эти гребцы на галере для меня — живые люди. Очень прошу — обыграйте поскорей мою задумку. Хочется увидеть законченную и напечатанную повесть.

— Но того, что ты мне рассказал, хватит на толстую книгу.

— Так напишите книгу. Вам осталось только сесть да написать.

— Дай время — напишу. А еще какие у тебя замыслы?

— Пока никаких. Читаю все книги, что накупил. Великолепные книги.

Когда Чарли ушел, я заглянул в его листок с надписью. Заглянул — и осторожно обхватил голову руками, желая убедиться, что она на месте и не повернулась задом наперед. Потом... но я не заметил, как вышел из дома и оказался в коридоре Британского музея перед дверью с табличкой «Службное помещение» и вступил в пререкания с полицейским. В самой вежливой форме я просил об одном — разыскать «специалиста по Древней Греции». Полицейский ничего не знал, кроме музейных правил, и мне пришлось обежать все здания и служебные помещения на территории музея. Пожилой джентльмен, которому я не дал толком позавтракать, положил конец моим поискам; брезгливо взяв листок двумя пальцами, он взглянул на него и презрительно фыркнул.

— Хотите знать, что это значит? Хм... Насколько я понимаю, это попытка что-то написать на чрезвычайно искаженном греческом языке, — тут он многозначительно посмотрел на меня, — предпринятая на редкость безграмотным... э...э... лицом. — Он медленно прочел: — «Поллок¹, Эркман², Таухниц³, Хенникер⁴».

Четыре знакомых мне фамилии.

— Объясните, пожалуйста, что же все-таки означает эта безграмотная писулька? В чем там смысл? — поинтересовался я.

¹ Поллок Уолтер (1850—1926) — критик, переводчик, драматург.

² Эркман Эмиль (1822—1899) — французский писатель, писал вместе с Александром Шатрианом под общим псевдонимом Шатриан Эркман.

³ Таухниц Бернард (1816—1895) — немецкий издатель, выпускавший популярную серию книг на английском языке.

⁴ Хенникер (ум. в 1923 г.) — писательница, президент Общества журналисток.

— «Меня... часто... одолевала усталость за этим делом» — вот в чем тут смысл.

Он вернул мне листок, и я умчался, не поблагодарив специалиста, ничего ему не объяснив, даже не извинившись.

Моя забывчивость была вполне простительна. Мне из всех смертных была дарована возможность написать лучшую в мире повесть — историю жизни греческого раба на галере, записанную с его слов, — ни больше и ни меньше. Немудрено, что свои грезы Чарли называл явью. Парки, которые так тщательно закрывают дверь в конце каждой прожитой нами жизни, на сей раз проявили беспечность, и Чарли заглядывал, сам того не сознавая, туда, куда не дозволено глядеть никому из смертных в ясном уме и здоровой памяти с Начала Времен. И самое главное — он не подозревал, какие познания продал мне за пять фунтов; и останется и впредь в неведении, ибо банковские клерки ничего не смыслят в метемпсихозе¹, а коммерческое образование не включает изучение греческого языка. Он будет поставлять мне, — тут я проделал несколько балетных па перед безмолвными египетскими богами и рассмеялся, глядя в их щербатые от времени лица, — сведения, которые придадут моей повести достоверность — такую достоверность, что мир назовет ее наглой подделкой, и лишь я, я один, буду знать, что все в этой повести правда. Я, я один, возьму в руки драгоценный камень, чтобы гранить и полировать его. И я снова пустился в пляс среди богов, пока не заметил полицейского, направлявшегося в мою сторону.

Отныне мое дело — лишь поощрять Чарли к рассказам, а это нетрудно. Но я позабыл про эти проклятушие поэтические сборники. Чарли раз за разом являлся ко мне, бесполезный, как целиком записанный валик фонографа, — опьяненный Байроном, Шелли либо Китсом. Теперь, зная, кем был Чарли в прежних воплощениях, я безумно боялся пропустить хоть слово в его болтовне, и от него не укрылись ни моя почтительность, ни мой интерес. Он неправильно истолковал их как внимание к нынешней сути Чарльза Мирза, для которого жизнь была нова, как для Адама, и как уважительное отноше-

¹ Метемпсихоз (*греч.*) — переселение душ; религиозно-мистическое учение о переходе души из одного организма, по смерти его, в другой.

ние к его декламации; Чарли испытывал мое терпение, готовое лопнуть, читая мне стихи — не свои отныне, а других поэтов. Я страстно желал, чтоб стихи всех английских поэтов стерлись в памяти человечества. Я хулил самые звонкие поэтические имена, потому что они уводили Чарли в сторону от рассказов о галере и могли в дальнейшем склонить к подражательству; но я сдерживал нетерпение, уповая на то, что первый горячий энтузиазм иссякнет и парень вернется к своим грезам наяву.

— Что толку рассказывать вам о моих замыслах, когда эти ребята сочинили такое, что впору ангелам читать, — посетовал он как-то вечером. — Почему бы и вам не написать что-нибудь в этом духе?

— Не скажу, чтоб ты был особенно учтив со мной, — заметил я, с трудом сохраняя самообладание.

— Я же отдал вам свою повесть, — буркнул Чарли, снова погружаясь в «Лару»¹.

— Мне нужны подробности.

— Все, что я придумывал об этом чертовом корабле, который вы называете галерой? Да это проще простого. Сами можете насочинять. Пустите-ка газ чуть поярче, хочется еще почитать.

Я был готов разбить рожок над головой этого редкостного глупца. Разумеется, я бы и сочинил все сам, знай я то, что, сам того не ведая, знал Чарли. Но поскольку двери моего прошлого существования были наглухо закрыты, я волей-неволей ждал, когда Чарли со благоволит что-нибудь мне рассказать, и старался удерживать его в добром расположении духа. Минутная неосторожность могла погубить бесценное откровение; порой он откладывал книжки в сторону, — Чарли хранил их у меня, ведь мать, увидев их, возмутилась бы безрассудной тратой денег, — и погружался в свои морские видения. И снова я проклинал всех поэтов Англии. Прочитанные книги придавили, исказили, расцветили восприимчивое воображение банковского клерка, и в результате зазвучал нестройный хор чужих голосов — так невнятно слышится песня по городскому телефону в самое горячее время дня.

Чарли вел рассказ о галере — знай он, что сам на ней плавал! — и иллюстрировал его заимствованиями из «Абидосской невесты». Описывая жизнь героя, он цити-

¹ «Лара» (1814) — поэма Байрона.

ровал «Корсара», вставляя в свой рассказ исполненные трагизма размышления на темы морали из «Каина» и «Манфреда»¹, уверенный, что я воспользуюсь ими. Только когда речь заходила о Лонгфелло, дисгармония встречных звуковых потоков прекращалась, и я знал, что устами Чарли глаголет истина, ибо он полагается лишь на свою память.

— Что ты думаешь об этой поэме? — начал я как-то вечером, уже зная самый лучший способ настроить Чарли на нужный лад, и, не дав ему опомниться, одним духом прочел «Сага о короле Олафе»².

Чарли слушал, открыв рот, покрасневшись, постукивая пальцами по спинке дивана, на котором лежал, пока я не подошел к «Песне Эйнара Тамберскельвера»:

Вытянув стрелу отмщенья,
Эйнар молвил: «Что ж, изволь —
Ты Норвегии крушенья
Видишь пред собой, король!

Чарли ахнул, зачарованный.

— Это, пожалуй, посильней Байрона, — отважился заметить я.

— Сильнее? Еще бы! Это правда! Но откуда он все это знал?

Я повторил предыдущее четверостишие:

Это что за наважденье? —
Олаф с палубы вскричал. —
Не обломки ли крушенья
Море бросило у скал?

— Откуда ему было знать, как разбивается галера, как весла вырываются из рук и всюду слышно это «з...з...ззп»? Да ведь только вчера ночью... Пожалуйста, прочтите еще раз «Шхеру криков».

— Нет, я устал. Давай поговорим. Так что же случилось прошлой ночью?

— Мне привиделся кошмарный сон о нашей галере. Снилось, будто я утонул во время боя. Дело было так: мы вошли в гавань вместе с другой галерой. Вода была совершенно неподвижная, только от наших весел она вспенивалась. Вы знаете, где я сижу на галере? — смущенно спросил Чарли: его сковывал извечный страх англичанина показаться смешным.

¹ «Абидосская невеста» (1813), «Корсар» (1814), «Каин» (1821), «Манфред» (1817) — произведения Байрона.

² «Сага о короле Олафе» — поэма Г.-У. Лонгфелло.

— Нет, ты мне об этом не рассказывал, — ответил я смиренно, и сердце мое забилося сильней.

— На верхней палубе, от носа — четвертое весло с правой стороны. Нас было четверо гребцов, прикованных к этому веслу. Помню, я глядел на воду и все пытался высвободить руки от кандалов, пока не начался бой. Потом мы подошли вплотную к другой галере, и все их стрельцы прыгнули к нам на борт; моя скамья проломилась, я лежал, распластавшись, на палубе, а на мне — три других парня и огромное весло, придавившее всех нас своей тяжестью.

— А дальше что было?

Глаза у Чарли горели. Он вперил взгляд в стену за моим креслом.

— Я не знаю, как шел бой. Я так и лежал на палубе, и люди топтали меня почем зря. Потом наши гребцы с левого борта, прикованные к веслам, как вы сами понимаете, заорали и принялись табанить. Я слышал, как шипела вода, галера вертелась, как майский хрущ, и, даже лежа внизу, я понял, что на нас идет другая галера — протаранить нас с левого борта. Я с трудом приподнял голову и увидел через фальшборт, как она несется прямо на нас. Мы хотели встретить ее носом к носу, но замешкались. Успели только вильнуть в сторону, потому что та галера, что была справа, притянула нас к себе крючьями и удерживала на месте. А потом — Боже милостивый, вот это был удар! Все весла по левому борту хрустнули, когда атаковавшая галера врезалась в нас носом. Весла нижнего яруса пробили рукоятками палубную обшивку, одно из них взлетело прямо в воздух и грохнулось возле моей головы.

— Как же это случилось?

— Нос атакующей галеры заталкивал короткие нижние весла обратно в уключины, и я слышал, какой переполох начался на нижних палубах. Потом она врезалась носом нам в борт почти посередке, и мы накрепко закрепились; тогда парни с правой галеры выдернули крючья, отвязали канаты и забросали нашу верхнюю палубу стрелами, кипящей смолой или еще какой-то жгучей дрянью; наш левый борт поднимался все выше и выше над водой, а правый медленно кренился, и, повернув голову, я увидел, что вода неподвижно стоит на уровне правого фальшборта, а потом она всколыхнулась и обрушилась на всех, кто лежал вповалку с правой стороны; тут меня ударило в спину, и я проснулся.

— Одну минуту, Чарли. Вот ты говоришь: вода пошла к фальшборту — как это выглядело?

Я задал свой вопрос не случайно. Мой знакомый однажды тонул в спокойном море, когда судно дало течь, и он заметил, что вода будто застыла, прежде чем хлынула на палубу.

— Полоска воды показалась мне туго натянутой струной банджо, которая находится здесь уже годы и годы, — отозвался Чарли.

Точное совпадение! Мой знакомый сказал: «Вода походила на серебряную проволоку, протянутую вдоль фальшборта; я думал, она никогда не порвется».

И чтобы познать эту мелочь, не стоящую выеденного яйца, он отдал все и едва не расстался с жизнью, а я проделал изнурительный путь в десять тысяч миль, чтоб встретиться с ним и получить эти сведения из вторых рук. Но Чарли, банковский клерк, работающий за двадцать пять шиллингов в неделю, видящий мир лишь сквозь окно лондонского омнибуса, все это знал. Для меня было слабым утешением, что в одном из своих прежних воплощений он заплатил жизнью за эти знания. Я, вероятно, тоже умирал прежде десятки раз, но дверь в прошлое была для меня закрыта, потому что я смог бы ими воспользоваться.

— А что произошло потом? — спросил я, пытаюсь побороть дьявола зависти.

— Самое забавное во всей этой кутерьме было то, что я несколько не удивился и не испугался. Мне казалось, будто я уже побывал во многих схватках, — я так и сказал своему соседу, когда начался бой. Но этот подлец надсмотрщик на моей палубе не освободил нас от цепей, не дал нам возможности спастись. Он всегда, бывало, обещал, что после боя нас освободят, но мы так и не получили свободы, не получили. — Чарли горестно покачал головой.

— Каков негодяй!

— Да, прямо скажем, гад. Он никогда не кормил нас досыта, а порой мы, умирая от жажды, пили морскую воду. Я до сих пор чувствую на губах ее вкус.

— А теперь расскажи что-нибудь о гавани, где шел бой.

— Гавань мне не снилась. Но я помню, что это была гавань, потому что наша галера была прикована цепью к кольцу на белой стене, а лицевая часть каменной

кладки под водой была обшита деревом, чтоб наш таран не расщепился, когда галеру раскачивал прибор.

— Очень любопытно. А наш герой взял на себя командование галерой, не так ли?

— Еще бы! Стоял на носу и кричал, как заправский хозяин. Он-то и убил надсмотрщика.

— Но ведь вы все вместе утонули, Чарли?

— Вот с этим я не вполне разобрался, — сказал он несколько озадаченно. — Галера, должно быть, затонула со всеми гребцами, но все же я думаю, что герой остался жив. Возможно, он перебрался на атаковавшую нас галеру. Я, конечно, этого видеть не мог. Я погиб, как вам известно.

Чарли поежился и положил конец разговору, заявив, что больше ничего не помнит.

Я не принуждал его, но, желая удостовериться, что Чарли не догадывается о проделках собственного сознания, намеренно засадил его за «Переселение души» Мортимера Коллинза¹ и вкратце изложил содержание книги, прежде чем он за нее взялся.

— Ну и чепуха! — заявил он откровенно примерно через час. — Не доходит до меня этот бред про Красную Планету Марс, Короля и прочее. Дайте-ка мне лучше Лонгфелло.

Я протянул ему книгу и записал по памяти его рассказ про морской бой, обращаясь к Чарли время от времени с просьбой уточнить ту или иную деталь или факт. Он отвечал, не отрывая глаз от книги, так уверенно, будто черпал все свои сведения из лежавшего перед ним текста. Я говорил с Чарли, как обычно, не повышая голоса, опасаясь прервать поток его мыслей. Я понимал, что он отвечает мне бессознательно, ибо душой он далеко в море, с Лонгфелло.

— Чарли, — снова начал я, — когда на галере начинался бунт, как гребцы убивали надсмотрщиков?

— Отрывали скамейки от настила и разбивали надсмотрщикам головы. Бунты обычно начинались в шторм. Однажды надсмотрщик с нижней палубы соскользнул с помоста и растянулся среди гребцов. Они, не поднимая шума, задушили его, прижав закованными в кандалы руками к борту галеры; другой же надсмотрщик не видел в темноте, что произошло. А когда он спросил, его стащили с помоста и тоже задушили; потом гребцы с ниж-

¹ Коллинз Мортимер (1827—1885) — английский писатель.

ней палубы пробивались наверх — с палубы на палубу, громыхая обломками скамеек за спиной. Как они вопили!

— Ну, а потом?

— Не знаю. Герой скрылся — тот самый рыжеволосый, рыжебородый парень. Но это, похоже, произошло уже после того, как он захватил нашу галеру.

Звук моего голоса раздражал Чарли, и он сделал едва заметное движение левой рукой, будто досадуя, что его отрывают от чтения.

— Ты никогда раньше не говорил, что герой был рыжий и что он захватил вашу галеру, — заметил я, выдержав благоразумную паузу.

Чарли не отрывал глаз от книги.

— Он был рыжий, как лисица, — произнес он, словно размышляя вслух. — Пришел он с севера — так говорили на галере, когда он нанимал гребцов — не рабов, а свободных людей. Потом, много лет спустя, о нем дошли слухи, с другого корабля, или он сам вернулся... — Губы Чарли молча пошевелились. Он восторженно перечитывал какое-то стихотворение из книги, лежавшей перед ним.

— Где же был герой? — Я говорил почти шепотом, чтобы мой вопрос осторожно достиг той части мозга Чарли, что работала на меня.

— На взморье, на Длинных и Прекрасных Отлогих Берегах, — последовал ответ после минутного молчания.

— На Фурдустранди? — спросил я, дрожа от волнения.

— Да, на Фурдустранди, — ответил он, выговаривая это слово несколько иначе. — И я видел также...

Чарли замолчал.

— Да ты понимаешь, что ты сказал? — вскричал я, позабыв про осторожность.

Чарли поднял на меня глаза, закипая от злости.

— Нет! — отрезал он. — Дайте человеку спокойно почитать! Вот, послушайте!

Но Оттар, старый морской капитан,
Он не из робких был.
Внимавший ему король потом
Долго водил по бумаге пером
И ни слова не упустил.

И властителю саксов
Указал благородный старик

Загубелой темной рукой
На свидетельство правды святой:
«Вот он, моржовый клык»¹.

Видит Бог, вот это были парни! Плыли куда глаза глядят и даже не задумывались, где пристанут. Ух!

— Чарли! — взмолился я. — Если б ты собрался с мыслями на одну-две минуты, герой нашей повести ни в чем не уступал бы Оттару.

— Что вы, эту поэму написал Лонгфелло. У меня пропала охота писать стихи. Теперь я бы только читал да читал.

Нужный настрой пропал, и я, злясь на свою незадачу, отступился от Чарли.

Вообразите себя у двери сокровищницы всего мира, охраняемой ребенком — пустым, взбалмошным ребенком, играющим в кости; от его доброго расположения зависит, получите вы ключ или нет, — и вы хотя бы отчасти поймете мои мучения. До этого вечера Чарли не сказал ничего, что выходило бы за пределы жизненного опыта греческого раба-гребца на галере. Но сегодня он поведал мне — или мне от книг нет никакого толку — о какой-то отчаянной аванюре викингов, о плавании Торфина Карлсефне² в Вайнеленд, Виноградную страну, как называлась Америка в девятом-десятом веке. Чарли был свидетелем битвы в гавани и описал собственную смерть. Новое погружение в прошлое было еще необычнее. Возможно ли, что он прожил с полдюжину жизней и еще смутно помнил какой-то эпизод тысячелетней давности? Такая путаница может свести с ума, но хуже всего то, что в обычном состоянии Чарли Мирз менее всего способен в ней разобраться. Мне оставалось лишь ждать и наблюдать, но в ту ночь я отправился спать, переполненный самыми дикими фантастическими замыслами.

Отныне для меня нет ничего невозможного, если только не подведет капризная память Чарли.

Я могу заново написать «Сагу о Торфине Карлсефне» так, как ее никто еще не написал, могу рассказать об открытии Америки, и первооткрывателем буду я. Но я целиком во власти Чарли, а от него, стоит ему ку-

¹ Г.-У. Лонгфелло. Моряк, открывший Нордкап.

² Торфин Карлсефне — богатый исландский купец, совершивший путешествие в Америку. Исландцы жили в местности, богатой диким виноградом.

пить очередной трехпенсовый томик издания Бона¹, ничего не добьешься. Я не решался бранить его открыто, я едва смел подхлестывать его память, ибо устами современного юноши говорило тысячелетнее прошлое, а на современного юношу способны повлиять и тон вопроса, и даже отголосок чужого мнения, и тогда он солжет, даже если вознамерится говорить правду.

Чарли не приходил ко мне почти неделю. В следующий раз я повстречал его на Грейсчерч-стрит с чековой книжкой, висевшей на цепочке у пояса. Он шел по делам банка через Лондонский мост, и я составил ему компанию. Чарли очень кичился этой книжкой и преувеличивал важность своей миссии. Когда мы пересекали мост через Темзу, наше внимание привлек пароход, с которого стружали плиты белого и коричневого мрамора. Под его кормой проплыла баржа, и одинокая корова на ней замычала. Чарли мгновенно преобразился, на лице банковского клерка проступили незнакомые черты, — Чарли никогда бы в это не поверил, — человека куда более значительного. Он вскинул руку над перилами моста и громко рассмеялся.

— Услышав, как режут наши быки, скрелинги убежали, — сказал он.

Я помолчал с минуту, но баржа с коровой уже скрылась под носом парохода, и тогда я спросил:

— Чарли, как ты думаешь, кто они — скрелинги?

— Никогда о них не слышал. По названию — что-то вроде морских чаек. А вы мастер задавать вопросы, — ответил он. — Я должен повидать кассира из «Омнибус компани», подождите меня, пожалуйста, потом посидим где-нибудь вместе. У меня появился замысел поэмы.

— Нет, спасибо. Я уйду. Ты уверен, что ничего не знаешь о скрелингах?

— Нет, если только они не участвовали в ливерпульских гонках по пересеченной местности. — Чарли кивнул мне и исчез в толпе.

В «Саге об Эрике Рыжем» или в «Саге о Торфине Карлсефне» говорится, что девятьсот лет тому назад галеры Карлсефне подошли к торговым рядам Лейфа — он устроил ярмарку в неведомом краю, названном Маркленд, может, это был Род-Айленд, а может, и не был, —

¹ Бон Генри Джордж (1796—1884) — английский издатель.

так вот, скрелинги, — один Бог знает, что это были за люди, — пришли торговать с викингами и убежали, устранившись рева скота, который Торфин привез сюда на галерах. Но, Боже правый, откуда это было известно греческому рабу? Я бесцельно бродил по улицам, пытаюсь разгадать тайну, но чем больше я ломал над ней голову, тем мудренее она мне казалась. Я уяснил себе одно, — у меня даже дыхание на миг перехватило от этого прозрения, если мне вообще суждено полностью распутать клубок, я узнаю не о единственном воплощении души Чарли Мирза, а о доброй полдюжине — полдюжине совершенно разных судеб людей, бороздивших голубые морские воды на заре человечества.

И тут до меня дошла вся сложность ситуации.

Разумеется, обнародуй я свои сведения, я, одинокий и недосыгаемый, буду возвышаться над людьми, пока они не обретут моей мудрости. Соблазн был велик, но со свойственной человеку неблагодарностью я считал величайшей несправедливостью то, что меня подводит память Чарли, когда она мне больше всего нужна. Силы небесные! — я обратил взор к нему сквозь густую пелену смога, — ведают ли Владыки Жизни и Смерти, как важно для меня написать эту повесть? Вечная слава, о которой только можно мечтать, полученная от Сущего и ни с кем не разделенная! Ни больше и ни меньше. Я бы удовольствовался — памятуя о Клайве¹, я подивился собственной выдержке — лишь правом поведать миру свой рассказ, внести небольшой вклад в современную беллетристику. Если Чарли будет даровано право восстанавить в памяти хотя бы на час — шестьдесят коротких минут — все свои воплощения, занявшие свыше тысячи лет, я поступлюсь всем, что мне дал бы его рассказ. Меня не коснется смятение, которое охватит некий уголок земного шара, именующий себя «миром». Я издам повесть анонимно — нет, я внушу другим людям, что они ее авторы. Они наймут толстокожих самохвалов-англичан, а те протрубят о моей повести на весь свет. Проповедники, опираясь на мое откровение, провозгласят новый моральный кодекс и будут клятвенно заверять всех, что он новый и что они освободили человечество от страха перед смертью. Востоковеды Европы снизой-

¹ Клайв Ричард (1725—1774) — британский генерал-губернатор в Индии. Обвиненный в коррупции, он заявил в парламенте: «Я удивляюсь собственной выдержке».

дут до скрупулезного сопоставления повести с текстами на пали и санскрите. Коварные женщины опошлят мужское миропонимание, чтоб расширить кругозор своих сестер. Церкви и религии схватятся из-за нее в яростных спорах. Я предвидел, что между первым и повторным, дополненным, изданием полдюжины сект, придерживающихся «доктрины истинного метемпсихоза применительно к современному миру и новой эре», поведут между собой словесную войну; я представлял, как солидные английские газеты шарахнутся, как испуганные коровы, от прелестной простоты повести. Воображение заглядывало вперед — на сто, двести, тысячу лет. Я с грустью думал о том, как люди изуродуют, исказят смысл повествования, как соперничающие секты поставят его с ног на голову и как, наконец, западный мир, которому страх перед смертью ближе, чем надежда на будущую жизнь, откажется от моего откровения, сочтет его забавным суеверием и устремится в лоно иной веры, позабытой так давно и основательно, что она покажется им совершенно новой. Исходя из этого, я изменил условия сделки, которую намеревался заключить с Владыками Жизни и Смерти. Да будет мне дозволено узнать и написать повесть с полной уверенностью, что написанное мной — правда, и я сожгу рукопись, торжественно принесу ее в жертву. Через пять минут после того, как появится последняя строчка, я уничтожу всю рукопись. Но я должен писать с абсолютной уверенностью в истинности своего произведения.

Ответа не последовало. Внимание мое привлекли яркие краски афиши «Аквариума», и я задумался, разумно ли слукавить и передать Чарли в руки профессионального гипнотизера, расскажет ли Чарли в гипнотическом состоянии о своих прошлых воплощениях. Если расскажет и люди поверят ему... Но, может статься, Чарли в состоянии транса испугается либо зазнается от бесконечных интервью. В любом случае он солжет — из страха или тщеславия. Самое надежное — держать его в своих руках.

— Они весьма забавные дураки, эти ваши англичане, — слышалось у меня за спиной, и, обернувшись, я узнал случайного знакомого, молодого бенгальца Гириша Чандру, студента-юриста, посланного отцом в Англию приобщаться к цивилизации. Старик был туземным чиновником, ныне пенсионером, и на свои пять фунтов в месяц ухитрился дать сыну содержание в две сотни

фунтов в год, да еще обеспечить ему бесплатное питание в придачу; а сын изображал из себя младшего отпрыска королевского рода и рассказывал о жестоких индийских чиновниках, наживающихся на бедняках.

Гириш Чандра был молодой рослый полнотелый бенгалец, одетый с подчеркнутой тщательностью — сюртук, цилиндр, светлые брюки, желтовато-коричневые перчатки. Но я знал его в те времена, когда жестокое индийское правительство оплачивало его университетское образование, а он поставлял исполненные дешевого пафоса антиправительственные статьи в «Сачи Дурпан» и заводил интрижки с женами своих товарищей по университету.

— Это очень смешно и очень глупо, — произнес он, кивнув на афишу. — Я направляюсь в клуб Норт-брук. Хотите — пойдем вместе.

Некоторое время мы шли молча.

— Вам как-то не по себе, — сказал Гириш Чандра. — Что вас тяготит? Вы все время молчите.

— Гириш Чандра, вы слишком образованный человек, чтобы верить в Бога, не так ли?

— О да — здесь. Но когда я вернусь на родину, мне придется смириться со старыми предрассудками, совершать церемонии очищения, а мои женщины будут умащать идолов.

— И развезят пучки тулси¹, и пригласят пурохита² и вернут вас в касту, и снова сделают доброго кхутри³ из передового, свободомыслящего общественного деятеля. И вот вы уже поглощаете национальные блюда, и все вокруг мило вашему сердцу — от дворовых запахов до горчичного масла, коим вас умащают.

— Да, конечно, что может быть лучше, — охотно согласился Гириш Чандра, — индус всегда останется индусом. Но мне бы хотелось знать, что, по мнению англичан, ведомо им самим?

— Я расскажу вам кое-что, ведомое одному англичанину. Вы-то об этом, конечно, слышаны.

Я начал свой рассказ по-английски, но Гириш Чандра задал вопрос на своем языке, и я, естественно, перешел

¹ Тулси (базилик) — растение, которое индусы считают священным.

² Пурохит — жрец-брахман, совершающий ритуальные обряды.

³ Искаж. «кшатрий» — одна из высших каст (вторая после брахманов) в Индии.

на хиндустан, наиболее подходящий для этой истории язык. В конце концов, такой рассказ и не прозвучал бы по-английски. Гириш Чандра слушал меня, время от времени кивая головой, а потом мы зашли ко мне, где я и закончил свое повествование.

— Бешак, — молвил он невозмутимо. — Лекин дарваз банд хай (тут не может быть двух мнений, но дверь закрыта). В моем народе я часто слышал воспоминания людей о прежних воплощениях. Для нас это, разумеется, привычная история, но чтобы такое открылось кормленному говядиной англичанину, малеху¹, отщепенцу, не имеющему касты! Это, ей-богу, нечто из ряда вон выходящее.

— Сами вы отщепенец, Гириш Чандра. Вы каждый день едите говядину. Давайте-ка все обдумаем хорошенько. Этот парень помнит свои прежние воплощения.

— Знает ли он об этом? — спокойно спросил Гириш Чандра, усевшись на мой стол и болтая ногами.

Он снова перешел на английский.

— Ничего он не знает. Иначе, с какой стати я бы все это вам рассказывал? Продолжайте!

— Какое тут может быть продолжение? Опиши вы этот случай своим друзьям, они скажут, что вы сошли с ума, и напечатают об этом в газетах. А если, положим, вы возбудите дело о клевете...

— Это отпадает полностью. Скажите, можно ли заставить его говорить?

— Да, есть такой шанс. О да-а. Но, только он заговорит, весь этот мир рухнет — *instanto*² — на вашу голову. Такое даром не проходит, сами знаете. Как я уже сказал, дверь закрыта.

— Значит, нет ни малейшей надежды на успех?

— Откуда ей взяться? Вы же христианин, а в ваших книгах сказано, что вам запрещается вкушать плоды Древа Жизни, иначе вы бы и не умирали. Разве вы боялись бы смерти, знай вы то, что знает ваш друг, хоть сам он об этом и не подозревает? Я боюсь получить пинок, но не боюсь умереть, ибо мне дано знание. Вы не бойтесь пинка, но бойтесь умереть. А если б не боялись — бог ты мой! Англичане тотчас разбрелись бы по всему миру, нарушая равновесие власти, сея

¹ Искаж. «млечха» (досл.: варвар, иноверец) — первоначально так назывались неарийские племена, позднее — мусульмане.

² Мгновенно (*лат.*).

повсюду смуту. Ничего хорошего бы из этого не вышло. Но не отчаивайтесь: ваш англичанин будет все реже вспоминать прошлое и назовет свои воспоминания снами. Потом он и вовсе обо всем позабудет. Когда я сдавал экзамены на бакалавра искусств в Калькутте, все это было в дурацкой книжке про Уордсуорта, по которой я натаскивался к экзамену. Красота плывущих облаков, или как там это называется.

— Но рассказанный мной случай, похоже, исключение из правила.

— Не бывает исключений из правила. Иной на вид и податливей других, а узнаешь его поближе — убедись, что все из одного теста. Если ваш друг раз-другой ляпнет что-нибудь такое и людям станет ясно, что он помнит все свои прошлые жизни или хотя бы что-то из своего прошлого рождения, он не продержится в банке и часа. Его, как у вас говорится, вышибут как сумасшедшего и поместят в приют для умалишенных. Вы это сами прекрасно понимаете, друг мой.

— Конечно, понимаю, но речь не о нем. Он не будет упомянут в повести.

— Ага, мне все ясно. Но вам не написать эту повесть. Сами в этом убедитесь.

— И все же я постараюсь это сделать.

— Ради славы и ради денег, конечно?

— Нет, ради самой повести. Слово чести, мне больше ничего не надо.

— Все равно у вас ничего не получится. Нельзя играть с богами. Оставьте все как есть. Как говорится, воздержитесь на дальнейшее... я хотел сказать — от дальнейших действий. И — торопитесь. Его ненадолго хватит.

— Что вы имеете в виду?

— То, что сказал. До сих пор ваш друг еще не думал о женщинах.

— Не думал? — Я вспомнил, как Чарли иногда откровенничал со мной.

— Вернее — ни одна женщина не думала о нем. А когда это случится — всему конец! Это уж я знаю. Здесь миллионы женщин. Взять горничных, к примеру.

Я содрогнулся при мысли, что мою повесть может погубить горничная. И тем не менее это был самый вероятный исход дела.

Гириш Чандра ухмыльнулся.

— А тут еще хорошенькие девушки — кузины свои,

а может, и не свои. Один ответный поцелуй — и память о нем излечит его от всей этой чепухи, или...

— Или — что? Помните, он и сам не подозревает о том, что знает.

— Помню. Так вот, если ничего особенного не произойдет, он увлечется своим делом, финансовыми спекуляциями, как и все вокруг. Так и должно быть. Вы сами понимаете, что так и должно быть. Но сначала у него появится женщина, мне так кажется.

Раздался стук в дверь, и стремительно вошел Чарли. Он закончил свои служебные дела и — я по глазам видел — зашел ко мне для продолжительной беседы, и скорей всего со стихами в кармане. Стихи Чарли наводили на меня тоску, но порой они побуждали его к рассказам о галере.

Гириш Чандра пристально поглядел на него.

— Извините, — Чарли смутился, — я и не знал, что у вас гость.

— Я уже ухожу, — сказал Гириш Чандра.

Он потянул меня за собой в прихожую.

— Это тот человек, о котором вы мне говорили, — быстро произнес он. — Попомните мои слова — он никогда не расскажет все, что вам хочется. И не надейтесь. Но он хорош тем, что может заглянуть в будущее. Давайте притворимся, что это игра. — Я никогда не видел Гириша Чандру в таком возбужденном состоянии. — Нальем чернила ему в пригоршню. А? Что вы на это скажете? Уверяю вас, он способен увидеть все, что доступно человеческому глазу. Позвольте, я принесу чернила и камфару. Он — ясновидящий и расскажет нам очень многое.

— Весьма возможно, но я не намерен верить его вашим богам и дьяволам.

— Вреда ему не будет. Когда он выйдет из транса, он почувствует неловкость и некоторую опустошенность. Вы же видели раньше юношей в состоянии гипнотического транса?

— Вот потому-то я и не хочу глядеть на это снова. Ну а теперь — прощайте, Гириш Чандра.

Он спустился по лестнице, крикнув мне снизу, что я лишил себя единственной возможности заглянуть в будущее.

Его заявление меня ничуть не огорчило: я интересовался прошлым, и никакие юнцы, глядящие в транс в зеркала или в налитые в пригоршню чернила, не

могли мне в этом помочь. Но я с пониманием и сочувствием отнесся к мнению Гириша Чандры.

— Ну и верзила этот черномазый! — воскликнул Чарли, когда я вернулся. — А теперь послушайте: я только что написал поэму, пока все играли в домино после ленча. Можно я ее прочту?

— Дай, я прочту сам.

— Вы не прочтете с нужным выражением. И вообще, когда вы читаете мои вещи, всегда кажется, что рифмы из рук вон плохи.

— Ну тогда читай сам. Все вы одинаковы.

Чарли продекламировал собственное сочинение, и оно было не намного хуже, чем обычно. Он зачитывался купленными книжками, но стоило мне сказать, что я предпочитаю Лонгфелло, не разбавленным Чарли, ему это не понравилось.

Потом мы принялись разбирать его поэму — строчку за строчкой, и на каждое замечание или поправку у Чарли был готов ответ:

— Да, может, так оно и лучше, но вы не понимаете, что я хочу этим сказать.

В одном, по крайней мере, Чарли был схож с некоторыми поэтами.

На обратной стороне листа было что-то нацарапано карандашом.

— Что это? — спросил я.

— О, это не стихи. Так, пустячок, написал прошлой ночью перед сном, мне не хотелось морочить себе голову подбором рифм, вот я и написал белые стихи вместо рифмованных.

Привожу «белые» стихи Чарли:

Мы толкали весла, когда дул встречный ветер
И обвисали паруса.

Неужто ты не дашь нам волю?

Мы жевали хлеб и лук, когда ты брал города
Иль бегом возвращался на борт, потерпев поражение.

Капитаны разгуливали по палубе и пели песни
В ясные дни, а мы томились внизу.

Мы теряли сознание, подбородком уткнувшись в весло,
А ты и не видел, что мы бездельничаем: мы и в

забыты

Раскачивались взад и вперед.

Неужто ты не дашь нам волю?

Рукоятки весел, покрытые солью, шершавы, как кожа

акулы;

От соленой воды наши колени изрезаны трещинами

до кости;

Пряди волос прилипли ко лбу, и губы растрескались
до самых
Десен; а ты бил нас хлыстом, потому что мы не могли грести.
Неужто ты не дашь нам волю?
Но скоро мы сбежим через орудийные порты, как вода
сбегает
По лопасти весла; и, посылая других в погоню за нами,
Ты нас не поймашь, как не поймашь кружево вод,
Как не привяжешь ветер к раздутому чреву паруса. Ио-го-го!
Неужто ты не дашь нам волю?

— Хм... А что такое «кружево вод», Чарли?

— Вода, взбитая нашими веслами. Такую песню, возможно, пели гребцы на нашей галере. А вы когда-нибудь закончите повесть и отдадите мне часть гоноара?

— Все зависит от тебя. Я бы уж давно закончил повесть, если бы ты с самого начала подробней рассказал о герое. Твои описания так расплывчаты, туманны.

— Я дал вам лишь общее представление о герое — как он рыскал по свету, сражался и прочее в этом роде. Неужели вы не можете присочинить остальное? Но, допустим, герой спасает девушку с пиратского корабля, женится на ней или еще как-нибудь себя проявляет.

— Ты поистине очень ценный соавтор. Но я полагаю, герой пережил не одно любовное приключение, прежде чем женился.

— Ну, ладно, тогда изобразите его эдаким ловким негодяем, сущим подонком, а может, политиком-авантюристом; пусть он разъезжает по всему свету, заключает договоры, а потом нарушает их, — словом, сделайте его похожим на того чернявого парня, который спрятался за мачтой, когда начался абордажный бой.

— Но ты на днях сказал, что он был рыжий.

— Не мог я такое сказать. Сделайте его чернявым. У вас нет воображения.

Сообразив, что я открыл главные принципы, по которым работает полувоспоминание, ошибочно именуемое воображением, я едва не расхохотался, но вовремя сдержал себя, памятуя о повести.

— Ты прав, *ты* — человек с воображением. Стало быть, черноволосый парень на палубном судне.

— Нет, на открытом, похожем на большую ладью. С ума сойти!

— Ты сам рассказывал, что галера твоя была многоярусная, с закрытыми палубами, — запротестовал я.

— Нет, нет, тогда речь шла не о ней. Моя галера была открытая или с одной палубой, потому что... а впрочем, вы, ей-Богу, правы. Вы напомнили мне, что герой был рыжий, а раз он был рыжий, значит, и галера была открытая, как ладья, с расписными парусами.

Разумеется, подумал я, теперь он вспомнит, что служил гребцом по крайней мере на двух галерах — на трехъярусной греческой триreme у чернявого «политика» и потом на «морском дьяволе», открытой ладье викингов, ходившей в Маркленд, капитан которой был «рыжий, как лисица». И тут черт меня дернул спросить:

— Чарли, почему это значит, что галера была открытая?

— Понятия не имею. А вы что, смеетесь надо мной?

На какое-то время нужный настрой был утрачен. Я взял записную книжку и сделал вид, что заношу туда какие-то мысли.

— Какое наслаждение работать с парнем, наделенным такой богатой фантазией, — сказал я, нарушая молчание. — Ты замечательно обрисовал характер героя.

— Вы так думаете? — Чарли зарделся от удовольствия. — Я и сам часто говорю себе, что во мне заложено куда больше, чем моя ма... чем люди полагают.

— Тебе чрезвычайно много дано от природы.

— Тогда, с вашего разрешения, я пошлю эссе «Из жизни банковских клерков» в «Мозаику» и получу премию — гинею.

— Это не совсем то, что я разумею, старина; лучше немного подождать с эссе и принальечь на повесть.

— Да ведь мне от нее — никакой выгоды, А вот «Мозаика» напечатает мою фамилию и адрес, если я стану победителем в конкурсе. Ну что вы ухмыляетесь? Обязательно напечатают.

— Знаю. А сейчас поди прогуляйся. Мне надо проглядеть все свои записи к нашей повести.

Итак, этот юный верхогляд, который ушел от меня слегка обиженный моим тоном, насколько ему или мне известно, мог быть членом судовой команды «Арго» и уж наверняка — рабом или соратником Торфина Карлсефне. Именно поэтому его так привлекала премия-гинея. Вспомнив слова Гириша Чандры, я расхохотался. Владыки Жизни и Смерти никогда не позволят Чарли Мирзу сказать всю правду о своих прошлых воплоще-

ниях, и мне придется восполнять пробелы в его повествовании собственными жалкими выдумками, пока Чарли пишет о жизни банковских клерков.

Я собрал и переписал в одну тетрадь все свои заметки, — итог был неутешительный. Я прочитал их снова. В них не оказалось ничего, что невозможно было бы получить из вторых рук, почерпнуть из чужих книжек, кроме, пожалуй, описания боя в гавани. О путешествиях викингов писали и до меня, и не раз, история галерного раба-грека тоже не нова, и хоть я сам напишу и о том и о другом, кто оспорит или подтвердит точность деталей? С таким же успехом я могу писать о событиях, которые произойдут через две тысячи лет. Как и предрекал Гириш Чандра, Владыки Жизни и Смерти оказались коварны. Они не приоткроют завесы тайны над тем, что способно взволновать либо успокоить человеческую душу. Но и убедившись в этом, я не мог забросить рукопись. Восторженный энтузиазм сменяла апатия — не раз, а двадцать раз за последующие несколько недель. Мои настроения менялись, как погода в марте, — то солнце, то налетят облака. Ночью или ясным весенним утром во мне зарождалась уверенность, что я напишу эту повесть и она потрясет людей на всех континентах. В дождливые ветреные вечера я сознавал, что могу, разумеется, ее написать, но мое произведение окажется на поверку дешевой подделкой — «под лак», «под патину» с Уордер-стрит¹. Я по любому поводу поминал недобрым словом Чарли, хоть он вовсе не был виноват. Чарли, судя по всему, азартно включился в гонку за конкурсными премиями; мы виделись все реже и реже, а время шло, земля раскрывалась навстречу весне, набухали почки. Чарли утратил интерес к чтению и разговорам о прочитанном, в голосе его появилась ранее не свойственная ему самоуверенность. У меня почти пропало желание напоминать ему при встрече о галере, он же при каждом удобном случае давал понять, что повесть должна принести деньги.

— Я полагаю, что мне причитается никак не меньше четверти дохода, верно? — спрашивал он с подкупающей откровенностью. — Ведь это я подал вам все идеи, не так ли?

Это сребролюбие было новой чертой в характере Чар-

¹ Уордер-стрит — улица в Лондоне, ранее известная антикварными магазинами.

ли. Оно, вероятно, развилось в Сити, где он перенял и гнусавую манерную медлительность речи у дурно воспитанных клерков.

— Когда закончу повесть, тогда и поговорим. Пока у меня ничего не получается. Не знаю, с какой стороны подступиться что к рыжему, что к черноволосому.

Чарли сидел у камина, глядя на раскаленные уголья.

— Не понимаю, почему это вам так трудно дается. Для меня все ясно как день, — недоумевал он.

Газовый рожок замигал, потом снова загорелся, тихо посвистывая.

— А что, если сначала описать приключения рыжего героя, начиная с того времени, как он приехал на юг, завербовался на галеру, захватил ее и поплыл к Фурдурстранди?

На сей раз у меня хватило ума не прерывать Чарли. Как назло, перо и бумага лежали далеко, и я боялся шевельнуться, чтобы не прервать потока его мыслей. Газ в рожке пытел, поскуливая, а Чарли, понизив голос почти до шепота, рассказывал о плаванье ладьи викингов к Фурдурстранди, о закатах в открытом море, которые он наблюдал — день за днем — под изгибом паруса, когда нос ладьи утыкался в самый центр солнечного диска, опускавшегося в море, ибо, как пояснил Чарли, «мы плыли по солнцу, другого путевода у нас не было». Он поведал мне и о том, как они высадились на каком-то острове и пошли на разведку в лес и убили трех человек, спавших под соснами. Духи убитых, по словам Чарли, преследовали судно — плыли за ним, отфыркиваясь, и тогда команда кинула жребий, и один моряк был выброшен за борт, чтоб умиловать жертвой неведомых разгневанных богов. Потом провиант кончился, и моряки питались водорослями, ноги у них опухали от голода, и их вожак, тот самый, рыжеволосый, убил двух взбунтовавшихся гребцов; после года скитаний в лесах они поплыли на родину, и устойчивый попутный ветер так бережно нес ладью, что они спокойно спали ночами. Все это и многое другое рассказал мне Чарли. Порой он говорил так тихо, что я не улавливал слов, хоть весь обратился в слух. О рыжеволосом вожаке он говорил, как язычник — о своем Боге; это он дарил своей милостью или бесстрастно убивал товарищей Чарли, — он сам решал, что для них благо; это он вел их три дня среди плавучих льдин, на которых спасалось множество диковинных зверей, и звери эти,

как сказал Чарли, «пытались плыть с нами, но мы сбрасывали их на лед рукоятками весел».

Газ потух, сгоревший уголь рассыпался и, легонько потрескивая, догорал внизу, на каминной решетке. Чарли закончил свой рассказ, и я за все время не проронил ни слова.

— Видит Бог, — произнес он наконец, помотав головой, — глядел в огонь, пока голова не закружилась. О чем я говорил?

— О галере.

— А, вспомнил. Мы сошлись на двадцати пяти процентах, так?

— Когда закончу повесть, получишь, сколько пожелаешь.

— Я хотел, чтобы вы подтвердили наш уговор. А мне пора. У меня... У меня свидание.

И Чарли ушел.

Если б не шоры на глазах, я мог бы догадаться, что бессвязное бормотанье над огнем — лебединая песня Чарли Мирза. Но я думал, что это лишь прелюдия к полному откровению. Наконец-то, наконец-то я одурачу Владык Жизни и Смерти!

Когда Чарли зашел ко мне в следующий раз, его ждал восторженный прием. Чарли был взволнован и смущен, но глаза его светились от счастья, а на губах играла улыбка.

— Я написал поэму, — сказал он и тут же добавил: — Это лучшее из всего, что я когда-либо создал. Прочтите. — Он сунул мне в руку лист бумаги и отошел к окну.

Я застонал про себя. Добрых полчаса уйдет на критический разбор, вернее — на похвалы, которые убаглотворили бы Чарли. И у меня были основания стонать, ибо Чарли, отказавшись от своих любимых стофутовых виршей, перешел на более короткий рубленый стих, в котором ощущался определенный напор. Вот они, эти стихи:

Небо ясно, бездонно, упругий ветр
По-над холмами гудит,
Клонит деревья к земле
И поросли кланяться в пояс велит.
Буйствуй! Мятажная кровь во мне,
Созвучна стихиям, бурлит.

Она отныне моя! О Земля!
Я песню тебе принес.
О небо и море! Она — моя!
Ликуй же, старик утес!

Моя! Мать-Земля, я ее покорил,
Веселись, хоть весной отдаешься труду,
Я огромной любовью тебя одарил,
Такой не подарят все нивы в страду.
Если б пахарь счастье сродни моему ощутил,
Прокладывая первую борозду!

— Да, борозда, несомненно, первая, — сказал я с тяжелым предчувствием в сердце, а Чарли усмехнулся в ответ.

Я дочитал до конца:

Облака на закате, в чужом краю
Расскажите, что я — победитель!
Ты, о Солнце, восславь победу мою,
Для любимой я лорд, властитель!

— Ну как? — осведомился он, заглядывая мне через плечо.

Я подумал, что творение его очень далеко от совершенства, а по правде говоря, откровенно бездарно, и в тот же миг Чарли положил на листок со стихами фотографию — фотографию девушки с кудрявой головкой и глупым пухлым ртом.

— Она... она изумительна, вы не находите? — прошептал он, покраснев до кончиков ушей, словно укутавшись розовой тайной первой любви. — Я не знал, я не думал — это как гром среди ясного неба.

— Да, первая любовь всегда как гром среди ясного неба. Ты очень счастлив, Чарли?

— Боже мой, она... она любит меня!

Он опустил на стул, повторяя про себя эти слова. Я смотрел на безусое мальчишечье лицо, узкие, слегка сутулые от работы за конторкой плечи и размышлял: где, когда и как приходила к нему любовь в его прошлых жизнях?

— А что скажет твоя мать? — спросил я с улыбкой.

— Мне в высшей степени безразлично, что она скажет.

Перечень того, что в высшей степени безразлично двадцатилетнему человеку, естественно, велик, но в него никоим образом не следует включать матерей. Я пожурил Чарли, и тогда он описал Ее, — вероятно, так описывал Адам первозданным бессловесным тварям изумительную нежную красоту Евы. В разговоре случайно выяснилось, что Она помогает продавцу в табачной лавке, равнодушна к нарядам и уже раз пять сказала

Чарли, что до него Ее не целовал ни один мужчина.

Чарли говорил и говорил, а я, отделенный от него тысячами, мысленно обращался к началу начал. Теперь я уразумел, почему Владыки Жизни и Смерти так тщательно закрывают дверь за нами, смертными. Делается это для того, чтобы мы не вспоминали о своих первых возлюбленных. Если б не эта предосторожность, мир обезлюдел бы через сотню лет.

— Ну а теперь вернемся к повести про галеру, — предложил я нарочито беззаботным тоном, воспользовавшись паузой в его любовных излияниях.

Чарли глянул на меня так, будто я его ударил.

— Галера? Какая еще галера? Ради всего святого, бросьте ваши шутки, старина. У меня это серьезно! Вы не представляете, насколько это серьезно!

Гириш Чандра оказался прав. Чарли вкусил женскую любовь, а она убивает воспоминания, и лучшая в мире повесть никогда не будет написана.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИМРЕЯ

Двери были раскрыты, преданье гласит,
Когда он из тьмы возник, —
Безмолвный призрак, зловещий дух —
Наследник баронских земель вокруг.
Беззвучный, бессильный, похожий на тень,
Блуждал он по замку и ночь и день.
Было страшно и больно смотреть на него —
Привиденье искало врага своего!

«Барон»

Имрей совершил поступок, не поддающийся пониманию. Совсем еще юный, столь успешно начавший карьеру, он, не посвятив никого в свои намерения, необъяснимо исчез из этого мира — а если быть точным, из маленького индийского городка, где располагался его гарнизон. Еще сегодня он был жив, здоров и весел, вечер провел в клубе, где с большим азартом играл в бильярд. А на завтра пропал, и сколько его ни искали, никаких следов не нашли. Дома его не было, в положенный час он не появился в своем рабочем кабинете, экипаж его стоял в сарае. По этой причине, а также потому, что исчезновение Имрея нарушало, хоть и в ничтожно малой степени, работу индийской Имперской администрации, эта самая администрация остановила на краткий миг отлаженный

ход своей машины и попыталась выяснить, что же с ним стряслось. Прочесали пруды, шарили баграми по дну колодцев, разослали телеграммы по всем железнодорожным станциям и в ближайший порт — он находился на расстоянии тысячи двухсот миль; но ни веревки с баграми, ни телеграфная сеть не помогли обнаружить Имрея. Никто его не видел, никто о нем не слышал, он как сквозь землю провалился. И индийская имперская администрация вернулась к прерванной деятельности, ибо надо было безотлагательно наверстать упущенное, а все, что касается Имрея, окутано тайной, — о таких происшествиях поговорят месяц-другой за обедом в клубе и вскоре забудут, точно исчезнувшие никогда и не жили на свете. Оружие Имрея, его лошадей и экипажи продали тому, кто дал самую высокую цену. Начальник написал его матери письмо — предел абсурда, — в котором сообщал, что ее сын бесследно исчез и что дом, в котором он жил, пустует.

Через три или четыре месяца испепеляющей жары мой друг Стрикленд, который служит в полиции, решил снять этот дом у хозяина-индуса. Случилось это еще до его помолвки с мисс Югал, — этому эпизоду посвящен другой рассказ, — в те времена, когда он с увлечением изучал психологию и характер туземцев. У него у самого характер достаточно своеобразный, многих коробили его манеры и привычки. Повар исправно готовил и завтрак, и обед, и ужин, но ел Стрикленд когда придется. Возьмет что-нибудь с буфета и примется расхаживать по столовой, а это очень вредно. Его личное имущество состояло из шести винтовок, трех дробовиков, пяти седел и коллекции удочек для ловли усача со складными удилищами, еще более длинными и крепкими, чем для ловли лосося. Все это занимало половину дома, в другой размещались Стрикленд и его собака Тьетъен — огромная шотландская борзая, которая съедала в день больше, чем двое мужчин. Она разговаривала со Стриклендом на своем особом языке, и когда, выбегая из дому, обнаруживала, что замышляется деяние, грозящее нарушить покой Ее величества английской королевы и императрицы Индии, она тотчас же возвращалась к хозяину и все ему сообщала. Стрикленд незамедлительно принимал меры, вследствие которых злоумышляющих постигала кара в виде штрафов, заключения в тюрьму и прочих не-

приятностей. Туземцы были убеждены, что Тьетьен — не собака, а прирученный Стриклендом дух, и относились к ней с величайшим почтением, которое было рождено ненавистью и страхом. Для нее в доме отведена особая комната. Там стояла кровать, покрытая одеялом, на полу миска с водой, и если кто-нибудь входил ночью к Стрикленду в спальню, она сбивала непрошеного гостя с ног и лаяла, пока кто-нибудь не придет с лампой. Стрикленд был обязан ей жизнью: когда он служил на границе и разыскивал убийцу-индуса, этот самый убийца явился перед рассветом к Стрикленду с намерением отправить его еще дальше Андаманских островов; он вполз в палатку с кинжалом в зубах, но Тьетьен тут же бросилась на преступника; представители закона доказали его вину и приговорили к повешению. С того дня Тьетьен носит серебряный ошейник и спит на одеяле с вышитой монограммой; одеяло пышное, из лучшей кашмирской шерсти, ибо Тьетьен собака нежная. Ее никакими силами нельзя было разлучить со Стриклендом, и когда у него однажды началась малярия, врачи оказались в крайне затруднительном положении, потому что сама она не умела помочь своему хозяину, а всем другим не позволяла даже приблизиться к нему. Пришлось врачу английской медицинской службы в Индии, Макарату, стукнуть ее по голове прикладом винтовки, только тогда она наконец уразумела, что надо подпустить к хозяину тех, кто даст ему хинин.

Вскоре после того, как Стрикленд обосновался в доме, где раньше жил Имрей, дела привели меня ненадолго в их гарнизон, и поскольку все комнаты в клубе, как и следовало ожидать, были заняты, я поселился у Стрикленда. Дом был очень уютный: восемь комнат, прочная соломенная крыша — такая не протечет в сезон дождей. Вместо потолков натянуто полотно, но с виду — обыкновенный свежевыбеленный потолок. Когда Стрикленд решил снять дом, хозяин все заново покрасил. Если вы не знаете, как индийцы строят дома для англичан, вам и в голову не придет, что над полотном находится темная сужающаяся к коньку трехскатной крыши пещера, где среди балок и стропил гнездятся крысы, летучие мыши, муравьи и прочая нечисть.

Тьетьен встретила меня на веранде таким громким лаем, что я вспомнил звон колоколов на соборе свя-

того Павла, и в знак радости положила мне на плечи лапы. Стрикленд соорудил завтрак, — так он это называл, — и как только мы его съели, уехал на службу. Я остался с Тьетьен и моими собственными мыслями. Летняя жара кончилась, наступил душный сезон дождей. В знойном воздухе не было ни дуновения, струи дождя вонзались в землю точно копыя, отскакивающие брызги как бы затащили ее голубоватой пеленой. В саду, исхлестанные теплыми плетьюми дождя, смиренно никли танжеринны, бамбук, пуансеттия, деревья манго, в живой изгороди из алоэ квакали лягушки. Начало смеркаться, дождь теперь низвергался с неба сплошной стеной, я сидел на веранде, выходящей во двор, слушал, как шумит льющаяся с крыши вода, и не переставая чесался, потому что у меня была потница. Пришла Тьетьен, положила мне морду на колени и загрустила; поэтому, когда подали чай, я принялся кормить ее печеньями и сам тоже остался на веранде, тут было хоть чуть-чуть прохладней. За спиной темнели комнаты. Пахло седлами Стрикленда, ружейным маслом, и у меня не было ни малейшего желания сидеть там. Когда почти стемнело, появился мой собственный слуга, облепленный мокрым муслином, и сказал, что пришел какой-то господин и хочет кого-то видеть. Я поднялся с великой неохотой, — лишь потому, впрочем, что в комнатах было темно, — и пошел в пустую гостиную, велел слуге принести лампу. Не знаю, приходил в дом посетитель или нет, — мне показалось, однако, что у одного из окон мелькнул силуэт, — но когда принесли свет, я увидел только длинные копыя дождя на улице, и в ноздри мне ударил запах впитывающей влагу земли. Я объяснил слуге, что думаю по поводу его умственных способностей, и вернулся на веранду продолжать свой разговор с Тьетьен. Однако она была во дворе под дождем, и мне с большим трудом удалось заманить ее обратно, даже покрытое сахарной глазурью печенье ее не соблазняло. Перед самым обедом вернулся вымокший до нитки Стрикленд и первым долгом спросил:

— Заходил кто-нибудь?

Я рассказал ему, принеся извинения за глупость моего слуги, что он вызвал меня в гостиную, но там никого не оказалось; возможно, забрел какой-то бездельник, хотел побеседовать со Стриклендом, а потом передумал и исчез, хотя имя свое назвал. Стрик-

ленд не задал больше ни одного вопроса и приказал подавать обед, и поскольку это был настоящий обед, сервированный на белой скатерти, мы торжественно сели за стол.

В начале десятого Стрикленд сказал, что хочет спать, я и сам сильно устал. Тьетъен все это время лежала под столом, но когда ее хозяин встал, чтобы идти в спальню, которая примыкала к поистине королевскому покою, отведенному для Тьетъен, собака поднялась, выскользнула на веранду и села там, куда почти не доставал дождь. Если бы из дома на ночь глядя ушла в такой ливень жена, никто бы и внимания не обратил; но ведь Тьетъен — собака и, стало быть, существо куда более высокоорганизованное. Я взглянул на Стрикленда, ожидая, что он возьмет плетку и огреет ее. Но он лишь криво усмехнулся — так усмехается мужчина, рассказав о мучительном разладе в семье.

— Она спит во дворе с тех пор, как я здесь поселился, — объяснил он. — Бог с ней.

Собака была не моя, а Стрикленда, поэтому я промолчал, однако очень остро почувствовал, как он страдает от такого пренебрежения. Тьетъен устроилась под моим окном; гроза с каждым раскатом приближалась, несколько раз гром прогремел над самой крышей, потом она начала удаляться. Когда в небе вспыхивала молния, казалось, это кто-то разбил об него огромное яйцо, только свет был не желтый, а бледно-голубой; глядя в окно сквозь бамбуковые занавеси, я видел, что огромная собака не спит, а стоит на веранде, загривок угрожающе вздыблен, лапы намертво уперлись в пол, — казалось, ее никакой силой не заставишь сдвинуться с места. В короткие мгновенья между раскатами грома я пытался уснуть, но меня не оставляло ощущение, что кто-то отчаянно зовет меня. Кто это был — не знаю, он все пытался крикнуть, назвать мое имя, но с уст срывался лишь хриплый шепот. Наконец гром утих, Тьетъен спустилась в сад и принялась выть на низкую луну. Кто-то пытался открыть мою дверь, расхаживал по всему дому, стоял, тяжело дыша, на веранде, и когда я наконец стал засыпать, мне послышался оглушительный стук и грохот то ли у меня над головой, то ли возле двери.

Я бросился в спальню к Стрикленду и спросил,

не заболел ли он и не звал ли меня. Он лежал на кровати полуодетый, с трубкой в зубах.

— Так я и думал, что вы придете, — сказал он. — Что, я бродил во сне по дому?

Я объяснил, что он громко топал в столовой, в гостиной и еще в двух или трех комнатах; он засмеялся и посоветовал мне идти спать. Я вернулся к себе и проспал до утра, но даже в обрывочных снах меня мучило чувство вины, казалось, что я предаю кого-то, кому-то должен помочь. Не знаю, что именно я должен был сделать, но этот кто-то метался по дому, не переставая шептал, возился с задвижкой, где-то затаивался, снова мелькал, маячил вдаль, укорял меня за то, что я все медлю, и в полусне я слышал, как воеет в саду Тьетьен и как шумит дождь.

Я прожил в этом доме два дня. Утром Стрикленд уходил на службу, и восемь — десять часов я проводил в обществе одной только Тьетьен. Пока было светло, я не испытывал ни малейшего беспокойства, так же, как и Тьетьен; но едва начинало смеркаться, как мы с ней шли на заднюю веранду и устраивались рядом, чтобы было не так тоскливо. Мы были одни в доме, и все равно он полностью принадлежал какому-то существу, с которым мне никак не хотелось встречаться. Я никогда его не видел, но видел, как колышутся в дверных проемах занавески, когда он только что прошел сквозь них; слышал, как скрипят бамбуковые кресла, когда он встает с них и освобожденное от тяжести дерево распрямляется; чувствовал, выходя в столовую за книгой, что кто-то стоит в тени на передней веранде и ждет, чтобы я ушел. В сумерки становилось и того интереснее: Тьетьен глядела горящими глазами в темные комнаты, следя, как там движется что-то невидимое мне, и шерсть ее стояла дыбом. Входить она в дом не входила, но ее внимательные глаза непрерывно двигались, и этого было вполне довольно. Лишь после того, как мой слуга зажигал лампы и в доме становилось светло и уютно, она входила туда вместе со мной, садилась против меня и продолжала наблюдать за действиями невидимки, который что-то делал за моей спиной. В обществе собаки чувствуешь себя куда веселей.

Я объяснил Стрикленду со всей возможной деликатностью, что решил перебраться в клуб. Я бесконечно благодарен ему за гостеприимство, у него прекрасная

коллекция оружия и удочек, но жить в его доме я не могу, тут происходит какая-то чертовщина. Он молча выслушал меня и усмехнулся невесело, однако же без презрения, потому что принадлежит к людям, которые все понимают.

— Останьтесь, — попросил он, — давайте попытаемся понять, что это за чертовщина. Я ведь и сам ее почувствовал, как только поселился в доме. Не уезжайте от меня, подождите немного. Тьетьен оставила меня. Неужто и вы бросите?

Я помогал ему во время довольно странного происшествия, которое случилось, когда один из наших знакомых оскорбил языческого идола, после чего чуть не попал в сумасшедший дом, и сейчас у меня не было ни малейшего желания участвовать в подобных авантюрах. Он без конца попадал в неприятнейшие передраги.

Поэтому я напрямик объявил ему, что чрезвычайно ценю его дружбу, я с удовольствием буду проводить с ним время днем, но спать под его крышей решительно отказываюсь. Мы с ним как раз кончили обедать, и Тьетьен уже ушла на веранду и улеглась там.

— Ну что ж, я вас вполне понимаю, — отозвался Стрикленд, глядя на потолок. — Полюбуйтесь на них!

Между карнизом и натянутой тканью потолка висели хвосты двух коричневых змей. От них на стену падали длинные тени.

— Если вы боитесь змей, тогда конечно... — проговорил Стрикленд.

Я не выношу змей и боюсь их, ведь если вы посмотрите змее в глаза, то вы увидите в них, что ей ведома вся глубина тайны человеческого грехопадения и что она испытывает к нам то же презрение, которым был исполнен Дьявол, когда Господь изгонял Адама из рая. К тому же укусы их часто смертельны, да еще они имеют обыкновение обвиваться вокруг ноги под брючиной.

— Пусть хозяин заново перекроет крышу, — сказал я. — Дайте удочку покрепче, сейчас мы их собьем.

— Они там гнездятся среди балок, — ответил Стрикленд. — Ненавижу, когда на чердаке живут змеи. Сейчас я заберусь туда. Буду сбрасывать этих тварей вниз, а вы стойте здесь со шваброй и убивайте.

Мне чрезвычайно не хотелось ассистировать Стрик-

ленту в этой операции, однако я взял швабру и стал ждать в гостиной, а он принес с веранды садовую лестницу и приставил к стене. Змеиные хвосты свернулись и исчезли. Мы услышали, как по провисшему полотну с сухим шуршанием быстро ползут длинные гады. Стрикленд взял лампу и полез наверх, хоть я и пытался убедить его, как опасно охотиться за живущими на чердаке змеями, когда внизу — полотно, а над головой — соломенная кровля, не говоря уж о том, что, отрывая ткань, он наносит ущерб имуществу хозяина.

— Вздор! — отметл все мои доводы Стрикленд. — Я уверен, они все угнездились у стены возле полотна. Кирпичи холодные, змеи холода не любят, а в комнате тепло, вот они сюда и собираются. — Он схватил рукой край ткани у карниза и дернул. Полотно оторвалось с громким треском, Стрикленд просунул голову в темноту чердака, где переплелись стропила и балки. Я стиснул зубы и поднял швабру, ибо совершенно не представлял, что может свалиться мне на голову.

— Ага, занятно! — проговорил Стрикленд, и его голос громом покатился по чердаку. — Здесь столько места, что можно построить еще несколько комнат, и клянусь жизнью — на чердаке кто-то живет!

— Змея? — спросил я снизу.

— Да нет. Скорее уж буйвол. Дайте мне два самых крепких звена удилица, я его сейчас толкну. Он лежит на стропилах.

Я протянул ему удилица.

— Какое прекрасное обиталище для сов и ползучих тварей! Теперь я понимаю, почему здесь столько змей, — говорил Стрикленд, забираясь все выше на чердак. Я видел по движению его руки, что он толкает кого-то удилицем. — Не знаю, кто ты, но все равно слезай! Осторожно, он падает!

Я увидел, как на полотне почти в самой середине потолка плюхнулось что-то тяжелое, полотно стало провисать все ниже, ниже, прямо к столу с горячей лампой. Я схватил лампу и шагнул к стене. Полотно затрещало, отдираясь от стен, заколыхалось, начало разрываться, и на стол рухнул предмет, на который я отважился взглянуть лишь после того, как Стрикленд ловко спустился по лестнице и встал со мной рядом.

Человек он был немногословный, потому и сейчас ничего не сказал; он только взял угол скатерти и закрыл останки, лежащие на столе.

— Итак, Имрей вернулся, — проговорил он, ставя лампу на буфет. — Вы ведь давно хотели к нам, звали нас, верно?

Под скатертью зашевелилось, выползла, извиваясь, маленькая змейка, и мы тотчас же перебили ей хребет концом удилища. Все это было так тягостно, что приводить здесь вырвавшиеся у меня слова я не решаюсь.

Стрикленд постоял в задумчивости, потом налил себе виски и выпил. То, что лежало под скатертью, больше не проявляло признаков жизни.

— Это действительно Имрей? — спросил я.

Стрикленд откинул скатерть, посмотрел на труп и тотчас же его закрыл.

— Да, Имрей; у него горло перерезано.

— Так вот почему мы слышали по всему дому его шепот, — одновременно вырвалось у нас.

В саду зашлась неистовым лаем Тьетьен. Немного погодя она открыла носом дверь столовой.

Принюхалась и замерла. Оторванное полотно свисало чуть ли не к самому столу, места в столовой не было, приходилось стоять в нескольких шагах от свалившейся с чердака находки. Тьетьен вошла в комнату и села; оскалила зубы, передние лапы напряженно уперлись в пол. Она поглядела на Стрикленда.

— Да, голубушка, скверное это дело, — сказал он. — Кто же забирается на крышу собственного дома, чтоб умереть, да еще предварительно закрепляет за собой полотно к карнизу? Давайте пораскинем мозгами.

— Пойдемте раскидывать мозгами в какую-нибудь другую комнату, — предложил я.

— Превосходная мысль! Погасите лампы. Расположимся у меня.

Я не стал гасить лампы. Я первым пошел в комнату Стрикленда, предоставив ему погрузить столовую в темноту. Он двинулся за мной, мы закурили трубки и стали думать. Стрикленд курил молча. Я нервно затягивался, потому что мне было страшно.

— Да, Имрей вернулся, — проговорил Стрикленд. — Главное разгадать загадку: кто его убил? Молчите, кажется, я догадываюсь. Когда я снимал дом, я

нанял и почти всю прислугу Имрея. Имрей ведь был человек добрый и безобидный?

Я подтвердил, хотя кто предположил бы в нем такие качества, взглянув на труп, закрытый скатертью?

— Если я позову сюда всех слуг, они встанут толпой и будут лгать и изворачиваться, ничего от них не добьешься. Как вы советуете поступить?

— Вызывайте их по одному, — предложил я.

— Первый же немедленно разнесет весть по дому, — возразил Стрикленд. — Нужно изолировать их друг от друга. Как вы думаете, ваш слуга знает что-нибудь о случившемся?

— Насколько я могу судить, это не исключено, однако маловероятно. Ведь он здесь всего три дня, — сказал я. — Так поделитесь же вашей догадкой.

— Она еще окончательно не оформилась. Как мог человек оказаться по ту сторону полотна? Что за нелегкая забросила его туда?

У двери спальни раздался гулкий кашель. Это означало, что лакей Стрикленда Бахадур-хан проснулся и пришел прислуживать ему перед сном.

— Входи, — приказал Стрикленд. — Ночь, кажется, очень теплая?

Огромный, могучего сложения мусульманин в зеленом тюрбане подтвердил, что да, ночь и в самом деле очень теплая, но дождь еще будет, и, если любимый сын судьбы позволит сказать, для страны это величайшее благо.

— Дай-то Бог, — отозвался Стрикленд, стаскивая сапоги. — Знаешь, Бахадур-хан, мне кажется, я всегда слишком много спрашивал с тебя — все то время, что ты находишься у меня в услужении. Когда ты ко мне поступишь?

— Разве Сын Небес не помнит? Ты нанял меня после того, как Имрей-сахиб тайно уехал в Европу, никого не предупредив; и тогда я, ничтожный, удостоился чести стать слугой благородного защитника бедняков.

— А разве Имрей-сахиб уехал в Европу?

— Так говорят те, кто был его слугами.

— Значит, когда он вернется, ты снова поступишь к нему?

— Конечно, сахиб. Он был хороший хозяин, заботился о своих служающих.

— Что верно, то верно. До чего же я устал, но завтра хочу поохотиться на антилоп. Дай мне ту бьющую

без промаха двустволку, с которой я хожу на рогах; она тут в ящике.

Слуга нагнулся, достал из ящика стволы, приклад и цевье и подал Стрикленду, а Стрикленд, громко зевая, собрал ружье. Потом протянул руку к коробке с патронами, взял оттуда заряд с пулей и вложил в затвор своей «экспресс» тридцать шестого калибра.

— Стало быть, Имрей-сахиб уехал в Европу тайно! Это очень странно, Бахадур-хан, как ты считаешь?

— Разве мне проникнуть в помыслы белого человека, о Сын Небес?

— Ты прав, не проникнуть. Но кое-что ты все же узнаешь. Как мне стало известно, Имрей-сахиб вернулся из своих долгих странствий и сейчас лежит в соседней комнате и ждет своего слугу.

— О сахиб, что вы сказали!

Свет лампы скользнул по стволам ружья, которые нацелились в широкую грудь Бахадур-хана.

— Иди взгляни на него! — приказал Стрикленд. — Возьми с собой лампу. Твой господин устал и ждет тебя. Ступай же!

Слуга протянул руки к одной из ламп и двинулся в столовую, Стрикленд за ним, подталкивая его концом ствола. Бахадур-хан посмотрел наверх, в зияющую черноту над сорванной тканью потолка; на извивающуюся возле ног змейку, потом наконец на то, что лежало на столе, закрытое скатертью, и лицо у него стало серое, как пепел.

Стрикленд упорно молчал.

— Ну что, видишь? — наконец спросил он.

— Вижу. Моя жизнь в руках белого человека. Что сделает со мной всемогущий сахиб?

— Повешу, не пройдет и месяца. А ты что думал?

— За то, что я его убил? Нет, сахиб, ты сам сначала рассуди. Мы все, его слуги, пеклись и заботились о нем, а он сглазил моего сына, — совсем был маленький мальчик, всего четыре года. Напустил на него злые чары, и через десять дней он умер от лихорадки, — бедный мой сыночек, свет наших очей!

— Как Имрей-сахиб его сглазил?

— Он сказал: «Какой хороший мальчик», — и погладил его по голове; и после этого мой сын умер. А я — я убил Имрей-сахиба, убил вечером, когда он пришел домой со службы и лег спать. Потом я затащил его на стропила и прикрепил к карнизу полотно. Теперь

Сын Небес знает все. Я — верный раб Сына Небес.

Стрикленд посмотрел на меня, оторвав взгляд от прицела, и спросил:

— Вы подтвердите его рассказ? Он сам признался, что убил.

Горела одна-единственная лампа, и лицо у Бахадур-хана было серое, как зола. Он мгновенно сообразил, что надо оправдаться.

— Я попался, — заговорил он, — но виноват не я, а он. Он сглазил моего сына, а я его убил и спрятал. Проведать о таком могут лишь те, кому служат демоны. — И он с ненавистью сверкнул глазами на Тьетьен, которая с угрожающим видом сидела против него.

— Ты хитро придумал. Только надо было привязать его к стропилам веревкой. А теперь сам будешь болтаться на веревке. Эй, ординарец!

В столовую вошел заспанный полицейский. За ним еще один, причем Тьетьен даже не шелохнулась.

— Отведите его в полицейский участок, — приказал Стрикленд. — Он совершил преступление.

— Значит, меня повесят? — спросил Бахадур-хан, глядя в землю и не пытаясь убежать.

— Да, разве что солнце погаснет в небе и реки потекут вспять! — ответил Стрикленд.

Бахадур-хан сделал большой шаг назад, по его телу пробежала судорога, потом он замер.

— Ведите же его! — приказал Стрикленд.

— Не надо, я сам очень скоро уйду, — проговорил Бахадур-хан. — Глядите! Я уже принадлежу смерти.

Он поднял ногу, и мы увидели, что в мизинец впилась извивающаяся в предсмертных судорогах змейка, которой я перебил хребет.

— Я из рода владеющих землей, — проговорил Бахадур-хан, покачиваясь, но по-прежнему стоя. — Казнь на глазах толпы была бы для меня позором, и потому я выбрал иную смерть. Хочу доложить сахибу, что его сорочки разложены в надлежащем порядке, а в ящике умывальника есть еще один кусок мыла. На моего сына напустили злые чары, и я убил колдуна. За что же вы хотите меня повесить? Моя честь спасена, я... я умираю...

И он действительно очень скоро умер, как умирают укушенные коричневой змеей, и полицейские отнесли его труп и закрытые скатертью останки куда положено. Так было необходимо, чтобы закончить расследование по делу об исчезновении Имрея.

— И это называется девятнадцатый век, — без всякого выражения произнес Стрикленд, укладываясь в постель. — Помните, что он сказал?

— Еще бы мне не помнить, — ответил я. — Имрей совершил ошибку.

— Лишь потому, что не понимал психологию восточного человека и не соотносил свое поведение со вспышками осенних и весенних лихорадок. Бахадур-хан прослужил у него четыре года.

Я содрогнулся. Именно столько прожил у меня мой собственный слуга. Когда я пришел к себе в комнату, он ждал меня, чтобы снять сапоги, непроницаемый, как изображение королевского профиля на медном пенсе.

— Что стряслось с Бахадур-ханом? — спросил я.

— Его укусила змея, и он умер. Остальное сахибу известно, — услышал я в ответ.

— А сам-то ты хоть что-нибудь знал?

— Не больше, чем может сказать Тот, кто является в темноте, гонимый желанием мести. Позвольте, сахиб. Я сниму с вас сапоги.

Я в полном изнеможении повалился на постель и стал засыпать, но тут с другого конца дома донесся голос Стрикленда:

— Тьетъен вернулась в свою комнату!

Она и вправду вернулась. Огромная борзая царственно возлежала на своей кровати, застеленной роскошным одеялом, а рядом, в столовой, слабо колыхалось под пустым чердаком свисавшее чуть не к самому полу оторванное от стен полотно.

МОТИ-ГАДЖ, МЯТЕЖНИК

Жил-был некогда в Индии один плантатор, решивший расчистить участок леса под кофейные плантации. Когда он срубил все деревья и выжег подлесок, остались еще пни. Динамит дорог, медленный огонь действует медленно. Лучшее орудие для корчевания пней — владыка всех зверей слон. Он либо выкапывает пень из земли своими бивнями, если сохранил их, либо вытаскивает его при помощи канатов. Итак, плантатор стал нанимать слонов поодиночке, по два, по три и приступил к работе. Лучший из слонов принадлежал худшему из махаутов, и звали это великолепное животное Моти-Гадж. Он был неотъемлемой собственностью своего махаута, что было

бы немислимо при туземном самоуправлении, ибо Моти-Гадж был животным, достойным царей, а имя его в переводе значит «слон-перл». Но страной управляла Британия, и махает Диса невозбранно владел своей собственностью. Это был беспутный малый. Заработав много денег с помощью своего слона, он вдребезги напивался и бил Моти-Гаджа шестом от палатки по чувствительным ногтям передних ног. Моти-Гадж тогда не затапывал Дису до смерти лишь потому, что знал: после побоев Диса будет обнимать его хобот, плакать и называть его своей любовью, и своей жизнью, и печенью своей души и напоит его каким-нибудь крепким напитком. Моти-Гадж очень любил спиртные напитки, особенно арак, но охотно пил и пальмовое вино, если ничего лучшего не предлагали. Потом Диса ложился спать между передними ногами Моти-Гаджа, обычно располагаясь поперек большой дороги, а Моти-Гадж сторожил его, не пропуская ни конных, ни пеших, ни повозок, поэтому все движение останавливалось, и пробка не рассасывалась, пока Диса не соблаговольал проснуться.

Днем на плантаторской вырубке спать не приходилось: нельзя было рисковать большим жалованьем. Диса сидел на шее Моти-Гаджа и отдавал ему приказания, а Моти-Гадж выкорчевывал пни — ибо он владел парой великолепных бивней, или тянул канаты — ибо у него была пара великолепных плеч, а Диса хлопал его по голове за ушами и называл царем слонов. Вечером Моти-Гадж запивал свои триста фунтов свежей зелени четвертой арака, а Диса тоже получал свою долю и пел песни, сидя между ногами Моти-Гаджа, пока не наступало время ложиться спать. Раз в неделю Диса уводил Моти-Гаджа вниз, на реку, и Моти-Гадж блаженно лежал на боку в мелком месте, а Диса прохаживался по нему с кокосовой шваброй и кирпичом в руках. Моти-Гадж прекрасно отличал тяжелый удар второго от шлепка первой, возвещавшего, что нужно встать и перевалиться на другой бок. Потом Диса осматривал его ноги и глаза и отвергивал края его огромных ушей, ища, нет ли где язв и не началось ли воспаление глаз. После осмотра оба «с песней вставали из моря», и Моти-Гадж, черный и блестящий, обмахивался сорванной с дерева двенадцатифутовой веткой, которую держал хоботом, а Диса закручивал узлом свои длинные мокрые волосы.

Мирная, выгодная работа продолжалась, пока Ди-

са вновь не ощутил потребности напиться вдребезги. Он жаждал настоящей оргии. Скучные, тихие выпивки только расслабляли его.

Он подошел к плантатору и сказал, рыдая:

— Моя мать умерла.

— Она умерла на прежней плантации, два месяца назад, а еще раньше умерла, когда ты работал у меня в прошлом году, — сказал плантатор, неплохо знакомый с нравами местного населения.

— Значит, это моя тетка, она была мне все равно что мать, — еще горше заплакал Диса. — Она оставила восемнадцать человек малолетних детей без хлеба, и я обязан наполнить их животики, — продолжал Диса, стучаясь головой об пол.

— Кто тебе сообщил об этом? — спросил плантатор.

— Почта, — ответил Диса.

— Почты не было уже целую неделю. Ступай обратно на свой участок!

— На деревню мою напала опустошительная хворь, и все жены мои умирают! — завопил Диса, теперь уже искренне заливаясь слезами.

— Кликните Чихана — он из той же деревни, что и Диса, — приказал плантатор. — Чихан, есть у этого человека жена?

— У него?! — воскликнул Чихан. — Нет. Ни одна женщина из нашей деревни на него и не взглянет. Они скорей выйдут замуж за слона.

Чихан фыркнул. Диса плакал навзрыд.

— Еще минута, и тебе плохо придется, — сказал плантатор. — Ступай на работу.

— Ну, теперь я скажу всю истинную правду, — вдохновенно всхлипнул Диса. — Я уже два месяца не напивался. Я хочу уйти, чтобы выпить как следует вдали от этой райской плантации. Так я не причину никакой неприятности.

По лицу плантатора пробежала улыбка.

— Диса, — начал он, — ты сказал правду, и я сейчас же отпустил бы тебя, если бы можно было справиться с Моти-Гаджем в твое отсутствие. Но ты знаешь, что он слушается только тебя.

— Да живет Сияние Небес сорок тысяч лет! Я уйду только на десять коротеньких деньков. А потом, клянусь моей верой, и честью, и душой, я вернусь. Ну а насчет того, что делать, пока я совсем недолго буду в отлучке, то

не соизволит ли Небеснорожденный милостиво разрешить мне позвать сюда Моти-Гаджа?

Разрешение было дано, и в ответ на пронзительный крик Диса величественный бивенносец выплыл из тени рощицы, где он обсыпал себя струей пыли в ожидании хозяина.

— Свет моего сердца, покровитель пьяниц, гора мощи, приклони ухо, — произнес Диса, становясь перед слоном.

Моти-Гадж приклонил ухо и в знак приветствия помахал хоботом.

— Я ухожу, — промолвил Диса.

Глаза Моти-Гаджа блеснули. Он не меньше хозяина любил прогулки. Ведь гуляя можно срывать с обочин всякие лакомства.

— Но ты, настырная старая свинья, ты останешься здесь и будешь работать.

Блеск глаз потух, хотя Моти-Гадж и старался казаться довольным. Он терпеть не мог таскать пни на плантации. От этого у него болели зубы.

— Я уйду на десять дней, о сладостный! Подними вот эту переднюю ногу, и я вдолблю тебе на ней мой приказ, бородавчатая жаба из высохшей грязной лужи.

Диса схватил шест от палатки и десять раз ударил Моти-Гаджа по ногтям. Моти-Гадж, ворча, переступал с ноги на ногу.

— Десять дней, — продолжал Диса, — ты должен будешь работать, таскать и вырывать с корнем деревья, как прикажет тебе вот этот человек, Чихан. Возьми Чихана и посади его себе на шею!

Моти-Гадж подвернул конец хобота, Чихан поставил на него ногу и взлетел на шею слона. Диса передал Чихану тяжелый анкуш — железную палку, которой погоняют слонов.

Чихан стукнул Моти-Гаджа по лысой голове, как мостильщик бьет по булыжнику.

Моти-Гадж затрубил.

— Тише, кабан из дремучего леса! Чихан будет десять дней твоим махаутом. А теперь попрощайся со мной, зверь моего сердца. О мой владыка, царь мой! Драгоценнейший из всех сотворенных слонов, лилия стада, береги свое почтенное здоровье, будь добродетелен! Прощай!

Моти-Гадж обвил хоботом Дису и дважды поднял его на воздух. Так он всегда прощался с хозяином.

— Он теперь будет работать, — уверял Диса плантатора. — Можно мне уйти?

Плантатор кивнул, и Диса нырнул в чашу леса. Моти-Гадж опять принялся вытаскивать пни.

Чихан обращался с ним очень хорошо, но, несмотря на это, слон чувствовал себя несчастным и одиноким. Чихан кормил его катышками из пряностей, после работы ребенок Чихана ласкался к нему, а Чиханова жена называла его милашкой, но Моти-Гадж, как и Диса, был убежденный холостяк. Он не понимал семейных чувств. Ему хотелось вернуть свет своей жизни — хмель, и хмельной сон, и дикие побои, и дикие ласки.

Тем не менее он, к удивлению плантатора, хорошо работал. А Диса — тот бродил по дорогам, пока не наткнулся на свадебную процессию членов своей касты, и тут он, пьянствуя, танцуя и кутя, понесся вслед за нею, потеряв всякое представление о времени.

Настал рассвет одиннадцатого дня, но Диса не вернулся. Моти-Гаджа отвязали, чтобы вести его на работу. Слон отряхнулся, огляделся, пожал плечами и пошел прочь, словно у него было дело в другом месте.

— Хай! Хо! Ступай назад, ты! — кричал ему вслед Чихан. — Ступай назад, недоношенная гора, и подними меня на свою шею. Вернись, о великолепие гор. Краса всей Индии, подними меня, не то я отобью тебе все пальцы на твоей толстой передней ноге!

Моти-Гадж мягко заворковал, но не послушался. Чихан помчался за ним с веревкой и поймал его. Моти-Гадж насторожил уши, а Чихан знал, что это значит, хоть и пытался еще настоять на своем при помощи ругательств.

— Не дури у меня! — кричал он. — Назад в загон, сын дьявола!

— Хррамп! — произнес Моти-Гадж и этим ограничился, если не считать настороженных ушей.

Приняв небрежный вид и жуя ветку, служившую ему зубочисткой, Моти-Гадж стал слоняться по вырубке, насмехаясь над другими слонами, которые только что принялись за работу.

Чихан доложил о положении дел плантатору; тот вышел из дома с собачьей плеткой и в ярости защелкал ею. Моти-Гадж оказал белому человеку честь прогнать его чуть не четверть мили по вырубке и своими «хррампами» загнал его на веранду его дома. Затем он стал

около этого дома и стоял там, смеясь про себя и, как все слоны, трясясь всем телом от смеха.

— Мы его выдерем, — решил плантатор. — Высечем так, как не секли еще ни одного слона. Дайте Кала-Нагу и Назиму по двенадцатифутовой цепи и велите им отвесить ему по двадцати ударов.

Кала-Наг — что значит «Черный змей» — и Назим были самыми крупными слонами на всем участке, и выполнение жестоких наказаний было их обязанностью, ибо ни один человек не может как следует побить слона.

Они взяли хоботами предназначенные для порки цепи и, гремя ими, двинулись к Моти-Гаджу, намереваясь стиснуть его с обеих сторон. Моти-Гаджа не секли ни разу за всю его тридцатидевятилетнюю жизнь, и он не желал приобретать новый опыт. Поэтому он стоял и ждал, покачивая головой справа налево и целясь на то самое место в жирном боку Кала-Нага, куда тупой бивень мог проникнуть глубже всего. У Кала-Нага не было бивней, знаком его власти служила цепь; но в последнюю минуту он счел за лучшее отойти подальше от Моти-Гаджа и притвориться, будто он принес цепь только ради потехи. Назим повернулся и быстро ушел домой. В это утро он не был расположен драться, так что Моти-Гадж остался в одиночестве и стоял, насторожив уши.

Это заставило плантатора отступить, а Моти-Гадж пошел прогуляться по вырубке. Когда слон не хочет работать и не привязан, с ним приблизительно так же легко справиться, как с корабельной пушкой весом в восемьдесят одну тонну, оторвавшейся во время сильной морской качки. Он хлопал старых приятелей по спине и спрашивал их, легко ли выдергиваются пни, нес всякую чепуху о работе и неотъемлемом праве слонов на долгий полуденный отдых и, бродя взад и вперед, успел перемотать все стадо еще до заката, а тогда вернулся в свой загон на кормежку.

— Не хочешь работать — не будешь есть, — сердито отрезал Чихан. — Ты дикий слон, а вовсе не благовоспитанное животное. Ступай в свои джунгли.

Крошечный смуглый ребенок Чихана, перекатываясь по полу хижины, протянул пухлые ручонки к огромной тени в дверях. Моти-Гадж отлично знал, что Чихану это существо дороже всего на свете. Он вытянул вперед свой хобот с соблазнительно закрученным концом, и смуглый ребенок с криком бросился к нему. Моти-Гадж быстро

обнял его хоботом, поднял вверх, и вот смуглый младенец уже ликовал в воздухе, на двенадцать футов выше головы своего отца.

— Великий владыка! — взмолился Чихан. — Самые лучшие мучные лепешки, числом двенадцать, по два фута в поперечнике и вымоченные в роме, будут твоими сию минуту, а кроме того, получишь двести фунтов свежесрезанного молодого сахарного тростника. Соизволь только благополучно опустить вниз этого ничтожного мальчишку, который для меня — как сердце мое и жизнь моя.

Моти-Гадж удобно устроил смуглого младенца между своими передними ногами, способными растоптать и превратить в зубочистки всю Чиханову хижину, и стал ждать пищи. Он съел ее, а смуглый ребенок уполз. Потом Моти-Гадж дремал, думая о Дисе. Одно из многих таинственных свойств слона заключается в том, что огромному его телу нужно меньше сна, чем любому другому живому существу. Ему довольно четырех или пяти часов сна за ночь: два часа перед полночью он лежит на одном богу, два после часу ночи — на другом. Прочие часы безмолвия он заполняет едой, возней и долгими ворчливыми монологами.

Поэтому в полночь Моти-Гадж вышел из своего загона, ибо ему пришло в голову, что Диса лежит пьяный где-нибудь в темном лесу и некому присмотреть за ним. И вот он всю эту ночь напролет шлялся по зарослям, пыхтя, трубя и тряся ушами. Он спустился к реке и затрубил над отмелями, где Диса обычно купал его, но ответа не было. Дису он найти не смог, но зато переполошил всех слонов на участке и чуть не до смерти напугал каких-то цыган в лесу.

На рассвете Диса вернулся на плантацию. Он по пьянствовал всласть и теперь ждал, что ему влетит за просрочку отпуска. Но, увидев, что и хозяйский дом, и вся плантация целы и невредимы, он облегченно вздохнул (ведь он кое-что знал о характере Моти-Гаджа) и пошел доложить о себе, а докладывая, сопровождал свою речь многочисленными поклонами и безудержным враньем. Моти-Гадж ушел завтракать в свой загон. Он проголодался после ночной прогулки.

— Позови своего зверя, — приказал плантатор, и Диса что-то выкрикнул на том таинственном слоновьем языке, который, как верят некоторые махауты, возник в Китае и распространился здесь еще в те времена,

когда рождался мир и когда слоны, а не люди были господами. Моти-Гадж услышал его и пришел. Слоны не скачут галопом. Они передвигаются с места на место с различной скоростью. Если слон захочет догнать курьерский поезд, он не помчится галопом, но поезд он догонит. Итак, Моти-Гадж очутился у дверей плантатора чуть ли не раньше, чем Чихан заметил, что он ушел из загона. Тут слон упал в объятия Дисы, трубя от радости, и оба они — человек и животное — расплакались и принялись лизать и ощупывать друг друга с головы до пят, чтобы убедиться, что ничего худого с ними не случилось.

— Теперь мы пойдем на работу, — сказал Диса. — Подними меня, сын мой, радость моя.

Моти-Гадж вскинул его себе на шею, и оба они пошли на кофейную вырубку за трудными пнями.

Плантатор был до того изумлен, что даже не очень сердился.

СТРОИТЕЛИ МОСТА

Самое меньшее, чего ожидал Финдлейсон, служивший в департаменте общественных работ, — это получения ордена Индийской империи, но мечтал он об ордене Звезды Индии, друзья же говорили ему, что он заслуживает большего. Три года подряд страдал он от зноя и холода, от разочарований, лишений, опасностей и болезней, неся бремя ответственности, непосильной для плеч одного человека, и в течение этого времени мост через Гангу, близ Каши¹, рос день за днем под его попечением. Теперь, меньше чем через три месяца, если все пойдет гладко, его светлость вице-король Индии совершит торжественную церемонию принятия моста, архиепископ благословит его, первый поезд с солдатами пройдет по нему и будут произноситься речи.

Главный инженер Финдлейсон сидел в своей дрезине на узкоколейке, которая шла вдоль одной из главных дамб — огромных, облицованных камнем насыпей, тянувшихся на три мили к северу и югу по обоим берегам реки, — и уже позволял себе думать об окончании стройки. Его создание, включая подходы к нему, бы-

¹ Каши (Каси) — священный город Бенарес (Варанаси).

ло длиной в одну милю три четверти, это был решетчатый мост с фермами «системы Финдлейсона», и стоял он на двадцати семи кирпичных быках. Каждый из этих быков, облицованных красным агрским камнем, имел двадцать четыре фута в поперечнике, и основание его было заложено на глубине восьмидесяти футов в зыбучие пески дна Ганги. По фермам проходило железнодорожное полотно шириной в пятнадцать футов, а над ним был устроен проезд для гужевого транспорта в восемнадцать футов ширины, с тротуарами для пешеходов. На обоих концах моста возвышалось по башне из красного кирпича, с бойницами для ружей и отверстиями для пушек, а покатый подъездной путь подходил к самым их подножиям. Неоконченные земляные насыпи кишели сотнями осликов, карабкающихся вверх из зияющего карьера с мешками, набитыми землей, а знойный слеполуденный воздух был полон шумов — топотали копыта, стучали палки погонщиков и, скатываясь вниз, шуршала мокрая земля. Уровень воды в реке был очень низок, и на ослепительно-белом песке между тремя центральными быками стояли приземистые подмости из шпал, набитые глиной внутри и обмазанные ею снаружи, — на них опирались фермы, клепка которых еще не была закончена. На небольшом участке, где, несмотря на засуху, все еще было глубоко, подъемный кран двигался взад и вперед, ставя на место железные части, пыхтя, пятась и урча, как урчит слон на дровяном складе. Сотни клепальщиков рассыпались по боковым решеткам и железным перекрытиям железнодорожного пути, висели на невидимых подмостках под фермами, облепляли быки и сидели верхом на кронштейнах тротуаров, а огни их горнов и брызги пламени, взлетавшие после каждого удара молотом, казались бледно-желтыми при ярком солнечном свете. На восток, на запад, на север, на юг, вверх и вниз по дамбам, лязгая и стуча, шли паровозы, а позади них гремели платформы, груженные бурым и белым камнем, и когда боковые стенки платформ откидывались, новые тысячи тонн камней с ревом и грохотом валились вниз, чтобы удерживать реку в надлежащих границах.

Главный инженер Финдлейсон, стоя на дрезине, обернулся и окинул взглядом местность, характер которой он изменил на целых семь миль в окружности. Он посмотрел назад, на шумный поселок, где жили пять тысяч рабочих; посмотрел на перспективу дамб и песков

вверх и вниз по течению; потом — через реку на дальние быки, уменьшающиеся в дымке; потом — вверх на сторожевые башни (он один знал, какие они прочные), — и со вздохом удовлетворения понял, что работа его сделана хорошо. Залитый солнечным светом, стоял перед ним его мост, на котором требовали еще нескольких недель работы только фермы, лежащие на трех средних быках, — его мост, грубый и некрасивый, как первоуродный грех, но пакка — долговечный, обещающий пережить то время, когда самая память о его строителе и даже о великолепных фермах «системы Финдлейсона» исчезнет. В сущности, дело было уже почти сделано.

Подъехал его помощник Хитчкок, скакавший по линии на маленьком длиннохвостом кабульском пони, способном благодаря длительной практике благополучно пробежать по перекладине, и кивнул своему начальнику.

— Почти кончено, — произнес он с улыбкой.

— Я как раз об этом думал, — ответил начальник. — Неплохая работа для двух человек, а?

— Для полутора. Господи, каким я был щенком, когда приехал на стройку из Куперс-Хилла!¹

Хитчкок чувствовал себя очень постаревшим — разнообразие испытания, пережитые в течение трех последних лет, научили его пользоваться властью и нести ответственность.

— Вы и вправду были тогда вроде жеребенка, — сказал Финдлейсон. — Интересно, как вам понравится возвращение к кабинетной работе, когда стройка кончится.

— Мне это будет противно! — промолвил молодой человек и, взглянув в ту сторону, куда смотрел Финдлейсон, пробормотал: — А ведь хорош до черта!

«Я думаю, мы и дальше будем работать вместе, — сказал себе Финдлейсон. — Он такой хороший малый, что нельзя мне его потерять, отдав кому-нибудь другому. Был щенком, стал помощником. Личным помощником, и, если это дело принесет мне славу, ты попадешь в Симлу!»

В самом деле, все бремя работы пало на Финдлейсона и его помощника, молодого человека, которого главный инженер выбрал за его неспособность устраивать свои собственные дела. Было у них с полсотни масте-

¹ Куперс-Хилл — колледж в Англии. Готовил гражданских инженеров для службы в колониях.

ров — монтажников и клепальщиков, европейцев, взятых из железнодорожных мастерских, да еще человек двадцать подчиненных им белых и метисов, обязанных «под руководством начальства» управлять толпами рабочих, но никто лучше этих двух людей, доверявших друг другу, не знал, как мало можно было доверять подчиненным. Много раз подвергались они испытаниям во время внезапных катастроф, когда рвались цепные заграждения, лопались канаты, портились краны и бушевала река, но никакое напряжение сил не выдвинуло из их среды ни одного человека, которого Финдлейсон и Хитчкок почтили бы признанием, что работал он так же безусловно, как работали они сами. Финдлейсон вспомнил все с самого начала: как многомесячная проектная работа была уничтожена одним ударом, когда индийское правительство, видимо, считавшее, что мосты вырезаются из бумаги, в последний момент приказало расширить мост на два фута и этим свело на нет не менее полуакра расчетов, и как тогда Хитчкок, еще не привыкший к разочарованиям, закрыл лицо руками и разрыдался; вспомнил мучительную волокиту с заключением контрактов в Англии; вспомнил никчемную переписку, намекавшую на получение крупных комиссионных в случае, если одна — только одна — сомнительная поставка пройдет; вспомнил войну, вспыхнувшую в результате отказа, и осторожную, вежливую обструкцию противной стороны, тянувшуюся после этой войны вплоть до того, как юный Хитчкок, соединив один месячный отпуск с другим и вдобавок отпросившись на десять дней у Финдлейсона, истратил свои скопленные за год жалкие, скудные сбережения на стремительную поездку в Лондон, и там, по его собственным словам, подтвердившись впоследствии при новых поставках, нагнал страха божьего на лицо столь высокое, что оно боялось одного лишь парламента и хвасталось этим, пока Хитчкок не вступил с ним в бой за его же обеденным столом, после чего лицо это стало бояться моста у Каши и всех, кто говорил в его пользу. Потом в рабочий поселок ночью прокралась холера, а после холеры вспыхнула эпидемия оспы. Лихорадка — та никогда его не покидала. Хитчкока назначили судьей третьего класса с правом применять телесное наказание в видах наилучшего управления поселком, и Финдлейсон знал, как умеренно пользовался он своей властью, учась разбираться в том, на что следует смотреть сквозь пальцы

и чего не упускать из виду. Воспоминания эти тянулись долго, очень долго, и чего только в них не было: бури, внезапные паводки, смерти всякого рода и вида; яростный и страшный гнев на бюрократов, способных свести с ума человека, знающего, что ум его обязан сосредоточиться на других заботах; засухи, санитарные мероприятия, финансы; рождения, свадьбы, похороны и волнения в поселке, где теснилось двадцать враждующих между собой каст; споры, упреки, увещания и то беспредельное отчаяние, с которым ложишься спать, довольный уж тем, что ружье твое лежит в футляре, разобранный на части. А за всем этим вставал черный остов моста у Каши — плита за плитой, ферма за фермой, пролет за пролетом, — и каждый бык вызывал в памяти Хитчкока, мастера на все руки, человека, который с начала и до конца помогал своему начальнику, ни разу не погрешив.

Итак, мост был создан двумя людьми, если исключить Перу, а Перу, конечно, включал себя в число создателей. Он был ласкар¹, иначе говоря — кхарва², уроженец Балсара, хорошо знакомый со всеми гаванями между Рокхемптоном и Лондоном, и достиг звания серанга³ на кораблях Британской Индии, но корабельная рутина и необходимость одеваться чисто надоели ему, и он, бросив службу, ушел на сушу, где люди его квалификации были обеспечены работой. За свое умение обращаться с таями и знание методов поднятия тяжестей Перу стоил любой платы, какую он сам ни попросил бы за свои труды, но жалованье надсмотрщиков установлено обычаем, так что Перу получал лишь небольшую долю той суммы, которую заслуживал. Ни бурно текущая вода, ни большие высоты не пугали его, и, как бывший серанг, он умел властвовать. Как бы ни была громоздка железная часть, как бы неудобно она ни лежала, Перу всегда ухитрялся ее поднять, придумав для этого систему блоков — растрепанное, расхлябанное приспособление, сооруженное под аккомпанемент обильной ругани, но вполне пригодное для данной работы. Это Перу спас от гибели ферму на быке номер семь, когда новый проволочный трос заело в блоке крана и огромная плита закачалась на канатах, грозя

¹ Ласкар — матрос.

² Кхарва — матрос.

³ Серанг — боцман.

соскользнуть в сторону. Тогда туземные рабочие потеряли голову и подняли громкий крик, а Хитчкоку перебило правую руку упавшей тавровой балкой, но он спрятал руку в пальто, упал в обморок, пришел в себя и целых четыре часа руководил работой, пока Перу не доложил с верхушки крана, что «все в порядке», и плита не стала на место. Никто лучше серанга Перу не умел связывать, закреплять и натягивать канаты, следить за работой лебедок, ловко вытащить из карьера свалившийся туда локомотив, а в случае нужды раздеться и нырнуть в воду, чтобы проверить, как выдерживают бетонные блоки вокруг быков стремительный напор Матери Ганги, или отважиться плыть вверх по течению ночью, когда дует муссон, чтобы потом доложить, в каком состоянии находится облицовка насыпей. Он, не робея, прерывал «военные советы» Финдлейсона и Хитчкока, изъясняясь на диковинном английском языке или еще более диковинной полупортугальской-полумалайской лингва-франка, пока его словарные запасы не истощались, а тогда он волей-неволей брал веревку и наглядно показывал на ней, какие узлы он посоветовал бы сделать. Он управлял партией рабочих-подъемщиков — каких-то своих таинственных родственников из Кач-Мандви, месяц за месяцем приходивших наниматься на стройку и подвергавшихся величайшим испытаниям. Никакие семейные или родственные узы не могли заставить Перу принять на работу людей слабых или подверженных головокружению.

— Честь моста — моя честь, — говорил он увольняемым. — Что мне до вашей чести? Наймитесь на пароход. Ни на что больше вы не годны.

В поселке, где он жил со своей партией рабочих, несколько хижин сгрудились вокруг ветхого жилища морского жреца — человека, который никогда не плавал по Черной Воде, но был избран духовником двумя поколениями морских бродяг, совершенно не испорченных портовыми миссиями или теми верованиями, которые навязываются морякам религиозными агентствами, рассыпанными по берегам Темзы. Жрецу ласкаров не было никакого дела до их касты и вообще до чего бы то ни было. Он съедал жертвы, приносимые в его храм, спал, курил и опять спал. «Ведь он очень благочестивый человек, — объяснял Перу, протащивший его с собой за тысячу миль в глубь страны. — Он не обращает внимания на то, что ты ешь, если только ты не ешь

говядины, и это хорошо, ибо на суше мы, кхарвы, поклоняемся Шиве, но на море, на кораблях компании, мы беспрекословно выполняем приказы барамаламы¹, а здесь, на мосту, мы подчиняемся Финлинсону-сахибу».

В этот день «Финлинсон-сахиб» приказал снять леса со сторожевой башни правого берега, и Перу вместе с товарищами снимал и спускал вниз бамбуковые шесты и доски так же быстро, как, бывало, разгружал каботажное судно.

Сидя в дрезине, Финдлейсон слышал свист серебряного свистка серанга, скрип и стук ворота. Перу стоял на верхнем перекрытии башни, в одежде из синей дангри² времен покинутой им службы, и когда Финдлейсон велел ему поостеречься, ибо рисковать его жизнью не следовало, он схватил последний шест и, по-флотски прикрыв рукой глаза, ответил протяжным возгласом вахтенного на баке: «Хам декхта хай!» (смотрю!). Финдлейсон рассмеялся, потом вздохнул. Много лет прошло с тех пор, как он в последний раз видел пароход, и в нем проснулась тоска по родине. Когда дрезина его прошла под башней, Перу, как обезьяна, спустился вниз по веревке и крикнул:

— Теперь ладно, сахиб. Мост наш почти готов. А как думаете, что скажет Матьерь Ганга, когда по нему побежит поезд?

— Пока что она говорила мало. Если нас что и задерживало, то уж никак не Матьерь Ганга.

— Ее время всегда впереди, а ведь задержки все-таки бывали. Или сахиб забыл прошлогодний осенний паводок, когда так неожиданно затонули баржи с камнем, а если этого и ожидали, то не раньше чем за полдня.

— Да, но теперь ничто не сможет нам Повредить, разве только большое наводнение. На западном берегу дамбы прочные.

— Матьерь Ганга глотает большими кусками. На дамбах всегда найдется место для лишних камней. Я говорю об этом чхота-сахибу³ (так он называл Хитчкока), а он смеется.

— Ничего, Перу. На будущий год ты построишь мост по своему вкусу.

Ласкар ухмыльнулся.

¹ Барамалам — капитан.

² Дангри — грубая полотняная ткань.

³ Чхота-сахиб — младший сахиб.

— Тогда он выйдет непохожим на этот, у которого каменные части лежат под водой, как лежит затонувшая «Кветта». Мне нравятся висячие мосты, те, что одним широким шагом переступают с берега на берег, как сходни. Таким никакая вода не страшна. Когда приедет лорд-сахиб принимать мост?

— Через три месяца, когда погода станет прохладнее.

— Хо, хо! Он похож на барамалама. Спит себе вниз, пока другие работают. Потом выходит на шканцы, тычет пальцем туда-сюда и говорит: «Тут нечисто! Проклятые джибунвалы!»¹

— Но лорд-сахиб не обзывает меня проклятым джибунвалой, Перу.

— Нет, сахиб; но он и не лезет на палубу, пока работа не кончится. Барамалам с «Нарбады» и тот сказал как-то в Тутикорине...

— Ладно! Ступай! Я занят.

— Я тоже, — сказал Перу, не смутясь. — Можно мне теперь взять лодку и проехаться вдоль дамб?

— Чтобы поддержать их своими руками, что ли? По-моему, они достаточно прочные.

— Нет, сахиб. Дело вот в чем. На море, на Черной Воде, у нас хватает места беззаботно болтаться вверх и вниз по волнам. А тут у нас совсем нет места. Ведь мы отвели реку в док и заставили ее течь между каменными стенами.

Финдлейсон улыбнулся, услышав это «мы».

— Мы взнуздали и оседлали ее. А ведь она не море, которое бьется о мягкий берег. Это Матьерь Ганга, и она закована в кандалы. — Голос его слегка упал.

— Перу, ты бродил по свету даже больше, чем я. Теперь скажи правду. Твердо ли ты веришь в Матьерь Гангу?

— Верю всему, что говорит наш жрец. Лондон — это Лондон, сахиб Сидней — Сидней, а Порт Дарвин — Порт Дарвин. Опять же Матьерь Ганга — это Матьерь Ганга, и когда я возвращаюсь на ее берега, я понимаю это и поклоняюсь ей. В Лондоне я совершал пуджу² в большом храме у реки в честь того бога, что в нем... Да, подушек в лодку я не возьму.

Финдлейсон сел на коня и поехал к коттеджу, в котором он жил вместе со своим помощником. За послед-

¹ Д ж и б у н в а л а — матрос.

² П у д ж а — богослужение.

ние три года этот дом стал для него родным. Здесь, под этой простой тростниковой крышей, он страдал от зноя, обливался потом в период дождей, дрожал от лихорадки; здесь даже оштукатуренная стена у двери была испещрена небрежными набросками чертежей и формулами, а на циночках веранды была протоптана дорожка — тут он, оставшись один, шагал взад и вперед. Рабочий день инженера не ограничивается восемью часами, и Финдлейсон с Хитчкоком поужинали, не снимая сапог со шпорами, а потом сидели, покуривая сигары и прислушиваясь к шуму в поселке, — был тот час, когда рабочие возвращались домой с реки и огни начинали мигать.

— Перу поплыл к дамбам вверх по течению на вашей лодке. Он взял с собой пару племянников и развалился на корме, словно какой-нибудь адмирал, — промолвил Хитчкок.

— Да. У него что-то на уме. А ведь казалось, что за десять лет плавания на кораблях Британской Индии почти вся его религиозность испарилась.

— Так оно и есть, — сказал Хитчкок, посмеиваясь. — На днях я подслушал, как он вел с этим их толстым старым гуру самые атеистические разговоры. Перу отрицал действительность молитвы и предлагал гуру вместе отправиться в море, чтобы полюбоваться на шторм и узнать, сможет ли жрец прекратить муссон или нет.

— Все равно, если вы прогоните его гуру, он сразу же покинет нас. Мне он выболтал, что, когда был в Лондоне, он молился куполу собора святого Павла.

— А мне рассказывал, что, когда еще мальчиком впервые попал в машинное отделение парохода, он стал молиться цилиндру низкого давления.

— Что ж, и тому и другому молиться не худо. Сейчас он умиливает своих родных богов, — ведь ему хочется знать, как отнесется Матьер Ганга к тому, что через нее построили мост... Кто там?

Чья-то тень возникла в дверях, и Хитчкоку передали телеграмму.

— Пора бы ей теперь привыкнуть к нему... это просто тар¹. Наверное, Релли ответил насчет новых заклепок... Великий боже!

Хитчкок вскочил.

— Что такое? — спросил его начальник и взял

¹ Тар — телеграмма.

бланк. — Так, значит, вот что думает Матерь Ганга! — сказал он, прочитав телеграмму. — Спокойно, юноша! Мы же знаем, что нам делать. Посмотрим. Мьюр дал телеграмму полчаса назад: «Разлив Рамганги. Берегитесь». Ну, значит... час, два... через девять с половиной часов разлив будет в Мелипур-Гхате; прибавьте еще семь — через шестнадцать с половиной он будет в Латоли, а к нам доберется, вероятно, часов через пятнадцать.

— Будь проклята эта Рамганга... Прямо какая-то сточная труба — принимает в себя все горные потоки! Слушайте, Финдлейсон, ведь раньше чем через два месяца этого нельзя было ожидать... А у нас левый берег все еще завален строительными материалами. На целых два месяца раньше времени!

— Потому это и случилось. Я только двадцать пять лет изучал индийские реки и не претендую на то, чтобы знать их. А вот и еще тар. — Финдлейсон развернул другую телеграмму. — На этот раз от Кокрена, с Гангского канала: «Здесь проливной дождь. Плохо!» Мог бы и не добавлять последнего слова. Ну ладно, теперь мы знаем все. Придется заставить рабочих проработать всю ночь на очистке русла. Возьмите на себя восточный берег и действуйте до встречи со мной на середине реки. Выловите все то, что плавает под мостом, — хватит с нас всяких плотов и лодок, которые пригонит к нам вода; нельзя же допустить, чтобы наши баржи с камнями протаранили быки. Что у вас там, на восточном берегу, требует особого внимания?

— Понтон, большой понтон с подъемным краном. Другой кран на исправленном понтоне, да еще клепка гужевого пути между двадцатым и двадцать третьим быками... Две узкоколейки и дамба на повороте. Сваи придется оставить на произвол судьбы, — сказал Хитчкок.

— Хорошо. Уберите все, что сможете. Дадим рабочим еще четверть часа на ужин.

У веранды стоял большой ночной гонг, в который били только во время паводка или пожара в поселке. Хитчкок приказал подать себе свежую лошадь и уехал на свой конец моста, а Финдлейсон, взяв обмотанное тряпкой било, ударил по гонгу — ударил с оттяжкой, так, чтобы металл зазвенел полным звуком.

Задолго до того, как затихли последние его раскаты, все гонги в поселке подхватили тревожный сигнал. Им

вторил хриплый вой раковин в маленьких храмах, бой барабанов и тамтамов, а в европейском квартале, где жили клепальщики, охотничий рог Мак-Картни, музыкальный инструмент, изводивший всех по воскресеньям и праздникам, — отчаянно трубил призывный клич. Паровозы, которые ползли домой по дамбам, кончив дневную работу, один за другим засвистели в ответ, пока свист их не был подхвачен на дальнем берегу. Тогда большой гонг прогудел три раза в знак того, что грозит наводнение, а не пожар; раковины, барабаны и свистки повторили его призыв, и поселок задрожал от топота босых ног, бегущих по мягкой земле. Все люди получили один и тот же приказ: явиться на место, где работали днем, и ждать указаний.

Со всех сторон в потемках сбегались рабочие, прерывая свой бег лишь затем, чтобы завязать набедренник или потуже затянуть ремни сандалий; десятники орали на своих подчиненных, которые бежали мимо или задерживались у навесов с инструментами, получая железные ломы и мотыги; паровозы ползли по путям, увязая по колесам в толпе; но вот наконец темный людской поток исчез во мгле речного русла, помчался по сваям, растекаясь по решеткам, облепил краны, замер, и каждый человек стал на свое место.

Тогда тревожные раскаты гонга отдали Приказ убрать и перенести все, что можно, на берег, выше отметки уровня высокой воды, и сотни фонарей с открытым огнем вспыхнули среди железной паутины — это клепальщики начали состязаться на скорость с грозящим наводнением, и состязание это должно было продлиться всю ночь. Фермам на трех центральных быках — тем, что лежали на подмостях, грозила большая опасность. Их необходимо было заклепать как можно лучше, ибо наводнение неминуемо должно было снести их опоры, и тогда железные части, не закрепленные на концах, рухнули бы на каменные площадки быков. Сотни рабочих с ломами бились над шпалами временного пути, по которому подвозили материал на неоконченные быки. Шпалы снимали, грузили на платформы, и пылящие паровозы увозили их вверх по берегу, за пределы предполагаемого разлива. Стоявшие на песке навесы для инструментов словно растаяли под напором шумных толп, и вместе с ними исчезли сложенные правильными рядами материалы из казенных складов — окованные железом ящики с болтами, клещами, резцами, запасные

части клепальных машин, неиспользованные насосы и цепи. Большой кран предстояло убрать в последнюю очередь, ибо он поднимал все тяжелые материалы на главную часть моста. Бетонные плиты сбрасывали с баржей за борт, там, где было поглубже, чтобы защитить быки, а пустые баржи отводили из-под моста вниз по течению. Тут раздавался пронзительный свист — это свистел Перу: ведь первый же удар в большой гонг вернул несущуюся с гоночной скоростью лодку, и Перу со своими товарищами, голый по пояс, уже работал здесь ради чести и славы, которые дороже жизни.

— Я знал, что она заговорит! — кричал он. — Я-то знал, но телеграф предостерег нас вовремя. Эй, вы, сыны невиданной утробы, дети несказанного позора, или мы только из-за этой штуки сюда пришли?

«Этой штукой» он называл проволочный линек в два фута длины с растрепанными концами, который делал чудеса, когда Перу скакал с планшира на планшир, выкрикивая матросские ругательства.

Груженные камнем баржи больше всего тревожили Финдлейсона. Мак-Картни со своими рабочими укрепляет концы трех не совсем надежных пролетных строений, думал он, но если вода поднимется высоко, баржи, стоящие выше моста, могут повредить фермы, а ведь на мелких протоках их целая флотилия.

— Отведи баржи под прикрытие сторожевой башни! — крикнул он Перу. — Там заводь; отведи их ниже моста.

— Аччха! ¹ Сам знаю. Мы привязываем их проволочными тросами, — прозвучало в ответ. — Эй! Слышите вы чхота-сахибя? Работать на совесть.

С того берега реки доносился почти непрерывный свист паровозов, сопровождавшийся грохотом камней. Хитчок в последнюю минуту потратил несколько сот платформ таракского камня на укрепление дамб и насыпей своего берега.

— Мост вызывает на бой Матерь Гангу, — со смехом произнес Перу. — Но я знаю, чей голос прозвучит громче, когда заговорит она.

Много часов с криками и воплями работали полуголые люди среди огней. Ночь была жаркая, безлунная, а под утро нависли тучи и внезапно разразилась буря, которая встревожила Финдлейсона.

¹ Аччха — хорошо, ладно.

— Она двигается! — промолвил Перу перед рассветом. — Матьерь Ганга проснулась! Слушайте!

Он опустил руку за борт лодки, и быстро текущая вода чмокнула ее. Небольшая волна гулко шлепнулась об один из быков.

— На шесть часов раньше времени, — проговорил Финдлейсон, свирепо морща лоб. — Теперь нам рассчитывать не на что. Пожалуй, лучше вывести всех рабочих из русла.

Снова загудел большой гонг, и опять послышались топот босых ног по земле и лязг железа, а стук инструментов утих. В наступившей тишине люди услышали зевок воды, ползущей по иссохшим пескам.

Десятники один за другим кричали стоявшему у сторожевой башни Финдлейсону, что их участок русла очищен, и когда последний голос умолк, Финдлейсон торопливо зашагал по мосту и шел вплоть до того места, где кончался железный настил мостового полотна и начинался временный дощатый переход через три центральных пролета между быками. Тут он встретил Хитчкока.

— На вашей стороне все чисто? — спросил Финдлейсон.

Негромкие слова его гулко прозвенели в решетчатой коробке ферм.

— Да. Но восточный проток уже наполняется. Мы грубо ошиблись. Когда же надвинется на нас эта штука?

— Трудно сказать. Вода поднимается очень быстро. Глядите!

Финдлейсон показал вниз на доски, где песок, прогретый и загрязненный многомесячной работой, уже начал шипеть и шуршать.

— Какие будут приказания? — спросил Хитчкок.

— Сделайте переключку... пересчитайте материалы... сидите смирно... и молитесь за мост. Больше ничего не придумаешь. Спокойной ночи. Не рискуйте жизнью — не старайтесь выудить то, что поплывет вниз.

— Ну, я буду не менее осторожным, чем вы. Спокойной ночи. Господи, как быстро она поднимается! А дождь пошел всерьез!

Финдлейсон пробрался назад, к своему берегу, гоня перед собой последних клепальщиков Мак-Картни. Не обращая внимания на холодный утренний дождь, рабочие рассыпались по дамбам и там стали ждать наводнения. Один лишь Перу держал своих людей в кучке под

прикрытием сторожевой башни, где стояли груженные камнем баржи, привязанные с носа и с кормы тросами, проволочными канатами и цепями.

Пронзительный крик вдруг пронесся по линии стройки, переходя в рев ужаса и изумления: вся поверхность реки между каменными набережными побелела от берега до берега, и дальние дамбы исчезли в хлопьях пены. Матерь Ганга стремительно сравнялась с берегом, и вестником ее явилась стена воды шоколадного цвета. Чей-то вопль смешался с ревом волн: то был жалобный лязг пролетных строений, осевших, когда поток унес из-под них подмости. Баржи с камнями, урча, терлись друг о друга в водовороте, крутившемся у береговых устоев, и их неуклюжие мачты поднимались все выше и выше, выделяясь на фоне туманного горизонта.

— Прежде, до того как ее заперли между этими стенами, мы знали, как она себя поведет. А теперь, когда ее так прижали, один Бог знает, что она натворит! — сказал Перу, глядя на яростное кипенье воды у сторожевой башни. — Эй, ты! Борись же! Борись всюю — ведь только так и может женщина истощить свои силы.

Но Матерь Ганга не желала бороться так, как этого хотел Перу. После первого вала, умчавшегося вниз по течению, водяные стены больше не надвигались, но река раздувалась всем телом, как змея, утоляющая жажду в разгар лета, теребила и обдергивала набережные, напирала на быки, так что Финдлейсон даже начал мысленно проверять расчеты прочности своей стройки.

Когда наступил день, весь поселок ахнул.

— Вчера еще, — говорили друг другу люди, — речное русло было как город! А теперь... глядите!

Они глядели и снова дивились на эту высокую воду, на эту стремительную воду, лижущую шеи быков. Дальний берег был едва виден за пеленой дождя, и конец моста скрылся за ней; дамбы, тянувшиеся вверх по течению, угадывались только по водоворотам и брызгам пены, а ниже моста скованная некогда река, вырвавшись из направляющих ее стен, разлилась как море, до самого горизонта. И вот, перекатываясь на волнах, понесли по воде трупы людей и скота вперемежку, и то здесь, то там показывался кусок тростниковой крыши и рассыпался, едва коснувшись быка.

— Большой паводок, — проговорил Перу, и Финдлейсон кивнул.

Паводок был так велик, что инженеру не хотелось

смотреть на него. Мост, пожалуй, выдержит все, что пока выдерживал, думал он, но большего не выдержит, а если дамбы сдадут, что очень возможно, Матерь Ганга вместе с прочим хламом унесет в море и его репутацию строителя. К сожалению, ничего нельзя было сделать — оставалось только сидеть и ждать; и Финдлейсон смиренно сидел в своем макинтоше, пока шлем у него на голове не превратился в мокрую массу, а сапоги не покрылись грязью выше щиколотки. Река отмечала часы, дюйм за дюймом и фут за футом заливая дамбы, а он, окоченелый и голодный, не замечая времени, прислушивался к треску баржей, глухому грохоту под быками и сотням шумов, составляющих аккорд паводка. Промокший слуга принес ему еды, но есть он не мог; потом ему показалось, что на том берегу реки негромко прогудел паровоз, и он улыбнулся. Гибель моста немало огорчит его помощника, но Хитчкок молод, и ему еще многое предстоит сделать. А у него, Финдлейсона, катастрофа отнимет все — все, из-за чего стоило жить этой суровой жизнью. Товарищи его по профессии скажут... И тут он вспомнил полусоболезную слова, которые сам говорил, когда крупные водопроводные сооружения Локхарта рухнули и превратились в кучи кирпича и грязи, а в душе у Локхарта тоже что-то рухнуло, и он умер. Он вспомнил то, что сказал сам, когда Самаонский мост унесло в море жестоким циклоном, и яснее всего представлялось ему лицо несчастного Хартопа три недели спустя после того случая — лицо, отмеченное печатью стыда.

Его мост в два раза больше, чем мост Хартопа, фермы у него «финдлейсоновские», свайные башмаки новой системы, тоже «финдлейсоновские», скрепленные болтами. В его профессии оправдываться бесполезно. Правительство, быть может, и выслушает его, но коллеги будут судить о нем по его мосту, по тому, рухнул он или устоял. Он перебрал в уме плиту за плитой, пролет за пролетом, кирпич за кирпичом, бык за быком, вспоминая, срабатывая, расценивая, пересчитывая, чтобы проверить, нет ли где ошибки, и все эти долгие часы и длинные вереницы формул, плясавших и кружившихся перед ним, были пронизаны холодным страхом, который щипал его за сердце. Расчеты его не вызывают сомнений, но кто знает арифметику Матери Ганги? Быть может, в то самое время, когда он при помощи таблицы умножения убеждается в своей правоте, река долбит гигантские дыры в

основании любого из этих восьмидесятифутовых быков, что поддерживают его репутацию. Слуга снова принес ему поесть, но во рту у него было сухо — он только выпил чего-то и опять занялся десятичными дробями. А вода все поднималась. Перу в дождевом плаще из циновки сидел, скорчившись, у его ног и смотрел то на его лицо, то на лик реки, но не говорил ни слова.

Наконец ласкар встал и, барахтаясь в грязи, направился к поселку, не забыв поручить товарищу следить за баржами.

Но вот он вернулся, самым непочтительным образом толкая перед собой жреца своей веры — тучного старика с седой бородой, реявшей по ветру, и в мокром плаще, вздувшемся у него за плечами. Вид у этого гуру был самый жалкий.

— Какая польза от жертв, и керосиновых лампочек, и сухого зерна, — кричал Перу, — если ты только и знаешь, что сидеть в грязи? Ты долгое время имел дело с богами, когда они были довольны и благожелательны. Теперь они гnevаются. Потолкуй с ними!

— Что человек перед гневом богов? — захныкал жрец, ежась под порывами ветра. — Отпусти меня в храм, и там я буду молиться.

— Молись здесь, сын свиньи! Или не хочешь расплачиваться за соленую рыбу, за острые приправы и сушеный лук? Кричи во весь голос! Скажи Матери Ганге, что хватит с нас. Заставь ее утихнуть на эту ночь. Я молиться не умею, но я служил на кораблях компании, и, когда команда не слушалась моих приказаний, я... — Взмах проволочного линька закончил фразу, и жрец, вырвавшись из рук своего ученика, убежал в поселок.

— Жирная свинья! — промолвил Перу. — И это после всего, что мы для него делали! Когда вода спадет, уж я постараюсь достать нового гуру. Слушай, Финлинсон-сахиб, уже смеркается, а ты со вчерашнего дня ничего не ел. Образумься, сахиб. Нельзя же не спать и все время думать на пустое брюхо — этого никто не вынесет. Приляг, сахиб. Река что сделает, то и сделает.

— Мост мой, и я не могу его покинуть.

— Так неужто ты удержишь его своими руками? — засмеялся Перу. — Я беспокоился за свои баржи и краны до того, как началось наводнение. Но теперь мы в руках богов. Значит, сахиб не хочет поесть и прилечь? Тогда скушай вот это... Это все равно что мясо с хорошим

тодди¹ — снимает любую усталость, не говоря уж о лихорадке, что бывает после дождя. Я нынче ничего другого не ел за целый день.

Он вынул из-за промокшего кушака маленькую жестяную табакерку и сунул ее в руки Финдлейсона со словами:

— Не пугайся, это всего только опиум — чистый мальвийский опиум.

Финдлейсон вытряхнул себе на ладонь несколько темно-коричневых катышков и машинально проглотил их. Ну что ж, это, по крайней мере, хорошее средство против лихорадки — лихорадки, которая ползет на него из жидкой грязи; кроме того, он видывал, на что был способен Перу в душные осенние туманы, приняв дозу из жестяной коробочки.

Перу кивнул, сверкнув глазами.

— Немного погодя... немного погодя сахиб заметит, что он опять хорошо думает... Я тоже приму...

Он сунул пальцы в свою сокровищницу, снова накиннул дождевой плащ на голову и сполз вниз, чтобы последить за баржами. Теперь стало так темно, что дальше первого быка ничего не было видно, и ночь, казалось, придала реке новые силы. Финдлейсон стоял, опустив голову на грудь, и думал. В одном быке — в седьмом — он был не совсем уверен. Но теперь цифры не хотели вставать перед его глазами иначе как одна за другой и через огромные промежутки времени. В ушах у него стоял сочный и мягкий гул, похожий на самый низкий звук контрабаса, — восхитительный гул, который он слышал, кажется, уже несколько часов. И вдруг Перу очутился у него под боком и крикнул, что проводочный трос лопнул и баржи с камнями оторвались. Финдлейсон увидел, как вся флотилия тронулась и поплыла развернутым веером под протяжный визг проволоки, натянувшейся на планширах.

— На них дерево налетело! Все уплывут! — кричал Перу. — Главный трос лопнул. Что делать, сахиб?

Необычайно сложный план внезапно вспыхнул в мозгу Финдлейсона. Ему показалось, что канаты — один прямо, другие пересекаясь — тянутся от баржи к барже, и каждый канат — луч белого пламени. Но один из канатов — главный. Финдлейсон видел этот канат. Сумей он хоть раз потянуть за него, вся рассеянная в беспо-

¹ Тодди — пальмовое вино.

рядке флотилия безусловно и с математической точностью соберется вместе в заводи за сторожевой башней. Но почему же, удивлялся он, торопясь спуститься к воде, почему Перу так отчаянно цепляется за его пояс? Необходимо мягко и спокойно отделаться от ласкара, потому что необходимо спасти баржи и, кроме того, доказать, как исключительно проста задача, раньше казавшаяся столь трудной. И тут — впрочем, это не имело никакого значения — проволочный канат выскользнул из его ладони, обжигая ее, высокий берег исчез, а с ним исчезли и медленно рассыпающиеся составные элементы задачи. Он сидел под дождем, во мраке, сидел в лодке, вертящейся как волчок, и Перу стоял над ним.

— Я забыл, — медленно проговорил ласкар, — что на людей голодных и непривычных опиум действует хуже всякого вина. Те, что тонут в Ганге, идут к богам. И все же у меня нет желания предстать перед столь великими существами. Сахиб умеет плавать?

— Зачем? Он умеет летать... летать быстро, как ветер, — ответил Финдлейсон заплетающимся языком.

— Он с ума сошел! — пробормотал Перу. — Отбросил меня в сторону, как охапку сухого навоза. Ну что ж, он не почувствует, что умирает. Лодка и часа здесь не продержится, даже если ни обо что не ударится. Нехорошо глядеть в лицо смерти ясными глазами.

Он снова подкрепился порцией из жестяной коробки и, скорчившись на носу бешено кружащейся ветхой, заплатанной лодки, уставился сквозь туман на окружающее их ничто. Теплая дремота одолела Финдлейсона, главного инженера, связанного с мостом чувством долга. Тяжелые капли дождя, шурша, сыпались на него, заставляя вздрагивать, и бремя всех времен от сотворения времени отяжелело его веки. Он думал и знал, что ему не грозит никакая опасность, ибо вода до того плотна, что на нее можно спокойно ступить, и если будешь стоять смирно, расставив ноги, чтобы не потерять равновесия, а это важнее всего, то очень легко и быстро перенесешься на берег. Но тут ему пришла в голову другая мысль, еще лучше. Надо только, чтобы душа усилием воли перебросила тело на сушу, как ветер уносит бумажку, перенесла его на берег, как бумажный змей. Однако — лодка стремительно вертелась — предположим, что сильный ветер подхватит освобожденное тело, что тогда? Взовьется ли оно вверх, как бумажный змей, и потом упадет головой вперед на дальние пески или же

будет как попало нырять в воздухе целую вечность? Финдлейсон уцепился рукой за планшир, стараясь удержаться на месте, ибо ему показалось, что он вот-вот улетит, раньше чем успеет обдумать все свои мысли. Опиум действует на белого человека сильнее, чем на черного. Перу — тот чувствовал только приятное равнодушие к любым случайностям.

— Лодка долго не продержится, — проворчал он. — Швы у нее уже лопаются. Будь это шлюпка с веслами, нам удалось бы выкарабкаться, но в таком дырявом ящике толку мало. Финлинсон-сахиб, она протекает.

— Аччха! Я уйду. Иди и ты.

Финдлейсон почувствовал, что уже оторвался от лодки и крутится высоко в воздухе, ища, куда бы ступить ногой. А тело его — он был очень огорчен его неуклюжей беспомощностью — все еще лежит на корме, и вода уже заливает колени.

«Как смешно! — подумал он, ощущая себя на недостижимой высоте. — Это Финдлейсон... начальник строительства моста у Каши. Несчастный тоже утонет. Утонет у самого берега. А я... я уже на берегу. Почему же он не идет сюда?»

Но вот он, к величайшему своему неудовольствию, ощутил, что душа его снова вернулась в тело и тело это барахтается и захлебывается в глубокой реке. Мука воссоединения была ужасна, но теперь приходилось бороться и за тело. Он сознавал, что яростно хватается за мокрый песок и огромными шагами, как это бывает во сне, шагает в бурлящей воде, стараясь не споткнуться, пока наконец не вырвал себя из объятий реки и, задыхаясь, не повалился на мокрую землю.

— Значит, не в эту ночь, — сказал ему на ухо Перу. — Боги нас защитили. — Ласкар осторожно передвигал ноги, наступая на шуршащие сухие стебли. — Мы попали на какой-то островок, где в прошлом году было посажено индиго, — продолжал он. — Людей мы тут не встретим, но будь очень осторожен, сахиб; ведь все змеи, что жили на берегах реки на протяжении сотни миль, смыты и унесены наводнением. А вот и молния засверкала по следам ветра. Теперь можно будет осмотреться; но шагай осторожно.

Финдлейсон был далек, очень далек от страха перед змеями или вообще от каких-либо обычных человеческих чувств. Смахнув воду с глаз, он стал видеть очень ясно и шагал, как ему казалось, гигантскими, через весь

мир, шагами. Где-то в ночи времен он построил мост — мост, перекрывший безграничные пространства сияющих морей, но потоп снес его, оставив под небесами один этот островок для Финдлейсона и его спутника, единственных из всего человечества людей, которым удалось уцелеть.

Непрестанные молнии, извилистые и голубые, освещали все, что можно было видеть на этом клочке земли, затерянном среди разлива: кусты терновника, рощицу качающихся, скрипящих бамбуков, серый искривленный ствол пипала, под которым стоял индусский храм с обтрепанным алым флагом, развевающимся на куполе. Подвижник, которому храм когда-то служил местом летнего отдохновения, давным-давно покинул его, и непогода разбила его вымазанного красной краской идола. Глаза и тело у обоих спутников отяжелели, и, наткнувшись на усыпанный пеплом кирпичный очаг, они опустились на землю, под защиту ветвей; а река и ливень дружно бушевали по-прежнему.

Но вот стебли индиго хрустнули, послышался запах скота, и к дереву подошел огромный мокрый брахманский бык. Вспышки молний осветили трезубец Шивы на его боку, дерзко выпяченные голову и горб, сияющие глаза, похожие на глаза оленя, лоб, увенчанный мокрым венком из бархатцев, и шелковистый подгрудок, почти касающийся земли. За ним слышался топот тяжелых ног и громкое дыхание других животных, уходящих от разлива в чащу.

— Оказывается, мы не одни — сюда пришли и другие существа, — сказал Финдлейсон, который сидел, прислонив голову к древесному стволу, полузакрыв глаза и чувствуя себя очень удобно.

— Верно, — глухо отозвался Перу, — и не маленькие существа.

— Кто они такие? Я неясно вижу.

— Боги. Кому же еще быть? Гляди!

— А верно! Боги, конечно... боги.

Финдлейсон улыбнулся, и голова его упала на грудь. Перу был совершенно прав. После потопа кто мог остаться в живых на земле, кроме богов, которые ее создали, богов, которым его поселок молился еженощно, богов, которые были на устах у всех людей и на всех людских путях? Оцепенение, сковавшее Финдлейсона, мешало ему поднять голову или пошевелить пальцем, а Перу рассеянно улыбался молниям.

Бык остановился вблизи храма, опустив голову к влажной земле. В ветвях зеленый попутай клювом чистил мокрые перья и криком вторил грому, в то время как трепещущие тени зверей собирались вокруг дерева. Вслед за быком пришел самец черной антилопы — подобное животное Финдлейсон за всю свою давно прошедшую жизнь на земле видывал разве только во сне, — самец с царственной головой, эбеновой спиной, серебристым брюхом и блестящими прямыми рогами. Рядом с ним, опустив голову до земли, неустанно хлеща хвостом по увядшей траве, прошла толстобрюхая тигрица с зелеными глазами, горевшими под густыми бровями, и со впалыми щеками.

Бык прилег у храма, и тут из мрака выскочила чудовищная серая обезьяна и села, как садятся люди, на место поверженного идола, а дождевые капли, словно драгоценные камни, посыпались с ее волосатой шеи и плеч.

Другие тени возникали и скрывались за пределами круга, и среди них появился пьяный человек, размахивающий жезлом и винной бутылкой. Тогда откуда-то с земли послышался хриплый рев.

— Паводок уже убывает, — проревел кто-то. — Вода спадает час за часом, а их мост все еще стоит!

«Мой мост, — подумал Финдлейсон. — Как это было давно! Какое дело богам до моего моста?»

Глаза его искали во мраке то место, откуда донесся рев. Крокодилица, тупоносая гангская Магар¹, гроза бродов, подползла к зверям, яростно колотя хвостом направо и налево.

— Его построили слишком прочным для меня. За всю эту ночь мне удалось оторвать только несколько досок. Стены стоят! Башни стоят! Мой поток сковали, и река моя уже несвободна. Небожители, снимите это ярмо! Верните мне вольную воду от берега до берега! Я говорю, я, Матерь Ганга. Правосудие богов! Окажите мне правосудие богов.

— Что я говорил? — прошептал Перу. — Поистине, это панчайт² богов. Теперь мы знаем, что весь мир погиб, кроме вас и меня, сахиб.

Попугай снова закричал и захлопал крыльями, а тигрица, прижав уши к голове, злобно зарычала.

¹ Магар. — Очевидно, имеется в виду мифическое животное макара, отождествляемое как крокодил, дельфин или акула.

² Панчайт — здесь: совет, собрание.

Где-то в тени закачались блестящие бивни и огромный хобот, и негромкое ворчанье нарушило тишину, наступившую после рыка тигрицы.

— Мы здесь, — прозвучал низкий голос. — Мы, великие. Единственный и множество. Шива, отец мой, здесь с Индрой. Кали¹ уже говорила. Хануман тоже слушает.

— Каши остался нынче без своего котвала²! — крикнул человек с винной бутылкой, швырнув жезл на землю, и на островке зазвучал собачий лай. — Окажите Каши правосудие богов.

— Вы молчали, когда они оскверняли мои воды, — заревела большая крокодилица. — Вы и не шевельнулись, когда реку мою загнали в стены. Ниоткуда мне не было помощи, кроме как от собственных моих сил, а они не выдержали — силы Матери Ганги не выдержали перед их сторожевыми башнями. Что я могла поделать? Я сделала все, что могла. А теперь, небожители, всему конец!

— Я несла смерть; я влекла пятнистый недуг от хижины к хижине в их рабочем поселке, и все-таки они не переставали строить. — Кривоногая облезлая ослица с раскроенной мордой и истертой шкурой, хромая, выступила вперед. — Я дышала на них смертью из моих ноздрей, но они не переставали строить.

Перу хотелось двинуться, но тело его отяжелело от опиума.

— Так! — произнес он, сплюнув. — Вот и сама Шитала³ — Мать Оспа. Нет ли у сахиба носового платка прикрыть лицо?

— Пропали мои старания! Целый месяц кормили меня трупами, и я выкидывала их на свои песчаные отмели, но строители продолжали работать. Демоны они и сыны демонов! А вы покинули Матерь Гангу одну на посмешище их огненной повозке! Да свершится суд богов над строителями моста!

Бык передвинул жвачку во рту и не спеша отозвался:

— Если бы суд богов поражал всех, кто насмехается над священными предметами, в стране было бы много потухших жертвенников, мать.

¹ Кали — супруга Шивы в ее грозной ипостаси.

² Котвал — начальник полиции.

³ Шитала — богиня оспы.

— Но это больше чем насмешка, — сказала тигрица, выбросив вперед цепкую лапу. — Ты знаешь, Шива, и все вы, небожители, знаете, как они осквернили Гангу. Они непременно должны предстать перед Разрушителем. Пусть их судит Индра.

— Как давно началось это зло? — откликнулся самец антилопы, не двигаясь.

— Три года назад по счету людей, — ответила Магар, припадая к земле.

— Разве Мать Ганга должна умереть в этом году, что она так спешит сейчас же получить отмщение? Еще вчера глубокое море было там, где она течет теперь, и море снова покроет ее завтра, ибо так ведут боги счет тому, что люди называют временем. Кто скажет, что их мост простоит до завтра? — промолвил самец антилопы.

Наступила долгая тишина, а буря утихла, и полная луна встала над мокрыми деревьями.

— Так судите же теперь, — угрюмо промолвила река. — Я рассказала о своем позоре. Паводок все убывает. Больше я ничего не могу сделать.

— Что касается меня, — послышался из храма голос большой обезьяны, — мне нравится смотреть на этих людей: ведь, помнится, я тоже построил не маленький мост в пору юности мира.

— Говорят также, — прорычала тигрица, — что эти люди произошли из остатков твоих войск, Хануман, и потому ты им помогал...

— Они трудятся, как трудились мои войска на Ланке, и верят, что труды их не пропадут. Индра слишком высоко вознесен, но ты, Шива, ты-то знаешь, как густо они унижали страну своими огненными повозками.

— Да, я знаю, — проговорил бык. — Их боги научили их этому.

По кругу прокатился взрыв хохота.

— Их боги! Что могут знать их боги? Они родились вчера, а создавшие их умерли и едва успели остыть, — сказала крокодилица. — Завтра их боги умрут.

— Хо! — произнес Перу. — Мать Ганга говорит умные речи. То же самое я говорил падри-сахибу¹, который проповедовал на «Момбассе», но он потребовал от барамалама заковать меня в кандалы за такую великую дерзость.

¹ Падри — падре, христианский священник.

— Наверное, они все это делают для того, чтобы порадовать своих богов, — сказал бык.

— Не совсем, — возразил слон, выступив вперед. — Они делают это на пользу моим махаджанам¹ — жирным ростовщикам, которые поклоняются мне в день Нового года, рисуя мое изображение на первой странице счетных книг. А я выглядываю из-за их плеч и вижу при свете ламп, что имена, вписанные в эти книги, принадлежат людям, живущим в далеких местах, ибо все города связаны друг с другом огненными повозками, деньги быстро приходят и уходят, а счетные книги толстеют не хуже меня самого. И я, Ганеша² — Творец Удачи, я благословляю своих поклонников.

— Они изменили лицо страны, моей страны. Они совершали убийства и строили города на моих берегах, — сказала Магар.

— Все это только пустое перекачиванье комочка грязи. Пусть грязь копается в грязи, если это нравится грязи, — отозвался слон.

— А потом что? — сказала тигрица. — Потом они увидят, что Матерь Ганга не в силах отомстить за оскорбление, и сначала они отойдут от нее, а позже и от всех нас, одного за другим. В конце концов, Ганеша, мы останемся при пустых жертвенниках.

Пьяный человек, шатаясь, встал на ноги и громко икнул в лицо собравшимся богам.

— Кали лжет. Сестра моя лжет! Вот этот мой жезл — это котвал Каши, и он ведет счет моим паломникам. Когда наступает пора поклоняться Бхайрону³, — а эта пора никогда не кончается, — огненные повозки трогаются одна за другой, и каждая везет тысячу паломников. Они уже не ходят пешком, они катятся на колесах, и слава моя все возрастает.

— Ганга, я видел, как берег твой у Праяга⁴ был черен от паломников, — сказала обезьяна, наклоняясь вперед, — а не будь огненных повозок, они приходили бы медленно и их было бы меньше. Запомни это.

— Ко мне они приходят всегда, — заплетающимся

¹ Махаджан — ростовщик.

² Ганеша — бог мудрости, устранитель препятствий, покровитель всех начинаний.

³ Бхайрон — вероятно, Бхайрава, имя бога Шивы.

⁴ Праяга — Аллахабад, известное место паломничества. Считается, что он находится в месте слияния Ганги, Джамны в мифической подземной реки Сарасвати.

языком продолжал Бхайрон. — Ночью и днем все простые люди молятся мне на полях и дорогах. Кто в наши дни подобен Бхайрону? К чему говорить о том, что веры меняются? Разве мой жезл — котвал Каши — бездействует? Он ведет счет и говорит, что никогда не было столько жертвенников, сколько их воздвигнуто теперь, и огненная повозка хорошо им служит. Я Бхайрон, Бхайрон простого народа и ныне — главнейший из всех небожителей. И еще мой жезл говорит...

— Молчи, ты! — прервал его бык¹. — Мне поклоняются в школах, где люди беседуют весьма мудро, обсуждая вопрос, един ли я или множествен, как нравиться верить моему народу, — но вы-то знаете, каков я. Кали, ты тоже знаешь.

— Да, я знаю, — отозвалась тигрица, опустив голову.

— И я более велик, чем Ганга. Ибо вы знаете, кто побудил людские умы считать из всех рек одну лишь Гангу священной. Вы знаете, что говорят люди: кто умирает в ее воде, тот приходит к нам, богам, не понеся кары; и Ганга знает, что огненная повозка привозит к ней множество жаждущих этого; и Кали знает, что самые пышные свои пиры она справляет среди паломников, которых везет огненная повозка. Кто поразил недугом тысячи людей за один день и одну ночь в Пури², у ног тамошнего идола, и привязал болезнь к колесам огненных повозок, так что она разнеслась по всей стране из конца в конец? Кто как не Кали? Раньше, до того как появилась огненная повозка, это было трудно сделать. Огненные повозки хорошо тебе послужили, Мать Смерти. Но я говорю о своих собственных жертвенниках, а я не Бхайрон простого народа, но Шива. Люди приходят и уходят, болтая и разнося молву о чужих богах, а я слушаю. В школах мои поклонники сменяют веру за верой, но я не гневаюсь, ибо когда все слова сказаны и новые речи кончены, люди в конце концов возвращаются к Шиве.

— Верно. Это верно, — пробормотал Хануман. — К Шиве и к прочим возвращаются они, Мать. Из храма в храм перехожу я на север, где они поклоняются еди-

¹ Бык — ездовое животное Шивы.

² Пури — город в Ориссе, центр поклонения Джаганнатхе (Вишну или Кришне).

ному богу и его пророку, и теперь лишь мое изображение осталось в их храмах.

— Ну и что же? — произнес самец антилопы, медленно поворачивая голову. — Ведь этот единый — я, и я же — его пророк.

— Именно так, отец, — молвил Хануман. — И на юг я иду, я, старейший из богов, по мнению людей, и я касаюсь жертвенников новой веры и той женщины, которую, как мы знаем, изображают двенадцатирукой и все же зовут Марией.

— Ну и что же? — сказала тигрица. — Ведь эта женщина — я.

— Именно так, сестра; и я иду на запад вместе с огненными повозками и во многих видах являюсь строителям мостов, и благодаря мне они меняют свои веры и становятся весьма мудрыми. Хо! Хо! Я сам строитель мостов — мостов между тем и этим, и каждый мост в конце концов обязательно ведет к нам. Будь довольна, Ганга. Ни эти люди, ни те, что следуют за нами, вовсе над тобой не смеются.

— Так, значит, я одинока, небожители? Или мне надо сдержать мой паводок, чтобы как-нибудь по несчастной случайности не подрвать их стен? Или Индра высушит мои источники в горах и заставит меня смиренно ползти между их пристанями? Или мне зарыться в песок, чтобы не оскорбить их?

— И все эти тревобления из-за какого-то железного бруска с огненной повозкой наверху? Поистине, Мать Ганга вечно юна! — заметил слон Ганеша. — Ребенок и тот не стал бы говорить столь безрассудно. Пусть прах роется в прахе, прежде чем вновь обратиться в прах. Я знаю только то, что мои поклонники богатеют и прославляют меня. Шива сказал, что в школах люди не забывают его; Бхайрон доволен своими толпами простых людей, а Хануман смеется.

— Конечно, смеюсь, — сказала обезьяна. — У меня меньше жертвенников, чем у Ганеши или Бхайрона, но огненные повозки везут мне из-за Черной Воды новых поклонников — людей, которые верят, что бог их — труд. Я бегу перед ними и маню их, и они следуют за Хануманом.

— Так дай им труд, которого они жаждут, — сказала река. — Воздвигни преграду поперек моего потока и отбрось воду назад, на место. Некогда на Ланке ты был силен, Хануман. Так нагнись и подними мое дно.

— Кто дает жизнь, вправе отнимать жизнь. — Обезьяна заскребла по грязи длинным пальцем. — И все же, кому пойдут на пользу убийства? Очень многие люди умрут.

С реки долетел обрывок любовной песни, подобной тем, которые поют юноши, стерегущие скот в полуденный зной поздней весны. Попугай радостно крикнул и, опустив голову, боком стал спускаться по ветке, а песня зазвучала громче, и вот в полосе яркого лунного света встал юный пастух, которого любят гопи¹, кумир мечтающих девушек и матерей, еще не родивших ребенка, — Кришна Многолюбимый. Он нагнулся, чтобы завязать узлом свои длинные мокрые волосы, и попугай спорхнул на его плечо.

— Все шляешься да песни поешь, поешь и шляешься, — икнул Бхайрон. — Из-за этого ты, брат, и опаздываешь на совет.

— Так что ж? — со смехом сказал Кришна, откинув голову назад. — Вы здесь немного можете сделать без меня или Кармы. — Он погладил перья попугая и снова засмеялся. — Зачем вы тут сидите и беседуете? Я услышал, как Матерь Ганга ревела во тьме, и потому быстро пришел сюда из хижины, где лежал в тепле. А что вы сделали с Кармой? Почему он такой мокрый и безмолвный? И что делает здесь Матерь Ганга? Разве в небесах так тесно, что вам пришлось спуститься сюда и барахтаться в грязи по-звериному? Карма, чем они тут занимаются?

— Ганга просила отомстить строителям моста, а Кали заодно с нею. Теперь она умоляет Ханумана поглотить мост, чтобы слава ее возросла! — закричал попугай. — Я ждал здесь твоего прихода, о господин мой!

— А небожители на это ничего не сказали? Неужто Ганга или Матерь Скорбей не дали им говорить? Разве никто не замолвил слова за мой народ?

— Нет, — произнес Ганеша, в смущении переступая с ноги на ногу, — я сказал, что люди — всего лишь прах, так стоит ли нам топтать их?

— С меня довольно позволять им трудиться, вполне довольно, — сказал Хануман.

— Что мне гнев Ганги? — промолвил бык.

— Я Бхайрон простого народа, и этот мой жезл — котвал всего Каши. Я говорил за простых людей.

¹ Гопи — пастушеские племена, пастухи.

— Ты? — Глаза юного бога сверкнули.

— Разве в их устах я ныне не главный из богов? — ответил Бхайрон, не смущаясь. — Во имя простого народа я произнес... очень много мудрых речей, только я их уже позабыл... Но вот этот мой жезл...

Кришна с досадой отвернулся и, увидев у своих ног крокодилицу, стал на колени и обвил рукой ее холодную шею.

— Мать, — мягко проговорил он, — вернись к своему потоку. Такие дела не для тебя. Как могут нанести ущерб твоей чести люди — этот живой прах? Ты год за годом дарила им их нивы, и твой разлив поддерживает их силы. В конце концов все они придут к тебе, так зачем убивать их теперь? Пожалей их, Мать, хоть ненадолго... ведь только ненадолго.

— Если только ненадолго... — начал медлительный зверь.

— Разве они боги? — подхватил Кришна со смехом, глядя в тусклые глаза реки. — Будь уверена, это ненадолго. Небожители тебя услышали, и вскоре правосудие будет оказано. А теперь, Мать, вернись к разливу. Воды кишат людьми и скотом... берега обваливаются... деревни рушатся, и все из-за тебя.

— Но мост... мост выдержал.

Кришна встал, а Магар, ворча, бросилась в подлесок.

— Конечно, выдержал, — язвительно произнесла тигрица. — Нечего больше ждать правосудия от небожителей. Вы пристыдили и высмеяли Гангу, а ведь она просила только несколько десятков жизней.

— Жизней моего народа, который спит под кровом из листвы вон там, в деревне... Жизней молодых девушек... жизней юношей, что в сумраке поют этим девушкам песни... Жизни ребенка, что родится наутро. Жизней, зачатых этой ночью, — сказал Кришна. — И когда все это будет сделано, что пользы? Завтрашний день опять увидит людей за работой. Да снесите вы хоть весь мост, с одного конца до другого, они начнут сызнова. Слушайте меня! Бхайрон вечно пьян. Хануман смеется над своими поклонниками, задавая им новые загадки.

— Да нет, загадки у меня очень старые, — со смехом вставила обезьяна.

— Шива прислушивается к речам в школах и к мечтаниям подвижников; Ганеша думает только о своих жирных торговцах; а я... я живу с этим моим народом,

не прося даров, и потому получаю их ежечасно.

— И ты нежно любишь своих поклонников, — молвила тигрица.

— Они мои, родные. Старухи видят меня в сновидениях, поворачиваясь с бока на бок во сне; девушки высматривают меня и прислушиваются ко мне, идя на реку зачерпнуть воды. Я прохожу мимо юношей, ожидающих в сумерках у ворот, и я окликаю белобородых старцев. Вы знаете, небожители, что я единственный из всех нас постоянно брожу по земле, и нет мне радости на наших небесах, когда тут пробивается хоть одна зеленая былинка или два голоса звучат в потемках среди высоких колосьев. Мудры вы, но живете далеко, забыв о том, откуда пришли. А я не забываю. Так, значит, огненные повозки питают ваши храмы, говорите вы? Огненные повозки везут теперь тысячи паломников туда, куда в старину приходило не больше десятка? Верно. Сегодня это верно.

— Но завтра они умрут, брат, — сказал Ганеша.

— Молчи! — остановил бык Ханумана, который опять наклонился вперед, собираясь что-то сказать. — А завтра, возлюбленный, что будет завтра?

— Только вот что. Новое слово уже ползет из уст в уста в среде простых людей, слово, которое ни человек, ни бог удержать не могут, — дурное слово, праздное словечко в устах простого народа, вещающее (и ведь никому не известно, кто впервые произнес это слово), вещающее, что люди стали уставать от вас, небожители.

Боги дружно и тихо рассмеялись.

— А потом что будет, возлюбленный? — спросили они.

— Потом, стремясь оправдаться в этом, они, мои поклонники, в первое время будут приносить тебе, Шива, и тебе, Ганеша, еще более щедрые дары, еще более громкий шум поклонения. Но слово уже распространилось, и скоро люди станут платить меньше дани вашим толстым брахманам. Потом они станут забывать про ваши жертвенники, но так медленно, что ни один человек не сможет сказать, когда началось это забвение.

— Я знала... я знала! Я тоже говорила это, но они не хотели слушать, — сказала тигрица. — Нам надо было убивать... убивать!..

— Поздно. Вам надо было убивать раньше, пока люди из-за океана еще ничему не научили наших людей. А теперь мои поклонники смотрят на их работу и уходят

в раздумье. Они совсем не думают о небожителях. Они думают об огненных повозках и всех прочих вещах, сделанных строителями мостов, и когда ваши жрецы протягивают руки, прося милостыню, они неохотно подают какой-нибудь пустяк. Это уже началось — так поступают один или двое, пятеро или десятеро, и я это знаю, ибо я брожу среди своих поклонников и мне известно, что у них на душе.

— А конец, о шут богов? Каков будет конец? — спросил Ганеша.

— Конец будет подобен началу, о ленивый сын Шивы! Пламя угаснет на жертвенниках, и молитва замрет на языке, а вы снова станете мелкими божками — божками джунглей, просто именами, которые шепчут охотники за крысами и ловцы собак в чаще и среди пещер; вы станете тряпичными богами, глиняными божками деревьев и сельских вех, какими вы и были вначале. Вот чем все кончится для тебя, Ганеша, и для Бхайрона — Бхайрона простого народа.

— До этого еще очень далеко, — проворчал Бхайрон. — К тому же это ложь.

— Много женщин целовало Кришну. Они рассказывали ему эту сказку себе же в утешение, когда волосы их начинали седеть, а он пересказал нам ее, — едва слышно промолвил бык.

— Когда явились чужие боги, мы изменили их. Я взялся за женщину и сделал ее двенадцатирукой. Так же мы переделаем всех их богов, — сказал Хануман.

— Их боги! Речь не об их богах — о едином или о троице, о мужчине или женщине. Речь идет о людях. Это они меняются, а не боги строителей мостов, — сказал Кришна.

— Пусть так. Однажды я заставил человека поклоняться огненной повозке, когда она смиренно стояла, выдыхая пар, и человек этот не знал, что поклоняется мне, — сказал Хануман-обезьяна. — Люди только слегка изменяют имена своих богов. А я по-прежнему буду руководить строителями мостов; в школах Шиве будут поклоняться те, что подозревают и презируют своих ближних; у Ганеши останутся его махаджаны, а у Бхайрона — погонщики ослов, паломники и продавцы игрушек. Возлюбленный, люди изменяют только имена своих богов, а это мы уже тысячу раз видели.

— Конечно, они только и сделают, что изменят

наши имена, — повторил Ганеша; но боги забеспокоились.

— Они изменяют не только имена, — возразил Кришна. — Одного лишь меня они не смогут убить, пока дева и муж будут встречаться друг с другом, а весна приходит на смену зимним дождям. Небожители, я недаром бродил по земле. Мои поклонники еще не осознали того, что они уже знают, но я, живущий среди них, я читаю в их сердцах. Великие владыки, начало конца уже наступило. Огненные повозки выкрикивают имена новых богов, и это действительно новые боги, а не старые, прозванные поновому. А пока пейте и ешьте вволю! Окунайте лики свои в дым жертвенников, раньше чем те успеют остынуть! Принимайте дань и слушайте игру на цимбалах и барабанах, небожители, пока еще цветут цветы и звучат песни. По людскому счету времени конец еще далек, но мы, ведающие, полагаем, что он наступит сегодня. Я сказал все.

Юный бог умолк, а его собратья долго смотрели друг на друга в молчании.

— Этого я еще не слышал, — шепнул Перу на ухо своему спутнику. — И все же случилось, что, когда я смазывал маслом медные части в машинном отделении «Гуркхи», я спрашивал себя, правда ли, что наши жрецы так уж мудры... так мудры. День наступает, сахиб. К утру они уйдут.

Желтый свет растекся по небу, и по мере того как рассеивался мрак, шум реки менялся.

Внезапно слон громко затрубил, как будто человек ударил его по голове.

— Пусть судит Индра. Отец всего сущего, молви слово! Что скажешь о том, что мы услышали? Правда ли, что Кришна солгал? Или...

— Вы всё знаете, — произнес самец антилопы, поднимаясь на ноги. — Вы знаете тайну богов. Когда Брахма перестает видеть сны, небо, и ад, и земля исчезают. Будьте довольны. Брахма все еще видит сны. Сны приходят и уходят, и природа снов меняется, но Брахма все-таки видит сны. Кришна слишком долго бродил по земле, и все же я люблю его больше прежнего за ту сказку, что он нам рассказал. Боги меняются, возлюбленный, все, кроме одного!

— Да, все, кроме того бога, что родит любовь в сердцах людей, — молвил Кришна, завязывая узлом свой пояс. — Ждать осталось недолго, и вы узнаете, лгу ли я.

— Поистине, недолго, как ты говоришь, и мы это знаем. Вернись же снова к своим хижинам, возлюбленный, и забавляй юных, ибо Брахма все еще видит сны. Идите, дети мои! Брахма видит сны... И пока он не проснется, боги не умрут.

• • • • •
— Куда они ушли? — в ужасе проговорил ласкар, вздрагивая от холода.

— Бог знает! — сказал Финдлейсон.

Теперь и река и островок были освещены ярким дневным светом, но на сырой земле под пипалом не было видно никаких следов копыт или лап. Только попугай кричал в ветвях и, хлопая крыльями, стряхивал целый ливень водяных капель.

— Вставай! Мы окоченели от холода! Ну что, опиум выдохся? Можешь двигаться, сахиб?

Финдлейсон, шатаясь, встал и отряхнулся. Голова у него кружилась и болела, но действие опиума прошло, и, окуная в лужу свой лоб, главный инженер стройки моста у Каши спрашивал себя, как он очутился на этом островке, каким образом ему удастся вернуться домой и, главное, уцелело ли его творение.

— Перу, я многое позабыл. Я стоял под сторожевой башней, глядя на реку, а потом... Или нас унесло водой?

— Нет! Баржи оторвались, сахиб, и, — если сахиб позабыл об опиуме, Перу, безусловно, не станет напоминать ему об этом, — когда сахиб пытался снова их привязать, мне показалось, правда, было темно, что сахибахватило канатом и бросило в лодку. Ну, раз уж мы оба да Хитчкок-сахиб, так сказать, построили этот мост, я тоже соскочил в лодку, а она, так сказать, поскакала верхом, наткнулась на этот островок, разбилась вдребезги и выбросила нас на берег. Когда лодка отлетела от пристани, я громко крикнул, так что Хитчкок-сахиб обязательно приедет за нами. Что касается моста, то столько людей погибло, пока его строили, что он не может рухнуть.

Свирепое солнце, вытянувшее из промокшей земли весь ее аромат, пришло на смену грозе, и при его ярком свете уже не хотелось думать о ночных снах. Финдлейсон смотрел вверх по течению на блеск текущей воды, пока глаза его не заболели. Берега Ганги исчезли бесследно, а про мост и говорить нечего.

— Далеконько мы сплыли вниз, — сказал он. — Удивительно, что мы сто раз не утонули.

— Ничуть не удивительно — ведь ни один человек не умирает раньше своего срока. Я видел Сидней, я видел Лондон и двадцать других крупных портов, — Перу взглянул на сырой, облупленный храм под пипалом, — но ни один человек не видал того, что мы видели здесь.

— А что мы видели?

— Разве сахиб забыл? Или только мы, черные люди, видим богов?

— У меня была лихорадка. — Финдлейсон, несколько смущенный, все еще смотрел на воду. — Мне только чудилось, будто островок кишит людьми и зверями и все они разговаривают; впрочем, не помню хорошенько. Пожалуй, лодка могла бы теперь плыть по этой воде.

— Ого! Значит, так оно и было. «Когда Брахма перестает видеть сны, боги умирают». Теперь я хорошо понимаю, что он хотел сказать. Гуру тоже однажды сказал мне это самое, но тогда я не понял его. Теперь я умудрен.

— Что? — переспросил Финдлейсон, оглянувшись.

Перу продолжал, как бы говоря сам с собою:

— Шесть... семь... десять муссонов прошло с тех пор, как я стоял вахтенным на баке «Ривы», большого корабля компании, и был сильный шторм и волны, зеленые и черные, колотили нас, а я крепко держался за спасательный канат, захлебываясь водой. Тогда я вспомнил о богах, о тех самых, которых мы видели прошлой ночью. — Он с любопытством взглянул на спину Финдлейсона, но белый человек смотрел на разлив. — Да, я говорю о тех, которых мы видели прошлой ночью, и я взывал к ним, умоляя спасти меня. И пока я молился, все еще глядя вперед, налетела огромная волна и бросила меня на кольцо большого черного носового якоря, а «Рива» поднималась все выше и выше, кренясь на левый бок, и вода уходила из-под ее носа, а я лежал на животе, уцепившись за кольцо, и смотрел вниз, в эти великие глубины. И тогда я подумал, хоть и был на краю гибели: если я не удержусь, мне конец, и тогда не будет для меня ни «Ривы», ни моего места у камбуза, где варится рис, ни Бомбея, ни Калькутты, ни даже Лондона. Как могу я знать, сказал я себе, что боги, которым я молюсь, останутся и тогда? Только я это по-

думал, как «Рива» ткнулась носом вниз, вроде того, как падает молот, и все море целиком налетело и швырнуло меня назад, на бак и на полубак, и я очень сильно разбил себе голень о лебедку, но я тогда не умер, а вчера я видел богов. Они хороши для живых людей, а для мертвых... Это они сами сказали. Поэтому, когда я вернусь в поселок, я изобью гуру за то, что он говорит загадками, которые вовсе не загадки. Когда Брахма перестает видеть сны, боги уходят.

— Взгляни-ка туда, вверх по течению. Меня этот свет ослепляет. Нет ли там дыма?

Перу приложил руки к глазам.

— Хитчкок-сахиб — человек мудрый и проворный. Он не станет вверяться весельной лодке. Он занял у рао-сахиба паровой катер и поплыл искать нас. Я всегда говорил, что на стройке моста надо было держать для нас паровой катер.

Княжество бараонского рао лежало в десяти милях от моста, и Финдлейсон с Хитчкоком провели большую часть своего скудного досуга, играя на бильярде и охотясь на черных антилоп вместе с молодым владельческим князем. Лет пять-шесть его воспитывал английский гувернер, любитель спорта, и теперь он по-княжески проматывал доходы, скопленные в течение его несовершеннолетия индийским правительством. Его паровой катер с выложенными серебром поручнями, полосатым шелковым тентом и палубами из красного дерева служил ему новой игрушкой, которая очень мешала Финдлейсону, когда рао как-то раз приехал посмотреть на стройку моста.

— Нам здорово повезло, — пробормотал Финдлейсон, не переставая, однако, испытывать страх при мысли о том, какие новости ему сообщат про мост.

Яркая, синяя с белым, труба быстро двигалась вниз по течению. Уже можно было рассмотреть Хитчкока, стоявшего на носу с биноклем, и его необычайно бледное лицо. Тогда Перу окликнул их, и катер подошел к краю островка. Рао-сахиб в шерстяном охотничьем костюме и семицветной чалме помахивал своей княжеской рукой, а Хитчкок что-то кричал. Но ему не пришлось задавать вопросов, ибо Финдлейсон сам спросил про свой мост.

— Все хорошо! Господи, я никак не ожидал, что снова увижу вас, Финдлейсон. Вас снесло вниз на семь косов. Да, на стройке нигде и камня не сдвинуто,

но вы-то как себя чувствуете? Я занял катер у рао-сахиба, и он был так любезен, что поехал тоже. Прыгайте!

— А, Финлинсон, все в порядке, э? Это было совершенно беспримерное несчастье вчера вечером, правда? Мой княжеский дворец, он тоже протекает, как дьявол, а урожай погибнет во всех моих владениях. Ну, вы теперь отчаливайте, Хитчкок. Я... я ничего не понимаю в паровых машинах. Вы промокли? Вам холодно, Финлинсон? Здесь у меня найдется кое-что съедобное, и вы выпьете чего-нибудь крепкого.

— Я глубоко благодарен вам, рао-сахиб. Ведь вы спасли мне жизнь. Но как Хитчкоку удалось...

— Ох! Волосы у него стояли дыбом. Он примчался ко мне верхом среди ночи и разбудил меня, когда я покоился в объятиях Морфея. Я самым искренним образом огорчился, Финлинсон, и потому тоже поехал. Мой главный жрец сейчас очень сердится. Нам придется поспешить, мистер Хитчкок. В двенадцать сорок пять я обязан прибыть в главный храм княжества, где мы освящаем какого-то нового идола. Не будь этого, я попросил бы вас провести сегодняшний день со мной. Чертовски надоедают эти религиозные церемонии, Финлинсон, правда?

Перу, хорошо знакомый команде, взялся за руль и ловко направил катер вверх по течению. Но, правя рулем, он мысленно орудовал частично растрепанным проволочным линьком длиной в два фута, и спина, которую он хлестал, была спиной его гуру.

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
СТИХИ

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

ПИСЬМА МАРКА

(ФРАГМЕНТЫ)

О начале вещей.

О Тадже и заядлом путешественнике.

Молодой человек из Манчестера

и некоторые размышления на темы морали

Ноябрь—декабрь 1887 г.

Каждому, кроме тех, кто мчится в Бомбей по предписанию врача, полезно увидеть хоть часть великой Индийской империи и незнакомый народ, ее населяющий. Так приятно на время покинуть дом Риммона¹ — будь то контора или здание суда — и отправиться за границу исключительно по собственному желанию, по маршруту, не более определенному, чем путь лошади, покинувшей пастбище и вырвавшейся на волю. Первым плодом такой свободы является чрезвычайное замешательство, а вторым — такое состояние ума, которое, со всеми присущими ему изъянами, нормально для заядлого путешественника — человека, в считанные дни оставляющего позади страны и неделями пишущего о них книги. Этакое безрассудство не так странно, как кажется на первый взгляд. К тому времени, когда англичанин добирается до Индии морем или сушей через Америку, Японию, Сингапур и Цейлон, он способен — своими глазами видел это — в пять минут разобраться в лабиринте «Индиан Брэдшоу»² и объяснить старожилу, как и куда добираться поездом. Удивительно ли, что упоение

¹ Риммон — храм сирийского бога, синоним служебных учреждений.

² Расписание индийских железных дорог. Брэдшоу Джордж (1801—1853) — составитель карт и железнодорожных справочников.

успешным и стремительным приспособлением к окружающей действительности делает его излишне самоуверенным в его попытках постичь все вокруг, — однако полный рассказ о заносчивом путешественнике еще впереди. Он достоин быть героем книги. Будучи абсолютно праздным в течение месяца, его ум, как я уже сказал, ошибочно оценивает ситуацию, и после многочисленных споров, довольствуется старой и хорошо проторенной дорожкой — той, по которой мы в Индии не имеем времени ступать и оставляем ее своим кузенам из метрополии, тем, что по моде закидывают за спину свободный конец пагри¹, а к вознице икка-гхари² обращаются «кебмен».

В настоящее время Джайпур, с англо-индийской точки зрения, — вокзал на железнодорожной линии Раджпутана—Мальва по пути в Бомбей, на котором за полчаса можно пообедать и где тенты, защищающие от солнечных лучей, оставляют желать лучшего. Люди относительно осведомленные знают, что Джайпур славится гранатами, и на том наш кладезь сведений иссякает. Но мы отправляемся в путь не ради того, чтобы поправить здоровье, как говаривал знакомый торговец из Калькутты, и наше путешествие будет проходить преимущественно вдалеке от железной дороги.

По этим причинам, а также для изучения зимнего маршрута наших птиц, один из нескольких тысяч англичан, живущих в Индии, — место и время не имеют значения для нашего рассказа, — пожертвовал собственным престижем и заделался, невзирая на громадные неудобства, заядлым путешественником. Он отправился в Джайпур, оставив на время привычную, налаженную жизнь, а вместе с ней комиссаров и помощников комиссаров, губернаторов и вице-губернаторов, адъютантов, полковников и их жен, майоров, капитанов и младших офицеров и всех прочих, предоставив им возможность разъезжать, управлять, командовать, пререкаться и сражаться, а также продавать друг другу лошадей и злословить о соседях. Но перед тем, как он окончательно вошел в роль и мысленно свыкся со словами, которые он скажет носильщику на вокзале: «Пожалуйста, возьмите багаж», — он увидел из окна Тадж, окутанный утреним туманом.

¹ Пагри — тюрбан.

² Икка-гхари — наемный экипаж.

Рассказывают о французе, который, не боясь ни бога, ни черта, приплыл в Египет с одной лишь целью осмеять пирамиды и — хотя в это трудно поверить — Наполеона, сражавшегося у их подножия. История говорит, что галл-богохульник рыдал от благоговения и искренне-го раскаяния: он принадлежал к сентиментальной расе. Чтобы понять его чувства, нужно было прочесть кучу всего о Тадже; о плане постройки и размерах, видеть ужасные изображения его на выставке изящных искусств в Симле, слышать похвалы, расточаемые более опытными друзьями-путешественниками до тех пор, пока одно упоминание этого слова не стало вызывать в душе отвращение, и, не выспавшись, с тяжелыми веками, неумытым, продрогшим, неожиданно увидеть его. Допустим, что при таких обстоятельствах все в пользу холодного, критического, но не слишком беспристрастного суждения. Как только англичанин выглянул из вагона, он первым делом увидел на горизонте опаловые облака, а затем какие-то башни. Туман стелился по земле, казалось, над нею парит сияние; вдали туман рассеивался, так что очень скоро все можно было четко разглядеть. По мере того как поезд двигался вперед и туман смещался, а солнце пробивалось сквозь мглу, Тадж принимал сотни новых очертаний, одно совершеннее другого и ни одно не поддающееся описанию. Это были Врата из Слоновой Кости, откуда приходят все прекрасные сны; это была сверкающая обитель зари наяву, воспетая Теннисоном, это было поистине «застывшее дыхание», «вздох в камне», по словам другого, не столь значительного поэта; превосходя все реальные сравнения, он казался воплощением всего самого чистого, святого и грустного. Такова загадка этого сооружения. Может быть, его околдовал туман, а ярким солнечным днем Тадж выглядит величественным зданием, как пишут в путеводителях. Англичанину трудно было судить, и он дал зарок никогда не приближаться к этому месту, чтобы не разрушить очарование неземных куполов.

Возможно, каждый должен смотреть на Тадж собственными глазами, вырабатывая свою интерпретацию увиденного. Верно и то, что человек не может холодным умом и еще более холодными чернилами передавать бумаге свои впечатления, если он хоть немного взволнован.

Тем ноябрьским утром, глядя с восхищением на

мавзолее, путешественник испытал чувство горечи: он сожалел о человеке, который построил его для любимой женщины, и о тех умельцах, кому строительство стоило жизни, кого использовали как рабочий скот. И, вопреки этой печали, Тадж сиял в лучах солнца и был прекрасен, как праведница.

Вот поезд пробежал под стенами форта Агры, и другой — поезд мыслей, отрывочных, как видно из вышесказанного, — завершил свой путь. Дадим возможность тем, кто глумился над чрезмерными восторгами, взглянуть на Тадж и тут же умолкнуть. Полезно получить урок почтительности и благоговения на пороге путешествия.

Но у путешественника нет никакого благоговейного трепета: он беззастенчив. Молодой Человек из Манчестера ехал в Бомбей, рассчитывая — горько сказать — быть дома к Рождеству. Объехав Америку, Новую Зеландию и Австралию и обнаружив, что в Бомбее у него остается еще десять дней, он задался скромной идеей осмотреть Индию. «Я не скажу, что видел все, но можно сказать, что я видел достаточно». Затем следовали объяснения, «как понравилось» в Агре, «как понравилось» в Дели, и откровенное надувательство было в словах «безумно понравился» Тадж. Казалось, и вправду он собирался и дальше идти по жизни со словами «так понравилось» по любому случаю. С редкой оригинальностью и блеском он отметил, что Индия «огромна» и что там много чего можно купить. Поистине, Молодой Человек был находкой для делийских коробейников. Он купил шали и вышивки «на некоторую сумму» рупий, определенную заранее, а на другую сумму купил ювелирных изделий. То были подарки домой для друзей, которые он считал «очень восточными». Если серебряные филигранные украшения, имитирующие французскую работу XVIII века, или синие шарфы, крашенные искусственным индиго, являются восточными, то он преуспел в осуществлении сокровенных желаний. Установлено, что по каким-то загадочным причинам человек испытывает удовольствие, делая своего собрата несчастным. Англичанин стал было мрачно уточнять, насколько надули Молодого Человека из Манчестера, но Молодой Человек сказал: «Господи! Молчите. Терпеть не могу быть обманутым. Больше всего на свете ненавижу, когда меня надувают».

Он был так счастлив от мысли «быть дома к Рожде-

ству» и так чарующе словоохотлив, поведав о том, какие подарки он приготовил родственникам, что Англичанин перестал говорить об обмане и утешил его тем, что, в конце концов, его не так уж сильно и надули. Но и это замечание оказалось неуместным, ибо Молодой Человек из Манчестера выглянул в окно, широко простер руки, как бы охватывая Империю, и совершенно спокойно сказал: «Вот. Посмотрите. Вы знаете, все эти колодцы устроены неправильно». Колодцы работали при помощи колеса и системы уступов, но ему не понравилась наклонная плоскость, и он сказал, что лучше бы быки двигались по ровной поверхности. Потом его вдруг осенило: «Может быть, это для тренировки. Вы знаете, лошади уже не пригодны после работы на буксире вдоль канала. Они могут двигаться только по ровному месту, думаю, что и с быками то же самое». Очевидно, отроги Аравали, под которыми шел поезд, подсказали ему эту блестящую идею, не встретившую возражений, так как Англичанин смотрел в окно.

Если кому-нибудь хватит смелости создать собирательный образ путешественника, то нетрудно выстроить теорию, основанную на случае с колодцем, объясняющую очевидное безумие кое-кого из тех, кто посещает Индию в прохладный сезон. Даже Молодой Человек из Манчестера за тридцать секунд сумел развить совершенную идею дрессировки быков, вращающих колодезное колесо на Востоке. Мог ли цивилизованный наблюдатель, с вашего позволения, гражданин Англии, ошибиться грубее, истолковать неправильнее и нелепее? Мы, живущие в этой стране, не имеем времени вырабатывать идеи, достойные внимания праздного тевтонского ума.

Быть может, зависть побудила столь сурово осудить Молодого Человека из Манчестера, ибо в то время, как поезд нес его из Джайпура в Ахмедабад, счастливого в ожидании «Рождества в кругу семьи», довольного, как ребенок, своими делийскими безрассудствами, розовощекого, с пышными бакенбардами, чрезвычайно самоуверенного. Англичанин, чьим домом надолго был отвратительный бунгалообразный отель, с горечью думал о его отъезде: ведь он точно знал, к какому теплomu, радушному, полному родственников-домоседов британскому очагу спешит Молодой Человек. Приятно изображать из себя заядлого путешественника, но полностью войти в роль может лишь тот, кто «едет домой на Рождество».

*О прелести Раджпутаны и Джайпура,
города путешествующих.*

О его основателях и его красотах.

*Объясняется польза и предназначение коневодства,
но не объясняются
другие важные вещи*

Если земли, усыпанные костями мертвецов, имеют особые права на известность, то Раджпутана, арена боевых действий в истории Индии, среди них — первая. К востоку от Суэца люди строят башни на вершинах холмов не для того, чтобы обозрывать окрестности, и опоясывают горы крепостными стенами не для того, чтобы держать внутри них скот. Испокон веков, если верить легендам, шла борьба — героическая борьба — у подножия гор Аравали и за их пределами, в песках Великой пустыни, которые природа замкнула этими милыми горами, чтобы пески не поглотили сердце Индии. «Тридцать шесть царских кланов» сражались так, как только могут сражаться цари, Чоханы против Раторов, брат против брата, сын против отца. В более поздние времена лишь отрывки запутанной истории насилия, обмана, безумной любви и еще более безрассудной мести, демонических преступлений и божественных благодеяний может найти каждый, кто хочет, в книге человека, любившего раджпутов и посвятившего им труды своей жизни. От Дели до Абу, от Инда до Чамбала каждый ярд земли свидетельствует о разбое, грабеже и насилии. Однако сегодня столица государства, которую Дхола Раи, сын Сура Сингха, более девяти столетий назад мечом отнял у какого-то более слабого правителя, освещается газом и может похвастаться многими английскими чудесами.

В свое время Дхолу Раи убили, и девятьсот лет Джайпур, раздираемый интригами буйных князей и князьков, был повержен в пучину сражений.

Когда и как Джайпур оказался в британском подчинении и каким образом мы запятнали честь раджпутов — щепетильных в отношении чести, как патаны, — обо всем этом путешественник знает больше нас. Он «специально изучает» — цитирую его же слова — город перед посещением, а спеша в другой, забывает или, что еще хуже, путает все, что выучил; так что в конце концов приписывает раджпутов к маратхам, говорит, что

Лахор находится в Северных провинциях и когда-то был столицей Шиваджи, и жалобно выпрашивает у всех «путеводитель по Индии, чтобы возить его с собой в чемодане, вы знаете, — такой, что дает ясное описание вещей, не сбивая вас с толку». Какая возможность для писателя небеспристрастного и бессовестного!

Но вернемся в Джайпур — розовый город, расположенный на краю голубого озера и окруженный низкими, красными отрогами гор Аравали, — город, способный вас озадачить, но который стоит посмотреть. Был такой правитель здешнего государства по имени Джай Сингх, который жил во времена Аурангзеба¹ и оказывал ему помощь пехотой и кавалерией. Ему суждено было стать Соломоном Раджпутаны, так как в течение сорока четырех лет правления его «Мудрость оставалась при нем». Он был полководцем, а после сражений занимался литературой, он отчаянно и успешно интриговал, но находил время глубоко проникать и в тайны астрономии, и, судя по тому, что осталось на поверхности земли, можно сказать: имел все, чего глаза его желали. Зная себе цену, он покинул город Амбер, основанный Дхолой Раи в горах, и приказал архитектору Видьяхару построить новый город шестью милями дальше на открытой равнине, такой, какой раньше редко строили в Индии, — с большими улицами, прямыми, как стрела, шириной в шестьдесят ярдов, с перекрестками широкими и прямыми. Много лет спустя добрые люди Америки строили по такому образцу свои города, но, не зная ничего о Джае Сингхе, все заслуги приписали себе.

Он строил все, что хотел: и дворцы, и сады, и храмы, а когда умер, то был похоронен в беломраморной гробнице на холме, возвышающемся над городом. Он был предателем своего клана, если не лжет история, и был законченным убийцей, но всеми силами препятствовал детоубийству, исправил мусульманский календарь, собрал прекрасную библиотеку и сделал Джайпур чудом света.

Позднее пришел его преемник, образованный и просвещенный всеми светильниками британского прогресса, и превратил город Джая Сингха в нечто поразительное — в огромный беспорядочный балаган. Он выложил

¹ Аурангзёб (1618—1707) — император из династии Великих Моголов.

роскошные тротуары из тесаного камня и тем же камнем — проезжую часть главной улицы. Следует отметить, что он, полковник Джекоб, главный инженер державы, разработал городскую систему водоснабжения и утыкал дороги водокачками. Он осуществил газификационные работы, основал школу искусств, музей — вещи столь необходимые для западного благополучия и уюта, и понял, что лучшего и пожелать нельзя. Неизвестно, как много полковник Джекоб сделал бы не только для блага Джайпура, но и для блага страны в целом, потому что офицер, о котором идет речь, принадлежит к тому отнюдь не узкому кругу людей, кто решительно не желает распространяться о своих трудах. Плоды добрых трудов таковы, что старое и новое, только-только произведенное на свет и мрачное старье стоят бок о бок, создавая поразительный контраст. Так клейменный бык, вывозящий городской мусор, легко перешагивает через стальные рельсы трамвая; лакированная раскрашенная тележка, запряженная парой маленьких рогатых волов, задевает своими первобытными колесами за чугунный газовый фонарный столб с медной горелкой наверху, и вся Раджпутана, ярко одетая, щеголяющая в маленьких тюрбанах Раджпутана, движется по великолепным тротуарам.

Холмы, увенчанные крепостью, смотрят вниз на эту странную мешанину. На склоне одного из них красуются большие белые буквы приветливой надписи: «Добро пожаловать!» Она была сделана во время поездки принца Уэльского в Джайпур для первой охоты на тигра, но сегодня рядовой путешественник считает, что надпись предназначена ему, потому что Джайпур заботится о чужестранцах и учтив со всеми. Это, между прочим, развращает заядлого путешественника, который первым делом поднимает крик: «Где достать лошадей? Где достать слонов? Кому на все пожаловаться?»

Благодаря любезности махараджи, можно осмотреть все, но для любознательных, для тех, кто не переносит принудительного осмотра достопримечательностей, дневная прогулка по одной из главных улиц является увлекательнейшим занятием. Ничто не препятствует взору, как и на Елисейских полях, но вместо белокаменных фасадов Парижа встает длинная череда ажурных оконных решеток преимущественно розового, коричнево-розового цвета, а хозяева домов обладают неограниченным правом украшать свои жилища как кому

вздумается. Общепризнано, что Джайпур — индусский город, и спустя короткое время даже наш путешественник приучается называть эту пышную многоарочную архитектуру индусской. Она не без излишеств, и не выдержана в едином стиле, но зато утоляет желание ищущих нечто «истинно индийское». Извращенное пристрастие к людям низкого происхождения заставило англичанина сойти с тротуара, — прогулка по настоящему мощеному тротуару сама по себе является привилегией, — и увлекло его в боковую улочку, где он стал свидетелем перепелиного боя и обнаружил радушие и приветливость низкородного раджпута. Хозяин птицы, потерпевшей поражение, был кавалеристом армии махараджи. Он рассказал, что ему платят жалованье каждые два месяца из расчета шесть рупий в месяц. У него вычитают стоимость рубашки цвета хаки, личного снаряжения из коричневой кожи и солдатских ботинок; копьё, седло, меч и коня дают бесплатно. Он отказался сказать, сколько месяцев в году проводит на боевых учениях, но туманно объяснил, что он преимущественно эскортирует определенных особ и у него к ним нет никаких претензий. Поражение бойцового перепела огорчило его, и он стремился внушить сахибу, что конники армии Его высочества отличные наездники. Неловкая попытка похвалы воспламенила его воинственную кровь, и, вскочив в седло, он пытался тут же продемонстрировать свое искусство верховой езды. Дорога была узкой, копьё длинное, а лошадь крупная, но никто не протестовал, и англичанин, устроившись на крыльце, наблюдал за затеей. Лошадь казалась смутно знакомой. Голова ее была не сухой, как у катхиаварской породы, а грива не такая, как у марварийской, передние ноги не были приспособлены к здешней каменистой местности. «Откуда конь?» Всадник указал на север и сказал: «Из Амритсара», но произнес: «Амртзар». Много лошадей купили на весенних ярмарках в Панджабе, они стоили около двухсот рупий каждая, возможно, и больше, всадник не мог точно сказать. Некоторых привезли из Гиссара и из других мест далеко от Дели. Это были очень хорошие лошади. «Вон тот конь, — он указал на одну, стоящую невдалеке, — сын крупной лошади из правительственных конюшен, сиркар¹ вывел эту племенную породу, он очень дорогой!»

¹ Здесь: господин.

Хозяин «того коня» с подвязанной по-сикхски бородой и пышными усами, важно расхаживая, оценил взгляд англичанина, брошенный на его лошадь: купил, конечно, еще жеребенком. Оба сказали, что сахибу лучше всего осмотреть конюшни махараджи, где сотни лошадей, огромных, как слоны, и крошечных, как овцы.

Таким образом, в конюшни англичанин отправился, заранее зная, что он там увидит, и желая узнать, действительно ли «большие лошади» сиркара предназначались для пополнения раджпутской конницы. Конюшни махараджи — царские по размеру и благоустройству. Они расположены вдоль огороженной территории длинной около полумили — пространство, достаточное как для выездки, так и для выгула молодняка. Лошади, числом около двухсот пятидесяти, содержатся на подстилке из чистого белого песка, — плохо для шкуры, если они захотят поваляться, но хорошо для копыт, — загородки из белого мрамора, привязь всегда из хорошей крепкой веревки, а конюшни везде идеально чистые. В каждом стойле над яслями есть забавная койка для саиса, и если он ею пользуется, то непременно должен когда-нибудь в жаркий сезон умереть в ней.

Путешествие по конюшне удручает из-за того, что сопровождающие стремятся урвать плату и делают это слишком откровенно. Немногие в Индии наделены даром запомнить однажды увиденную лошадь и узнавать потомство каждого когда-либо встреченного жеребца. Англичанин готов был все отдать в эту минуту, чтобы быть одним из таких знатоков. Он был не бог весть какой лошадики, тем не менее определенно чувствовал, что не одной и не двум холеным, хорошо ухоженным, выросшим на свежем воздухе лошадям следовало бы засвидетельствовать свое присутствие в рядах британской кавалерии, вместо того чтобы портить себе желудки шестью серами¹ грама² и одним сером сахарного тростника *per diem*³. Но всех их честно купили и заплатили за них сполна, и ничто в мире не могло бы остановить Его высочество, если бы он возжелал прибрать к рукам цвет и гордость породистых лошадей в Панджабе. Провожатые с очевидным злорадством и с излишней выразительностью очень громко произносили слово

¹ Сер — мера веса, приблизительно 1 кг.

² Грам — горошек.

³ В день (*лат.*).

«чиштокровный», отбрасывая назад свободный конец набедренной повязки. Иногда они ошибались, но в большинстве случаев были правы.

Англичанин покинул конюшни и огромный центральный майдан — манеж, где норовистого коня из породы белуджи при помощи замечательно переплетенных веревок обучали «обезьяньим прыжкам», и вышел на улицу, размышляя о результатах коневодства под эгидой правительства Индии и о преимуществах неограниченных денег, с помощью которых получают прибыль, пользуясь ошибками других.

Затем, как случилось с великим Тартареном из Тараскона, зарычали дикие звери, и толпа маленьких мальчиков засмеялась. Львы Джайпура — тигры, сидящие в клетках в оживленном месте на забаву публики, свистящей и нарушающей их королевский покой. Два или три из шести огромных животных были великолепны. Все они были разъярены, а решетки их узилища не слишком прочны. Бездомная собака пыталась украдкой выцарапать кусочек мяса сквозь прутья клетки, узник которой был милостив. Осмелев, попрошайка зарычала, тигр ударил ее лапой, и собака убежала, воя от страха. Она вернулась с двумя приятелями, и все трое дразнили узника издали.

Зрелище было не из приятных и наводило на мысль о путешественниках — господах, которые воображают, что им по первому велению подадут сколько угодно экипажей, и, не обманувшись, окончательно наглеют.

* * *

*Ни в коей мере не описывается мертвый город Амбер,
но даются подробные сведения о хлопковом прессе*

А что можно сказать об Амбере, королеве крепостей: Джай Сингх заставил свой народ сменить этот город на другой, как змеи меняют кожу?¹ Путешественник уверит вас, что это должно было «произойти» во что бы то ни стало, и здесь он в кои-то веки совершенно прав. Амбер расположен в шести-семи милях от Джайпура среди беспорядочно разбросанных холмов, и он

¹ Амбер был столицей княжества до 1728 г., когда Джай Сингх положил начало Джайпуру.

достигим таким прозаическим транспортом, как икка-гхари, а также таким неудобным, как слон. Слона предоставляет махараджа, а люди, живущие за счет Индии, склонны принимать его услуги как нечто само собой разумеющееся.

Встаем очень рано утром, когда еще не погасли звезды, и едем через спящий город, пока тротуар не уступает место кактусам и песку, а образовательные и просветительские учреждения не сменяются миллионами полуразрушенных индийских храмов — бурых, выцветших от непогоды, подбирающихся к берегам великого озера Ман-Сагар, где еще больше пришедших в упадок храмов, дворцов и земляных насыпей. Водоплавающие птицы обитают в затопленных водой аркадах, а крокодилы зарываются под фундаменты колонн. Все это выглядит как логичная прелюдия к руинам Амбера. За Ман-Сагаром нынешняя дорога взбирается в гору, а рядом с ней давнишняя, вымощенная огромными каменными глыбами, утопленными в бетон. По этой дороге армии Амбера шли в бой. Тройная стена окружает город, и за третьими воротами дорога спускается в долину Амбера. В полумраке рассвета великий город, зажатый горами и с трех сторон подступающий к озеру, едва различим; и ждешь городского шума, который должен возникнуть, едва забрезжит день. Воздух в долине очень холодный. Светлеет, Амбер является взору, и путешественник понимает, что это город, который никогда не проснется. Несколько человек из касты мина¹ живут в хижине на краю долины, но храмы, часовни, дворцы и расположенные ярусами дома безлюдны. В расщелинах стен растут деревья, молодая поросль заслоняет окна, а кактусы заглушили улицы. Путешественник держит путь по склону горы к огромному дворцу, который возвышается надо всем, кроме красной крепости Джайгхар, стража Амбера. По мере того как слон преодолевает крутой подъем по выложенным камнем дорогам, сооруженным на горных склонах, англичанин заглядывал в пустые дома, в одном из которых сидела маленькая белка и скребла ушки. По крышам гулял павлин, а внутри дома жил голубь. Англичанин проследовал через обитые железом ворота на петлях, изъеденных ржавчиной, мимо стен, коронованных плюмажем из травы, и сквозь многие другие ворота, пока

¹ Мина — каста воинов в Раджастхане.

наконец не достиг дворца; он неожиданно попал в большой четырехугольник, где два заносчивых жеребца, с шорами, покрытые красными с золотом попонами, ревом и ржаньем задирали друг друга из противоположных концов громадного пространства. На короткое время только они были зримыми живыми существами и прекрасно гармонировали со здешним духом. Затем появились какие-то работники, поэтому создавалось впечатление, что махараджа держит старый дворец своих предков в хорошем состоянии; это были люди нового времени и небескорыстные: их еле-еле оторвали от пол путешественника. До некоторой степени обширный опыт осмотра дворцов подсказал ему, что лучше всего лицезреть дворцы в одиночестве, так как представитель Востока в качестве провожатого неразборчив и более ценит крыши из рифленого железа и глазурованные водостоки.

Итак, англичанин вошел во дворец, построенный из камня, на каменном фундаменте, среди отвесных скал, добравшись до него по каменной дороге, — ничего, кроме камня. Вскоре он случайно набрел на маленький храм богини Кали, жемчужину резьбы по мрамору и инкрустации, очень темный и очень холодный в этот утренний час.

Если верить Виолле-ле-Дюку ¹, здание отражает характер его обитателей, и, следовательно, для выросших в восточном дворце должно быть немислимым думать прямолинейно, или свободно говорить, или — но здесь анналы Раджпутаны противоречат теории — действовать открыто. Тесные, темные комнаты, узкие коридоры с гладкими стенами и нишами, в которых человек может скрытно поджидать врага, лабиринт лестниц вверх и вниз, ведущих в никуда, вездесущие резные мраморные решетки, способные как много скрыть, так и много обнаружить, — все это дышит заговором и разоблачением заговорщиков, союзом и кознями. В жилом дворце, где осматривающий достопримечательности знает и чувствует, что кругом люди, и где его сопровождают дюжины невидимых глаз, возникает почти невыносимое ощущение. В безжизненном дворце — некрополе любви и ненависти столетней давности, тайных заговоров, имевших своим следствием, — хотя ста-

¹ Виолле-ле-Дюк (1814—1879) — французский архитектор, историк и теоретик архитектуры.

рым интригам это и было невдомек, — что их посетит британский турист с путеводителем и в пробковом шлеме, чувство подавленности уступает место глубокому любопытству. Англичанин бродил по всем уголкам дворца, потому что никто не препятствовал ему, даже призраки мертвых королей — через двери, украшенные слоновой костью, в женскую половину дворца, где когда-то вода струилась по высеченному, из мрамора, желобу. Лианы душили переплеты решетки, в одной из стенных ниш лежал прах старых птичьих гнезд. Неужели изящная ножка легкомысленной красавицы, которой довелось владеть большей частью библиотеки Джая Сингха, когда-либо ступала за резную решетку в ухоженный сад Обитатели Наслаждений? И здесь ли, в сорокаколонной аудиенц-зале, был объявлен приказ о казни правителя Бирджугхара, и с какой стены король высматривал всадников, со звонким топотом приближающихся к дворцу по крутой каменистой тропинке, везя у седельных лук головы воинов Раджора? В каждой придворной зале, и келье, и башне можно было задаться бесчисленными вопросами, но в ответ услышать лишь воркованье голубей.

Если некто жаждет прекрасного, то красоты во дворце более чем достаточно, как предостаточно и могущества. Царственные особы наслаждались инкрустацией и резьбой по мрамору, стеклом и красками, всем, что сейчас являет собой запустение и разорение, а прежде ласкало глаз величием и роскошью. Но любое описание художественных достоинств дворца если и возможно, то утомительно. Знаток посетит его, когда предоставится случай и время, а затем шаг за шагом представит себе, какой буйной, роскошной и жестокой была жизнь, конец которой положили наши губернаторы и вице-губернаторы, комиссары и их помощники, полковники и капитаны, а также младшие офицеры.

С верха дворца вы можете, если пожелаете, прочитать Книгу пророка Иезекииля, запечатленную в камне на склонах гор. Поднимаясь вверх, англичанин видел город снизу или на одном с собой уровне. Теперь он заглянул в самое сердце города — сердце, которое перестало биться. На грустных улицах не было слышно ни людей, ни животных, ни звука жерновов — ничего, кроме воркованья голубей. На первый взгляд казалось, что город вовсе не был разрушен: скоро выйдут женщины на крыши домов и зазвонят в храмах ритуальные

колокольчики. Но, пытаясь проследить за витиеватыми улицами глазами, англичанин увидел, что они исчезают в лесных зарослях и среди поваленных каменных глыб, а некоторые дома сверху донизу прорезаны огромными трещинами, с дырами, через которые проникало утреннее солнце. Карнизы над окнами были обломаны, резные решетки выпали, бесстыдно явив свету комнаты зананы. На окраинах города дома с крепкими стенами исчезали, — оседая, они превращались просто в груды камня со слабыми признаками цоколя и стен, трудно-различимых на фоне каменной местности. Тень от дворца закрывала две трети города, а деревья ее сгущали. «Тот, кто склонился над мертвым»¹ спустя время, о чем пишет Байрон, знает, что смерть меняет облик человека, черты его лица тускнеют. Так же ужасно выглядит королева горных крепостей, и, осознав это однажды, изумляешься, что возможно верить в ее бывшее существование. «Гробы его поставлены в самой глубине преисподней, и полчище его — вокруг гробницы его» — таков этот город, «брат Пафроса, Цоана и Но»².

Движимый исключительно инстинктом жителя Британских островов, англичанин поднял кусок штукатурки и швырнул его с дворцовой стены в темноту улиц. Он задел крышу дома, отскочил на оконный карниз, откуда упал на маленькую площадку, — звук удара был глухой и отразился эхом, как звук упавшего в колодец камня. Потом звук канул в тишину, пока ее снова не нарушило ржанье жеребцов, привязанных в отдаленном дворе внизу. Может быть, и велико чувство одиночества в индийской пустыне, тянущейся на запад, и одиночество в открытом море, но безысходная тоска Амбера превосходит одинокое отчаяние суши и моря. Сотни тысяч людей должны были трудиться в поте лица своего на крепостных стенах: громоздящиеся на стенах храмы и бастиионы, крепость, надо всем возвышающаяся, желоба, по которым в свое время подавалась вода во дворец, и сад посередине озера, раскинувшегося в долине. Ренан³ мог бы запечатлеть день сегодняшний пером, а Верещагин — кистью.

Придя к такому удачному умозаключению, англича-

¹ Книга пророка Иезекииля, 32, 23.

² Книга пророка Иезекииля, 30, 14.

³ Ренан Жозеф Эрнест (1823—1892) — французский писатель.

нин спустился во двор, к слону, по дворцовым покоем, миновав с десяток маленьких комнат, наводящих на злокозненные мысли; в свое время, в девятнадцатый век, путешественника вернул пресс для киповки хлопка, принадлежащий Его Высочеству махарадже и дающий прибыль двадцать семь процентов; он был снабжен двумя двигателями мощностью в пятьдесят лошадиных сил и гидравлическим прессом, способным создавать давление в три тонны на квадратный дюйм, а также всем остальным, что ему полагалось. Он находился под аккуратным навесом из рифленого железа недалеко от джайпурского железнодорожного вокзала и был в совершенном порядке, но как-то не приходился по вкусу после Амбера. В машинах было что-то вызывающее, и пахло хлопком-сырцом.

Не следует смешивать нынешний день Джайпура и день минувший.

* * *

О Храме Махадэвы¹ и способах обозрения Индии.

Что знает человек у водооя.

Глас народа и о чем он поведал.

Больница и ее обитатели.

Дворец Джайпура и его строители

От хлопкового пресса англичанин побрел по широким улицам, пока не дошел до индусского храма, богато отделанного мрамором и инкрустацией; глубокая и спокойная тишина его напоминала тишину государственной публичной библиотеки. Бронзовый бык был увешан гирляндами цветов, а перед статуей Махадэвы люди возжигали благовония к вечернему богослужению; совершившие молитву звонили в колокольчики, свисавшие с крыши, и уходили с уверенностью, что Бог услышал их. Если на Востоке и сильнее религиозное чувство, то в совершении богослужения здесь, с точки зрения европейцев, недостаточно благоговения. Крошечная девочка, дочь жреца, чудовищно безобразного и с глазами навывкате, проковыляла по мраморному проходу к алтарю и, заливаясь детским смехом, бросила цветы на колени самому Махадэве. Потом она подпрыгнула, пытаясь дотянуться до колокольчика, и, смеясь, убежала в тень келий за ал-

¹ Махадэва (Великий Бог) — одно из имен бога Шивы.

тарем; ее отец объяснил, что она всего лишь ребенок, и Махадэва не будет в обиде. Он сказал, что храм пользуется особым покровительством махараджи и ежегодно имеет доход двадцать пять тысяч рупий от земель. Тхакуры¹ и уважаемые люди также одаряют его благостыней, и ничто во всем свете не препятствует англичанину последовать их примеру.

Уже смеркалось, — Амбер и хлопковый пресс отняли массу времени — и жрецы сняли с крючков висячие карбидные лампы, дабы газом осветить бесстрастное лицо Махадэвы. Пользовались они шведскими спичками.

Ночная тьма вернула его в гостиницу, в этот любопытнейший людской зверинец.

Существует мир, недоступный будничной жизни, государство в государстве, мир за пределами и вне связей с Британской станцией², где никто ничего не знает о жене налогового инспектора, об ужине у полковника и о том, что на самом деле случилось с инженером. Он возбуждает ненасытное любопытство, и его настольная книга — справочник «Брэдшоу» Ньюмана. В нем бродят «торговцы старинным оружием» и прочие, а также продавцы поделок из граната и мастера по изготовлению древних раджпутских щитов.

Мир несведущих простаков за границей — трогателен и простодушен, и сама его атмосфера бессознательно толкает евразийца на нелепую ложь. Стоит ли удивляться, что, долго служа гидом, человек со временем превращается в законченного лгуна.

Иногда в этот мир вламывается англичанин, возвратившийся из отпуска, или морской бродяга, и его присутствие заметно, как вежа в пустыне. Торговцы старинным оружием знают и избегают его, его ненавидят возницы наемных экипажей, которые называют каждого «милорд» по-английски и являются поборниками «вопиющего расизма», говоря, что все экипажи, кроме их собственного, «дрянные, милорд, в них возят туземцев». Одна из их привилегий — воздействие на туриста при помощи присвоения ему титула «лорд». «Хазур»³ не идет с этим званием ни в какое сравнение.

¹ Тхакур — здесь: брахман.

² Британская станция — в Британской Индии место жительства британской администрации и их семей или расположение гарнизона.

³ Хазур — правильное «хузур». Обращение слуги к господину.

Существует множество весьма любопытных способов обозрения Индии. Один из них — купить наиболее «золястые» романы Золя и в английском переводе и читать их на веранде от завтрака до ужина. Другой же, еще более простой, можно назвать по его сути чисто американским. Возьмите справочник «Брэдшоу» Ньюмана и синий карандаш, мчитесь по всей Империи с севера на юг, отмечая галочками названия «увиденных» железнодорожных станций. Чтобы сделать это на совесть, строго сверяйтесь с надписями на вокзалах и составляйте свое мнение при помощи увиденного из вагонного окна. Своими глазами видел оба метода в действии со всем размахом, и в конечном счете первый из них достоин большего одобрения.

Но отдадим должное уважение современным чертам Джайпура. Трудно писать о никелированной цивилизации, обосновавшейся у подножия древних гор Аравали в первом государстве Раджпутаны. Кажется, что красно-серые холмы насмеются над ней, а вечно движущиеся песчаные дюны не обращают на нее никакого внимания, ибо наступают на фундаменты фонарных столбов, украшенных монограммами и увенчанных коронами, и забивают стрелки аккуратных трамвайных линий неподалеку от гидротехнических сооружений, являющихся аванпостом культурной жизни Джайпура.

Бегите из города в сторону железнодорожного вокзала, пока вам не повстречаются кактусы, и глинистый склон, и пресс для киповки хлопка, принадлежащий махарадже. Пройдите между трамвайными путями и выбоиной, по которой идут верблюды, пока ваша нога по щиколотку не уйдет в мягкий песок и вы не выйдете к холмикам и кочкам, поросшим развевающимися пучками травы, где порхают попугаи, и окажетесь у кромки бескрайней пустыни. Здесь, если вы шли по дороге, вы обнаружите плотину, облицованную камнем, огромный водоем и насосное оборудование настолько прекрасное, насколько может желать душа муниципального инженера: чистая вода, крепкие трубы и двигатели в хорошем состоянии. Если вы принадлежите к тем, кого презрительно величают «способными и разумными муниципальными властями» в системе британского правления, спуститесь к водоему, зачерпните ладонью воды и выпейте ее, одновременно думая об изъятиях города, откуда вы приехали. Этот опыт вам будет полезен.

Относительно системы водоснабжения существует статистика, она расскажет о работе «насосов тройного действия с плунжерными поршнями», о подаче и расходе воды, что следовало бы знать читателю-профессионалу. Они неинтересны непрофессионалам, не желающим ничего знать, кроме отлично действующего городского водопровода.

В то время как англичанин готовил в уме язвительные упреки, обличающие промахи знакомого ему муниципалитета, в песках замаячил верблюд; его седок, спасаясь от пыли, был по уши закутан на манер мумии. Очевидно, человек был чужим в этих местах, так как он остановился и спросил англичанина про водопой. Он был хорошо воспитан и крайне терпеливо перенес постыдное незнание англичанином его родного диалекта. Он прибыл из деревни с непроизносимым названием, в тридцати косах отсюда, чтобы повидать сына своего брата, который лежал в больнице. Пока верблюд пил, человек говорил, откинувшись на его горб. Он ничего не знал о Джайпуре, кроме имен некоторых англичан, соорудивших водоснабжение и построивших госпиталь для оказания помощи сыну его брата.

Джайпур наделен любопытной особенностью, правда, к счастью, она характерна не только для него. Когда более пятидесяти лет назад покойный махараджа взшел на престол, его царская воля и желание были направлены на развитие Джайпура. Никого не интересовало, что двигало им: то ли чувство любви к своим подданным, то ли жажда славы или чрезмерное тщеславие, которое Джай Сингх щедро оставил ему в наследство. В последние годы правления его поддерживали англичане, для которых его государство стало отечеством и которые отождествляли себя с его прогрессом, как это умеют только англичане. За ними стоял махараджа, готовый потратить деньги с такой широтой, о которой Центральное правительство не могло и мечтать; и не будет преувеличением сказать, что эти две силы создали государство таким, каким оно сейчас является. После смерти Рама Сингха его преемник Мадху Сингх, ортодоксальный индус, уклонился от какого-либо вмешательства в работы, которые шли полным ходом. В городе говорят, что он не перегружает себя государственными заботами, а бразды правления находятся главным образом в руках некоего бенгальца, который имеет все, кроме поста министра. И англичане, говорят здесь, не вмешиваются

в дела государственного управления — их власть исключительно исполнительная.

Они могут в соответствии с гласом города действовать как им вздумается, а глас города, — не на центральных улицах, а в маленьких боковых проулках, где бездомный бык преграждает дорогу, — свидетельствует, насколько их воля смыкается с волей народа. И вправду, мало что могло бы более привлечь людей действия, чем получить в свое распоряжение государство площадью в пятнадцать тысяч квадратных миль и во что бы то ни стало оставить в нем свой след. К сожалению, бродяги-путешественники, те, кто упорно трудятся ради практических целей, не распространяются о своих делах, и он должен поэтому довольствоваться сведениями из вторых рук или городскими рассказами. Люди, работающие на водоснабжении, объяснили, что отец махараджи-сахиба отдал приказ построить водонапорные сооружения и что Якуб (Джэкоб)-сахиб его выполнил, построив водопровод не только в городе, но и по всей округе. «А что, люди стали собирать большой урожай?» — «Конечно. Каналы были построены не только для купанья». — «А на сколько больше?» — «Кто знает? Пусть сахиб спросит у властей». Улучшенное орошение означает рост дохода скорее для государства. Но человек, усилиям которого обязан этот рост, помалкивает.

После нескольких дней самодеятельного путешествия бесстыдство овладевает притворщиком, бесстыдство столь же непомерное, как и то, что свойственно другому бездельнику — красноносому типу, вечно торчащему около жилищ британских служащих, который вечно якобы отбывает в Калькутту, — и он нагло требует, чтобы представитель британской администрации предоставил ему позолоченный паланкин, либо пробирается на ужин в честь вице-губернатора. Никто не имеет права ничего скрывать от путешественника, кроткого, сдержанного, приличного, скромного искателя истины. Поэтому тот, кто, устранившись от просветительства, посылает приезжего в город, который сам же украсил и сделал привлекательным, здоровым и чистым, заслуживает самого беспощадного разоблачения. Можно утверждать, что город предал его. Мали¹ в садах Рама Ниваса — в садах, прекраснее которых нет в Индии и ко-

¹ Мали — садовник.

торые способны поспорить с лучшими садами Парижа, рассказывает, что махараджа отдал приказ и Якуб-сахиб устроил сады. Он говорит также, что и соседняя с садами больница была построена Якуб-сахибом, и, если сахибу будет угодно пройти в центр садов, он увидит еще одно большое здание, творение тех же рук — музей.

Но англичанин отправился сначала в больницу и увидел, как приходят больные. Больница не может лгать о своих достижениях, как это делает муниципалитет. Больные или приезжают, или остаются в своих деревнях. В случае с больницей Майо¹, они приезжали, и регистрационная книга операций свидетельствовала о том, что это обычное явление. Тем докторам, которые не в ладу с провинциальной и местной администрацией, хирургам гражданской службы, которые не могут как следует вести документацию, практикующим по всей Индии подпольным врачам и бунтарям было бы полезно посетить джайпурскую больницу Майо. Снедаемые черной завистью, они смогли бы отметить некоторые недостатки в финансовом содержании или в оборудовании коек, в наложении хирургических шин и лубков или в исключительной изоляции мужского отделения от женского.

Из больницы англичанин пошел в музей в центре садов и был им поглощен, потому что вообще любил музеи. Прежде всего была превосходна оправа драгоценного камня — белокаменное резное чудо в индомусульманском стиле. Он стоял на каменной платформе, богато отделанной ажурной резьбой по камню, колоннами из аджмирского зеленого мрамора, колоннадой из красного и белого мрамора, внутренними двориками с фонтанами, дверями, щедро украшенными резьбой по дереву, фресками, инкрустацией и многоцветьем красок. Орнаменты гробниц Дели, дворцов Агры и стен Амбера легли в основу композиций опор, арок и потолков; каменщики из джайпурской школы искусств вплели в узор лучшее, на что были способны их руки. Здание по сути своей, если не с точки зрения сегодняшнего дня, — произведение вольных каменщиков. Людям дали простор в выборе деталей, и результат... но чтобы понять, надо увидеть, раз уж он стоит в тех имперских садах. И, заметьте, ни тот, кто создал

¹ Ч.-Г. Майо и У.-Дж. Майо — американские хирурги XIX в., основатели известных хирургических центров.

его проект, ни возводивший его ни слова не сказали о том, что такое существует на свете или что каждый фут его от дугообразных крыш до цоколей из зеленоватого известняка, а также резные бордюры фонтанов во дворе заслуживают изучения. Вокруг арок в огромном центральном дворе имеются надписи на санскрите и хинди, принадлежащие индусским авторам древности, несущие красоту ума и святость истинного знания.

Центральный коридор украшен шестью большими фресками, каждая размером приблизительно девять на пять футов, — это копии иллюстраций царских фолиантов «Разм-наме»¹, «Махабхараты», выполненных лучшими художниками своего времени по приказу императора Акбара. Оригинал хранится в музее, и тот, кто захочет украсть его, легко найдет покупателя по любой цене, которая может достичь даже пятидесяти тысяч фунтов стерлингов.

¹ «Разм-наме» — средневековое повествование в жанре «разм» — описание военных подвигов.

СТИХИ

ГОРОДУ БОМБЕЮ

Гордость — удел городов.
Каждый город безмерно горд:
Здесь — гора и зелень садов,
Там — судами забытый порт.

Он хозяйствен, он деловит,
Числит фрахты всех кораблей,
Он осмотр подробный творит
Башен, пушечных фитилей,
Город Городу говорит:
«Позавидуй, повожделей!»

Те, кто в городе рос таком,
Редко путь выбирают прямой,
Но всегда мечтают тайком,
Словно дети — прийти домой.

У чужих — чужая семья,
В странах дальних не сыщешь родни,
Словно блудные сыновья,
Считают странники дни
И клянут чужие края
За то, что чужие они.

(Но уж славу родной земли,
Что превыше всех прочих слав,
Сберегают в любой дали
Пуще всех дарованных прав:
И гордятся, как короли,
Клятву именем Родины дав.)

Слава Богу, отчизной мне
Не далекие острова,
Я судьбою счастлив вполне
Далеко не из щегольства, —
Нет, поклон мой родной стране
За святые узы родства.

Может быть, заплыв за моря,
Наглотившись горьких харчей,
Ты утетишься, говоря:
Мол, неважно, кто я и чей.

(Ни по службе, ни ради наград
Принят в лоно я этой страной;
Я нимало не виноват,
Что люблю я город родной,
Где за пальмами в море стоят
Пароходы над мутной волной.)

Ныне долг я должен вернуть,
И за честь я теперь почту
Снова пуститься в путь,
Причалить в родном порту.

Да сподоблюсь чести такой:
Наслужившись у королей
(Аккуратность, честность, покой), —
Сдать богатства моих кораблей;
Все, что есть, тебе отдаю,
Верность дому родному храня:
Город мой, ты сильнее меня,
Ибо взял ты силу мою!

ШИВА И КУЗНЕЧИК

Шива, сеятель злаков, гонитель небесных туч,
В наидревнейшие годы грозен был и могуч,
Он назначил каждому участь, работу и пищу деля,
Не позабыл никого, от нищего до короля.
Все он создал — Шива-Охранитель,
Бог великий! Бог великий! Все он сотворил:
Колючки для верблюдов и сено для коров,
Материнское сердце — лишь для тебя; спи, сынок
мой, и будь здоров.

Месяца на четыре он приперся к нам в ноябре,
Но я был жесток, я сказал: уедешь лишь в сентябре.

В марте запел кокил: ¹ Пэджету горя нет,
Отдыхая, зовет меня «чванный брахман», «дармод»,
Позже — розы стали цвести.

Был гость весьма вдохновен,
Утверждал, что жара безвредна, —
Пэджет, парламентский член.

Привязалась в апреле потница: зноем дохнуло с небес.
Москиты, песчаные осы знали: Пэджет — деликатес.
Опухшее и пятнистое, прибитое существо!
Опахала братьев-арийцев мало спасали его.

В мае бури пришли пылевые; Пэджет совсем приугас,
Прелести нашего климата вкушая за часом час.
Пиво хлебал дней десять — и дохлебался, подлец;
Лихорадку схватил небольшую —
решил, что «уже конец».

В июне — дизентерия, вещь простая для наших мест.
Согнулся осанистый Пэджет, стал говорить про отъезд.
Слова «дармод», «брахман» — не были больше в ходу,
Он дивился тому, что люди выживают в таком аду.

Трясучку схватил в июле, сущие пустяки.
Пэджет сказал: от холеры помирать ему не с руки,
Ныл про «восточную ссылку»,
вспоминал со слезами семью,
Но я-то почти семь лет уже не видел мою.

Однажды — всего-то сто двадцать ²,
знаем такую жару! —
В обморок хлопнулся Пэджет, с трудом плетясь
по двору.
Пэджет, клятвопреступник, сбежал, вполне изучив
На собственной шкуре, на практике — что такое
«Солнечный Миф».

¹ Кокил — индийская кукушка, отличается сладостью пения.

² По Фаренгейту, то есть около +42° по Цельсию.

Я его проводил с усмешкой, но был душою жесток:
Сколько же дурней пишет, что рай на земле —

Восток,

Да притом еще и пытается править в этой стране...

Еще одного такого пошли, о Господи, мне!

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ХРОНИКА

*«Болезней в Хезабаде, Бинкс,
Все меньше! Как же так?»*

*«О, чистота сортирных труб
Есть высшее из благ!*

Я это осознал навек!» —

Сказал честнейший человек.

Под вечер в августе, в костюме белейший мой одет,
Я объезжал наш Хезабад: прогулка не во вред.

Вдруг мой уэльский жеребец увидел: мчится слон,
Летит на нас во весь опор, к тому же под уклон.

Слон без погонщика! И я решил, судьбу кляня,
Что за слонику этот слон решил принять меня.
К чему такая встреча мне? Чтоб не терять лица,
Я в город повернул скорей, хлестнувши жеребца.

Коляска затрещала вдруг, и проклял я судьбу:
Уэльсец вытряхнул меня — в сортирную трубу,
Затем последовал удар: с трудом припомяну
Моей коляски бедной хруст, доставшейся слону.

Дыша миазмами во тьме, я понял, что погиб;
В коллектор главный я пополз, над ухом чуя хрип:
В четыре фута у трубы должна быть ширина, —
Лишь дюйм — от головы моей до хобота слона.

Слон все ревел, и я в трубе запуган был весьма,
Но глубже влезть уже не мог в густой затор дерьма.
Со страха мерз я и стоял, судьбу свою кляня, —
А слон все так же норовил добраться до меня.

Хоть он промазал — мне с тех пор досталась седина;
Потом погонщик прибежал и отогнал слона.
Я двинул в городской совет и даже не был груб:
Я предъявил себя — и нет с тех пор забитых труб.

Вы верить можете в дренаж, — мол, все пробьет само,
Покуда вы, как стебелек, не въежитесь в дерьмо.
Я — верю только в чистку труб...

К здоровью путь — прямой.
Пусть, кто не верит, повторит печальный опыт мой.

БРИТАНСКИЕ РЕКРУТЫ

Если рекрут в восточные заслан края —
Он глуп, как дитя, он пьян, как свинья,
Он ждет, что застрелят его из ружья, —

Но становится годен солдатом служить,
Солдатом, солдатом, солдатом служить,
Солдатом, солдатом, солдатом служить,
Солдатом, солдатом, солдатом служить,
Слу-жить — Королеве!

Эй, вы, понаехавшие щенки!

Заткнитесь да слушайте по-мужски.

Я, старый солдат, расскажу напрямки,

Что такое солдат, готовый служить,

Готовый, готовый, готовый служить... — и т. д.

Не сидите в пивной, говорю добром,
Там такой поднесут вам едучий ром,
Что станет башка — помойным ведром,

А в виде подобном — что толку служить,

Что толку, что толку, что толку служить... —

и т. д.

При холере — пьянку и вовсе долой,

Кантуйся лучше трезвый и злой,

А хлебнешь во хмелю водицы гнилой —

Так сдохнешь, а значит — не будешь служить,

Не будешь, не будешь, не будешь служить... —

и т. д.

Но солнце в зените — твой худший враг;

Шлем надевай, покидая барак,

Скинешь — тут же помрешь, как дурак,

А ты между тем — обязан служить,

Обязан, обязан, обязан служить... — и т. д.

От зверюги-сержанта порой невтерпеж,
Дурнем будешь, если с ума сойдешь,
Молчи, да не ставь начальство ни в грош —
И ступай, пивцом заправясь, служить,
Заправясь, заправясь, заправясь, служить... —
и т. д.

Жену выбирай из сержантских вдов,
Не глядя, сколько ей там годов,
Любовь — не заменит прочих плодов:
Голодая, вовсе не ловко служить,
Неловко, неловко, неловко служить... — и т. д.

Коль жена тебе наставляет рога,
Ни к чему стрелять и пускаться в бега;
Пусть уходит к дружку, да и вся недолга, —
Кто к стенке поставлен — не может служить,
Не может, не может, не может служить... —
и т. д.

Коль под пулями ты и хлебнул войны —
Не думай смыться, наклавши в штаны,
Убитым страхи твои не важны,
Вперед — согласно долгу, служить,
Долгу, долгу, долгу служить... — и т. д.

Если пули в цель не ложатся точь-в-точь,
Не бубни, что винтовка, мол, сучья дочь, —
Она ведь живая и может помочь —
Вы вместе должны учиться служить,
Учиться, учиться, учиться служить... — и т. д.

Задерут зады, словно бабы, враги
И попрут на тебя — вышибать мозги,
Так стреляй — и Боже тебе помоги,
А вопли врагов не мешают служить,
Мешают, мешают, мешают служить... — и т. д.

Коль убит командир, а сержант онемел,
Спокойно войди в положение дел,
Побежишь — все равно не останешься цел,
Ты жди пополнения, решивши служить,
Решивши, решивши, решивши служить... —
и т. д.

Но коль ранен ты и ушла твоя часть, —
Чем под бабьим афганским ножом пропасть,
Ты дуло винтовки сунь себе в пасть,
И к Богу иди-ка служить,
Иди-ка, иди-ка, иди-ка служить,
Иди-ка, иди-ка, иди-ка служить,
Иди-ка, иди-ка, иди-ка служить,
Слу-жить — Королеве!

ГАНГА ДИН

Радость в джине да в чаю —
Тыловому холую,
Соблюдающему штатские порядки,
Но едва дойдет до стычки —
Что-то все хотят водички
И лизать готовы водоносу пятки.
А индийская жара
Пропекает до нутра,
Повоюй-ка тут, любезный господин!
Я как раз повоевал,
И — превыше всех похвал
Полковой поилка был, наш Ганга Дин.
Всюду крик: Дин! Дин! Дин!
Колченогий дурень Ганга Дин!
Ты скорей-скорей сюда!
Где-ка там вода, вода!
Нос крючком, зараза, Ганга Дин!

Он — везде и на виду:
Глянь — тряпица на заду.
А как спереди — так вовсе догола.
Неизменно босиком
Он таскался с бурдюком
Из дубленой кожи старого козла.

Нашагаешься с лихвой —
Хоть молчи, хоть волком вой,
Да еще — в коросте пота голова;
Наконец, глядишь, привал;
Он ко всем не поспевал —
Мы дубасили его не раз, не два.
И снова: Дин! Дин! Дин!

Поворачивайся, старый сукин сын!
Все орут на бедолагу:
Ну-ка, быстро лей во флагу,
А иначе — врежу в рожу, Ганга Дин!

Он хромает день за днем,
И всегда бурдюк при нем,
Не присядет он, пока не сляжет зной;
В стычках — Боже, помоги,
Чтоб не вышибли мозги! —
Ну, а он стоит почти что за спиной.
Если мы пошли в штыки —
Он за нами, напрямки,
И всегда манером действует умелым.
Если ранят — из-под пуль
Вытащит тебя, как куль:
Грязнорожий, был в душе он чисто-белым.
Опять же: Дин! Дин! Дин!
Так и слышишь, заряжая карабин,
Да еще по многу раз!
Подавай боеприпас,
Подышаем, где там чертов Ганга Дин!

Помню, как в ночном бою
В отступающем строю
Я лежать остался, раненый, один,
Мне б хоть каплю, хоть глоток —
Все ж пустились наутек,
Но никак не старина, не Ганга Дин.
Вот он, спорый, как всегда;
Вот — зеленая вода
С головастиками, — слаще лучших вин
Оказалась для меня!
Между тем из-под огня
Оттащил меня все тот же Ганга Дин!
А рядом: Дин! Дин! Дин!
Что ж орешь ты, подыхающий кретин?
Ясно, пуля в селезенке,
Но зовет голос тонкий:
Ради Бога, ради Бога, Ганга Дин!

Он меня к носилкам нес.
Грянул выстрел — водонос
Умер с подлинным достоинством мужчин,
Лишь сказал тихонько мне:

«Я надеюсь, ты вполне
Был водой доволен», — славный Ганга Дин.
Ведь и я к чертям пойду:
Знаю, встретимся в аду,
Где без разницы — кто раб, кто господин;
Но поилка наш горазд:
Он и там глотнуть мне даст,
Грешных душ слуга надежный, Ганга Дин!
Да уж — Дин! Дин! Дин!
Посиневший от натуги Ганга Дин,
Пред тобой винюсь во многом,
И готов поклясться Богом:
Ты честней меня и лучше, Ганга Дин!

МАРШ «СТЕРВЯТНИКОВ»

Ммарш! Портки позадубели, как рогови.
При! Упрешься в зачехленное древко.
При! Бабёнок любопытствующих рожи
Не утащишь за собою далеко.

*Ша! Нам победа хрен достанется.
Ша! Нам не шествовать в блистательном строю!
Будешь ты, усвой,
Стервятникам жратвой,
Вот и все, что нам достанется в бою!*

Лезь! На палубу, от борта и до борта.
Стой, поганцы! Подобраться, срамота!
Боже, сколько нас сюда еще не вперто!
Ша! Куда мы — не известно ни черта.

Ммарш! И дьявол-то ведь не чернее сажи!
Ша! Еще повеселимся по пути!
Брось ты бабу вспоминать, не думай даже!
Ша! Женатых нынче, Господи, прости!

Эй! Пристроился — посиживай, не сетуй.
(Слышьте, чай велят скорее подавать!)
Завтра вспомните, подлюги, чай с галетой,
Завтра, суки, вам плевать — не разблевать!

Тпру! Дорогу старослужащим, женатым!
Барахлом забили трапы, черт возьми!

Нас очень скоро съест плеврит, и все пойдет вразвал.
Но — к черту сырьость и болезнь: солдат отвоевал!

К трапу, к трапу, если не дурак!
Ишь, новичков понавезли — знать, будущих вояк!
Что ж, постреляйте вместо нас, а срок в шесть лет —
не мал.
Эй, как там в Лондоне дела? Наш брат — отвоевал!

К трапу, к трапу — бьются в лад сердца
Во славу всех британских дам и доброго жбана пивца!
Полковник, полк и кто там еще, кого я не назвал, —
Спаси вас Господи! Урра! Наш брат — отвоевал!

Помчим вот-вот, помчим вот-вот
Прочь по волне морской;
Время не трать, тащи свою кладь,
Сюда нам опять — на кой?
Сыграем свадьбу, Мэри-Энн,
Теперь пойдет житье!
Есть у меня шиллинг на три дня:
Солдат отслужил свое!

ШИЛЛИНГ В ДЕНЬ

Я старый О'Келли, мне зорю пропели
И Дублин и Дели, — с фортов и с фронтов, —
Гонконг, Равалпинди,
На Ганге, на Инде,
И вот я готов: у последних... портов.
Чума и проказа, тюрьма и зараза,
Порой от приказа — мозги набекрень,
Но стар я и болен,
И вот я уволен,
Мой кошт хлебосолен: по шиллингу в день.

Хор: Да, за шиллинг в день
Расстараться не лень!
Как его выслужить — шиллинг-то в день?

Рехнешься на месте, — скажу честь по чести, —
Как вспомню о вести: на флангах — шиит,
Он с фронта, он с тыла!
И сердце застыло;

Пусть его зарюют Томми¹ — уж они всегда на стреме,
Знают — если уж ограбим, так уьем.

И на черта добродетель, если будет жив свидетель?

Поучитесь-ка поставить на своем!

(Хор) Все — в дрожь!.. — и т. д.

Если в Бирму перебросят — веселись да в ус не дуй,

Там у идолов — глаза из бирюзы.

Ну, а битый чернорожий сам проводит до статуй,

Так что помни мародерские азы!

Доведут тебя до точки — тут полезно врезать в почки,

Что ни скажет — все вранье: добавь пинка!

(Рождок: Слегка!)

Ежели блюдешь обычай — помни, быть тебе с добычей,

А в обычай — лупцевать проводника.

(Хор) Все — в дрожь!.. — и т. д.

Если прешься в дом богатый, баба — лучший
проводжатый,

Но — добычею делиться надо с ней.

Сколько ты не строй мужчину, но прикрыть-то надо

спину,

Женский глаз в подобный час — всего верней.

Ремесло не смей порочить: прежде чем начнешь курочить,

На кладовки не разменивай труда:

(Рождок: Да! Да!)

Глянь под крышу! Очень редко хоть ружье, хоть

статуэтка

Там отыщется, — поверьте, господа.

(Хор) Все — в дрожь!.. — и т. д.

И сержант и квартирмейстер, ясно, долю слупят с вас —

Отломите им положенную мзду.

Но — не вздумайте трепаться про сегодняшний рассказ,

Я-то сразу трачу все, что украду.

Ну, прощаемся, ребята: что-то в глотке суховато,

Разболтаешься — невольно устаешь.

(Рождок: Не врешь!)

Не видать бы вам позора, эх, нахлебнички Виндзора,

А видать бы только пьянку да дележ!

(Хор) Да, грабеж!

Глядь, грабеж!

Торопись приборахлиться, молодежь!

Кто силен, а кто хитер,

¹ Томми (Томми Аткинс) — прозвище британского солдата.

Здесь любой — матерый вор.
Жаль, всего на свете не сопрешь! Хо-рош! Гра-беж!
Гра-беж!
Служишь — хапай! Всей лапой! Все — в дрожь!
Все — в дрожь! Гра-беж! Гра-беж!
Гра-беж!

ДЛЯ ВОСХИЩЕНИЯ

Индийский океан; покой;
Так мягко, так прозрачен свет;
Ни гребня на волне морской,
Лишь за кормою пенный след.
Взялись матросы за картеж;
Индийский лоцман нас ведет,
Величествен и смуглокож,
Поет в закат: «Гляжу вперед».

*Для восхищенья, для труда,
Для взора — мир необозрим,
Мне в нем судьбой была беда,
Но силы нет расстаться с ним.*

Тут — смех метателей колец
И радостная болтовня;
Вот офицеры дам ведут
Увидеть окончанье дня.
Вся даль пережитых годов
Лежит на глади голубой.
Кругом толпа, но мнится мне,
Что я — наедине с собой.

О, как я много лет провел
В казарме, в лагере, в бою;
Порой не верю ничему,
Пролистывая жизнь мою.
Весь облик странных этих дней
В моем рассудке — как живой.
Я многого недосмотрел,
Но прочь плыву и сыт с лихвой.

Я столько книг перечитал
В казарме, среди полночной мглы;

Оценивая жребий свой,
 Себя записывал в ослы.
За это знание — босиком
 Я в карцер шел, да и в тюрьму,
И восхищен был — мир велик,
 В нем удивляешься всему.

Вот — созерцаю облака,
 А вот — горбатые гряды:
Там, как казарменная печь,
 Восходит Аден из воды.
Я помню эти берега,
 Как будто здесь оставил след:
Я, отслуживший срок солдат,
 Я, повзрослевший на шесть лет.

Моей девчонки помню плач,
 Прощальный матушкин платок;
Я ни письма не получил
 И ныне подвожу итог:
Всё, что узнал, всё, что нашел,
 Всё в душу запер я свою.
Я чувств не обращаю в слова,
 Но песнь вечернюю пою:

*Для восхищенья, для труда,
 Для взора — мир необозрим, —
Мне в нем судьбой была беда,
 Но силы нет расстаться с ним.*

БУДДА В КАМАКУРЕ ¹

«А в Камакуре есть японский идол».

На Узкий Путь Ты пролил свет
До Дня Суда — через Тофет ².
«Язычников» храни от бед
 Пред Буддою в Камакуре.

¹ Камакура — город в Японии, на острове Хонсю. Здесь находится гигантская бронзовая статуя Будды (XIII в.).

² Тофет (библ.) — капище около Иерусалима, где детей приносили в жертву Молоху. Переносно: ад.

Здесь — тоже Путь, хотя не Твой,
В нем тоже светоч мировой,
Наставник бодхисатв¹ живой —
Он, Будда из Камакуры.

Он чужд и страсти и борьбе,
Он и не знает о Тебе, —
Не восставляй препон судьбе
Его детей в Камакуре!

Он европейцам не грозит,
Пусть от курильниц дым скользит,
Смывая страх и мелкий стыд
Молящихся в Камакуре.

Их ярких платьев кутерьма
Незрима для его ума,
К обрядам хладен он весьма,
Но любит их в Камакуре.

Постигнешь, гордость отреша,
Сколь эта вера хороша, —
Тебе откроется Душа
Востока — здесь, в Камакуре.

Да — речь Ананды² на устах:
О воплощеньях в рыб и птах,
Учитель здесь — во всех мечтах,
И сладок ветр в Камакуре.

От золотых, прикрытых век
Не скрыто: век сменяет век,
Но Лотос — воссиял навек
От Бирмы до Камакуры.

И слышен в воздухе густом
Тибетских барабанов гром;
Звучит: «Ом мани падме хум»³,
Всем странам из Камакуры.

¹ Б о д х и с а т в а (тот, чья сущность — просветление) — в буддизме махаяны идеальное существо, наставник и образец для людей.

² А н а н д а (радостный) — эпитет Будды.

³ Буддийская молитвенная формула: «Ом драгоценность в лотосе хум». Допускает множество толкований.

Бенарес — не уберегли.
Бодхгайя¹ древняя — в пыли,
Грозить враги теперь пришли
И Будде и Камакуре.

Среди туристов, суеты —
Руина злата, нищеты,
О, как в себя вмещаешь ты
Великий смысл, Камакура?

Моления длятся и поднесь.
Задумайся и строго взвесь:
Не Бог ли облачился здесь
В златую плоть, в Камакуре?

НАПУТСТВИЕ

КОЛЬ УДАЛОСЬ МНЕ ВАМ ПОМОЧЬ
И ПОЗАБАВИТЬ ВАС —
ТО ПУСТЬ ТЕПЕРЬ КОСНЕТСЯ НОЧЬ
МОИХ УСТАЛЫХ ГЛАЗ.

НО ЕСЛИ Б СНОВА В ТИШИНЕ
ПРЕД ВАМИ Я ВОЗНИК —
ТО ВОПРОШАЙТЕ ОБО МНЕ
ЛИШЬ У МОИХ ЖЕ КНИГ.

¹ Бодхгайя — деревня в Бихаре, где Будда достиг просветления.

СОДЕРЖАНИЕ

Е. Гениева. Индия, моя Индия	3
--	---

РАССКАЗЫ

«Ворота Ста Печалей». <i>Перевод М. Клягиной-Кондратьевой</i>	21
Город Страшной Ночи. <i>Перевод М. Клягиной-Кондратьевой</i>	27
В доме Садху. <i>Перевод И. Шевченко</i>	33
Жизнь Мухаммед-Дина. <i>Перевод И. Бернштейн</i>	41
Лиспет. <i>Перевод Г. Островской</i>	44
Саис мисс Йол. <i>Перевод М. Клягиной-Кондратьевой</i>	49
Ночные часы. <i>Перевод М. Клягиной-Кондратьевой</i>	55
Последний гандикап. <i>Перевод Т. Казавчинской</i>	61
Поправка Тодса. <i>Перевод В. Поперно</i>	67
Дочь полка. <i>Перевод Э. Линецкой</i>	73
Свинья. <i>Перевод С. Маркевича</i>	78
Крошка Уилли Уинки. <i>Перевод Е. Нестеровой</i>	85
Дана-Да насыпает наваждение. <i>Перевод А. Николаевской</i>	96
Его королевское величество. <i>Перевод Т. Казавчинской</i>	106
Суд Дангары. <i>Перевод М. Клягиной-Кондратьевой</i>	117
В наводнение. <i>Перевод Н. Лебедевой</i>	125
Всего лишь субалтерн. <i>Перевод Л. Беспаловой</i>	134
Необычайная прогулка Морроуби Джукса. <i>Перевод А. Левинтона</i>	149
За оградой. <i>Перевод Л. Биндеман</i>	173
В городской стене. <i>Перевод И. Шевченко</i>	179
Барабанщики «Передового-тылового». <i>Перевод А. Николаевской</i>	202
Воплощение Кришны Малвени. <i>Перевод А. Баясникова</i>	233
Бывший. <i>Перевод Ч. Толстяковой</i>	260
Начальник округа. <i>Перевод Ч. Толстяковой</i>	274
Любящие без благословения церкви. <i>Перевод Ю. Жуковой</i>	297
Клеймо зверя. <i>Перевод Ю. Жуковой</i>	321
Лучшая в мире повесть. <i>Перевод Л. Биндеман</i>	335

Возвращение Имрея. <i>Перевод Ю. Жуковой</i>	365
Моти-Гадж, мятежник. <i>Перевод М. Клягиной-Кондратьевой</i> . .	377
Строители моста. <i>Перевод М. Клягиной-Кондратьевой</i> . . .	384

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

Письма Марка. <i>Перевод И. Карапетьянц</i>	421
---	-----

СТИХИ

Перевод Е. Витковского

Городу Бомбею	443
Шива и кузнечик	444
Пэджет, член парламента	445
Муниципальная хроника	447
Британские рекруты	448
Ганга Дин	450
Марш «Стервятников»	452
К трапу!	453
Шиллинг в день	454
Мародеры	455
Для восхищенья	457
Будда в Камакуре	458
Напутствие	460

- © Балясников А. Н. Перевод, 1991 г.
- © Витковский Е. В. Перевод, 1991 г.
- © Жукова Ю. И. Перевод, 1991 г.
- © Казавчинская Т. Я. Перевод, 1991 г.
- © Карапетьянц И. А. Перевод, 1991 г.
- © Нестерова Е. К. Перевод, 1991 г.
- © Николаевская А. Г. Перевод, 1991 г.
- © Толстякова Ч. С. Перевод, 1991 г.
- © Шевченко И. В. Перевод, 1991 г.

Киплинг Р.

К42 Восток есть Восток: Рассказы; Путевые заметки; Стихи: Пер. с англ. / Предисл., сост. Е. Гениевой. — М.: Худож. лит., 1991. — 462 с.

ISBN 5-280-01427-3

В этот сборник включены рассказы, путевые заметки и стихи замечательного английского писателя, лауреата Нобелевской премии Редьярда Киплинга (1865—1936). Все они посвящены Индии, где Киплинг родился, долгие годы работал репортером. Эту великую страну Киплинг очень любил и превосходно знал. На его мировоззрение наложила глубокий отпечаток индийская философия, а в его художественном творчестве ярчайшими красками запечатлены неповторимые картины Индии, облик ее народа. «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут», — написал когда-то Киплинг. В наши дни Запад и Восток свободно перемешиваются, взаимно обогащаются, и тому, кто хочет лучше понять эту связь Востока и Запада, прекрасное подспорье — рассказы, путевые заметки и стихи Киплинга.

К 4703010600-192 189-91
028(01)-91

ББК 84.4Вл

Редьярд Киплинг
ВОСТОК ЕСТЬ ВОСТОК
РАССКАЗЫ, ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ, СТИХИ

Составитель

Екатерина Юрьевна Гениева

Заведующая редакцией

М. Климова

Редактор **А. Ибрагимов**

Художественный редактор **А. Моисеев**

Технический редактор **Н. Кошелева**

Корректоры **О. Иванова, И. Шевякова**

ИБ № 6128

Сдано в набор 19.12.90. Подписано в печать 01.08.91. Формат 84X 108^{1/32}. Бумага тип. № 2. Гарнитура «Тип Таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 24,36. Усл. кр.-отт. 24,78. Уч.-изд. л. 25,79. Тираж 120 000 экз. Изд. № VIII-3788. Заказ № 2011.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература».
107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная. 19

Диапозитивы изготовлены в ордена Трудового Красного Знамени Тверском полиграфкомбинате. Государственной ассоциации предприятий, объединений и организаций полиграфической промышленности «АСПОЛЬ». 170024, г. Тверь, проспект Ленина, 5

Отпечатано в ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» Государственного комитета СССР по печати, 123054, Москва, Валуевая, 28





РЕДЬЯРД КИПЛИНГ
(1865—1936) — английский писатель, лауреат Нобелевской премии, автор замечательных сказок, которые знают дети всего мира. Кто из нас не запомнил на всю жизнь их героев: вскормленного волчицей человеческого детеныша Маугли, бесстрашного мангуста Рикки-Тикки-Тави, любопытного Слопенка? Задача этой книги — заново открыть мир Киплинга для взрослых, мир его «индийских» рассказов и стихов.



· ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА ·

